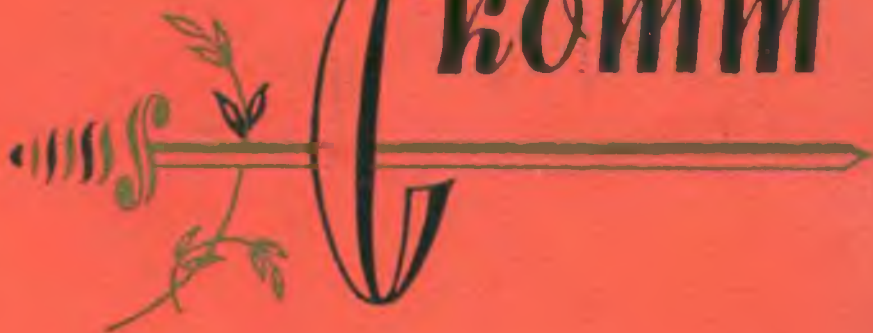


Вальтер
Скотт



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Вальтер Скотт

С О Б Р А Н И Е С О Ч И Н Е Н И Й

в двадцати томах

Под общей редакцией

Б. Г. РЕИЗОВА, Р. М. САМАРИНА,

Б. Б. ТОМАШЕВСКОГО



*Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ*

Москва 1963 Ленинград

Вальтер Скотт

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

том девятый

МОНАСТЫРЬ

Перевод с английского

М. А. КОЛПАКЧИ

и

В. Д. МЕТАЛЬНИКОВА



Государственное издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1963 Ленинград

WALTER SCOTT
THE MONASTERY

Редакция перевода

Б. А. Ильиш а

Комментарии

Б. Г. Ре из о в а

и К. А. А ф а н а с ь е в а

МОНАСТЫРЬ

Затруднительно было бы привести какую-либо основательную причину, в силу которой автор «Айвенго», употребивший в названном романе все свое умение, чтобы отвести героев повести, нравы и действие подальше от своих родных мест, избрал теперь, в следующей работе, фоном для повествования знаменитые развалины Мелроза, расположенные в ближайшем соседстве с его домом. Но причина или прихоть, породившая изменение его планов, совершенно выпала из его памяти, да и не стоит пытаться восстанавливать то, что не имеет существенного значения.

В основу нового произведения легло противопоставление двух характеров этого бурного и неумного века, поставленных в такое положение, при котором они должны были по-разному относиться к Реформации. Оба они с одинаковой искренностью и чистосердечием посвятили себя: один — поддержке падающего значения католической церкви; другой — утверждению нового, реформатского учения. Автор полагал, что столкновение на жизненном пути двух таких фанатиков может породить интересное развитие сюжета и даст возможность сопоставить истинную ценность этих людей с их страстями и предрассудками.

Окрестности Мелроза очень подходят в качестве фона для задуманной повести. Сами развалины являются великолепной декорацией для любого трагического события, о котором может пойти речь. Кроме того, по соседству с ними чудесная река со всеми своими притоками течет по широкой долине, бывшей местом многих яростных битв и полной многих воспоминаний о прошедших временах. И все это лежит почти непосредственно перед глазами автора, который, таким образом, легко мог включить этот вид в свое повествование.

Местоположение это обладает и иными преимуществами. На противоположном берегу реки Твид виднеются остатки старинных ограждений, обсаженных довольно высокими кленами и ясенями. Когда-то они окружали поля или возделанные пашни деревни, от коей сохранилась теперь всего одна хижина, где проживает рыбак, он же и перевозчик. Деревенские домишки и даже существовавшая здесь когда-то церковь превратились в нагромождение камней, которые можно заметить, лишь подойдя к ним вплотную. Местные жители постепенно переселились в возникший по соседству, в двух милях расстояния, процветающий городок Галашилс. Но суеверные старики населили покинутые рощи взамен живых людей воздушными существами. Разрушенное и заброшенное кладбище в Болдсайде давно уже считается прибежищем фей. Освещенные луной широкие и глубокие воды реки Твид, огибающей откос крутого берега, заросшего деревьями, в свое время посаженными для ограждения полей, а ныне образующими небольшие рощицы, чудесно дополняют наше представление о волшебной местности, облюбленной для игр и плясок Обероном и королевой Мэб. Здесь бывают вечера, когда посетитель, вслед за стариком Чосером, может подумать, что

...Королева фей
С волшебной арфой своей
И ныне там живет.¹

¹ Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных, выполнены Б. Томашевским.

Другим прибежищем племени эльфов, еще более ими облюбованным, была (если верить преданию) долина речки — или, скорее, ручейка — Аллен, впадающей в Твид с северной стороны, около четверти мили выше нынешнего моста. Ручеек этот прокладывает себе путь позади охотничьего домика лорда Sommerwila, именуемого «Павильоном». Лощина, по которой он течет, получила прозвище Лощины фей, или, иначе, Безымянной лощины, ибо, согласно старинному поверью, всякого, кто упомянет имя волшебного племени (или только намекнет на него), ждет беда. Наши предки называли эльфов и фей добрыми соседями, а горцы именовали их даоин-шай, или «мирные люди». Впрочем, имена эти давались скорее из почтения и не выражали какого-либо представления о дружеских чувствах или мирном общении, так как ни горцы, ни пограничные жители не верили в возможность дружелюбия со стороны этих раздражительных существ.

В подтверждение того, что деятельность сказочного племени продолжается и по сей день, приводят находки в долине, после спада весенних вод, неких известковых образований, то ли созданных руками маленьких волшебников, то ли выточенных силой водоворотов, бурлящих среди камней. Образования эти имеют некое фантастическое сходство с чашечками, блюдами, мисками и т. п., почему дети, которые их собирают, утверждают, что это домашняя утварь фей.

Кроме этих признаков романтической местности, *mea paurega regna*¹ (так капитан Дальгетти называет свои владения в Драмсуэките) граничат с небольшим, но глубоким озером. Говорят, что еще ныне здравствующие люди видели, как из этого озера на берег выходил бык и ревом своим сотрясал холмы.

Действительно, окрестности Мелроза, хоть они и не отличаются столь же романтической прелестью, как некоторые иные виды в Шотландии, вызывают так много увлекательных для воображения фантастических представлений, что могут соблазнить чело-

¹ Мои убогие владения (лат.).

века, даже и менее к ним пристрастного, чем автор, приспособить пейзажи будущего повествования к этим любимым им местам. Однако было бы неправильно предполагать, что если Мелроз, в общем, и может сойти за Кеннаквайр и его виды соответствуют пейзажам «Монастыря» в отношении подъемного моста, мельничной плотины и иных конкретных деталей, то и все картины романа обладают точным и безусловным сходством с реальной действительностью. Автор поставил себе целью не списать свой ландшафт с натуры, а создать некий вымысел, в котором знакомый ему пейзаж был бы отображен лишь главнейшими чертами. Таким образом, сходство воображаемого Глендеарга с подлинной долиной Аллена далеко не безусловное, да автор и не стремился их отождествлять. Это должно стать ясным для всякого, кто знает характерные особенности долины Аллена и даст себе труд прочесть описание вымышленного Глендеарга. В этом описании речка бежит по узкому романтическому ущелью, извиваясь и крутясь подобно ручью, который ищет себе самого удобного пути, не встречая по дороге никаких признаков возделанных земель. Начало свое речка эта берет поблизости от одинокой башни — жилища некоего вымышленного церковного вассала и места действия некоторых эпизодов романа.

Подлинная же речка Аллен, пробегая через романтический овраг, именуемый Безымянной лощиной, и отскакивая от его берегов, подобно тому как шар отскакивает от бортов бильярда, в этой своей части действительно напоминает поток, низвергающийся по долине Глендеарга, но зато выше она течет по более открытой местности, где берега расступаются шире и где в долине имеются обширные участки незатопленной, сухой земли, которые отнюдь не были обойдены вниманием ревностных земледельцев этой округи. Речка эта тоже доходит до своего истока, по своему примечательного, но совершенно не совпадающего с описанием в романе. Вместо одинокой пиль-башни, или пограничного сторожевого укрепления —

обиталища госпожи Глендининг, в истоках Аллена, примерно в пяти милях от слияния его с Твидом, видны развалины трех пограничных строений, принадлежавших трем различным владельцам, которые из естественного в эти смутные времена стремления к взаимной помощи были расположены рядом, на границе участка, составляя как бы одну усадьбу. Одно из этих полуразрушенных строений — замок Хиллслэп, в свое время принадлежавший Кэрнкроссам, а теперь мистеру Иннесу из Стоу. Вторая башня, Колмсли, издавна находилась в потомственном владении семьи Бортуик, что доказывается гербом — козьиной головой на щите, украшающим эти развалины; третий замок принадлежал семейству Лэнгшоу, и он тоже лежит в развалинах, но рядом с ним нынешний владелец, мистер Бэйли из Джервисвуда и Меллестайна, построил охотничий домик.

Все эти развалины, которые так странно геснятся в весьма уединенном месте, полны своих особых воспоминаний и преданий, но ни одно из них не имеет ни малейшего сходства с соответствующими описаниями в романе «Монастырь». А поскольку автор едва ли мог допустить такие грубые ошибки, касающиеся местности, расположенной в нескольких часах езды от его дома, надо сделать вывод, что он и не стремился к точному соответствию. Что касается замка Хиллслэп, то о нем еще теперь вспоминают благодаря причудам его последних владельцев, нескольких пожилых дам, отчасти напоминающих мисс Рэйлендс из «Старого поместья», хотя и не столь богатых и знатных, как она. Колмсли прославлен песенкой:

Колмсли на холме стоит,
Вода вокруг мельницы журчит...
И дружит с мельницей пекарня,
Зато нет больше в Колмсли псарни!

В Лэнгшоу, хотя это и самая крупная усадьба из всех трех, расположенных в устье воображаемого Глендеарга, нет ничего особо примечательного, кроме надписи, помещенной нынешним владельцем над

входом в его охотничий домик: «*Utinam hanc etiam viris impleam amicis!*»¹

Кстати, я не знаю, кто смог бы лучше и шире превратить в жизнь это скромное пожелание, чем тот джентльмен, который выразил его в столь ограниченных пределах.

Показав, таким образом, что я могу кое-что сказать об этих разрушенных башнях, которые объединило у входа в ущелье или стремление их обитателей к общению, или возможность более эффективной совместной обороны, мне нет необходимости приводить еще какие-либо основания, чтобы показать, что башни эти не имеют ничего общего с одиноким жилищем госпожи Элспет Глендининг. За указанными строениями сохранились кое-какие перелески и широкие пространства трясин и болот. Однако и тут я не могу рекомендовать тому, кто интересуется местностью, тратить время на поиски источника и куста остролиста, около которых появлялась Белая дама.

Поскольку я касаюсь этой темы, могу добавить, что для капитана Клаттербака, воображаемого издателя «Монастыря», не найти никакого прототипа ни в деревне Мелроз, ни в ее окрестностях. Во всяком случае, я никого похожего на него не встречал и о таковом не слыхивал. Дабы придать некоторое своеобразие этому лицу, оно наделено чертами характера, который иногда встречается в современном обществе. Такой человек обычно проводит всю жизнь в обязательных для него профессиональных занятиях, но в конце концов от них освобождается и вдруг остается без всякого дела и рискует от этого впасть в тоску до тех пор, пока ему не удастся найти какой-либо второстепенный предмет исследования, соответствующий его способностям, и исследования эти занимают его в его уединении. Надо заметить, что обладание запасом специальных знаний повышает значение человека в обществе. Я часто наблюдал, что даже самое случайное и поверхностное изучение древностей удивительно заполняет душевную пустоту, отчего многие

¹ О, если бы я мог наполнить и этот дом друзьями! (лат.).

капитаны Клаттербаки ему и предались. Поэтому я был весьма удивлен, когда мне стало известно, что в моем капитане-археологе узнают одного моего соседа и друга, хотя для всякого, кто прочел книгу и знает, какие свойства характера я приписываю моему герою, должно быть ясно, что ничего общего между ними нет. Это ошибочное отождествление встречается в книге, озаглавленной: «Иллюстрации к трудам автора «Уэверли». Замечания и анекдоты, относящиеся к подлинным лицам, событиям и эпизодам, легшим в основу его сочинений, составленные Робертом Чеймберсом».

Этот труд, естественно, должен был изобиловать ошибками, да иначе и не могло быть, даже при величайшей изобретательности автора, так как он взял на себя труд разъяснять то, что может быть известно только другому лицу. Ошибки в отношении местности или упоминаемых неодушевленных предметов не имеют существенного значения. Но добросовестный автор должен был бы проявлять особую осторожность, сопоставляя подлинные имена с вымышленными персонажами. Помнится, в «Зрителе» мы читали об одном деревенском шутнике, который в своем экземпляре книги «Нравственный долг человека» против каждого описания порока ставил имя лица, живущего с ним по соседству, и, таким образом, превратил этот превосходный труд в пасквиль на целый приход.

Подобно пейзажу, который достался автору в готовом виде, и исторические традиции местности благоприятствовали ему. В стране, где кони постоянно стояли оседланными и воин редко расставался с мечом, война была неизменным и естественным состоянием для населения, а мир существовал лишь в качестве изменчивого и короткого перемирия. При этих условиях у автора не было недостатка в возможности запутать и распутать по своему усмотрению эпизоды своего повествования. Однако при описании пограничного района возникло затруднение, так как все его ценности в свое время уже были расхищены как им самим, так и другими. И тут необходимо было

представить все в новом свете, иначе имелись бы все основания упрекнуть автора в том, что *scambe bis costa*.¹

Для придания описанию необходимого качества новизны кое-что, казалось бы, могло дать сопоставление характеров церковных вассалов с характерами вассалов светских баронов, которые их окружали. Но большой пользы от этого все-таки ждать было нельзя. Конечно, известное различие между этими двумя группами населения существовало, но подобно тому, как разные семейства и классы минералов и растений легко устанавливаются естествоиспытателями, в то время как для обыкновенного человека в них все-таки гораздо больше сходства, чем различия, так и группы эти в целом настолько схожи, что трудно противопоставить их друг другу. Оставалась возможность воспользоваться чудесами — ввести в повествование явления таинственные и сверхъестественные. Это обычная уловка попавших в затруднительное положение авторов, известная со времен Горация. Но в наше время права этого священного убежища подвергаются большим сомнениям и даже начисто отвергаются. Народные поверья теперь не допускают возможности существования племени волшебных существ, порхающих между этим миром и невидимым. Феи покинули свою утопающую в лунном свете луговину. Ведьмы больше не совершают своих мрачных оргий в зарослях болиголова, и

Видение, чей смертным страшен вид,
Могильный призрак, нынче мирно спит.

Недоверие публики к простонародным и грубым шотландским суевериям побудило автора обратиться к прекрасной, хотя и почти забытой, магии астральных духов или стихийных существ, превосходящих людей знанием и силой, но стоящих ниже их, так как они подвластны смерти, которая будет для них уничтожением, ибо к ним не относится обещание, данное

¹ Капуста сварена дважды (лат.).

сынам Адама. Предполагается, что эти духи делятся на четыре категории, подобно четырем стихиям, от которых они берут свое начало, и они известны лицам, изучавшим каббалистическую философию, под именами сильфов, гномов, саламандр и наяд, поскольку они происходят из воздуха, земли, огня или воды. Читатель может найти очень любопытные сведения об этих стихийных духах во французской книге, озаглавленной «Entretiens de Comptes du Gabalis».¹ Остроумный граф де ла Мотт Фуке сочинил на немецком языке одно из своих самых удачных произведений, где прелестный и даже трогательный эффект достигается образом морской нимфы, которая лишается бессмертия из-за того, что она стремится приобщиться к человеческим чувствам и сочетает свою судьбу со смертным, оплачивающим ей неблагодарностью.

В подражание столь удачному примеру на страницах предлагаемой повести появилась Белая дама Эвенелов. Она представлена как существо, связанное с семейством Эвенелов теми мистическими узами, которые, по понятиям прежних времен, при известных обстоятельствах могли возникать между созданиями стихий и сынами людей. Такие примеры мистической связи наблюдались в Ирландии, в старых милезийских семьях, у которых есть свой Банши. Они известны и из преданий горцев, которые во многих случаях считают, что у отдельных племен или семейств есть в услужении бессмертное существо или дух. Демоны эти, если их можно так назвать, возвещали счастье или несчастье семьям, с которыми они связаны. И хотя некоторые из них благоволили вмешиваться только в дела особой важности, другие, как, например, Мэй Моллах, или Дева с волосатыми руками, снисходили до участия и в обычных людских забавах, вплоть до того, что учили главу клана играть в шашки.

Таким образом, без большой натяжки можно было представить себе бытие подобного волшебного существа в те времена, когда была распространена вера

¹ «Беседы графа Габалиса» (франц.).

в духов стихий. Но труднее было описать или вообразить себе их свойства и мотивы их поступков. Шекспир — первый авторитет в этих вопросах — изобразил Ариэля, это прелестное создание его фантазии, лишь отчасти приближающимся к человеку и угадывающим природу чувства, которое сыны земли испытывают друг к другу. Это мы узнаем из его слов: «Будь я человеком, мне было бы их жаль». Выводы, отсюда вытекающие, довольно своеобразны, но вполне логичны. Хотя такой дух и стоит выше человека по длительности жизни, по власти над стихиями, по проникновению в настоящее, прошлое и будущее, но он не знает человеческих страстей и не имеет представления о добре и зле и о будущем воздаянии или наказании и, таким образом, относится скорее к животному миру, чем к человеческому роду. А потому приходится предполагать, что он, очевидно, руководствуется в своих действиях случайными пристрастиями и капризами, а отнюдь не чем-либо похожим на чувство или мысль. Превосходство такого существа можно сравнить лишь с превосходством слона или льва, которые много сильнее человека, хотя и стоят на более низкой ступени мироздания. Пристрастия, которые, по нашим представлениям, свойственны волшебным существам, должны напоминать привычки и особенности собаки; а их внезапные порывы страсти и склонность к проказам и каверзам можно сравнить с повадками, присущими кошачьей породе. Все эти проявления их натуры, впрочем, подчинены законам, передающим верховную власть над породой низших существ человеку, — они покоряются либо его знаниям (в это верила секта гностиков, и к этому склонялась философия розенкрейцеров), либо его отваге и мужеству, которые бросают вызов их иллюзиям.

Исходя из этих представлений о воображаемых духах стихий, Белая дама Эвенелов была изображена автором на страницах повести, ей посвященных, как существо непостоянное, капризное и изменчивое. Она проявляет интерес и благосклонность к семье, с которой связана ее судьба, но относится с насмешкой и даже в какой-то степени с недоброжела-

тельством к прочим смертным, например к ризничему и пограничному разбойнику, навлекшим своей неправедной жизнью мелкие издевательства с ее стороны. Впрочем, надо думать, что у Белой дамы не было ни достаточных сил, ни склонности, чтобы совершить нечто большее, чем кого-либо напугать или привести в замешательство; она неизменно покорялась тем смертным, которые, благодаря своей добродетельной решимости и душевной энергии, умели утвердить свое превосходство над ней. В этом отношении она представляется существом, занимающим среднее положение между *esprit follet*,¹ который радуется возможности ввести смертных в заблуждение и их помучить, и доброжелательной восточной феей, которая неизменно помогает им, поддерживает их и руководит ими.

Но, либо автор не слишком удачно реализовал свой замысел, либо читатели его не одобрили, — Белая дама Эвенелов не встретила у них широкого признания. Он говорит здесь об этом не для того, чтобы убедить читателей быть более благосклонными в этом вопросе. Он только стремится снять с себя обвинение, что легкомысленно ввел в свое повествование существо, по своим силам и свойствам ни с чем не сопоставимое.

Создавая другой образ, автор «Монастыря» также потерпел неудачу там, где надеялся на успех. Поскольку не существует ничего более смешного, чем модные чудачества любой эпохи, ему казалось, что серьезные сцены его повествования могут быть оживлены юмористическим описанием модного кавалера елизаветинской эпохи. В любой период истории попытки завоевать и закрепить свое высшее положение в обществе зависели от умения приобрести и высказать некую модную аффектацию, обычно связанную с живостью таланта и энергией характера, но в то же время отличающуюся столь возвышенным полетом мысли, что она выходит за пределы трезвого суждения и здравого смысла. Эти последние свойства,

¹ Духом обманчивым (франц.).

видимо, слишком низменны, чтобы их можно было включить в характеристику того, кто претендует на положение «избранного ума своего века». Претензии же в разных проявлениях и создают галантных кавалеров своего времени, которые с особой ревностью стремятся довести причуды моды до крайности.

Нравы монарха, двора и эпохи всегда задают тон особым качествам, к которым должны стремиться те, кто претендует на высшую светскость. Царствование Елизаветы, королевы-девственницы, отличалось благонаравием придворных и в особенности их безграничным почтением к монархине. Вслед за признанием несравненных совершенств королевы то же восхищение распространялось и на красоту, присущую менее ярким звездам ее двора, которые сияли (как принято было тогда говорить) отраженным от нее светом. Правда, галантные рыцари уж не клялись небом, честью и именем своей дамы, обещая совершить какой-либо подвиг безумной храбрости, который подвергал смертельной опасности не только их собственную жизнь, но и жизнь других людей. Однако, хотя галантные проявления их рыцарской натуры в елизаветинскую эпоху редко шли дальше вызова на ристалище турнира, где ограждения, именуемые барьерами, препятствовали столкновению коней и где все воинское умение всадников проявлялось в сравнительно безопасной стычке на копьях, речь вздыхателей, обращенная к их дамам, сохраняла всю восторженность выражений, с какой Амадис приветствовал Ориану перед тем, как выйти в ее честь на бой с драконом. Этот тон романтической галантности нашел своего остроумного, но напыщенного истолкователя в лице одного автора, который, составив образцовые фразы и выражения, изложил характер придворной беседы в педантской книге, именуемой «Эвфуэс и его Англия». Об этом вкратце говорится в тексте, но здесь, может быть, уместно сделать некоторые добавления.

Эксцентричность эвфуизма или такого же рода индифферентного жаргона преобладает и в романах Кальпренеда и Скюдери, которые читались вслух для развлечения прекрасного пола во Франции во время

долгого царствования Людовика XIV. Считалось, что в них можно найти единственно правильный язык любви и галантности. Но в это же царствование на них напала сатира Мольера и Буало. Точно такое же умопомешательство, распространившееся на частные салоны, породило жеманную речь так называемых *Précieuses*,¹ составивших кружок в отеле Рамбулье и давших Мольеру материал для его замечательной комедии «*Les Précieuses Ridicules*».² В Англии эта мода, по видимому, ненадолго пережила восшествие на престол Иакова I.

Автор самонадеянно полагал, что претенциозная экстравагантность персонажа, некогда столь модная, сможет позабавить наших современных читателей. Они очень любят оглядываться назад, на быт и нравы своих предков, и можно было рассчитывать, что их заинтересуют и нелепости той эпохи. Однако автор должен откровенно признаться, что ошибся и что его эвфуист не только не нашел признания как интересно задуманный юмористический персонаж, но что он подвергся осуждению как создание неестественное и нелепое.

Можно было бы легко объяснить этот неуспех, отнеся его на счет неумения автора справиться со своей задачей, и, вероятно, многие читатели склонны этим и ограничиться. Однако едва ли можно ожидать, что автор с этим согласится, если он способен сослаться на иные причины, почему он и подозревает, что, вопреки его предварительным расчетам, он просто неблагоразумно выбрал свой сюжет и именно в этом, а не в способе изображения кроется причина его неудачи.

Нравы первобытных народов всегда восходят к природе и поэтому неизменно находят понимание у более утонченных поколений. Нам не требуется ни много примечаний, ни исторических исследований, чтобы дать возможность самому необразованному человеку постичь чувства и выражения героев Гомера.

¹ Жеманниц (*франц.*).

² «Смешные жеманницы» (*франц.*).

Нам нужно только, как говорит Лир, скинуть с себя все наносное — отложить в сторону фальшивые убеждения и украшения, которые достались нам по наследству от нашей сравнительно искусственной общественной системы, и наши естественные чувства окажутся в полном соответствии с чувствами хиосского барда и героев, живущих в его эпосе. Так же обстоит дело и со многими повестями моего друга мистера Купера. Мы сочувствуем его индейским вождям и жителям девственных лесов и находим в его персонажах ту же правду человеческой природы, которая действовала бы и на нас, если бы мы были поставлены в такие же условия. Это до такой степени верно, что, хотя трудно и даже почти невозможно принудить дикаря, с юных лет воспитанного для войны и охоты, к ограничениям и обязательствам цивилизованной жизни, нет ничего проще или обычнее, чем встретить людей, выросших в привычках и удобствах развитого общества, которые охотно готовы сменить их на тяжкие труды охотника и рыболова. Самые развлечения, которых больше всего жаждут и которым больше всего радуются люди всех состояний, если здоровье позволяет им заниматься телесными упражнениями, — это охота, рыболовство и, при известных обстоятельствах, война, то есть те самые естественные и необходимые занятия драйденовского дикаря, который говорит, что он,

Как первобытный человек, свободен

И, как дикарь в лесах, он благороден.

Но хотя занятия и даже чувства первобытных существ и встречают понимание и интерес у более цивилизованных представителей людской породы, из этого еще не следует, что национальные вкусы, мнения и чудачества одного периода цивилизации должны непременно представить такой же интерес или такое же развлечение для другого периода. Обычно, доведенные до крайности, они основываются уже не на естественном вкусе, свойственном человеческому роду, а на возникновении особых преувеличенных представ-

лений, с которыми как человечество в целом, так и новые поколения, в частности, не могут согласиться и которым они не могут сочувствовать. Экстравагантность хлыщей и щеголей как во внешнем облике, так и в поведении является для времени, когда они живут, законным и часто эффектным объектом сатиры. В доказательство сошлемся на театральных критиков, которые могут каждый сезон наблюдать, как многочисленные *jeux d'esprit*¹ прекрасно принимаются публикой, потому что сатирик метит в общеизвестную или модную нелепость (как говорится, он каждой своей репликой «убивает глупость наповал»). Но, когда эта нелепость выходит из моды, тратить заряды остроумия и насмешек на то, чего уже не существует, значит расходовать порох попусту. И пьесы, в которых высмеиваются подобные забытые нелепости, тихо исчезают вместе с когда-то модными претензиями, или если они еще появляются на сцене, то только потому, что им присущ и иной, более прочный интерес, чем тот, который связывал их с манерностью и жеманством определенной эпохи.

В этом, вероятно, кроется причина, почему комедии Бена Джонсона, основанные на особом расчете или, как тогда говорили, «на издевке», под чем подразумевались нелепые, чудаковатые образы, действующие наряду с обычными человеческими характерами, несмотря на едкую сатиру, глубокую ученость и значительность смысла, не возбуждают теперь всеобщего восторга и осуждены на вечное хранение в кабинете антиквария. Но исследования историка убеждают, что персонажи, созданные воображением драматурга, являлись в свое время (хотя теперь уже не являются) живыми портретами, списанными с натуры.

Возьмем другой пример, подтверждающий нашу мысль, в творениях самого Шекспира, который, более чем какой-либо иной автор, создавал свои образы для вечности. При всем благоговейном уважении к этому имени большинство читателей без особого удовольствия знакомятся с теми его персонажами, которые

¹ Остроты (франц.).

воплощают модное для своего времени сумасбродство. Широким кругам публики не слишком нравятся эвфуист дон Армадо, педант Олоферн и даже Ним и Пистоль, ибо это все портреты с уже исчезнувших оригиналов и чудачества их до нас теперь не доходят. И если страдания Ромео и Джульетты продолжают и сейчас трогать все сердца, образ Меркуцио, который представляет собою точное изображение изысканно-светского человека своей эпохи (и поэтому был единодушно одобрен современниками), так мало интересен для нас теперь, что, если отнять у него все словесные остроты и каламбуры, он сохраняет право на внимание зрителей только благодаря своему изящному и поэтическому монологу о снах, который не относится ни к какому времени, и благодаря тому, что это — персонаж, необходимый для развития сюжета.

Мы, пожалуй, слишком далеко зашли в рассуждении, имевшем целью доказать, что введение в действие романа юмористического героя, подобного Пирси Шафтону, все поведение которого зиждется на некогда модных, а ныне устарелых и забытых причудах, скорее способно отвратить читателя своей неестественностью, чем дать ему повод для смеха. Благодаря ли этой теории или, возможно, по более простой и вероятной причине, а именно неспособности автора должным образом реализовать свой замысел, грозное возражение: «*incredulus odi*»¹ последовало как в отношении Белой дамы Эвенелов, так и эвфуиста. И если второго осудили за неестественность, то первую отвергли за неправдоподобие.

Мало что оставалось в романе, что могло бы смягчить эти просчеты в двух главных пунктах. События в нем были неумело нагромождены друг на друга. В развитии сюжета не были выделены те обстоятельства, на которых мог бы сосредоточиться главнейший интерес читателя; что же касается заключения, то оно возникало не из того, что происходит в самой повести, а вследствие событий государственного значения, к

¹ Не верю и не терплю (лат.).

которым роман не имеет непосредственного отношения и о которых читателю мало что известно.

Все это если и не представляло собою безусловного порока, однако было существенным недостатком романа.

Правда, в пользу непосредственно-очевидного и менее искусственного заключения повествования можно привести не только проверенный опыт многих выдающихся писателей, но и общий ход самой жизни. Редко бывает, чтобы те же лица, которые окружали человека в начальный период его жизни, продолжали принимать в нем участие и позже, после того как в судьбе его наступил перелом. Обычно бывает наоборот, и в особенности тогда, когда события его жизни были достаточно разнообразны и заслуживают того, чтобы с ними ознакомились как другие люди, так и все общество в целом. Большею частью бывает, что последующие знакомые героя совсем не те, с которыми он когда-то вышел в плавание: их он потом оставил далеко за собой, или они сами отошли в сторону, или пошли ко дну во время путешествия. Это достаточно избитое сравнение справедливо и в другом отношении. Многочисленные и разнообразные корабли, вышедшие в плавание по бурному океану в самых разных направлениях, хотя и стремятся каждый придерживаться своего особого курса, все же, в общем, больше зависят от ветров и приливов, оказывающих свое действие на всем пространстве водной стихии, по которой они плывут, чем от своих собственных усилий. И так же бывает и в жизни, когда человек предусмотрительно намечает для себя правильный путь, а какое-либо событие, затрагивающее всех и, может быть, даже все государство, опрокидывает его расчеты, подобно тому как случайное прикосновение могущественного существа обрывает сотканную пауком паутину.

На основе такого понимания человеческой жизни создано много превосходных романов, где герой участвует в целом ряде сцен, в которых рядом с ним возникают и пропадают другие действующие лица, может

быть и не оказывавшие существенного влияния на развитие сюжета. Такова структура «Жиль Бласа», «Родерика Рэндома» и описание жизни и приключений многих других героев, которых автор проводит через различные жизненные перипетии и заставляет претерпевать различные приключения, связанные между собою только тем, что всюду участвует один и тот же человек, личность которого только и объединяет друг с другом отдельные эпизоды, подобно тому как бусы нанизываются на один шнурок — иначе они бы рассыпались.

В жизни чаще всего встречаются подобные, ничем не связанные между собой происшествия, но поскольку романист создает произведения искусства, от него требуется нечто большее, чем только соответствие жизненной правде. Ведь мы требуем от ученого садовника, чтобы он устраивал необыкновенные клумбы и искусственные партеры из цветов, которые «милостивая природа» щедро рассыпает по холмам и долам. Соответственно Филдинг в большинстве своих романов, и особенно в «Томе Джонсе», своем шедевре, дал великолепный образец логичного построения рассказа, крепко связанного во всех своих частях, рассказа, в котором ни одно событие и почти ни одно действующее лицо не осталось в стороне от подготовки развязки.

Требовать от других авторов, которые могут пойти по следам прославленного романиста, такой же правильности и мастерства означало бы уж очень связать их дар увлекательного изложения жесткими правилами; ведь именно к этому виду беллетристики особенно применимы слова: *Tout genre est permis, hors le genre ennuyeux*.¹ И все же чем более сжато и умело построено повествование и чем естественнее и удачнее развязка, тем ближе такое произведение к совершенству в области искусства романа. И не может автор пренебрегать этими элементами композиции, не навлекая на себя соответствующего осуждения.

¹ Все жанры допустимы, кроме скучного (франц.).

Для такого осуждения «Монастырь» дал, пожалуй, слишком много поводов. Сюжет этого романа, не слишком интересный сам по себе и не очень удачно изложенный, в конце концов развязывается началом военных действий между Англией и Шотландией и столь же внезапным возобновлением перемирия. Правда, события такого рода в действительной жизни не так уж редко встречались, но то, что автор прибег к ним, чтобы достичь развязки, как к некоему *tour de force*,¹ возбудило упреки, что сделано это неискусно, да и конец от этого не стал более понятен для широкого читателя.

И все-таки «Монастырь» — хотя и подвергся суровой и справедливой критике, — судя по его довольно широкому распространению, вызвал у публики некоторый интерес. И в этом тоже проявился обычный ход вещей, ибо весьма редко литературная репутация приобретаетс сразу, после первого произведения, и еще реже теряется после одной неудачи. Таким образом, автор получил временное отпущение грехов и возможность, если он пожелает, найти утешение в старинной шотландской песенке:

Если шутка не вышла,
Мы пошутим опять.

Эбботсфорд, 1 ноября 1830 года

¹ Трюку или фокусу (франц.).

ВВОДНОЕ ПОСЛАНИЕ
ОТ ОСТАВНОГО КАПИТАНА
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЕВСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА
ЕЛАТТЕРБАКА АВТОРУ «УЭВЕРЛИ»

Сэр!

Отнюдь не притязая на лестное знакомство с вами и пребывая, подобно многим, в полной для вас неизвестности, я все же с интересом слежу за изданием сочинений ваших и жажду их продолжения — не потому, однако, что мнѹ себя знатоком по части литературного вымысла, либо расположен близко принимать к сердцу излагаемые вами мрачные происшествия или забавляться тем, что было задумано ради увеселения читателей.

Не скрою от вас, что последнее свидание Мак-Ивора с сестрой нагнало на меня зевоту, а когда школьный учитель стал читать вслух шуточки Дэнди Динмонта, я заснул уж по-настоящему. Вы видите, сэр, что хоть я и желаю заручиться вашим расположением, но отвергаю путь, на который иногда вступаете вы. Если прилагаемые к сему записки ничего не стоят, я не стану навязывать их вам с помощью лести, подобно плохому повару, который несвежую рыбу приправляет прогорклым маслом. Нет, сэр! Для меня

ценность ваших сочинений заключается в том, что они проливают некоторый свет на древнюю историю страны — науку, которую я начал изучать уже не в первой молодости, но со всем пылом первой любви, ибо в моих глазах только эта наука чего-то стоит.

Прежде нежели вы ознакомитесь с историей моей рукописи, сэр, я изложу вам свою личную историю (на три тома ее не станет). Вы имеете обыкновение в авангард каждого подразделения прозы отряжать по несколько стихотворных строчек (надо полагать — в качестве застрельщиков), и тут я весьма кстати набрел в томике Бернса, взятом у школьного учителя, на строфу, которая как будто про меня написана. Эти строчки нравятся мне тем более, что они были в свое время посвящены капитану Гроузу, превосходному антикварию, который, однако, подобно вам, был склонен слишком легкомысленно судить о своих собственных трудах:

Солдатом был он чуть не с детства,
И смерть он предпочел бы бегству,
А ныне меч и ранец сдал
В архив недаром,
И, как его бишь там, вдруг стал
Он антикваром.

Я никогда не мог понять, какие побуждения руководили мною, еще подростком, при выборе ремесла. Во всяком случае, не воинскому усердию и пылу обязан я добытым у шотландских стрелков офицерским чином, в то время как все мои опекуны и попечители прочили меня в ученики старому Дэвиду Стайлсу, чиновнику канцелярии его величества. Повторяю, воинским усердием я не отличался, сам драчуном не был и ни в грош не ставил жизнеописания героев, которые в прошлые века опрокидывали весь мир вверх тормашками. Что до мужества, то я впоследствии обнаружил, что обладаю им лишь в нужной мере, и ни капель больше. Просто я убедился, что в схватке удирать опаснее, чем оставаться лицом к лицу с врагом. Да и, кроме того, не мог же я рисковать своим офи-

церским чином, который был для меня главным источником существования. Что же касается кипучей отваги, о которой зачастую толкует наш брат военный, то я должен сказать: сей самозабвенный доблестный задор, заставляющий рваться за Опасностью, как за возлюбленной, мне на поле брани встречался не так уж часто, и мой собственный воинский кураж был куда осмотрительнее.

Теперь о страсти к красному мундиру, которая, будучи единственной силой, побудившей человека выбрать военную карьеру, породила множество плохих солдат и мало хороших, — этой страсти у меня и в помине не было. Вовсе равнодушно относился я и к обществу молодых девиц: хотя в нашей деревне был пансион и с хорошенькими воспитанницами мы встречались на еженедельных уроках танцев у Саймона Лайтфута, я не могу вспомнить ни одного сколько-нибудь сильного чувства, связанного с этими встречами, кроме глубочайшего сожаления, с которым я каждый раз в финале учтиво вручал своей даме апельсин (назрочно для сей церемонии засунутый мне в карман моей тетушкой). Будь я посмелее, апельсин без сомнения оказался бы припрятанным для моей собственной персоны.

Что касается тщеславия или любви к щегольству, скажу, что эти чувства мне настолько чужды, что немалых трудов всегда стоило заставить меня хорошенько вычистить мундир, дабы появиться в безукоризненном виде на параде. Никогда не забуду замечания, которое мне сделал старый полковник однажды утром, когда король производил смотр нашей бригаде.

— Видит бог, я не поощряю расточительности, прапорщик Клаттербак, — сказал он, — но в день, когда мы представляемся его величеству, я бы постарался быть при чистом воротнике.

Таким образом, обычные побуждения, которыми руководствуются молодые люди, избирая военную карьеру, для меня не существовали — никакой склонности стать героем или франтом я не испытывал, так что воодушевить меня на подобное решение мог только пример блаженно безмятежного существования от-

ставного капитана Дулитла, водрузившего свой флагшток отдохновения в нашей деревне. Все прочие жители наших мест имели (или так по крайней мере казалось) определенные занятия, — у кого их было больше, у кого меньше. Правда, они не должны были ходить в школу и готовить уроки, что в моих глазах было тягчайшим из зол, но от моей юношеской наблюдательности не могло укрыться, что все они томятся под игом каких-то трудов и обязанностей — все, кроме счастливого капитана Дулитла.

Священник должен был посещать своих прихожан и сочинять проповеди, — хотя, может статься, он преувеличивал свою занятость. Лэрду хватало беготни по полям и возни с новшествами в сельском хозяйстве, не считая обязательного участия в собраниях попечителей, в собраниях должностных лиц, мировых судей и в разных других собраниях, так что он рано вставал (этого я терпеть не мог) и болтался под открытым небом, мокрый или сухой, так же долго, как его управляющий. Лавочник (наше местечко могло похвалиться только одним значительным деятелем этой профессии) чувствовал себя довольно вольготно за прилавком — угождать покупателям не такой уж утомительный труд. Но для отправления своей должности, как выражается наш судья, он должен был перерывать все свои товары сверху донизу, да по нескольку раз, если кто-нибудь желал приобрести хоть один ярд муслина, мышеловку, унцию тмину, пачку шпилек, «Проповеди» мистера Педена или «Жизнь Джека — укротителя великанов» (а не «истребителя», как сплошь и рядом ошибочно называется и пишется сие произведение, — смотри мой очерк о подлинной жизни достойного Джека, которую на удивление исказили разными побасенками).

Короче говоря, все местные жители принуждены были делать то, что предпочли бы не делать, и только капитан Дулитл каждое утро прохаживался по главной улице местечка в своем голубом мундире с красным воротником, а каждый вечер просиживал за партией виста, если ему удавалось найти партнеров. Сие счастливое отсутствие всяких обязанностей каза-

лось мне столь заманчивым, что оно, как говорит наш священник, по системе Гельвеция стало основной силой, направившей мои юношеские склонности к профессии, каковую мне суждено было избрать.

Но кто же, скажите, может предвидеть все, что с ним случится в нашем обманчивом мире! Совсем недолгое время провел я на новой службе, но успел уразуметь, что если беспечность и независимость пенсионера — суший рай, то офицеру в него не попасть иначе, как через чистилище действительной службы и строгой дисциплины. Капитан Дулитл мог когда ему вздумается чистить щеткой свой голубой мундир с красным воротником или щеголять в пыльном, но у прапорщика Клаттербака подобной свободы выбора не было. Капитану Дулитлу никто не запрещал лечь спать хоть в десять часов, если ему так заблагорассудится, но прапорщик обязан в положенное время делать обход. И хуже всего то, что капитан мог отдыхать на своей походной кровати под пологом хоть до полудня, если ему так угодно, но прапорщик, да поможет ему бог, должен был являться на учение с первым лучом зари.

Службой я себя не обременял. На парадах сержант шепотом подсказывал мне, какую команду подавать, и вот этак, не хуже других, отслужил я положенные годы. И для нелюбопытного человека я по долгу службы повидал всего в избытке — носило меня по всему свету: побывал я и в Ост-Индии, и в Вест-Индии, в Египте и еще в таких отдаленных местах, о каких в молодые годы даже не слыхивал. Французов не только повидал, но и почувствовал. Это видно по отсутствию двух пальцев на правой руке, которые их проклятый гусар отрезал саблей так чистенько, как дай бог хирургу в госпитале. И вот наконец, после смерти какой-то старой тетки, мне достался капитал в полторы тысячи фунтов, надежно пристроенных по три процента годовых, и осуществилась моя заветная мечта выйти в отставку. Я предвкушал удовольствие через день менять сорочку и тратить гинею на пропитание.

Намереваясь по-новому устроить свою жизнь, я поселился в деревне Кеннаквайр, на юге Шотландии, получившей известность благодаря развалинам некогда великолепного монастыря по соседству, — здесь собирался я провести остаток дней моих в *otium cum dignitate*,¹ с пенсией и пожизненной рентой. Вскоре, однако, пришлось мне сделать великое открытие, что наслаждение от безделья тешит человека только при условии, что он предварительно хорошо потрудился.

Поначалу упоительно было просыпаться на расвете и, вспоминая утреннюю зóрю, с блаженством повторять себе, что рабство кончилось и я уже не должен вскакивать и бежать сломя голову из-за того, что кто-то лупит по воловьей коже! Могу повернуться на другой бок, послать парад к черту и снова заснуть! Но и этому наслаждению наступил конец: не успел я стать полновластным хозяином своего времени, как оно мертвым грузом повисло у меня на шее.

В течение двух дней занимался я ужением рыбы и успел потерять штук двадцать крючков, десятки ярдов лесы вместе с удочками и не поймал даже одного пескаря. Об охоте не могло быть и речи — лошадиное брюхо никак не мирится с половинной пенсией. Стоило мне пальнуть, как пастухи, хлебопашцы и даже мой собственный пес в открытую насмеялись над каждым промахом, которых было, честно говоря, столько же, сколько выстрелов. Кроме того, тамошние лэрды сами любят свою дичь — стали они поговаривать об исках да о запрещениях. А ведь я не для того бросил воевать с французом, чтобы затевать баталии с «красавчиками из Тевинтдейла», как поется в песне, и потому я кончил тем, что в течение трех дней с увлечением чистил свое ружье и затем с помощью двух крюков укрепил его над камином.

Успех последней операции побудил меня испытать свою сноровку в области прикладной механики. Я снял со стены и принялся чистить старинные часы с кукушкой, принадлежащие моей квартирной хозяйке, после

¹ Отдохновении с почетом (лат.).

чего весенняя вещунья навсегда разучилась куковать. Мне удалось собрать токарный станок, но когда я начал на нем работать, едва не отхватил стамеской еще один палец, уцелевший от встречи с французским гусаром.

Попробовал я заняться книгами, заимствуя их из маленькой местной библиотеки и из фонда «Любителей серьезного чтения», основанного более просвещенными нашими согражданами. Однако ни легкая книжная кавалерия из первого источника, ни тяжелая артиллерия из второго не оправдали моих чаяний. На четвертой или пятой странице исторического труда или ученого трактата я неизменно засыпал; чуть не целый месяц упорно вчитывался я в какой-то дрянной, выскочивший из переплета роман, которого дожидались все полуграмотные модисточки Кеннаквайра, осаждающая меня просьбами поскорее вернуть его в библиотеку. Так и получилось, что в течение целого дня, пока все обитатели деревни занимались кто чем, я от нечего делать бродил, посвистывая, по кладбищу и ждал обеда.

Во время этих прогулок развалины монастыря неотступно пленяли мое воображение, и постепенно, начав с созерцания отдельных частей орнамента, я стал изучать общий вид величественного строения. Старый кладбищенский сторож помогал мне, рассказывая все, что он затвердил из монастырских преданий. С каждым днем набирал я все больше сведений о былом виде аббатства, и наконец мне удалось открыть назначение нескольких полуразрушенных зданий, о которых толком ничего не было известно, а если находились объяснения, то они были ошибочны.

Нередко мне представлялась возможность пересказывать добытые мною сведения тем приезжим, которые, путешествуя по Шотландии, посещали сие достопримечательное место. Нисколько не посягая на права и привилегии моего приятеля — кладбищенского сторожа, я незаметно превратился в чичероне номер два, и часто (видя, что прибывает новая партия путешественников) сторож передавал мне группу тех,

кому он не успел до конца рассказать все, что знал, со следующими лестными словами:

— Надо бы вам еще кой-чего порассказать, да всего не упомнишь. Вот капитан — он куда больше моего знает. Да и поболее любого в окрúге.

После этого я учтиво раскланивался с приезжими и начинал обрушивать на их ошеломленные головы всевозможные рассуждения о склепах и алтарях, неффах, арках, готических и римских архитравах, средниках и контрфорсах. И нередко приятельские отношения, начавшиеся в развалинах аббатства, завершались в гостинице, что приятно нарушало мое одиночество и однообразие бараньей грудинки, которую квартирная хозяйка мне неизменно подавала сначала в жареном, затем в холодном и наконец в изрубленном виде.

Знания мои постепенно росли, а тут еще я набрел на несколько книг, которые открыли передо мной историю готической архитектуры, и я принялся читать их с увлечением, потому что интересовался тем, что читал. Даже характер стал у меня смелее и общительнее. Я стал выражать свои мнения в клубе с бóльшей уверенностью, и слушали меня как-то почтительнее, потому что по крайней мере в одной области у меня оказывалось побольше знаний, чем у всех остальных членов клуба. Мне даже казалось, что мои воспоминания о Египте, которые, по правде говоря, не так уж занимательны, теперь выслушивались с заметным почтением.

— Наш капитан, — говорили в клубе, — если разобратся, кое-что смыслит. Поищи-ка, кто бы больше знал про наше аббатство!

Общие похвалы как нельзя лучше влияли на мое настроение и на крепнущее чувство собственного достоинства. У меня появился прекрасный аппетит и завидное пищеварение, с веселыми мыслями ложился я спать и наслаждался сном до самого утра, когда, сознавая важность своих занятий, спешил изучать, измерять и сравнивать между собой различные части величественного сооружения.

Исчезли все тягостные и неудобоописуемые ощущения, связанные с недомоганиями в области желудка, а также головные боли, из-за которых я постоянно прибегал к лекарствам, пожалуй с большей пользой для местного аптекаря, нежели для себя, ибо лечился я скорее для развлечения. Теперь нежданно-негаданно нашлось занятие, которое заполнило мое время и сделало меня счастливым — шутка ли, я стал первым местным антиквариером и, можно сказать, был достоин сего наименования.

Однажды вечером, в ту пору, когда я с великим удовольствием пребывал в должности вечно занятого бездельника — это определение мне представляется самым лучшим, — случилось так, что я сидел в маленькой гостиной, примыкающей к каморке, которую хозяйка именует моей спальней, и уже подумывал об отступлении в царство Морфея. На столе передо мной лежал взятый из Э*** библиотеки дагдейловский «Монастикон», к которому с одного фланга примыкал кусок превосходного честерского сыра (подарок, кстати сказать, одного лондонца, весьма порядочного человека, которому я растолковал разницу между готической и римской аркой), а с другого — кружка лучшего вандерхагенского эля. Вооружившись таким образом, чтобы меня не мучил старый враг мой — Досуг, я с ленивой и сладостной медлительностью готовился отойти ко сну — то жуя хлеб с сыром, то обращаясь к старичку Дагдейлу, то смакуя эль; при этом я потихоньку распускал у колен шнурки моих штанов и расстегивал жилетку, дожидаясь, чтобы церковные часы пробили десять, раз уж я поставил себе за правило никогда ранее не ложиться спать.

На этот раз обычный ход событий был прерван громким стуком в дверь, и снизу послышался густой бас почтенного хозяина гостиницы «Святой Георгий». ¹

¹ Эта гостиница была и остается до сих пор главной гостиницей Кеннаквейра, или Мелроза. Но тогдашний ее хозяин был далеко не такой обходительный и скромный человек, как нынешний. Первого хозяина звали Дэвид Кайл. Это был зажиточный землевладелец, человек, который любил задавать тон и участвовать в решении всех вопросов, касавшихся деловой жизни ме-

— Что за чертовщина, миссис Гримслиз! Не может быть, чтобы капитан был в постели! У меня джентльмен заказал курицу, мясные битки, бутылку хереса и велел пригласить капитана отужинать с ним, чтобы он ему выложил все, что он там знает про аббатство.

— Еще бы, — ответствовала хозяйка Гримслиз таким сонным голосом, каким разговаривает шотландская матрона, когда вот-вот пробьет десять часов. — Он не в постели, но могу поручиться, что на ночь глядя никуда не выйдет и не заставит ждать себя до утра, — он человек порядочный, наш капитан!

Мне было нетрудно сообразить, что последний комплимент предназначался для моих ушей, дабы я внял указанию и совету миссис Гримслиз. Но не для того швыряла меня судьба тридцать с лишним лет по разным странам, не для того лелеял я всю жизнь свободу холостяка, чтобы, вернувшись на родину, очутиться под пятой квартирной хозяйки. И, со свойственной мне независимостью, я открыл дверь на лестницу и попросил моего старого друга Дэвида пройти ко мне наверх.

— Капитан, — сказал он, входя в комнату, — я так рад, что вы еще не легли, как будто подцепил на крючок лосося этак фунтов на двадцать. Там у меня оставился джентльмен, который не сомкнет глаз и не найдет благословенного покоя, если вы лишите его удовольствия выпить с вами стаканчик винца.

— Мне не надо вам объяснять, Дэвид, — возразил я со всем приличествующим для данного случая достоинством, — что мне не к лицу в столь поздний час выходить из дому для нанесения визита посторонним лицам или принимать приглашения от господ, о которых мне ничего не известно.

Прежде чем ответить, Дэвид с чувством выругался.

стечка. Бедняга Дэвид! Подобно многим деловым людям, он отдавал столько душевных сил общественным нуждам, что подчас забывал о собственных. В Кеннаквейре еще можно встретить людей, которые в моем трактиршике узнают Дэвида Кайла и особенности его характера. (*Прим. автора.*)

— Слышанное ли это дело! — воскликнул он. — Да ведь джентльмен заказал на ужин курицу, яичный соус, битки да еще блины и бутылку хереса... Неужто я пришел бы звать вас к такому англичанину, который берет на ужин гренки с сыром и стакан горячего рома пополам с водичкой? Нет, это истый джентльмен, до мозга костей, и знаток, настоящий знаток! Костюм на нем темный, добротный, и парик завит не хуже, чем задок у породистой овцы. Первый свой вопрос он мне ввернул насчет старого подъемного моста, что уж больше чем двести лет лежит на дне реки. Остатки от фундамента уцелели, я их видел, когда мы били лососей. Но как он, черт его возьми, мог пронюхать да вызнать про этот старый мост? Видать, знаток он, не иначе как знаток.

Дэвид сам был в своем роде знатоком, знал толк и в хозяйственных и в правовых вопросах и умел судить о своих постояльцах, так что мне надо было, уже не раздумывая, снова затягивать шнуры у колен.

— Правильно делаете, капитан, — загудел Дэвид, — вы быстро подружитесь с ним, стоит вам встретиться. Такого джентльмена я сам не видел с тех пор, пожалуй, как наш знаменитый доктор Сэмюел Джонсон совершал свое путешествие по Шотландии — знаете, это путешествие с оторванным переплетом, которое лежит у меня на столе в гостиной для развлечения гостей?

— Так этот джентльмен из ученого сословия, Дэвид?

— По всей видимости, — ответил Дэвид. — На нем черный сюртук или, на худой конец, темно-коричневый.

— Священник?

— Полагаю, что нет, потому он первым делом распорядился покормить коня, а после уж заговорил про ужин, — ответил хозяин «Святого Георгия».

— Есть у него слуга? — продолжал я.

— Слуги нет, — ответил Дэвид, — но сам он с лица такой представительный, что каждый только глянет на него — и сразу услужить ему захочет.

— А что ему вздумалось меня потревожить? Ах, Дэвид, это все ваша болтовня наделала. Вечно вы спихиваете своих гостей мне, как будто я обязан развлекать всякого, кто останавливается в вашей гостинице.

— А мне, черт возьми, что оставалось делать-то, по-вашему, капитан? — возразил трактирщик. — Вот заезжает ко мне джентльмен и спрашивает и допытывается, есть ли у нас в местечке человек умный да знающий, чтобы порассказать ему про все древности тут по соседству, особенно про старое аббатство. Неужто вы бы хотели, чтобы я этому джентльмену чего-нибудь наврал? А ведь вы хорошо знаете, что во всей деревне ни один человек не может ничего путного сказать об аббатстве — только вы да церковный сторож, но тот к вечеру уж языком не ворочает. Вот я и говорю, живет здесь такой капитан Клаттербак, очень воспитанный джентльмен, у него только и дела, что рассказывать разные разности про аббатство, да и живет он в двух шагах. Тогда джентльмен мне и говорит. «Сэр, — сказал он мне со всей вежливостью, — будьте добры, зайдите к капитану Клаттербаку, передайте ему привет от меня и скажите, что я прибыл в эти края ради того, чтобы поглядеть на эти знаменитые развалины. Я бы сейчас же явился к нему с визитом, но уж больно поздно...» Он говорил еще много кой-чего — я все это позабыл, зато хорошо помню конец: «А вы, хозяин, достаньте бутылку самого лучшего своего хереса и подайте нам ужин на двоих». Не мог же я, как вы полагаете, отказать джентльмену в такой просьбе, притом, что ужин-то заказан в моем заведении!

— Ну, решено, Дэвид, — сказал я. — Лучше, если бы ваш знаток выбрал другое время, но раз вы говорите, что он джентльмен...

— Тут промаха быть не может, да и заказ сам за себя говорит: бутылка хереса, битки, курица — да разве это не речь джентльмена? Правильно, капитан, застегните мундир как следует — ночь сырая, зато вода в реке отсветлеет, и завтра ночью, пожалуй, если пойдем на лодках нашего лорда, я не я буду, если не

представлю вам вечером копченого лососика, как раз под стать вашему элю.¹

Пять минут спустя я уже был в гостинице и встретился с незнакомцем.

Это был серьезного вида человек примерно моих лет (будем считать — около пятидесяти). Облик его, как подметил мой друг Дэвид, действительно внушал каждому собеседнику желание оказать ему внимание или услугу. При этом выражение лица у него было хоть и властное, но совсем не такое, как мне случилось видеть у бригадных генералов, да и платье своим покроем никак не походило на военную форму. Его костюм из темно-серого сукна был довольно старомодным, а такие, как у него, толстые кожаные гетры, что застегиваются по бокам на стальные пряжки, уже давно никто не носил. На лице незнакомца читались следы не только возраста, но горя и усталости; чувствовалось, что человек этот немало повидал и страдал. Манера говорить у него была на редкость приятная и учтивая, а извинение по поводу того, что он в столь поздний час позволил себе обеспокоить меня, было составлено в такой обходительной и изящной форме, что мне ничего не оставалось, как только уверить его в полной готовности сделать для него все, что в моих силах.

— Сегодня я весь день был в дороге, сэръ, — сказал он, — и посему мне хотелось бы несколько отложить то небольшое, что я хотел вам сказать, и сперва заняться ужином, до которого я разохотился больше обычного.

Мы сели к столу, и, несмотря на будто бы внушительный аппетит незнакомца и невзирая на то, что я дома несколько заправился сыром и элем, мне думается, что из двух едоков я оказал бóльшую честь курице и биткам моего друга Дэвида.

¹ Доброжелательный и любезный дворянин, которому принадлежали эти лодки, — близкий друг автора, покойный лорд Соммервил. Дэвида Кайла всегда приглашали сопровождать лорда, когда тот с друзьями отправлялся бить лососей, и тогда им случалось вылавливать между Глимером и Лидерфутом до восьмидесяти и даже до сотни рыбин. (*Прим. автора.*)

Когда убрали со стола и мы налили себе по бокалу глинтвейна, который трактирщики величают хересом, а посетители просто лиссабонским, мне бросилось в глаза, что незнакомец стал задумчивее, молчаливее, стеснительнее, как будто ему нужно сообщить мне что-то важное, но он не знает, с чего начать. Чтобы вывести его из затруднения, я заговорил о древних руинах монастыря и об их истории. Но, к великому моему изумлению, оказалось, что я встретил в его лице знатока археологии куда более сведущего, чем я сам. Незнакомец знал не только все, что я мог ему рассказать, но и гораздо больше, и, что самое обидное, он, ссылаясь на даты, хартии и другие фактические данные, которые, по выражению Бернса, «попробуй-ка оспорить», сумел внести исправления во многие неясные сказания, которые я принял на веру, основываясь на недостоверных народных преданиях; кроме того, он в пух и в прах разнес несколько моих излюбленных теорий касательно стародавних монахов и их обитателей, — теориями этими я щеголял в полной уверенности, что мои сведения неопровержимы.

Считаю необходимым заметить, что многие аргументы и выводы незнакомца в значительной степени основывались на авторитете и трудах заместителя шотландского архивариуса,¹ чьи неутомимые исследования в области летописей и народных преданий рано или поздно загубят ремесло всех местных любителей древности, мое в том числе, — предания старины и художественный вымысел уступят место исторической истине. Ах, как хотелось бы мне, чтобы этот ученый джентльмен представил себе, как трудно нам, мелким торговцам по антикварной части,

Из нашей памяти преданье вырвать,
Стереть в мозгу начертанную смуту,
Очистить грудь от пагубного груза...

¹ Томас Томсон, эсквайр, похвальное слово которому должен бы сочинить другой автор, а не его близкий друг, связанный с ним тридцатилетней дружбой. (*Прим. автора.*)

Полагаю, что сам ученый джентльмен разжалобился бы, подумав, скольких старых кобелей он заставил учиться новым фокусам, скольким почтенным попугаям вдолбил новые песни, скольких седовласых филологов перетормошил, тщетно заставляя их забыть старое Mumpsimus и впредь говорить Sumpsimus. Но предоставим все это течению времени. Nutana perpressi sumus.¹ Все изменяется вокруг нас — и век былой, и нынешний, и грядущий. То, что вчера считалось исторически достоверным, сегодня становится басней, и то, что сегодня провозглашается истинной, уже завтра может быть объявлено ложью.

Чувствуя, что в беседе о монастыре, в которой я до сих пор считал себя неуязвимым, перевес может оказаться на стороне противника, я, как хитроумный полководец, покинул свою линию обороны и стал пробиваться туда, где понадежнее, а именно обратился к семьям и имениям местных дворян; мне казалось, что тут я смогу еще долго обороняться от вылазок противника, сохраняя за собой преимущество. Но ошибся.

Человек в темно-сером костюме обладал гораздо более точными сведениями, чем я, знал подробности, которых я и не стремился запомнить. Он мог без записки указать, в каком году предки баронов де Хага впервые водворились в своем родовом поместье.² Он знал не только каждого тана во всей округе, его родичей и свойственников, но еще помнил наперечет, кто из предков каждого тана пал от руки англичан, кто сложил голову в буйной драке, кто был казнен за измену престолу. Все замки по соседству были ему известны от фундамента до башенки, а что до нескольких древнейших сооружений, уцелевших в наших местах, так он мог бы описать каждое из них от кром-

¹ Мы претерпели то, что свойственно людям (лат.).

² Род де Хага, впоследствии изменивший свое имя на Хейг из Бимерсайда, является одним из древнейших в стране, и о нем было сложено пророчество Томаса Стихотворца:

Как бы то ни было оно,
Хейг будет Хейгом все равно.

(Прим. автора.)

леха до кэрна и изложить их историю, как будто жил тут во времена датчан или друидов.

Оказавшись в унижительном положении человека, который принужден учиться у своего предполагаемого ученика, я понял, что мне ничего не остается, как, по крайней мере для будущих бесед, постараться запомнить побольше из того, что он рассказывает. Все же в качестве прощального залпа, который должен был прикрыть мое отступление, я рискнул пересказать ему поэму Аллана Рэмзи о монахе и мельничихе. Но и на этот раз всезнающий незнакомец обошел меня с фланга.

— Вы, видно, любите шутить, сэр, — сказал он. — Мыслимое ли дело, чтобы вы не знали, что смехотворный казус, о котором вы говорите, явился сюжетом для рассказа задолго до того, как Аллан Рэмзи написал свою поэму.

Я кивнул головой, не желая признаваться в невежестве, хотя об упомянутом рассказе знал не больше, чем любая из почтовых лошадей моего друга Дэвида.

— Я не имею в виду любопытную поэму «Берикские монахи», — продолжал мой просвещенный собеседник, — которая была опубликована Пинкертоном на основе Мейтлендовой рукописи, хотя она и дает детальную, весьма занятую картину шотландских нравов в царствование Иакова Пятого. Я желал бы напомнить о том итальянском писателе, который, насколько мне известно, первый облек в литературную форму этот сюжет, без сомнения заимствованный им из какого-нибудь старинного фаблио.¹

— Да, несомненно, — подтвердил я, не слишком уясняя себе мнение, к которому столь категорически присоединялся.

— При всем этом меня занимает вопрос, — промолвил приезжий, — решились ли бы вы позабавить

¹ Любопытно проследить за тем, как малоизобретательны последующие поколения в придумывании забавных ситуаций. Тема, которую с успехом разработали Рэмзи и Данбар, является сюжетом современной пьесы «Нет песни, нет и ужина». (Прим. автора.)

меня этим анекдотом, если бы назначение и звание мое были вам известны?

Он сказал это самым безобидным тоном. Я настояжился и ответил со всей вежливостью, что только полнейшее неведение относительно его сословия и звания могли быть причиной неприятности, которую я ему, как видно, доставил, и что я почитаю своим долгом просить прощения за непреднамеренную обиду, как только узнаю, в чем она заключалась.

— Обиды не было, сэр, — возразил он. — Обида возникает только в том случае, когда сам человек чувствует себя обиженным. Я слишком долго страдал от гораздо более оскорбительных и запутанных хитро-сплетений, так что не могу обидеться из-за распространенного в народе анекдота, даже если он направлен против моей профессии.

— Должен ли я из ваших слов сделать вывод, что беседую с католическим священником?

— С недостойным монахом ордена святого Бенедикта, — сказал приезжий. — Эта община была когда-то основана вашими соотечественниками во Франции, но, к великому прискорбию, революция рассеяла нас по свету.

— В таком случае вы исконный шотландец, — спросил я, — и родом из здешних мест?

— Не совсем так, — ответил монах. — Я шотландец только по происхождению и в этих местах ни разу в жизни не был.

— Ни разу не были и, однако, так точно осведомлены об истории нашего края, наших преданий? Даже все окрестности знаете! Вы удивляете меня, сэр! — воскликнул я.

— Ничего удивительного в этом нет, — ответил он, — если принять во внимание, что мой дядя, человек редкой души, настоящий шотландец и глава нашей общины, отдавал много свободного времени, рассказывая мне эти подробности о своей родине. А я сам питал отвращение ко всему, что меня окружало, и в течение многих лет не знал лучшего времяпрепровождения, чем приводить в порядок и перечитывать различные обрывки сведений, записанные со слов моего

почтенного родича и других старейших братьев нашего ордена.

— Прошу вас, сэр, не счесть мой вопрос назойливостью, но я полагаю, что вы, вероятно, воротились сейчас в Шотландию, дабы поселиться на родине, поскольку от недавней и грозной политической катастрофы так сильно поредели ваши ряды?

— Нет, сэр, — возразил бенедиктинец, — у меня иные намерения. Некий известный в Европе вельможа, доньше исповедующий католическую веру, предложил нам в своих владениях пристанище, где уже собрались несколько рассеявшихся по белу свету братьев, дабы молиться за покровителя и испрашивать у господина прощения врагам своим. В этом новом убежище никто, я думаю, не сможет упрекнуть нас в том, что размер доходов наших не соответствует монашеским обетам нищеты и воздержания; мы же научимся благодарить всевышнего за избавление от мирских соблазнов.

— Многие из ваших монастырей в других странах, — сказал я, — получали весьма порядочные доходы, и все же, если принять во внимание различие эпох, вряд ли любой из них был богаче, чем монастырь в Кеннаквайре. Говорят, что наш монастырь собирал в год около двух тысяч фунтов одной земельной ренты, имел больше пятисот бушелей пшеницы, две тысячи бушелей ячменя, полторы тысячи бушелей овса, множество каплунов и всякой другой птицы, масло, соль, оброк и барщину, торф и яйца, шерсть и эль.

— Даже чересчур много всех этих бранных благ, сэр, — ответил мой собеседник. — Благочестивые жертвователи руководствовались самыми благими намерениями, но их дары пробудили зависть у тех, кто впоследствии подверг монастырь разграблению.

— Что ни говори, а покамест монахам совсем неплохо жилось тут, — заметил я, — и, как говорится в старинной песне, они

...готовили себе капусту
По пятницам в посту.

— Понимаю вас, сэр, — сказал бенедиктинец. — Недаром есть пословица: кто полную чашу несет, хоть капельку да прольет. Монастырские богатства разжигали всеобщую жадность, ставили под угрозу жизнь и безопасность монахов. И это бы еще полбеда — зачистую богатства эти являлись искушением для самой братии. Но вместе с тем мы знаем случаи, когда монастырские доходы тратились на вспомоществования, и на приют для нуждающихся, и на поддержку трудов, являющих широкий и непреходящий интерес для всего мира. Драгоценное собрание сочинений французских историков, начатое в тысяча семьсот тридцать седьмом году под наблюдением и на средства общины святого Мавра, будет служить в веках доказательством того, что доходы бенедиктинцев не всегда тратились на самоублажение и что не все члены монашеского ордена, формально выполнив обязанности, налагаемые на них уставом, погрязали в лени и праздности.

Не имея в те времена ни малейшего представления об общине святого Мавра и ее ученых трудах, я мог только пробормотать несколько слов, выражающих согласие с мнением собеседника. Впоследствии мне довелось увидеть это драгоценное собрание в библиотеке одной знатной семьи, и, должен признаться, мне было стыдно, что в столь богатой стране, как наша, не было предпринято подобного издания отечественных историков, хотя оно могло быть выпущено в свет под наблюдением знатных и ученых людей, дабы соперничать с французским, каковое парижские бенедиктинцы опубликовали на средства своего ордена.

— Я вижу, — с улыбкой заметил бывший монах, — ваши еретические предрассудки так сильны, что вы не хотите признать за нами, смиренными братьями, никаких заслуг — ни литературных, ни духовных.

— Вовсе нет, сэр, — возразил я. — Поверьте, что мне в молодости монахи сделали много добра. Во время кампании тысяча семьсот девяносто третьего года я был на постое в монастыре во Фландрии, и никогда мне не жилось так приятно и беззаботно, как там. Да, они любили жизнь, эти фламандские каноники, и с большим сожалением покинул я их госте-

приимный кров, зная, что почтенные хозяева мои попадут в лапы санкюлотам. *No fortune de la guerre!*¹

Бедный бенедиктинец опустил глаза и замолк. Нисколько этого не желая, я разбередил в его душе горестные воспоминания или, вернее, неосторожно коснулся струны, которая, будучи задета, долго не затихает. Но он, видно, так свыкся с этими горькими мыслями, что уже не давал им власти над собой. И я, со своей стороны, поторопился загладить невольную неловкость.

— Если при поездке сюда у вас была какая-нибудь цель, — сказал я, — и я мог бы без ущерба для собственной совести помочь вам, мне хотелось бы предложить свои услуги. — Признаюсь, я несколько подчеркнул выражение «без ущерба для собственной совести», так как чувствовал, что мне, доброму протестанту, пенсионеру, получающему от правительства половинный оклад жалованья, не пристало впутываться в какие бы то ни было розыски или вербовки, учиняемые бенедиктинцем в интересах иностранных духовных семинарий, равно как и помогать в чем-либо папистам, которых — безотносительно к тому, является ли римский папа блудницей вавилонской или нет, — мне не полагается ни поддерживать, ни поощрять.

Мой новый друг поспешил рассеять мои сомнения.

— Я хотел просить вас о помощи, сэр, — сказал он, — в таком деле, которое должно увлечь вас, как антиквария и человека с пытливым умом. Предваряю вас, однако, что оно касается исключительно таких событий и лиц, от коих мы отделены двумя с половиной столетиями. Я слишком много выстрадал от бурных потрясений в стране, где я родился, чтобы опрометчиво затевать смуты в стране моих предков.

Я уверил его в моей готовности помогать ему во всем, что не противоречит моей присяге или религии.

— Мое дело, — сказал он, — не повредит вашим обязанностям. Да хранит господь ныне здравствующую в Британии королевскую семью. Она, правда, не принадлежит к династии, за воцарение которой тщетно

¹ Воинское счастье переменчиво! (франц.)

боролись и страдали мои предки, но провидение, которое возвело на престол нынешнего короля, даровало ему добродетели, необходимые для нашего времени, — твердость, неустрашимость, истинную любовь к своей стране и прозорливое понимание опасностей, ей угрожающих. О религии, господствующей в стране вашей, скажу только, что довольствуюсь упованием на высшую силу, которая в своих таинственных предначертаниях отторгла ее от истинной церкви, но впоследствии в благое время и благим путем возвратит ее в священное лоно. А усилия отдельного человека, такого безвестного и ничтожного, как я, могли бы только замедлить, но никак не ускорить наступление сего многочисленного события.

— Разрешите в таком случае осведомиться, сэръ, — спросил я, — что привело вас в нашу страну?

Прежде чем ответить, мой собеседник вынул из кармана сплошь исписанную, как мне показалось, тетрадь такого примерно формата, как бывают книги приказов по полку. Придвинув к себе поближе одну из свечей (Дэвид, в знак уважения к приезжему, расщедрился и зажег две), монах погрузился в чтение записей.

— Среди развалин западного крыла монастырской церкви, — начал он, смотря на меня, но временами, чтобы не ошибиться, заглядывая в приоткрытую тетрадь, — под обвалившейся аркой сохранилась часовенка и рядом с ней — полуразрушенная готическая колонна, когда-то поддерживавшая великолепный свод, обломки которого сейчас завалили все западное крыло.

— Кажется, я знаю, — сказал я, — о чем вы говорите. Не там ли, в боковой стене этой часовенки, находится большой камень с высеченным на нем гербом, который до сих пор никем не разгадан?

— Вы правы, — сказал бенедиктинец, сверившись со своей тетрадью, пояснил: — В правой части щита — герб Глендинингов, а именно — рассеченный ломаной линией прямой крест, а в левой — герб Эвенелов с тремя колесиками от шпор; это две древние, сейчас почти вымершие семьи — щит *party per pale*.¹

¹ Разделен надвое вертикальной полосой (англ. и лат.).

— Я начинаю думать, — сказал я, — что со всеми частностями этого древнего сооружения вы знакомы не хуже, чем каменщик, который его строил. Но если ваши сведения верны, то у человека, разобравшего то, что изображено на гербе, глаза гораздо острее моих.

— Его глаза, — ответил монах, — давно смежила смерть, а когда он изучал этот герб, памятник, вероятно, был в лучшем состоянии; а может быть, он почерпнул эти сведения из местных преданий.

— Уверяю вас, — возразил я, — что подобных преданий сейчас не существует. Я не раз пытался вывести у самых старых в округе людей, не знают ли они, что изображено на этом гербе, — и безуспешно. Странно, что разгадку вы нашли в чужой стране.

— Эти незначительные с виду обстоятельства, — сказал приезжий, — в свое время считались крайне важными. Они были священны для изгнанников, которые хранили их в памяти как самое дорогое, чего им уже никогда воочию не увидеть. Точно так же возможно, что на Потомаке или на Саскуиханне можно обнаружить такие предания о различных уголках Англии, какие в родных местах давно позабыты. Но вернемся к моему делу. В тайнике, который скрыт под этим камнем с гербом, хранится сокровище, и я пустился в путь для того именно, чтобы откопать его.

— Сокровище! — отозвался я в изумлении.

— Да, — повторил монах, — неоценимое сокровище для тех, кому ведомо, как им пользоваться.

Признаюсь, у меня при слове «сокровище» зазвенело в ушах и перед глазами возник этакий изящный кабриолет с грумом в лазурной с пурпуром ливрее и в лакированной шляпе с кокардой. Одновременно послышался громкий голос, возвещавший: «Экипаж капитана Клаттербака, да поживее!» Но я устоял против дьявольского искушения и обратил нечистого в бегство.

— Насколько мне известно, — заявил я, — все зарытые сокровища становятся достоянием короля или собственника земли, и мне, отставному капитану королевской пехоты, не пристало участвовать в авантюре, которая может для меня кончиться вызовом в казначейский суд.

— Сокровище, что я ищу, — с улыбкой возразил приезжий, — не вызовет зависти у королей и дворян. Я разыскиваю сердце праведного человека.

— Понимаю вас, — воскликнул я, — это какая-то реликвия, утраченная в треволнениях Реформации. Я знаю, какое сугубое значение придают люди вашего толка мощам и останкам святых. Я сам видел трех царей-волхвов.

— Реликвия, которую я ищу, несколько другого рода, — сказал бенедиктинец. — Достойный родственник мой, о котором я упоминал, считал наивысшим удовольствием в свободные часы записывать предания из истории своей семьи, и главным образом — хронику удивительных происшествий, связанных с первыми проявлениями раскола в шотландской церкви. Он всей душой отдался этому труду и под конец решил, что сердце одного из его предков — героя его повествования — не должно долее оставаться в стране еретиков, ныне оставленной всеми его родичами. Зная, где эта драгоценная реликвия замурована, он принял решение отправиться за ней на родину. Но преклонные лета и болезнь воспрепятствовали его поездке, и на ложе смерти он взял с меня слово, что эту священную задачу я выполню вместо него. Однако весьма значительные события, одно за другим, — разгром нашей общины и изгнание, — вынудили меня в течение многих лет откладывать взятую на себя миссию. Зачем, в самом деле, переносить останки столь святого и достойного человека в страну, где и религия и добродетель стали посмешищем для святотатцев! Но теперь у меня есть обиталище, каковое, льщу себя надеждой, будет постоянным, если есть что-либо постоянное на этой земле. Туда я перенесу сердце праведника и рядом с его гробницей уготовлю могилу для самого себя.

— Это был, как видно, редкостной души человек, — заметил я, — если память о нем спустя столько поколений внушает такое глубокое чувство благоговения.

— Он был, как вы истинно именуете его, редкостной души человек — праведник, — продолжал монах, — он жил самым праведным образом, исповедовал праведное учение, бескорыстно и самоотверженно жертво-

вал всеми благами жизни ради своих убеждений и дружбы. Но вы прочтете историю его жизни. Я буду рад одновременно дать пищу вашей любознательности и показать, как я ценю ваше сочувствие, если вы будете так добры и поможете мне исполнить мой долг.

Я ответил бенедиктинцу, что развалины, в которых он предполагает вести розыски, находятся за пределами мирского кладбища, и, будучи в самых дружеских отношениях с кладбищенским сторожем, я уверен, что смогу помочь гостю привести в исполнение его благочестивые помыслы.

После этого мы пожелали друг другу доброй ночи, а на следующее утро я постарался увидеться со сторожем, который за скромную мзду охотно дал согласие на наши розыски, при непременном условии, впрочем, что он сам будет при них присутствовать, чтобы незнакомец не унес какой-нибудь драгоценности.

— Пусть берет, что ему приглянется, из костей, черепов и сердец, — сказал сей страж разрушенного монастыря, — такого добра там сколько угодно, если он до него падок. Но черт меня побери, если я дам ему увезти что-нибудь из дароносиц или кубков, поповской золотой или серебряной посуды.

Кроме того, сторож потребовал, чтобы раскопки происходили ночью, когда они не будут привлекать внимания и не вызовут ничьих толков.

Весь следующий день мы с моим новым знакомцем провели так, как подобало любителям седой древности. Утром мы, останавливаясь в каждом уголке, снова и снова обошли величественные развалины, потом как следует пообедали у Дэвида, после чего совершили прогулку по окрестностям, обозревая памятники старины, упоминающиеся в старинных хрониках или в новейших исследованиях. Ночь застигла нас среди развалин. Хотя у сторожа был с собою потайной фонарь, мы то и дело натыкались на обломки готических надгробий, «которые, как, без сомнения, полагали усопшие, должны в неприкосновенности возвышаться над их прахом до самого Страшного суда».

Не скажу, чтобы я отличался чрезмерным суевением, однако то, что мы делали, было мне как-то не

по душе. Есть что-то нечестивое в нарушении немой и священной таинственности могил, да еще глубокой ночью. Спутники мои не разделяли этого чувства: монах горел желанием выполнить задачу, ради которой он приехал, а сторож пребывал в привычном равнодушии ко всему окружающему. Вскоре мы очутились в развалинах придела, где, по сведениям бенедиктинца, находился склеп семьи Глендининг, и стали тщательно по его указанию расчищать один из загроможденных обломками углов. Если бы отставной капитан мог сойти за пограничного барона старого времени, а бывшего монаха девятнадцатого века можно было бы принять за чернокнижника шестнадцатого столетия, мы бы с успехом могли разыграть сцену поисков лампы Майкла Скотта и его магической книги. Но сторож в этой группе был бы лишним.¹

Не так уж долго поработали бенедиктинец со сторожем, как вдруг они наткнулись на гладко обтесанные плиты, которые, по-видимому, когда-то составляли небольшую раку, ныне полуразрушенную и сдвинутую со своего места.

— Будем действовать с осторожностью, друг мой, — сказал чужеземец, — дабы не повредить то, ради чего я приехал.

— Плиты первый сорт, — заметил сторож, — как здорово обтесаны. Да, чтоб монахам угодить, надо было попотеть!

Минуту спустя он воскликнул:

— Моя лопата на что-то наткнулась — и не камень и не земля!..

Монах нагнулся, чтобы помочь ему.

¹ Это одно из тех мест, которые теперь должны производить странное впечатление ввиду того, что нынче каждый знает, что автор романа «Монастырь» и автор «Песни последнего менестреля» — одно и то же лицо. До того, как было сделано это признание, автор бывал вынужден грешить против хорошего тона, чтобы опровергать часто повторявшееся утверждение, что сочинитель «Уэверли» проявляет непонятную сдержанность к сэру Вальтеру Скотту, известному, на худой конец, своей плодовитостью. У меня было большое желание изъять эти места из романа, но честнее будет, если я объясню, почему так получилось, (Прим. автора.)

— Как бы не так! Находку-то я нашел, — проворчал сторож, — и нечего тут половинить или четвертить! — И он вытащил из-под обломков небольшой свинцовый ящик.

— Вы обманываетесь, друг мой, — обратился к нему бенедиктинец, — если надеетесь найти там что-нибудь, кроме останков человеческого сердца, заключенных в порфиновый ларчик.

Тут вмешался я, как лицо не заинтересованное, и, взяв ящик из рук сторожа, напомнил ему, что, если бы в нем даже таился клад, он все равно не стал бы собственностью того, кто его нашел. Так как рассмотреть содержимое ящика в такой темноте было невозможно, я предложил всем вместе отправиться к Дэвиду и там, у камина, при свете продолжить наши изыскания. Приезжий попросил нас пойти вперед и сказал, что последует за нами через несколько минут.

Как видно заподозрив, что эти несколько минут будут употреблены на дальнейшие поиски сокровищ, спрятанных в подземелье, старина Маттокс обходным путем прокрался назад, чтобы проследить за бенедиктинцем, но, воротившись, шепнул мне, что «джентльмен на коленях, один среди голых камней, молится что твой святой!»

Я тоже, крадучись, вернулся к месту раскопок и увидел нашего гостя, погруженного в молитву, как описал мне Маттокс. Насколько я мог уловить, говорил он по-латыни, и, слушая, как не громкая, но торжественная речь его разносится над развалинами, я невольно подумал о том, сколько же лет прошло с тех пор, как эти камни не слышали богослужений, ради которых они были сюда привезены и ценой огромного труда, искусства и затраты времени и денег превращены в храм.

— Пойдем, пойдем, Маттокс, — сказал я, — оставим его одного. Не наше это дело.

— Не наше, капитан, — ответил Маттокс, — а все-таки приглядеть за ним не мешает. Отец у меня, царство ему небесное, лошадьми барышничал и частенько вспоминал, что его за всю-то жизнь один

раз только объегорил на кобылке виг какой-то из западного края, из Килмарнока, что ли, который к стакану виски, бывало, не притронется, не помолившись. Но этот джентльмен из католиков, как мне сдается?

— Тут вы не ошиблись, Сондерс, — ответил я.

— Знаю, видел я двух или трех из этой братии, когда они заявили сюда — лет двадцать тому уже будет. Они бесновались как угорелые, когда увидели на кладбище бюсты да головы монахов и разных монашек, кланялись им, как старым знакомым... А тот, вы видели, не шевелился, точно камень надгробный! Не скажу, чтобы я водился с католиками, разве понаслышке знал их, да и в городке у нас был только один стоящий — это старый Джок из Пенда. Его-то мудрено было бы найти в церкви в глухую ночь за молитвой, да еще коленями на холодном камне. Нет, ты Джоку подавай такую церковь, чтобы там камин топился. Немало мы с ним проказничали в трактире, подгулявши-то, а когда он помер, я бы и похоронил его как полагается. Но не успел я для него выкопать славную могилку, как откуда ни возьмись налетели нечестивцы, собратья его, схватили тело, увезли вверх по реке, да и похоронили, верно, по своему обряду — им лучше знать как. А я бы дорого не взял. Я бы лишнего с Джонни не собрал, ни с мертвого, ни с живого... Постойте, видите, приезжий джентльмен идет.

— Повыше фонарь, посветите ему, Маттокс, — сказал я. — Неважная дорога, сэр.

— О да, — согласился бенедиктинец, — я мог бы повторить вслед за поэтом, которого вы, без сомнения, знаете...

«Вот было бы здорово, если бы я его знал!» — подумал я.

Монах продолжал:

— Святой Франциск, спаси! Как часто нынче
Я ночью спотыкаюсь о могилы!

Вот мы и выбрались с кладбища, — сказал я. — Теперь уж недалеко до гостиницы, а там наверняка найдется приветливый огонек, чтоб подбодрить нас после ночных трудов.

Мы вошли в маленькую гостиную, куда Маттоксу тоже вздумалось бесцеремонно проникнуть, но Дэвид вытолкал его взащей, ругательски ругая любопытного проныру, который не дает господам побыть без помехи в гостинице первого разряда. Как видно, трактирщик свое присутствие не считал навязчивым, потому что ничтоже сумняшеся подошел к столу, на который я поставил свинцовый ящичек, ставший, конечно, ломким и негодным от долгого лежания в земле. Мы его открыли и обнаружили внутри порфировый ларец, как предупредил нас бенедиктинец.

— Представляю себе, джентльмены, — сказал он, — что ваше любопытство не будет удовлетворено или, вернее, ваши подозрения не рассеются, пока я не открою эту урну, хотя здесь нет ничего, кроме высохших останков сердца, когда-то исполненного благороднейших чувств.

Он с большой осторожностью открыл урну: находившиеся там иссохшие останки давно утратили всякое сходство с человеческим сердцем — очевидно, примененные специи не смогли сохранить его форму и цвет, хоть и уберегли драгоценную реликвию от полного разрушения. Нам, во всяком случае, было ясно, что утверждение чужестранца оправдалось и мы видим перед собой то, что когда-то было человеческим сердцем, так что Дэвид с готовностью обещал употребить все свое влияние в деревне — а оно было не менее значительно, чем влияние самого мирового судьи, — чтобы прекратить всякие вздорные толки. В дальнейшем ему было угодно оказать нам честь и самого себя пригласить к нашему столу. Угостившись львиной долей двух бутылок хереса, он не только благословил всем своим авторитетом похищение реликвии, но, я убежден, разрешил бы незнакомцу тотчас увезти все аббатство целиком, если бы не изрядные доходы, которые так и текли в его заведение благодаря соседству с монастырскими руинами.

Завершив с успехом миссию, ради которой он прибыл в страну предков, бенедиктинец объявил о своем намерении покинуть нас на следующее утро, но настойчиво просил меня позавтракать с ним перед отъездом.

Мне пришлось согласиться, и, когда мы встали из-за стола, монах отозвал меня в сторону, вытащил из кармана объемистую связку бумаг и вручил ее мне.

— Вот, — сказал он, — капитан Клаттербак, подлинные мемуары шестнадцатого века, описывающие с новой и, как мне кажется, любопытной точки зрения нравы тех времен. Я склонен считать, что опубликование этих записей будет с признательностью встречено британской читающей публикой, и охотно уступаю вам все доходы, которые могут быть получены от сего издания.

Я несколько подивился этому заявлению и сказал, что почерк кажется мне слишком современным для отдаленной эпохи, к которой он относит мемуары.

— Поймите меня правильно, сэр, — возразил монах, — я не хочу сказать, что эта рукопись сохранилась в таком виде с шестнадцатого века, я только говорю, что мемуары составлены на основании подлинных документов того времени, хотя написаны они во вкусе и по правилам сегодняшнего дня. Труд этот начат моим дядюшкой, а я на досуге приступил к продолжению и завершению записей, отчасти для усовершенствования моего английского литературного слога, отчасти — чтобы избавиться от меланхолии. Вы сами увидите, где обрывается повествование моего родича и начинается мое. Пишем мы о разных людях, да и эпоха не одна и та же.

Не возвращая ему рукописи, я выразил сомнение в том, подобает ли доброму протестанту издавать или хотя бы руководить изданием сочинения, пропитанного, вероятно, духом католицизма.

— В этих листках, — ответил бенедиктинец, — столкновения умов и чувств выражены так, что честный человек любых религиозных убеждений, как мне кажется, оспаривать ничего не будет. Я помнил, что пишу для страны, которая, к несчастью, отделилась от католической веры, и стремился не сказать ничего такого, что могло бы дать основания для обвинения меня в пристрастности — при условии правильного толкования. Но если вы, сличив мое повествование с источниками, к которым я вас отсылаю — здесь,

в пакете, вы найдете множество подлинных документов, — все же придется к выводу, что я был пристрастен к моей вере, безоговорочно разрешаю вам сии погрешности исправить. Признаюсь, однако, что не усматриваю у себя подобной преднамеренности, и скорее опасаюсь другого — не сочтут ли католики, что я должен был скрыть упадок дисциплины в их рядах, который предшествовал и отчасти вызвал широко распространившийся раскол, именуемый вами Реформацией, и, может быть, мне действительно следовало предать забвению эти вопросы. Тут коренится одна из причин того, почему я решил, что мои записи должны быть опубликованы в чужой стране и отданы в печать через посредство человека постороннего.

На это мне отвечать было нечего, и я мог только сослаться на отсутствие способностей, необходимых для задачи, которую святой отец желал на меня возложить. Тут ему было угодно наказать меня уйму любезностей, что вряд ли оправдывалось нашим кратковременным знакомством и каковые скромность не разрешает мне повторить. Под конец он дал такой совет: если я не смогу преодолеть некоторые свои сомнения, я должен обратиться к помощи заслуженного литератора, опыт которого восполнит мои пробелы. На этом мы расстались с уверениями во взаимной преданности, и с тех пор я больше ничего о нем не слышал.

Несколько раз пытался я как следует разобраться в ворохах исписанной бумаги, столь удивительным образом попавших в мои руки, но приступы необъяснимой зевоты не дали мне дочитать рукопись до конца. Изверившись в самом себе, я наконец притащил все это в наш местный клуб, где к записям бенедиктинца отнеслись куда более благожелательно, чем на это оказался способен отставной капитан с раздражительным характером. В клубе единодушно признали, что сей труд превосходен, и уверили меня, что я совершу самое тяжкое преступление по отношению к нашему цветущему Кеннаквайру, если не дам ходу сочинению, проливающему столь лучезарный свет на историю древнего монастыря святой Марии.

Наслушавшись подобных отзывов, я наконец стал сомневаться в справедливости собственного мнения; и действительно, слушая, как наш достойный пастор своим звучным голосом читает отрывки из этих записей, я чувствовал несколько не большую усталость, чем внимая его проповедям. Вот и видно, как велика разница — самому ли читать рукопись, с трудом продираясь сквозь ее дебри, или, как говорит один персонаж в пьесе, «слушать этот же текст, когда читает другой»; одно дело переплывать бухточку на лодке и совсем другое — шлепать по ней пешком по колено в грязи.

При всем этом предстояла мудреная задача: надо было найти редактора, который бы исправил ошибки и потрудился над языком рукописи, что, по мнению школьного учителя, было совершенно необходимо.

С тех самых пор, как деревья пошли выбирать себе царя, никогда еще, кажется, не было так мало желающих взяться за почетное дело. Пастор не соглашался расстаться со своим уютным креслом у камина, мировой судья ссылался на свое высокое судебское достоинство и на предстоящую вскоре большую ежегодную ярмарку — та и другая причины препятствовали его поездке в Эдинбург для переговоров об издании рукописи бенедиктинца. Один только школьный учитель оказался более податливым и, вероятно, стремясь уподобиться прославленному Джедедии Клейшботэму, выразил желание взять на себя эту важную комиссию. Но сему намерению воспротивились три зажиточных фермера, сыновья которых приносили учителю за полный пансион вместе с обучением по двадцать фунтов в год с головы, — и потому литературные мечты сельского педагога увяли, как цветы на морозе.

Таковы обстоятельства, любезный сэр, побудившие меня внять указанию нашего маленького военного совета и обратиться к вам, в надежде, что вы не откажетесь заняться этим делом, которое весьма близко к сфере, где вы заслужили известность и славу. Просьба моя заключается в том, чтобы вы ознакомились с прилагаемой рукописью, вернее — проверили ее и подготовили к напечатанию с помощью

таких исправлений, добавлений и сокращений, какие найдете необходимыми. Прошу не гневаться за напоминание, но даже самый глубокий колодец иссякнуть может и самый лучший гренадерский корпус, как говаривал наш старый бригадный генерал, может быть стерт в порошок. Сии замечания вам повредить не могут, а что до награды, то наперед возьмемся и выиграем сражение, а добычу поделим уже под барабанный бой. Надеюсь, что вы не обидитесь на меня. Я простой солдат, к комплиментам непривычный. Хотел бы добавить, что мне было б лестно стоять рядом с вами на передовой линии, то есть поставить свое имя вместе с вашим на титульном листе.

Засим, сэр, имею честь быть неизвестным вам вашим покорным слугою.

Катберт Клаттербак.

Селение Кеннаквайр,
...апреля 18** года

Автору «Уэверли» и др., через любезное посредство мистера Джона Баллантайна, Ганновер-стрит, Эдинбург.

ОТВЕТ АВТОРА «УЭВЕРЛИ»

НА ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЕ ПИСЬМО КАПИТАНА КЛАТТЕРБАКА

Любезный капитан!

Пусть вас не удивляет, что, несмотря на сдержанность и официальность вашего обращения ко мне, я отвечаю вам попросту и без затей. Вызвано это тем, что и происхождение и родину вашу я знаю даже лучше, чем вы сами. Полагаю, что попаду в точку, утверждая, что достопочтенный род ваш происходит из страны, которая дарует много удовольствия и пользы тем, кто успешно ведет с ней дела. Я имею в виду ту часть *terra incognita*,¹ которая носит название Утопии. Хотя ее изделия многими осуждаются и именуются никчемной роскошью (даже теми, кто без

¹ Неведомой земли (лат.).

зазрения совести тратится на чай и табак), эти предметы роскоши, как и многие другие излишества, имеют большое распространение и втихомолку услаждают даже тех, кто с величайшим гневом и презрением открыто обрушивается на них в обществе.

Нередко самые горькие пьяницы первыми приходят в ужас от одного запаха спирта; пожилые незамужние дамы сами сплошь и рядом возмущаются сплетницами; на книжных полках у весьма почтенных с виду джентльменов обретаются книги, от которых честным людям делается совестно, — а сколько у нас таких знакомых, я говорю не о самых ученых и образованных, а о желающих казаться таковыми! Чуть заперлись они на задвижку в своем кабинете, натянули на уши бархатную ермолку, определили ноги в шлепанцы, и, если враспloh ворваться к ним, обнаружится, что они погружены в чтение романа — последней новинки из мира Утопии.

Повторяю, подлинно ученые и образованные люди пренебрегают подобными предосторожностями и открывают попавший им в руки роман так же непринужденно, как свою табакерку. Приведу только один пример, хотя знаю их сотню. Встречались ли вы, капитан Клаттербак, с знаменитым Уаттом из Бирмингема? Полагаю, что нет, хотя, как будет видно из дальнейшего, он не преминул бы искать знакомства с вами. Один-единственный раз в жизни мне посчастливилось встретиться с ним — в действительности или в грезах, это значения не имеет.

Случилось так, что в одном доме собрались человек десять из светил нашего северного мира и среди них, кто знает, каким образом, оказался известный в вашей Утопии Джедедия Клейшботэм. Приехав в Эдинбург на рождественские каникулы, этот достойный человек стал здесь чем-то вроде местной знаменитости — этаким лев, которого на поводке тащат из дома в дом вместе с ряжеными, глотателями камней и прочими феноменами сезона, «показывающими по требованию публики свое несравненное искусство на семейных вечерах». В числе гостей был мистер Уатт, человек, который благодаря самобытному

изобретательному уму открыл пути приумножить наши национальные богатства до уровня, опережающего предвидение и подсчеты самого изобретателя. Он придумал, как извлекать сокровища из глубочайших недр на свет божий, как придавать хилой человеческой руке мощь некоего африта. Он вызвал к жизни целые отрасли промышленности, подобно тому как пророк в пустыне одним мановением жезла отворил воду из камня. Он нашел, как избежать зависимости от морского прилива, с которым извечно считался каждый мореплаватель, он научил вести корабль без помощи того ветра, что пренебрегал приказаниями и угрозами самого Ксеркса.¹

И этот могущественный покоритель стихий, сократитель пространства и времени, волшебник, чьи таинственные механизмы произвели гигантский переворот, последствия которого — необычайные последствия — только сейчас начинают чувствоваться, чародей этот был не только крупнейшим ученым, который наиболее правильно применил на практике законы физики и математические расчеты, не только широко образованным человеком, но и одним из самых гуманных и отзывчивых людей на земле.

Он стоял, окруженный, как я уже говорил, небольшой плеядой Северных литераторов — людей, отстаивавших свои убеждения и свою славу так же упорно, как наши полки ревниво оберегают свою известность, завоеванную в бою. Мне представляется, что я до сих пор как наяву вижу и слышу то, чего мне уж никогда более не увидеть и не услышать. Подвижный, ласковый, благожелательный Уатт на восемьдесят пятом году жизни с воодушевлением отвечал на все обращенные к нему вопросы, охотно делился с каждым своими познаниями.

¹ Вероятно, богатый на выдумку автор имеет в виду старый стишок:

Король сказал: «Плывем!»

А ветер молвил: «Нет!»

Наш школьный учитель (он же землемер) думает, что тут имеются в виду усовершенствования, которые мистер Уатт внес в паровой двигатель. (*Прим. капитана Клаттербака.*)

Богатство и яркость его мысли сказывались в любой области. Один из собеседников был ученый-филолог — и Уатт заговорил с ним о происхождении письменности, как будто был современником Кадма. Другой был известный критик — и тут можно было подумать, что Уатт всю жизнь изучал политическую экономию и изящную литературу; о точных науках и говорить нечего — это была столбовая дорога, по которой Уатт шествовал величественной поступью.

И еще скажу вам, капитан Клаттербак, когда он разговаривал с вашим земляком Джедедней Клейш-ботэмом, можно было поклясться, что Уатт — современник Клеверза и Берли, гонителей и гонимых и может перечислить все выстрелы, которые драгуны послали вдогонку бегущим пресвитерианам. Мы с точности удостоверились, что от внимания Уатта не ускользнул ни один сколько-нибудь известный роман и что одареннейший муж науки был ревностным поклонником изделий вашей родины (уже упомянутой страны Утопии), другими словами, был таким же бессовестным и неисправимым пожирателем романов, как будто ему восемнадцать лет и он учится делать шляпки в мастерской у модистки.

Боюсь, что уже надоел вам, и в свое оправдание скажу: мне захотелось вспомнить тот восхитительный вечер и пожелать вам раз и навсегда отделаться от скромности, застенчивости и боязни прослыть пришельцем из страны обманчивых вымыслов. На вашу стихотворную строку из Горация — *Ne sit ancillae tibi amor pudori*¹ — я вам отвечу парафразой, где содержится намек на вас, любезный капитан, и на членов вашего клуба, за исключением высокочтимых священника и школьного учителя:

Не будь же строгим
К твореньям многим,
Будь к музам справедлив!
И у Гомера
Сюжет — химера,
Да он и сам ведь миф!

¹ Не стыдись полюбить служанку... (лат.)

Определив вашу родину, я должен теперь, дорогой капитан Клаттербак, упомянуть о ваших родителях и дедах. Не думайте, что ваша страна чудес так малоизвестна, как можно было бы предположить по вашему стремлению умолчать о своем происхождении. Надо сказать, что это стремление всячески сокрыть свою связь с ней, вы разделяете со многими вашими соотечественниками. Между ними и жителями нашего более материального мира есть разница: у вас выдают себя за земных жителей наиболее почитаемые из ваших братьев, как старый шотландский горец Оссиан, как бристольский монах Роули и другие, между тем как большинство из тех, кто у нас отрекается от родины, таковы, что сама родина охотно отказалась бы от них. Подробности, которые вы сообщили мне, касательно вашей жизни и службы, не ввели нас в заблуждение. Мы знаем, что изменчивость эфемерных существ, подобных вам, позволяет им преображаться в самых разных персонажей. Мы видели их и в персидских кафтанах и в китайских шелковых халатах¹ и научились распознавать их под любой личиной. Да и можем ли мы пребывать в неизвестности относительно вашей страны и ее нравов, могут ли обмануть нас разные увертки ее обитателей, когда в ее пределы совершается не меньше экспедиций, чем упоминается у Перчеса или Хаклюйта.² А чтобы дать представление о таланте и неутомимости ваших первооткрывателей и путешественников, достаточно назвать имена Синдбада, Абулфуариса и Робинзона Крузо. Вот люди, созданные для проникновения в неизвестное. Если бы послать капитана Гринленда на поиски северо-западного пути или Питера Уилкинса — на обследование Баффинова залива, каких открытий можно было бы ожидать! Множество необыкновенных подвигов совершено вашими соотечественниками, а мы читаем о них и ни разу не попытались померяться с ними мужеством.

¹ См. «Персидские письма» и «Гражданин мира». (Прим. автора)

² См. «Воображаемые путешествия». (Прим. автора)

Я уклонился от своей цели — мне хотелось показать, что я знаю вас так же хорошо, как мать, которая не произвела вас на свет, потому что судьба Макдуга тяготеет над всем вашим родом. Вы не рождены женщиной, разве что в переносном смысле, в каком о знаменитой Мэри Эджуорт можно сказать, что она, оставаясь в благословенном девичестве, является прародительницей лучшего английского семейства. Вы, сэр, принадлежите к издателям страны Утопии — лицам, к которым я питаю глубочайшее уважение. Да и как иначе можно к ним относиться, когда в этой корпорации находятся мудрый Сид Ахмет Бенинхали, круглолицый президент клуба «Зритель», бедняжка Бен Силтон и многие другие, которые уподоблялись привратникам, введя к нам в дом произведения, услаждавшие самые тяжелые и окрылявшие самые светлые часы нашей жизни.

По моим наблюдениям, издателей той категории, к коей я имею смелость отнести вас, неизменно сопровождает цепь счастливых случайностей, благодаря которым именно в ваших руках оказываются произведения, впоследствии любезно отдаваемые вами читающей публике. Один счастливец гуляет по берегу моря, и волна швыряет ему под ноги небольшой цилиндрический сосуд или шкатулку с сильно пострадавшей от морской воды рукописью, которую с большим трудом удастся расшифровать, и т. д.¹ Другой заходит в бакалейную лавочку купить фунт масла, и смотри пожалуйста: бумага, в которую завернули его покупку, представляет собой рукопись каббалиста.² Третьему удастся получить у хозяйки меблированных комнат бумаги, оставшиеся в старинном бюро после умершего жильца.³ Все это, разумеется, возможные происшествия, но почему-то они приключаются за-просто с издателями вашей страны и столь редко со всеми остальными. О себе скажу, что во время моих одиноких прогулок у моря я ни разу не видел, чтобы

¹ См. «Историю Автоматеса». (Прим. автора.)

² «Приключения гиней». (Прим. автора.)

³ «Приключения атома». (Прим. автора.)

оно выбросило на берег что-нибудь, кроме водорослей, разве что мертвую морскую звезду. Моя квартирная хозяйка еще никогда не преподносила мне никаких документов, кроме своих проклятых счетов, а самой занимательной находкой в области оберточной бумаги был один из любимых фрагментов моего собственного романа, содержащий унцию табаку.

Нет, капитан, источники, из которых я почерпнул умение увлечь читателей, достались мне не в подарок от случайностей. Я с головой зарылся в библиотеки, чтобы из старых небылиц создать новые, мои собственные; перевернул такие фолианты, что, если судить по закорючкам, которые мне приходилось разгадывать, они бы могли быть каббалистическими рукописями Корнелия Агриппы, хотя я ни разу не видел, чтобы «открылась дверь и появился дьявол». ¹ Но всех безмолвных обитателей библиотек тревожил я упорством своих посещений.

Меня завидев, убежал паук,
И страшен мухам был знаток наук.

Из гробницы учености я воспарил, подобно магу в персидских сказках, пробывшему двенадцать месяцев в пещере; но только я не вознесся по его примеру над собравшейся толпой, а смешался с нею, локтями проложил себе путь от самых высших слоев общества до самых низших, подвергаясь презрению или, еще того хуже, высокомерному снисхождению со стороны одних и грубой фамильярности других. И для чего все это, спросите вы? Чтобы собрать материалы для одной из тех рукописей, которые в вашей стране так часто попадают в руки автора случайно, — другими словами, чтобы написать хороший роман.

«О афиняне, сколь тяжко нам приходится трудиться, чтоб одобренье ваше заслужить!»

На этом, дорогой Клаттербак, я мог бы и остановиться — это было бы трогательно и почтительно по отношению к уважаемой публике. Но я не хочу вас

¹ См. балладу Саути о юноше, читавшем книги кудесника.
(Прим. автора.)

обманывать, хотя обман, простите за это замечание, — ходячая монета в вашей стране. Истина заключается в том, что я учился и жил для поощрения своей любознательности и приятного препровождения времени. Пусть я за истекшие годы, в одном или другом обличье, часто — быть может, чаще, чем позволяло благоразумие — появлялся перед публикой, все же я не вправе ожидать для себя особой благосклонности, заслуженной теми, кто жертвует все свое время и весь свой досуг на просвещение и забаву своих ближних.

После такого прямого заявления, мой дорогой капитан, разумеется, ясно, что я с благодарностью приму рукопись, которая, как отметил ваш бенедиктинец, состоит из двух частей, различных по сюжету, стилю и эпохе. Но я очень сожалею, что не могу удовлетворить ваше литературное тщеславие и согласиться на то, чтоб на титульном листе стояло ваше имя. Откровенно объясню вам причину моего отказа.

Издатели в вашей стране до такой степени благодущны и бездеятельны, что неоднократно навлекали на себя позор тем, что, забыв своих помощников, которые вначале привлекли к ним внимание и благосклонность публики, в дальнейшем дали использовать свои имена обманщикам и шарлатанам, живущим за счет чужих мыслей. Например, мне стыдно сказать, как мудрый Сид Ахмет Бенинхали, по наущению некоего Хуана Авельянеды, бесцеремонно обошелся с талантливым Мигелем Сервантесом и опубликовал вторую часть приключений своего героя, прославленного Дон-Кихота, без ведома и участия вышеупомянутого автора.

Правда, арабский мудрец вспомнил о своем долге и впоследствии сочинил весьма правдоподобное продолжение подвигов Ламанчского рыцаря, в котором упомянутый Авельянеда из Тордесильяса подвергается чувствительному наказанию. В этом отношении вы, горе-издатели, напоминаете дрессированную обезьянку, с которой один хитроумный старый шотландец сравнивал Иакова I: «Если Жако в руке у тебя, ты можешь заставить его укусить меня; если Жако в руке у меня, то я могу заставить его укусить тебя».

Но несмотря на *amende honorable*,¹ принесенную Сидом Ахметом, его временная измена свела в могилу хитроумного идадьго Дон-Кихота, если можно назвать мертвым того, чья память бессмертна. Сервантес убил его, дабы он снова не попал в преступные руки. Ужасное, но справедливое последствие измены Сиды Ахмета.

Можно привести другой пример, более современный и гораздо менее значительный. Я с прискорбием замечаю, что мой старый знакомый Джедедия Клейш-ботэм зашел в своем дурном поведении так далеко, что покинул своего партнера и стал действовать в одиночку. Боюсь, что бедный педагог получит мало пользы от новых союзников, разве что будет развлекаться спорами среди читателей, да и среди джентльменов в длинных мантиях, недоумевающих, кто он такой.

Посему примите к сведению, капитан Клаттербак, что я научен этими примерами великих людей и принимаю вас в компаньоны, но без права голоса. Не давая вам разрешения выступать от имени товарищества, которое мы собираемся учредить, я на титульном листе заявлю о своей собственности, поставлю мой собственный знак на принадлежащее мне литературное имущество. И подделка сего знака, как то удостоверяет мой стряпчий, будет таким же предосудительным деянием, как подделка, например, подписи врача, от чего предостерегают лекарственные ярлычки на склянках, где особо оговорено, что подделка является уголовным преступлением. Следовательно, мой дорогой друг, если ваше имя когда-нибудь появится на титульном листе, а моего имени там не будет, читатели будут знать, с кем они имеют дело.

Считаю ниже своего достоинства прибегать к доводам или угрозам, но вам должно быть ясно, что, с одной стороны, вы обязаны своим литературным бытием единственно мне, а с другой, — вы находитесь целиком в моем распоряжении. Я могу по своему желанию лишить вас ренты, вычеркнуть ваше имя из списков пенсионеров, более того — могу даже убить вас, и никто не привлечет меня к ответственности. Это

¹ Повинную (*франц.*).

звучит неучтиво для слуха джентльмена, который прослужил в армии в течение всей войны, но я полагаю, что вы не будете на меня в обиде.

Теперь, любезный сэр, обратимся к нашей задаче и постараемся как можно тщательнее переделать рукопись вашего бенедиктинца, чтобы она отвечала вкусам нашего критического века. Вы увидите, что я широко воспользовался разрешением бенедиктинца и изменил все, что слишком льстило римской церкви, которая мне ненавистна хотя бы из-за одних только постов и покаяний.

Наш читатель, уж наверно, потерял терпение, и мы должны вместе с Джоном Беньяном признать, что

Его в передней долго мы держали
И факелом во мраке освещали,

Итак, прощайте, любезный капитан. Передайте мой почтительный поклон пастору, школьному учителю, мировому судье и всем членам вашего дружного клуба в Кеннаквайре. Я никогда не видел и не увижу никого из них, и все же думаю, что знаю их лучше, чем кто-либо другой из рода человеческого. В скором времени я вас представлю моему жизнерадостному приятелю, мистеру Джону Баллантайну из Тринити-гроув; вы застанете его еще разгоряченным после большой перепалки с одним из его собратьев издателей.¹ Да будет мир между ними! Больно уж гневливое наше ремесло, и *irritabile genus*² включает книгопродавцев наравне с сочинителями книг. Еще раз прощайте!

Автор «Уэверли».

¹ После того как в Лондоне были опубликованы поддельные «Рассказы трактирщика», о чем я уже упоминал, мистер Джон Баллантайн, издатель подлинных «Рассказов», сильно повздорил с вмешавшимся в это дело книгопродавцем. Каждый утверждал, что имел дело с настоящим Джедедией Клейшботэмом, (Прим. автора.)

² Раздражительный род людей (лат.),

Глава I

От них вся эта мерзость, от монахов!
От них невежество и суеверье
В невежественный, суеверный век.
Хвала творцу! Целительною бурей
Развеял он тлетворные пары.
Но ведь не все тут от блудницы этой,
Чей трон незыблем на семи холмах!
Скорей я с сэром Роджером поверю,
Что старая колдунья Молли Уайт
Взвилась верхом на помеле с котом
И вызвала грозу минувшей ночью.

Старинная пьеса

В названии деревни Кеннаквайр, упомянутой в рукописи бенедиктинца, то же кельтское окончание, что и в Траквайре, и Каквайре, и в других сложных именах. Премудрый Чалмерс производит это словечко «квайр» от названия извилистого потока; это заключение весьма правдоподобно, ибо близ деревни, о которой идет речь, река Твид извивается, как змея. Деревня эта издавна славилась великолепным монастырем святой Марии, который был основан Давидом I, королем Шотландии, в правление коего были воздвигнуты в том же графстве не менее великолепные обители Мелроза, Джедбурга и Келсо. Дарственные

на землю, которыми король обеспечил эти богатые братства, заслужили ему от летописцев монахов прозвище святого, а от одного из его обедневших потомков — язвительный отзыв, что его святость дорого обошлась государству.

Весьма вероятно, впрочем, что Давид, монарх столь же мудрый, сколь и благочестивый, проявил такую большую щедрость в отношении церкви не из одних только религиозных побуждений, а сочетая с делами благочестия политические цели. Его владения в Нортумберленде и Камберленде после поражения в битве за Знамя стали ненадежными. А раз относительно плодородная долина Тевиотдейла могла оказаться границей его королевства, весьма вероятно, что он хотел сохранить хотя бы часть этих ценных владений, передав их в руки монахов, чья собственность долгое время оставалась неприкосновенной даже среди всеобщего разорения пограничной войны. Только таким образом король мог хоть как-то обезопасить и защитить земледельцев. И действительно, в течение нескольких веков владения этих аббатств представляли собой некую землю обетованную, где царили мир, тишина и спокойствие, тогда как остальная часть страны, захваченная дикими кланами и баронами-грабителями, являлась поприщем кровавых беспорядков и безудержного разбоя.

Но эта неприкосновенность монастырей не пережила эпохи объединения королевств. Задолго до этого времени войны между Англией и Шотландией утратили свой первоначальный характер борьбы между двумя государствами. Англичане стали проявлять стремление к захвату и подчинению, шотландцы же отчаянно и бешено защищали свою свободу. Это возбудило с обеих сторон такую злобу и ненависть, которая никогда еще не наблюдалась в их истории. А поскольку уважение к религиозным установлениям вскоре уступило место национальной вражде, подкрепленной пристрастием к грабежу, достояние церкви перестало быть священным и подвергалось нападениям с двух сторон. Впрочем, все же арендаторы и вассалы крупных аббатств обладали значительными

преимуществами перед подданными светских баронов, которых до того извели постоянными призывами на военную службу, что они наконец стали отчаянными вояками и утратили всякий вкус к мирным занятиям. Церковные же вассалы призывались к оружию только в случае поголовного ополчения, а в остальное время им представлялась возможность в сравнительном спокойствии владеть своими фермами и ленами. Поэтому они, конечно, больше понимали в земледелии и были богаче и просвещеннее, чем воинственные арендаторы дворян и неугомонных вождей, живших с ними по соседству.

Местожительством церковных вассалов были обычно небольшие деревни (или деревушки), в которых, ради взаимной помощи и совместной обороны, проживало от тридцати до сорока семей. Это поселение называлось городом, а земля, принадлежавшая различным семьям, населявшим город, звалась городской. Она обычно находилась в общинном владении, хотя и делилась на неравные участки, в зависимости от первоначальных вкладов членов общины. Та часть городской земли, которая годна была для пахоты и неуклонно возделывалась, звалась внутренними полями. Поля эти удобрялись большим количеством навоза, что в какой-то мере предохраняло почву от истощения. Ленники засевали поля попеременно овсом и ячменем, собирая довольно значительные урожаи. Работали они всей общиной, но делили зерно после жатвы сообразно с имущественными правами каждого. Кроме того, у них были еще так называемые внешние поля, с которых тоже можно было время от времени собрать урожай, после чего земля забрасывалась, пока благодетельная природа не восстанавливала ее плодородную силу. Эти внешние участки выбирались любым ленником по его усмотрению из числа близлежащих равнинных и холмистых пространств, неизменно присоединявшихся к числу городских земель в качестве общинных выгонов. Тяжкие заботы по возделыванию этих дальних участков и полная неуверенность, что затраченный труд не пропадет даром, давали право всякому, кто на это

решался, считать собранную жатву своей единоличной собственностью.

Затем еще оставались пастбища на вересковых пустошах (где в долинах часто росла хорошая трава), на которых летом пасся весь скот, принадлежащий общине. Городской пастух регулярно выгонял его с утра на пастбище и ежевечерне пригонял обратно — предосторожность весьма нелишняя, так как иначе скот очень скоро мог бы стать добычей какого-либо захватчика из соседей.

Все это заставило бы современных агрономов только в недоумении развести руками. Однако этот способ хозяйствования до сих пор еще не совсем изжит в некоторых отдаленных округах Северной Британии, а на Шетлендских островах он в полном ходу и по сей день.

Жилища церковных ленников были столь же примитивны, как их способ обработки земли. В каждой деревне (или, иначе, — в городе) имелось несколько небольших башен с зубчатыми стенами и обычно с одним-двумя выступающими углами, с бойницами у входа, прикрытого тяжелой дубовой дверью, утыканной гвоздями, и часто защищенного еще внешней решетчатой железной дверью. В этих небольших фортах обычно проживали наиболее состоятельные ленники со своими семьями; но при малейшей тревоге все жители близлежащих жалких хижин толпой устремлялись сюда же, чтобы составить гарнизон укрепления. При этих условиях нелегко было неприятельскому отряду проникнуть в деревню, так как жители ее умело владели луком и огнестрельным оружием, а башни были расположены так близко одна к другой, что их перекрестный огонь не давал возможности взять какую-либо из них приступом.

Внутреннее убранство домов, как правило, было весьма убогим, ибо считалось неразумным обставлять их иначе, возбуждая жадность беззаконных соседей. Однако сами жители обнаруживали как в своей внешности, так и в обиходе такую степень образованности, достатка и независимости, которую едва ли можно было от них ожидать. Внутренние поля снабжали их

хлебом и самодельным пивом, а стада крупного и мелкого скота — говядиной и бараниной (колоть ягнят или телят тогда считалось сумасбродством). В каждой семье в ноябре резали жирного бычка и солили мясо впрок на зиму; к этому хозяйка могла в торжественных случаях добавить блюдо жареных голубей или откормленного каплуна; примитивный огородик снабжал их капустой, а река — лососиной, особо ценимой в великом посту.

Топлива у них было вволю, так как болота давали торф, а остатки лесов продолжали удовлетворять их потребность в дровах и в необходимом строительном материале для домашних нужд. Вдобавок ко всем этим благам летом глава семьи нет-нет да отправлялся в лес и пристреливал себе там из ружья или самострела оленя. Отец духовник в этом случае редко отказывал виновному в отпущении греха, если только ему предоставлялась законная доля копченого окорока. Некоторые смельчаки шли еще дальше и, вкуче со своими домашними или присоединяясь к разбойным шайкам «болотных людей», совершали, по выражению пастухов, «налет-наскок» на общественные стада. Тогда бывало, что у женщин из той или иной всем известной семьи появлялись золотые украшения или шелковые платки, а завистливые соседи связывали эти приобретения с удачной экспедицией. Но такие действия расценивались настоятелем и братией монастыря святой Марии как грех гораздо более тяжкий, чем «заимствование оленя у доброго короля», и монахи никогда не упускали случая осудить виновных и наказать их всеми доступными средствами, ибо от таких налетов жестоко страдало церковное имущество, а кроме того, это своеволие оказывало дурное влияние на мирные нравы вассалов.

Что касается образованности монастырских ленников, то можно было бы сказать, что с питанием дело у них обстояло значительно лучше, чем с учением, даже если принять во внимание то, что питались они весьма скудно. И все же у них были кое-какие возможности для приобретения знаний, которых не было у их соседей. Монахи обычно жили в тесном общении

со своими вассалами и ленниками и бывали как свои люди в более обеспеченных семьях, где они могли рассчитывать, что к ним отнесутся с двойным уважением — как к духовным отцам и как к светским властителям. И вот если какому-нибудь монаху случилось найти в семье способного мальчика, склонного к учению, то он, в целях ли воспитания будущего служителя церкви, а иногда и просто так, по доброте душевной или от нечего делать, приобщал его к таинствам чтения и письма и передавал ему и иные накопленные знания. Сами же зажиточные ленники, обладая большим досугом для размышлений, большей изворотливостью и большим желанием преуспеть на своих скромных участках, слыли у соседей людьми хитрыми и ловкими, заслуживающими уважения за их богатство; но в то же время их презирали за то, что они не блистали отвагой и мужеством, не в пример другим пограничным жителям. Поэтому они и жили особняком, общаясь только между собой и избегая знакомства с посторонними, больше всего на свете боясь быть вовлеченными в смертельные распри и бесконечные раздоры светских властителей.

Такова была, в общих чертах, жизнь в этих общинах. Во время злосчастных войн начала царствования королевы Марии они жестоко страдали от вражеских вторжений. Надо сказать, что англичане, сделавшись протестантами, не только не щадили церковные земли, но опустошали их даже с большим неистовством, чем светские владения. Однако мир 1550 года принес некоторое успокоение этому смятенному и растерзанному краю, и жизнь мало-помалу стала приходить в порядок. Монахи восстановили разоренные храмы, их вассалы покрыли новой крышей крепостные сооружения, снесенные неприятелем, а неимущие крестьяне вновь отстроили свои хижины (что было весьма нетрудно, так как для этого требовалось только немного дерна, сколько-то камней и несколько бревен из соседней рощи). Наконец, и скот был водворен обратно из чаш и перелесков, куда его загнали, дабы сохранить то, что от него осталось, и мощный бык

во главе своего гарема и потомства двинулся вперед, чтобы вновь вступить во владение привычными пастбищами. И в результате для монастыря святой Марии и его присных, учитывая время и обстановку, наступили несколько лет относительной тишины.

Глава II

Провел он детство в той долине
тихой...
Тогда там люди были — звуки рога
Алекто злобной местность всю будили:
И здесь, где ручеек впадает в реку,
И там, в пустынных северных болотах,
Откуда пробивается исток
И где кулик хоронится пугливый.

Старинная пьеса

Мы уже говорили, что большинство ленников проживало по деревням, входящим в их городские поселения. Но не всегда и не всюду это было так. Одинокая башня, в которую мы должны ввести читателя, представляла собой, во всяком случае, исключение из общего правила.

Она была невелика по размерам, но все же больше тех башен, которые обычно строились в деревнях, что было естественно, так как в случае нападения ее владелец мог рассчитывать только на свои собственные силы. Две-три жалкие хижины, лепившиеся у ее подножия, служили жильем для арендаторов и крепостных ленника.

Башня стояла на красивом зеленом холме, который неожиданно возник в самой горловине дикого ущелья — на холме, с трех сторон окруженном извилинами речки, что, конечно, значительно улучшало возможности его обороны.

Но особенная безопасность Глендеарга (так называлось это место) объяснялась его уединенным, почти скрытым от глаз положением. Для того чтобы достигнуть башни, надо было мили три пробираться вверх

по ущелью и раз двадцать переходить через речку, которая извивалась по узкой долине, через каждые сто шагов наталкиваясь на обрыв или утес и оттого постоянно меняя направление. Склоны холмов по обе стороны долины чрезвычайно круты, почти отвесно вздымаются над речкой и как бы замыкают ее в свои барьеры. Проехать верхом по откосам немыслимо, и единственно возможный здесь путь — протоптанные овцами тропы. Нельзя было себе представить, что такая трудная, если не совершенно непроходимая тропа, ведет к какому-нибудь более внушительному строению, чем соломенный шалаш пастуха.

Впрочем, сама долина, хотя и пустынная, почти недоступная и бесплодная, не лишена была в то время своеобразной прелести. Трава, покрывавшая небольшое пространство низменности по берегам речки, была так густа и зелена, как будто целая сотня садовников подстригала ее не реже двух раз в месяц; притом этот зеленый покров был точно вышит узором из маргариток и полевых цветов, которые, несомненно, были бы срезаны садовыми ножницами. Ручей, то зажатый в теснине, то вырывавшийся на волю, чтобы свободно извиваться по узкой долине, беззаботно плясал по камням и отдыхал в водоемах, прозрачно-чистый и светлый, подобно тем исключительным натурам, которые идут по жизни, отступая перед непреодолимыми препятствиями, но отнюдь им не подчиняясь, стремясь все вперед, как тот кормчий, что умеет искусно лавировать при встрече с неблагоприятным ветром.

Горы (называемые горами в Англии, но именуемые в Шотландии крутояром) нависали стеной над маленькой долиной, местами обнаруживая серую поверхность камня, где потоки смыли растительность, местами участки, густо заросшие лесом и кустарником. Зелень эта, пощаженная овцами и крупным рогатым скотом ленников, пышно разрасталась вдоль высохшего русла потока или в глубине балки, оживляя и в то же время разнообразя пейзаж. Над этими отдельными пятнами лесов величественно вздымалась голая багряная вершина горы. Ее необычайный цвет, густой и яркий, составлял резкий контраст, в особен-

ности в осеннее время, с пышным убором дубовых и березовых рощ, листвою горного ясеня и терновника, ольхи и дрожащей осины, пестрым ковром спускавшихся вниз по склонам, и еще более с темно-зеленым бархатом травы, застилавшей низменные пространства узкой долины.

И все же, несмотря на все это красочное величие, местность не только нельзя было назвать величественной или прекрасной, но едва ли даже живописной или привлекательной. Сердце замирало в тоске от ее безмерного уныния, и путешественником невольно овладевал страх от неизвестности, куда он идет и что его ждет у конечной цели. Такие впечатления порой более поражают воображение, чем самые необыкновенные виды, ибо уверенность в близости гостиницы, где уже готовится заказанный вами обед, чрезвычайно много значит. Впрочем, все эти понятия свойственны гораздо более позднему времени. А в тот век, о котором мы повествуем, самые мысли о живописном, прекрасном или величественном и их оттенках были совершенно чужды как жителям Глендеарга, так и случайным его посетителям.

Но все же у людей той эпохи были свои представления об окружающей природе, соответствующие их времени. Так, имя Глендеарг, что значит Красная долина, произошло, по-видимому, не только от пурпурного цвета вереска, в изобилии растущего по склонам обрывов, но и от темно-красного цвета утесов и каменных осыпей, которые на местном наречии именуются стремнинами. Другая долина, лежащая у истоков реки Этрик, тоже звалась Красной, и по тем же причинам. И, вероятно, в Шотландии найдется еще много долин с таким же названием.

Глендеарг, о котором мы ведем рассказ, не мог похвастаться большим количеством жителей, поэтому суеверное воображение — дабы он их не вовсе был лишен — населило его существами из потустороннего мира. Дикий и своенравный Темный человек из трясины (по-видимому, потомок северных карликов) как будто не раз появлялся в этой местности, в особенности после осеннего равноденствия, когда туманы

сгущались и предметы бывали трудноразличимы. Также и шотландские феи, племя причудливых, раздражительных и озорных существ (племя, порой капризно-благосклонное к смертным, но чаще им враждебное), по всеобщему убеждению, обосновалось в самом глухом углу этой долины. На это указывало и подлинное ее название — Корри-нан-Шиан, что на испорченном кельтском языке значит «пещера фей». Однако местные жители упоминали об этой пещере с большой осторожностью, избегая произносить ее название, так как существовало убеждение, распространенное во всех британских и кельтских провинциях Шотландии (да и поныне еще не изжитое в разных частях страны), что об этом своенравном племени фантастических существ не следует говорить ни хорошо, ни дурно, дабы не вызвать их раздражения. Молчания и тайны — вот чего они в первую очередь требуют от тех, кто случайно потревожил их во время развлечения или натолкнулся на их жилище.

Таким образом, лощина, где располагался укрепленный форт, именуемый башней Глендеарг (до которого можно было добраться, лишь поднимаясь от широкого дола реки Твид вверх по описанному нами ущелью), внушала необъяснимый ужас. За холмом, на котором, как мы уже сказали, стояла башня, каменная гряда становилась еще круче, до такой степени сужаясь вдоль ручья, что тропинка, бегущая рядом с ним, оказывалась еле заметной. И, наконец, ущелье завершалось бурным водопадом, который пенистой струей низвергался по двум или трем откосам в бездну. Однако далее в том же направлении, на плоскогорье, возвышавшемся над водопадом, расположено было обширное и топкое болото, посещаемое одними водяными птицами, дикое, пустынное и, казалось, бескрайнее. Оно в значительной мере охраняло обитателей долины от нападения соседей с севера.

Беспокойным и неутомимым «болотным людям» эта трясина была хорошо известна и подчас служила убежищем. Они часто спускались вниз по ущелью, заходили в башню, просили о гостеприимстве и не

получали в нем отказа. Но мирные обитатели башни все же относились к ним довольно сдержанно, принимая их так, как европейский поселенец мог бы принимать отряд североамериканских индейцев, — не столько из радушия, сколько из страха, и от всей души мечтая, чтобы непрошеные гости поскорее его покинули.

Однако не всегда такое миролюбивое настроение царило в маленькой ложине, где стояла башня. Прежний ее владелец, Саймон Глендининг, гордился своим кровным родством с древней фамилией Глендонуайнов с западной границы Шотландии. Он любил рассказывать, сидя в осенние вечера у очага, о подвигах своих родичей, один из коих погиб, сражаясь рядом с храбрым графом Дугласом, в битве при Отерборне. Повествуя об этом событии, Саймон обычно клал себе на колени старинный меч, принадлежавший его предкам еще до того, как кому-то из них вздумалось принять лен и верховное руководство от мирных монахов монастыря святой Марии. В наше время Саймон так бы спокойно и существовал на доходы со своего имения, беззлобно ропща на судьбу, обрекшую его на бездействие и лишившую его возможности покрыть себя военной славой. Но в те времена для того, кто вел хвастливые речи, так часто возникала возможность, более того — необходимость, подтвердить свои слова поступками, что Саймону Глендинингу вскоре пришлось вступить в ряды солдат обители святой Марии и участвовать в гибельном походе, который завершился сражением при Пинки.

Католическое духовенство было чрезвычайно заинтересовано в этой национальной розни, так как ее цель заключалась в том, чтобы воспрепятствовать брачному союзу между юной королевой Марией и сыном еретика Генриха VIII. Монахи призвали своих вассалов, дав им в руководители опытного вождя. Многие из них и сами взяли за оружие, выступив в поход под знаменем, изображающим коленопреклоненную женщину (она должна была олицетворять собою шотландскую церковь) в молитвенной позе,

с надписью наверху: «Afflictae Sponsae ne obliviscaris». ¹

Однако шотландцы во всех войнах, которые они вели, нуждались не столько в воодушевлении как в смысле политическом, так и в смысле личной храбрости, сколько в бывалых и осмотрительных генералах. Безрассудное и упорное мужество побуждало шотландцев бросаться в самую гущу сражения, не взвесив предварительно ни своих, ни неприятельских сил, что неизбежно вело к частым поражениям. Мы могли бы умолчать о горестном разгроме при Пинки, если бы в числе десятка тысяч бойцов высокого и низкого звания там не сложил своей головы и Саймон Глендининг из башни Глендеарг, несколько не опозоривший древнего рода, от которого он вел свое происхождение.

Когда эта печальная весть, наполнившая ужасом и горем всю Шотландию, достигла башни Глендеарг, там жила лишь вдова Саймона, урожденная Элспет Брайдон, почти в одиночестве, если не считать двух батраков, по старости лет не способных ни воевать, ни пахать землю, да беспомощных вдов и сирот бойцов, погибших на поле брани вместе со своим господином. Отчаяние было всеобщим, но что оставалось делать? Монахи, их покровители, были изгнаны из аббатства английскими войсками, которые наводнили всю страну и вынудили к покорности, по крайней мере внешней, все население.

Протектор Сомерсет образовал на месте развалин древнего замка Роксбург сильно укрепленный лагерь и заставил все окрестные земли платить дань, приняв их (как выражались тогда) «под свою высокую руку». Надо сказать, что в стране больше не оставалось никого, кто мог бы сопротивляться, а те несколько баронов, которым высокомерие не позволило примириться даже с видимостью подчинения, вынуждены были скрыться в самые дальние крепости на границе, оставив свои дома и имущество на поток и разграбление англичанам. Победители рассылали вооружен-

¹ Не забудь опечаленной супруги (лат.).

ные отряды повсюду, чтобы разорять поборами те земли, владельцы коих отказывались покориться. А так как аббат монастыря и вся братия спрятались в крепости, их земли также подверглись страшному опустошению, ибо никто не сомневался, что они особенно враждебно относятся к союзу с Англией.

Среди английских войск, разосланных для карательных целей, был один небольшой отряд, которым командовал капитан Стоуварт Болтон, человек, отличавшийся прямою характером, беззаветной храбростью и великодушием — качествами, свойственными англичанам. Сопротивление карателям было бессмысленно. Поэтому Элспет Брайдон, завидя дюжину всадников, едущих вверх по долине во главе с человеком, в котором легко можно было узнать начальника по красному плащу, блестящим доспехам и развевавшемуся на шлеме перу, не могла придумать лучшего способа самозащиты, чем выйти им навстречу из-за чугунной ограды под длинной траурной вуалью, ведя за руки двух своих сыновей. Она решила объяснить англичанам свое беззащитное положение, предоставить маленькую башню в их полное распоряжение и просить их о покровительстве. Она высказала все это в самых кратких выражениях и добавила:

— Я покоряюсь, потому что не имею возможности сопротивляться.

— А я, мистрис, по той же причине не прошу вас о покорности, — ответил англичанин. — Мне нужно только одно — уверенность в ваших мирных намерениях. А судя по вашим словам, нет основания в этом сомневаться.

— По крайней мере, сэр, — сказала Элспет Брайдон, — воспользуйтесь запасами наших кладовых и амбаров. Лошади ваши устали, а люди, наверное, хотя бы подкрепиться.

— Ни за что, ни за что! — отвечал честный англичанин. — Пускай никто не упрекнет нас в том, что мы бражничали, нарушая покой вдовы храброго солдата, оплакивающей своего супруга... Налево кругом! Одну минуту, — добавил он, сдерживая своего боевого коня, — мои солдаты разбрелись во все стороны.

Им нужно доказательство, что ваша семья находится под моей защитой. Ну-ка, малыш! — обратился он к старшему из мальчиков, которому могло быть лет девять или десять. — Дай-ка, мне твою шапочку.

Ребенок покраснел и потупился в нерешительности. Тогда мать, после многих «да ну», и «ах, какой ты!», и прочих ласковых уговоров, с которыми нежные матери обращаются к избалованным детям, наконец стащила у него с головы колпачок и передала его англичанину.

Стоуарт Болтон, отцепив нашитый красный крест со своего берета и прикрепив его к шапочке ребенка, сказал мистрис Брайдон (к женщинам ее положения не обращались тогда с титулом леди):

— Этот знак уважают все мои люди, и он предохранит вас от любых неприятностей со стороны наших солдат.

Затем он надел шапочку на голову мальчика. Но только он это сделал, как мальчишка весь побагровел. Сверкая глазами, полными слез, он сорвал с себя шапочку и, прежде чем мать могла его удержать, закинул в ручей. Второй мальчик тотчас же кинулся к ручью и, вытащив колпачок, бросил его брату назад, предварительно сняв с него крест, который он благоговейно поцеловал и спрятал на груди. Англичанина эта сцена удивила и позабавила.

— Почему это тебе вздумалось выбрасывать красный крест святого Георгия? — спросил он полушутя-полусерьезно старшего мальчика.

— Оттого, что святой Георгий — южный святой, — ответил тот мрачно.

— Хорошо, — заметил Стоуарт Болтон. — А почему же ты, малыш, вытащил его обратно из ручья? — обратился он к младшему брату.

— Потому что священник говорит, что это знак нашего спасения, общий для всех истинных христиан.

— Что же, и это правильно! — отозвался честный воин. — Должен сказать, мистрис, я вам завидую, что у вас такие мальчики. Они оба ваши?

Стоуарт Болтон имел основание задать этот вопрос, так как у Хэлберта Глендининга, старшего маль-

чика, волосы были как вороново крыло, глаза большие, черные, блестящие, сверкавшие из-под таких же черных бровей, кожа загорелая (хотя его и нельзя было назвать смуглым) и такой живой, прямодушный, решительный вид, который никак не соответствовал его возрасту. Что же касается Эдуарда, младшего брата, то он был белокур, голубоглаз, с нежным цветом лица, несколько бледен и без того свежего румянца на щеках, который служит залогом крепкого здоровья. Но, впрочем, он не выглядел ни больным, ни слабым, напротив — это был привлекательный и красивый мальчик с улыбающимся лицом и кроткими, но веселыми глазами.

Элспет взглянула горделивым материнским взглядом сперва на одного, затем на другого мальчика и потом ответила англичанину:

— Конечно, сэр, они оба мои сыновья.

— И от одного отца, мистрис? — спросил Стоуэрт. Но, заметив, что она покраснела — видимо, этот вопрос был ей неприятен, — поспешно добавил:

— Я ничего плохого не хотел сказать. Я задал бы такой же вопрос при случае кому угодно. Ну что же, сударыня, у вас двое прелестных мальчиков. Не уступили бы вы мне одного из них? Надо признаться, что мы с супругой живем бездетными в нашем старом доме. Ну, голубчики, кто из вас согласится поехать со мной?

Не зная, как понимать эти слова, мать, дрожа от страха, привлекла обоих сыновей к себе. Она держала их за руки, в то время как они оба отвечали чужестранцу.

— Я с вами не поеду, — смело воскликнул Хэлберт, — потому что вы вероломный южанин, а южане убили моего отца! И когда я смогу владеть его мечом, я буду биться с вами не на жизнь, а на смерть.

— Да поможет тебе бог, молодец! — отвечал Стоуэрт Болтон. — Видно, для тебя добрый обычай кровной мести сохранится до конца твоих дней. Ну, а ты, мой белокурый красавчик, не хочешь ли ты поехать со мной верхом на боевом коне?

— Нет, — ответил Эдуард очень серьезно, — ведь вы еретик.

— Ну что ж, и тебе тоже бог в помощь! — ответил Стоуварт Болтон. — Как видно, сударыня, мне здесь у вас не заполучить новобранцев для моего отряда. И все же меня зависть берет, когда я смотрю на этих двух маленьких разбойников. — Он тяжело вздохнул — это было заметно несмотря на то, что он был в латах, — и добавил: — А все же мы бы с женою поспорили, который из разбойников нам больше нравится. Мне бы больше подошел этот черноглазый плут, а ей бы, наверно, этот белокурый, голубоглазый красавчик. Нечего делать, придется нам примириться с нашим бездетным браком, пожелав счастья тем, к кому судьба более милостива. Сержант Бритсон! Оставайся здесь до нового приказа; охраняй эту семью — она под нашим покровительством. Сам не делай им ничего дурного и другим не давай, ты за это отвечаешь головой! Сударыня, Бритсон — человек женатый, немолодой и надежный; кормите его сытно, но не давайте пить лишнего.

Госпожа Глендининг вновь предложила приезжим подкрепиться; говорила она неуверенным тоном, явно рассчитывая на отказ. Дело в том, что, по естественному для всех родителей заблуждению, она вообразила, что ее сыновья для англичанина так же дороги, как для нее самой, и она испугалась, как бы его грубоватое восхищение не кончилось тем, что он и в самом деле похитит которого-нибудь из них. Поэтому она продолжала крепко держать их за руки, точно могла своими слабыми силами защитить их. И наконец с нескрываемой радостью она увидела, что всадники повернули и намерены спуститься в долину. Ее волнение не ускользнуло от взгляда англичанина.

— Я не обижаюсь на вас, сударыня, — сказал он, — за то, что вы боитесь, как бы английский сокол не унес ваших птенцов. Но успокойтесь: меньше детей — меньше забот, а разумному человеку не приходится завидовать чужому потомству. Прощайте, сударыня. Когда этот черноглазый плут подрастет и

сможет воевать с англичанами, научите его щадить женщин и детей, хотя бы в память о Стоуварте Болтоне.

— Да хранит вас бог, великодушный южанин! — сказала ему вслед Элспет Глендининг, но тогда, когда он уже не мог ее слышать. Он же прищепил коня, чтобы вновь стать во главе отряда, и блестящее вооружение всадников, как и развевающиеся перья на их шлемах стали постепенно исчезать по мере того, как они спускались в долину.

— Мама, — сказал старший мальчик, — я ни за что не буду молиться за южанина.

— Мама, — сказал младший более почтительно, — разве это хорошо — молиться за еретика?

— Это один бог знает, — отвечала бедная Элспет. — Но эти два словечка — южанин и еретик — уже стоили Шотландии десяти тысяч ее самых сильных и храбрых сыновей; меня лишили мужа, а вас — отца. И не желаю я больше слышать ни благословений, ни проклятий. Следуйте за мной, сэр, — обратилась она к Бритсону, — мы будем рады поделиться с вами всем, что у нас есть.

Глава III

Они тогда спустились к Твиду
И в ночь костры зажгли...
И весь Тевинтдейл был светел
От неба до земли.

Старый Мейтленд

По всем владениям монастыря святой Марии, как и по окрестным селениям, очень скоро распространилась весть, что хозяйка Глендеарга находится под покровительством английского капитана и, следовательно, ее скот не будет угнан, а хлеб — сожжен. Новость эта достигла ушей и одной леди, которая в свое время занимала более высокое общественное положение, чем Элспет Глендининг, но по тем же бедственным причинам стала еще несчастнее, чем она.

Дама эта была вдовой храброго солдата, Уолтера Эвенела, потомка очень старой фамилии пограничной Шотландии, когда-то владевшей огромными поместьями в Эскдейле. Земли эти давно перешли в другие руки, но Эвенелам еще по-прежнему принадлежало древнее и довольно обширное баронское имение неподалеку от владений монастыря святой Марии. Оно было расположено у берега той же реки, что текла по узкой долине Глендеарг, и где при выходе из ущелья стояла маленькая башня Глендинингов. Здесь и жили эти Эвенелы, занимая почетное положение среди местной знати, хотя они не отличались ни богатством, ни могуществом. Это всеобщее уважение еще значительно возросло под влиянием ловкости, храбрости и предприимчивости последнего из местных баронов — Уолтера Эвенела.

Когда Шотландия начала оправляться от страшного потрясения после битвы при Пинки, Эвенел один из первых собрал небольшие силы и перешел к кровавым и беспощадным стычкам, доказавшим, что народ, пусть побежденный и закабаленный, еще ведет партизанскую войну, которая может оказаться роковой для захватчиков. Но в одной из таких схваток Уолтер Эвенел был убит. Весть о его гибели достигла отцовского дома вместе с другим ужасающим известием — что отряд англичан идет грабить усадьбу и владения его вдовы, дабы этим актом насилия отбить охоту у кого бы то ни было последовать примеру покойного.

Для несчастной леди не нашлось лучшего убежища, чем жалкая пастушья хижина в горах. Сюда ее поспешно увезли, когда она еле сознавала, почему и зачем испуганные слуги уводят ее вместе с малолетней дочерью из дома. Здесь, наверху, Тибб Тэкет, жена пастуха, когда-то ее верная служанка, ухаживала за ней со всей преданностью былых времен. Сначала леди Эвенел не сознавала своего бедственного положения. Но когда первый порыв отчаяния прошел и она смогла трезво оценить положение, бедной вдове невольно пришлось позавидовать участи мужа в его мрачном и безмолвном пристанище. Слуги,

которые ее спрятали, принуждены были покинуть леди Эвенел ради своей собственной безопасности и для того, чтобы искать средства к существованию. А что касается пастуха и его жены, в хижине которых она скрывалась, то они вскоре лишились возможности доставлять своей бывшей госпоже даже ту грубую пищу, которую они от всей души готовы были делить с нею. Какие-то английские солдаты угнали и тех овец, что еще уцелели от первоначальных грабежей. Та же участь постигла двух коров — почти единственных их кормилиц. Теперь уже самый настоящий голод стучался к ним в двери.

— Разорили нас вконец, по миру пустили! — причитал старик пастух Мартин, ломая в отчаянии руки. — Воры! Разбойники! Грабители! Хоть бы одну скотину оставили из всего стада.

— Вы бы видели бедных Гриззи и Кремми, — плакала его жена, — как они повернули головы к хлебу и принялись реветь, а эти бездушные мерзавцы стали их колоть пиками!

— Их всего-то было четверо, — рассуждал Мартин, — а я помню, что в прежние времена сорок человек — и те побоялись бы сюда нос сунуть. Кончились наши сила и мужество, ушли вместе с покойным господином.

— Помолчи ты, старик, ради самого спасителя и его благоверного креста! — промолвила добрая женщина. — Наша госпожа так плоха, погляди — чуть дышит. Еще одно слово, и она богу душу отдаст.

— Хорошо бы, если бы мы все померли, — отвечал Мартин. — Что нам теперь делать? Я ума не приложу. О нас с тобой, Тибб, я еще не так тревожусь. Мы с тобой, может быть, как-нибудь справимся. И нужда и работа нам хорошо знакомы. Но она-то ведь к этому не привыкла...

Они не таясь обсуждали свое положение при леди Эвенел, заключая по бледности ее лица, дрожащим губам и потухшему взору, что она и не слышит и не понимает их разговора.

— Есть, правда, один выход, — продолжал пастух, — только не знаю, пойдет ли она на это. Вдова-

то Саймона Глендининга из ущелья получила охранную от этих скотов южан, и ни один солдат теперь не посмеет их и пальцем тронуть. Вот если бы миледи, в ожидании лучших дней, согласилась бы пойти жить к Элспет Глендининг. Что говорить, для той-то это было бы много чести, но все же.

— Много чести! — воскликнула его жена. — Да такой честью внуки ее будут похвально, когда ее-то косточки давно в могиле сгниют. Да как же это? Слыханное ли это дело, чтобы леди Эвенел — и вдруг проживала у вдовы какого-то церковного вассала?

— Да, меня самого с души воротит, как я об этом подумаю, — ответил Мартин. — Но что прикажешь делать? Здесь оставаться — помрешь с голоду. А куда пойти — это я, ей-ей, так же знаю, как любая овца из тех, что я, бывало, пас.

— Довольно об этом, — произнесла леди Эвенел, неожиданно вмешавшись в разговор. — Я отправляюсь в башню. Элспет Глендининг из порядочной семьи, вдова и мать сирот — она даст нам приют, пока мы чего-нибудь другого не придумаем. Когда бушует гроза, то и под кустом спрятаться все лучше, чем в чистом поле.

— Вот видишь! — обрадовался Мартин. — Как госпожа-то рассудила — получше нас с тобой.

— А ей и книги в руки, — отозвалась Тибб, — она в монастыре воспитывалась, все умеет — и шить и вышивать: и зернью и шелками.

— А как ты думаешь, госпожа Глендининг не откажет нам в гостеприимстве? — спросила леди Эвенел у Мартина, крепко прижимая к себе дочку. По одному этому движению можно было ясно понять, какие причины побуждали ее искать убежища.

— Да она за счастье почтет, уж поверьте, миледи, — весело отвечал Мартин. — Да и мы ей будем служить. С этими войнами, миледи, работничков днем с огнем не сыщешь. А мне только дай волю — у меня всякое дело в руках горит; да и Тибб за коровами умеет ходить лучше всякой скотницы.

— Я еще много чего умею, — добавила Тибб. — Попади я только в порядочный дом. Хотя у Элспет

Глендининг мне, наверно, не придется ни жемчуга перенизывать, ни чепцов плести.

— Полно тебе хвастаться-то, жена, — прервал ее пастух. — Известно, что ты и в доме и во дворе со всем справишься, будь у тебя на то охота. И неужели же мы вдвоем с тобой хлеба на троих не заработаем, не затрудняя милостивую леди, нашу госпожу? Чего тут долго думать, идемте скорей, ничего мы не добьемся, сидя здесь. Нам надо пройти пять шотландских миль по кочкам и болотам, а это для прирожденной леди не так-то легко.

Укладывать и брать в дорогу им было почти нечего. На старую лошадку-пони, случайно уцелевшую после погрома — как благодаря своему жалкому виду, так и потому, что она никак не давалась в руки чужим, — нагрузили несколько одеял и еще кое-какой домашний скarb, составлявший все их имущество. Когда Шаграм подошел, отозвавшись на привычный свист хозяина, тот, к своему удивлению, заметил, что бедное животное ранено, хотя и легко. Видно, один из грабителей, устав от тщетной погони, в раздражении выстрелил в пони из лука.

— Ах, Шаграм! — сказал старый пастух, перевязывая рану. — Видно, и ты не избежал обиды от этих богомерзких стрелков?

— А где еще теперь в Шотландии можно избежать обиды? — отозвалась леди Эвенел.

— Ваша правда, сударыня, — заметил Мартин. — Да хранит бог наших добрых шотландцев от смертоносной стрелы, а от удара меча они и сами уберутся. Но нам пора в путь; за тем хламом, что здесь еще остался, я потом вернусь. Украсть его здесь некому, разве только нашим милым соседushкам, а они...

— Бога ты не боишься, Мартин! — воскликнула его жена с упреком. — Попридержи язык! Подумай, что ты такое говоришь, когда нам придется проходить по самым гиблым местам, пока мы не доберемся до окружного перевала.

Супруг кивнул головой в знак согласия: считалось в высшей степени неосторожным говорить о феях,

называя их добрыми соседками или как-либо иначе, в особенности если предстояло проходить через те места, где, по поверью, они обитали.

Переселенцы тронулись в путь в последний день октября.

— Сегодня день твоего рождения, дорогая Мэри,— промолвила несчастная мать, и горестное воспоминание пронзило ей сердце. — Кто бы мог предвидеть тогда, несколько лет назад, что ты, с самой колыбели окруженная близкими друзьями, может быть ныне ночью не найдешь пристанища!

Вслед за тем семья изгнанников пошла своей дорогой. Мэри Эвенел, прелестная девочка лет пяти-шести, ехала верхом, по-цыгански сидя между двумя узлами на спине Шаграма. Леди Эвенел шла с ней рядом. Тибб вела пони под уздцы, а старый Мартин, предваряя шествие, тщательно осматривал дорогу.

Задача Мартина как проводника уже через две или три мили оказалась гораздо сложнее, чем он думал или чем он готов был признать. Дело в том, что обширные пространства пастбищ, с которыми он был хорошо знаком, лежали к западу, а для того чтобы добраться до ущелья Глендеарг, надо было идти на восток. В гористых частях Шотландии часто бывает очень трудно перебраться из долины в долину — надо спускаться с одной кручи для того, чтобы тут же вскарабкиваться на другую. Гребни и овраги, болота, и утесы, и всяческие иные препятствия мешают путешественнику выбрать правильное направление. Таким образом, Мартин, хотя и был уверен, что, по существу, он идет верной дорогой, постепенно осознал, а затем с неохотой принужден был признать, что сбился с прямого пути на Глендеарг. Но он настаивал, что они должны быть где-то очень близко от него.

— Если только нам удастся пробраться через это большое болото, будьте уверены, что мы окажемся как раз над башней.

Однако пробраться через болото оказалось делом далеко не легким. Чем дальше они шли (хотя двигались со всей осторожностью, которую подсказывал Мартину его опыт), тем почва становилась все более

зыбкой, пока наконец, пройдя несколько мест крайне опасных, им уже ничего другого не оставалось, как только идти вперед, так как возвращаться обратно было столь же рискованно.

Леди Эвенел была хрупкого сложения, но чего не вынесет женщина, когда ее ребенок в опасности! Она меньше жаловалась на трудности пути, чем ее спутники, которые с детства привыкли ко всяким тяготам. Плотнo прижавшись к боку пони, она внимательно следила за каждым шагом, готовая сейчас же подхватить маленькую Мэри на руки, если только лошадка, оступившись, соскользнет в трясину.

Наконец они добрались до такого места, где проводник оказался в серьезном затруднении, ибо кругом были только высокие кочки, заросшие вереском, а между ними — бездонная черная жижа болота. После долгого раздумья Мартин, выбрав, как ему казалось, самое безопасное направление и стремясь прежде всего уберечь от опасности ребенка, сам взял Шаграма под уздцы и намеревался вести его дальше. Но пони вдруг захрапел, прижал уши, вытянул передние ноги, подобрал под себя задние и, упершись таким образом, решительно отказался двинуться с места хотя бы на один шаг. Старый Мартин остановился, озадаченный: он не знал, прибегнуть ли ему к крайним мерам или посчитаться с упрямой несговорчивостью Шаграма. Мало утешило его и замечание супруги, которая, видя, что Шаграм косит глазом, раздувает ноздри и дрожит от страха, высказала предположение:

— Наверное, он видит что-то такое, чего мы не видим.

В это время девочка внезапно воскликнула:

— Вон там красивая леди манит нас идти за ней!

Все посмотрели в ту сторону, куда указывал ребенок, но ничего не увидели, кроме колеблющейся пелены тумана, которую только в воображении можно было принять за человеческую фигуру. Но как раз эта густая завеса вселила в душу Мартина горестное убеждение, что теперь опасность еще возрастает. Он снова попытался заставить Шаграма двинуться впе-

ред, однако животное осталось непоколебимым в своем решении не идти туда, куда его ведут.

— Так иди, куда хочешь, — сказал Мартин, — и посмотрим, куда ты нас выведешь.

Шаграм, предоставленный самому себе, бодро зашагал в ту сторону, куда показывал ребенок. В этом не было ничего удивительного, как и в том, что он провел их целыми и невредимыми через гибельное болото. Инстинкт, который проявляют животные при переходе через трясины, факт общеизвестный и составляет любопытное свойство их природы. Но удивительно то, что девочка вновь и вновь говорила о прекрасной леди и о том, что она их манит, а Шаг-рам, как будто посвященный в эту тайну, неуклонно следовал по направлению, которое она указывала. Леди Эвенел почти не обратила на это внимания: вероятно, она была слишком занята мыслями о грозящей опасности. Но ее спутники не раз обменивались выразительными взглядами.

— Нынче канун дня всех святых, — сообщила Тибб шепотом своему мужу.

— Ради пресвятой богородицы, сейчас об этом ни слова, — отвечал ей Мартин. — Шепчи про себя молитву, если уж ты никак не можешь молчать.

Когда они вновь вышли на твердую почву, Мартин узнал некоторые путеводные знаки в виде пирамид из камней на вершинах близлежащих холмов и направил свой путь по ним. Вскоре они подошли к башне Глендеарг.

Взглянув на эту маленькую крепость, леди Эвенел особенно остро ощутила горечь своего положения. Она невольно вспомнила то почтительное уважение, с которым обращалась к ней, супруге воинственного барона, жена скромного вассала, когда они встречались с ней в церкви, на рынке или еще где-либо на людях. А теперь она была в таком унижении, что ей приходилось просить вдову этого вассала предоставить ей убежище, вероятно не слишком надежное, и разделить с ней запасы пищи, едва ли слишком обильные. Мартин, по всей вероятности, догадывался, что творилось в ее душе; он глядел на нее умоляющим

взором, точно просил не менять своего решения. И скорее в ответ на этот взгляд она сказала, причем в ее глазах еще раз блеснула затаенная гордость:

— Если бы я была одна, я бы скорее умерла... Но ради этого ребенка... последнего отпрыска Эвенелов...

— Правильно, миледи! — поспешно подхватил Мартин и, чтобы отнять у нее всякую возможность отступления, добавил:

— Я пойду повидаюсь с госпожой Элспет; я хорошо знал ее мужа, мне приходилось и продавать ему кое-что и покупать у него, хоть он был мне не ровня.

Рассказ Мартина, очень недолгий, заставил хозяйку Глендеарга отнестись к подруге по несчастью с самым теплым вниманием. В дни своего благоденствия леди Эвенел была ко всем приветлива и внимательна. И теперь, в дни ее унижения, ей платили за это сочувствием. Вдобавок было нечто льстившее самолюбию в самой возможности оказать приют и покровительство женщине столь знатного рода и высокого положения. Но, чтобы не быть несправедливым к Элспет Глендининг, надо сказать, что она чувствовала искреннюю симпатию к женщине, судьба которой, сходная с ее собственной, была еще плачевнее. Измученным путешественникам было оказано самое радушное и почтительное гостеприимство, и хозяйка любезно просила их оставаться в Глендеарге сколько потребуют обстоятельства или сколько они сами пожелают.

Глава IV

Дрожу я, страхом потрясенный:
В канун сей, трижды освященный,
Выходят духи из болот
Пугать народ.

Коллинз, ода «Страх»

Когда в стране стало спокойнее, леди Эвенел охотно вернулась бы в дом своего покойного мужа. Но теперь это было уже не в ее власти. В государстве, где царствовала несовершеннолетняя королева, закон

неизменно оказывался на стороне сильного, почему люди высокого положения, но малой совестливости не стеснялись творить любые беззакония.

Джулиан Эвенел, младший брат покойного Уолтера, принадлежал именно к таким людям. Он не постеснялся захватить дом и земли своего брата, как только отступление англичан дало ему эту возможность. Сначала он управлял поместьем от имени своей племянницы, но, когда леди Эвенел захотела вернуться в родовое имение вместе с дочерью, он дал ей понять, что Эвенел, будучи майоратом, должен перейти по наследству к брату, а не к дочери последнего владельца. Древний философ отказался вступить в спор с императором, повелевающим двадцатью легионами, и вдова Уолтера Эвенела не могла вступить в пререкания с вождем двадцати грабителей из числа «болотных людей». Кроме того, Джулиан был человек услужливый, готовый оказать помощь друзьям в нужный момент, и потому мог быть уверен, что всегда найдет покровительство у власть имущих. Словом, как бы неоспоримы ни были права маленькой Мэри на наследство отца, мать ее сочла за благо уступить, хотя бы временно, незаконным притязаниям ее дяди. Ее терпение и покорность имели то преимущество, что Джулиан, хотя бы из одного только приличия, не мог долее мириться с тем, что его невестка живет из милости у Элспет Глендининг. Стадо рогатого скота вместе с быком (движимость, которую, вероятно, оплакивал какой-нибудь английский фермер) было пригнано на пастбища Глендеарга. Затем были присланы в большом количестве одежда и домашний скарб и с ними некоторая сумма денег, хотя особой щедрости в отношении последних проявлено не было. Надо сказать, что людям, подобным Джулиану Эвенелу, было гораздо проще добывать любые ценности в натуре, чем в их денежном выражении, почему они обычно и расплачивались натурой.

Между тем вдовы Уолтера Эвенела и Саймона Глендининга привыкли друг к другу и уже не желали расставаться. Леди Эвенел не могла найти более уединенного и безопасного убежища, чем Глендеарг,

а теперь она имела возможность и расходы по хозяйству делить пополам. Элспет же было и лестно и приятно общество столь почетной гостьи, как супруга Уолтера Эвенела, и она готова была оказывать ей даже такие знаки уважения, которые той совестно было принимать.

Мартин и его жена, каждый на своем поприще, усердно служили объединенному семейству и одинаково слушались распоряжений как той, так и другой госпожи, хотя все же неизменно считали себя слугами леди Эвенел. Это различие иногда служило поводом к легким недоразумениям между Элспет Глендининг и Тибб; первая несколько ревниво относилась к своей прерогативе хозяйки дома, вторая же слишком подчеркивала высокое происхождение и знатность своей госпожи. Но в то же время ни одна из них не хотела, чтобы эти мелкие дразги достигли ушей леди Эвенел, так как хозяйка Глендеарга питала к ней никак не меньшее уважение, чем старая служанка. Впрочем, эти недоразумения и не были столь серьезны, чтобы нарушить мир и согласие в семье, так как одна благоразумно уступала, как только замечала, что другая уж очень распалилась. Впрочем, Тибб, хотя она часто бывала зачинщицей ссор, оказывалась обычно и достаточно разумной, чтобы первой кончить пререкания.

Окружающий мир был постепенно забыт обитателями уединенного ущелья, и если бы Элис Эвенел не приходилось бывать по большим праздникам у обедни в монастырской церкви, она бы совсем забыла, что когда-то занимала такое же положение, как те гордые жены соседних баронов и дворян, которые стекались толпой на подобные торжества. Это напоминание о прошлом не причиняло ей большого горя. Она любила своего мужа таким, каким он был, и при такой невознаградивой утрате все другие потери перестали ее интересовать. Правда, она не раз думала просить королезу-регентшу (Марию де Гиз) принять под свое покровительство ее сиротку, но боязнь восстановить против себя Джулиана Эвенела неизменно ее удерживала. Она хорошо понимала, что он без зазрения совести и без помехи украдет ее ребенка (если не

сделает хуже), как только заподозрит, что маленькая наследница угрожает его интересам. Притом Джулиан вел бурную и беспутную жизнь, участвуя во всех нападениях и грабежах, где дело решалось силой оружия. Склонности к женитьбе он не проявлял, а постоянный вызов судьбе мог в конце концов привести его к потере незаконно захваченного наследства. Поэтому Элис Эвенел благоразумно решила отказаться на время от всяких честолюбивых замыслов и продолжала жить в непритязательном, но мирном приюте, уготованном ей провидением.

Однажды вечером, накануне дня всех святых (к этому времени обе семьи прожили вместе уже три года), в старой узкой зале глендеаргской башни, у очага, где ярко пылал торф, собрался весь домашний кружок. В те времена никому в голову не приходило, чтобы хозяин или хозяйка дома ели или жили отдельно от своих слуг. Все различие между ними отмечалось лишь более почетным местом за столом или более удобной скамейкой близ очага. Слуги свободно вмешивались, правда, не без уважения, но совершенно беспрепятственно, во все разговоры. Из башни в свои хижины удалялись лишь те несколько батраков, которые работали на полях, и с ними две девушки-служанки — дочери одного из них.

Проводив их, Мартин запер сперва железную решетку, а затем, убедившись, что семейный кружок в полном составе, — и внутреннюю дверь башни. Госпожа Элспет, сидя у прялки, сучила нитку; Тибб наблюдала за тем, как сыворотка кипятится в большом котле на «зацепе» (цепь с крюком на конце, которая служила той же цели, что современный подъемный кран). Мартин же занимался починкой кое-какой домашней утвари (в те времена каждый человек был сам себе плотник и кузнец, а зачастую и портной и сапожник) и в то же время следил за тремя детьми.

Дети могли резвиться и бегать взад и вперед по зале, позади стульев, на которых сидели взрослые, и им разрешалось иногда забегать и в две-три смежные комнатки, где было очень удобно играть в прятки. Впрочем, в этот вечер они, видимо, не были располо-

жены пользоваться своим правом прятаться в темноте, предпочитая скакать и прыгать поближе к свету.

Элис Эвенел, подвинувшись к железному подсвечнику, в который была вставлена неровная свеча домашнего изготовления, читала вслух избранные отрывки из толстой книги с застешками, которую она очень заботливо берегла. Искусству чтения леди Эвенел выучилась в монастыре, где она воспитывалась, но ей редко в последние годы приходилось читать что-либо, кроме этой книжки, составлявшей всю ее библиотеку.

Все домочадцы слушали отрывки, которые она читала, с благоговейным уважением, как нечто глубоко поучительное, вне зависимости от того, было ли оно вполне понятно или нет. Дочке леди Эвенел намеревалась впоследствии подробно разъяснить все премудрости этой книги, хотя такие знания были в те времена сопряжены с большой опасностью и доверять их ребенку было довольно опрометчиво.

Шумная возня детей не раз заглушала голос леди и наконец побудила Элспет сделать замечание нарушителям порядка:

— Если вы хотите шуметь, отойдите подальше и не мешайте миледи!

Это распоряжение было подкреплено угрозой, что их уложат спать, если они сейчас же не уgomонятся. Дети сначала забились в дальний угол и там начали играть в более спокойную игру, но затем, когда им это надоело, они незаметно проскользнули из залы в соседнее помещение. Но почти тотчас оба мальчика с разинутыми ртами влетели обратно и сказали, что в трапезной стоит вооруженный человек.

— Это, должно быть, Кристи из Клинт-хилла, — сказал Мартин вставая. — Но что могло привести его сюда в такую позднюю пору?

— И как он сюда попал? — заметила Элспет.

— О господи! Что ему понадобилось? — воскликнула леди Эвенел, которой этот человек, правая рука ее деверя, иногда выполнявший его поручения в Глендеарге, внушал тайный страх и недоверие. — Боже правый! — добавила она, вставая с места. — Где же моя девочка?

Все бросились в трапезную, причем Хэлберт Глендининг вооружился ржавым мечом, а его младший брат схватил книгу леди Эвенел. Они подбежали к дверям, и у них сразу отлегло от сердца: на пороге их встретила сама Мэри. Она нисколько не казалась смущенной или встревоженной. Они кинулись дальше в трапезную (одно из внутренних помещений, в котором вся семья в летнее время обедала), но там никого не оказалось.

— Где же Кристи из Клинт-хилла? — спросил Мартин.

— Не знаю, — отвечала Мэри. — Я его не видала.

— С чего же это вы, негодные мальчишки, — обратилась Элспет Глендининг к своим сыновьям, — влетели к нам как полоумные и напугали леди до смерти своим криком, а она, бедная, и так уж чуть жива?

Мальчики молча и смущенно переглянулись, а мать продолжала наставление:

— Уж нашли время для своих проказ — канун дня всех святых, да еще тот час, когда леди читает нам жития? Ну, погодите, я вам задам!

Старший мальчик опустил глаза, младший заплакал, но ни один из них не промолвил ни слова. Мать уже готова была привести свои угрозы в исполнение, но тут вмешалась Мэри:

— Госпожа Элспет, это я виновата — я им сказала, что видела человека в трапезной.

— Отчего же ты это сказала, — обратилась к ней мать, — и так напугала нас всех?

— Потому, — отвечала Мэри, понизив голос, — что я не могла иначе.

— Не могла иначе, Мэри! Ты подняла всю эту суматоху и говоришь, что не могла иначе? Как же так, милочка?

— Да, там действительно стоял вооруженный человек, — отвечала Мэри, — и я так удивилась, что позвала Хэлберта и Эдуарда.

— Вот она сама все сказала, — прервал ее Хэлберт Глендининг, — а я бы никогда ничего не сказал.

— И я тоже, — произнес Эдуард, не желая отстать от брата.

— Мистрис Мэри, — обратилась Элспет к девочке, — вы никогда раньше не говорили нам неправды; признайтесь, что вы пошутили, и хватит об этом.

У леди Эвенел был такой вид, точно она хочет вмешаться, но не знает, как это лучше сделать, а любопытство Элспет было возбуждено до такой степени, что она уже не могла считаться с тонкими намеками и потому продолжала допрашивать девочку:

— Что же, это был Кристи из Клинт-хилла? Только не хватало, чтобы он еще торчал у нас в доме неведомо зачем.

— Это был не Кристи, — отвечала девочка, — это был... это был джентльмен, джентльмен в блестящих латах. Таких я видела давно, когда мы еще жили в Эвенеле.

— Каков же он был из себя? — включившись в следствие, начала допрашивать Тибб.

— У него были черные волосы, черные глаза и острая черная борода, — отвечала девочка, — и много ниток жемчуга, которые с шеи падали ему на грудь, на его кирасу. В левой руке он держал красивого сокола с серебряными колокольчиками и в красной шелковой шапочке...

— Ради бога, не задавайте ей больше вопросов! — воскликнула испуганная служанка, обращаясь к Элспет. — Взгляните на миледи!

Но леди Эвенел, схватив девочку за руку, круто повернулась и быстро пошла обратно в залу, не давая окружающим возможности судить, какое впечатление произвело на нее сообщение ребенка, которое она так резко прервала. Какое действие оно оказало на Тибб, ясно было из того, что она, не переставая креститься, шепнула на ухо Элспет:

— С нами крестная сила! Девчушка-то видела своего отца!

Вернувшись в залу, они увидели, что леди Эвенел держит дочку на коленях и нежно целует. Когда все вошли, леди Эвенел встала, словно хотела избежать их любопытных взглядов, и удалилась в свою комнату, где она спала с дочкой на одной кровати.

Мальчиков тоже отослали в их чуланчик, и никого больше не оставалось у очага, кроме верной Тибб и госпожи Элспет, особ весьма почтенных, но до смерти любивших посплетничать.

Вполне понятно, что они сейчас же принялись обсуждать это сверхъестественное явление (ибо таким они его почитали), переполошившее весь дом.

— Лучше бы я увидела самого дьявола — храни нас бог от этого наваждения, — чем Кристи из Клинтхилла, — заявила хозяйка дома. — О нем идет молва, что он самый отъявленный вор и грабитель на свете.

— Э, что там, госпожа Элспет, — возразила Тибб, — чего уж вам Кристи-то так пугаться? Хитра лиса, да не больно страшна. Вы, церковники, уж очень строги к добрым людям, что нужды ради при случае чем и попользуются. А не много было бы у нас на границе всадников, кабы не наши оборотистые парни.

— Уж лучше бы их и вовсе не было, только бы народ они не грабили, — отвечала госпожа Элспет.

— А кто же тогда отсюда южан прогонит, ежели они свои копыта и мечи попрячут? Ведь нам-то, бабам, с прялками и веретенами врагов не одолеть, а монахам с их колоколами и книгами — подавно.

— А по мне, пускай бы уж они лучше попрятали свои копыта и мечи. Я от южанина — от Стоуварта Болтона — больше добра видела, чем от всех пограничных всадников с их крестами святого Андрея. И я думаю, оттого что они без устали повсюду рыщут и на чужое добро зарятся, у нас и раздор пошел с Англией, и ведь от этого самого я и мужа потеряла. Они болтают, что вся причина — в этой свадьбе принца с нашей королевой, а по мне, тут главное, что они на жителей Камберленда напали, а англичане тогда на нас как бешеные псы ринулись.

При других обстоятельствах Тибб не замедлила бы опровергнуть это мнение, с ее точки зрения — оскорбительное для ее сограждан, но, вспомнив, что госпожа Элспет все-таки хозяйка дома, она обуздала свой ярый патриотизм и поспешила переменить разговор.

— А разве не поразительно, — сказала она, — что наследница Эвенела в эту благословенную ночь увидела своего отца?

— Значит, ты думаешь, это был ее отец? — спросила Элспет Глендининг.

— А то как же? — отвечала Тибб.

— Мало ли какой дух мог принять его образ, — возразила госпожа Глендининг.

— Насчет этого я ничего не знаю, — заявила Тибб, — но что он в таком точно обличье выезжал на соколиную охоту, в этом я поклясться могу. Он редко снимал с себя латы — ведь у него было много врагов. Мне кажется, — добавила она, — что тот мужчина не мужчина, кто на груди не носит стальной брони, а на поясе — меча.

— Насчет брони, лат и прочего я не судья, — отвечала госпожа Глендининг, — а вот что видения в канун дня всех святых счастья не предвещают, это я на себе испытала.

— Да неужели, госпожа Элспет? — воскликнула Тибб, придвигая свою скамеечку поближе к высокому деревянному креслу собеседницы. — Вот бы об этом послушать!

— Надо тебе сказать, Тибб, — начала госпожа Глендининг, — что когда мне было лет девятнадцать-двадцать, во всей округе ни один праздник без меня не обходился.

— Это понятно, — отозвалась Тибб. — Но вы, видно, сильно остепенились с тех пор, иначе вы не напали бы так на наших молодцов.

— После того, что я испытала, поневоле остепенишься! — ответила почтенная дама. — Тогда у такой девчонки, как я, не было недостатка в обожателях — я ведь была не такая уж уродина, чтобы от меня лошади шарахались.

— Ну, что это вы! — воскликнула Тибб. — Вы и теперь хоть куда.

— Пустяки это все, пустяки! — возразила хозяйка Глендеарга, в свою очередь придвигая кресло с высокой спинкой к резной скамеечке, на которой сидела Тибб. — Мое время прошло. Но тогда я могла сойти

за хорошенькую, и, кроме того, я не была бесприданницей — за мной давали порядочный кусок земли. Мой отец частично владел Литлдеаргом...

— Об этом вы мне уже рассказывали, — прервала ее Тибб. — А как же все-таки с кануном дня всех святых?

— Ну, хорошо, хорошо. Парней за мной увивалось порядочно, но ни одному из них я не отдавала предпочтения. И вот однажды, накануне дня всех святых, сидит с нами отец Николай, монастырский эконо́м — он был эконо́мом до теперешнего эконо́ма, отца Климентия, — щелкает орехи и пьет пиво в самом веселом настроении. И стали меня все уговаривать погадать о своем суженом. Монах мне сказал, что греха в этом нет, а если и есть какой грех, он мне его отпустит. И вот пошла я в амбар — как водится, зерно провеять три раза подряд. А у самой-то у меня сердце замирало от одной мысли, что мне, поди, не сдобровать; но я тогда была отчаянная. И вот не успела я провеять третий вес, — а луна-то светила вовсю, и лучи ее стелились по полу, — как вдруг проходит передо мной образ дорогого моего Саймона Глендининга, упокой, господи, его душу. Он прошел мимо со стрелой в руке, а я вскочила в испуге. Сколько потом возни было, чтобы привести меня в чувство. Уж как меня уверяли, что это шутка отца Николая и Саймона и что стрела была купидонова стрела (так говорил брат эконо́м). И Саймон после нашей свадьбы не раз повторял мне то же самое, но он, голубчик, не хотел, чтобы о нем сплетничали, что дух его когда-то вышел из тела. Однако заметь себе, Тибб, чем дело кончилось. Мы с ним поженились, но все-таки погиб-то он от такой же самой обыкновенной стрелы с гусиным перышком на конце.

— От обыкновенных-то стрел много храбрых людей погибло, — заметила Тибб. — А что до гусиных перьев, то, по мне, пусть бы этих проклятых гусей и вовсе не было, мы бы и курами обошлись.

— Но вот что ты мне скажи, Тибб, — продолжала мистрис Глендининг, — чего это твоя госпожа нам все вычитывает из этой толстой черной книги с серебря-

ными застешками? Там много таких святых слов, что их впору только из уст священника слышать. Ежели бы она читала нам о Робине Гуде или, скажем, какие-нибудь баллады Дэвида Линдсея, я бы слова не сказала. Я не то что не доверяю твоей госпоже, но боюсь, как бы у меня в порядочном доме не завелись духи или ведьмы.

— Нет у вас никакой причины сомневаться в миледи, госпожа Глендининг, ни в словах ее, ни в поступках, — возразила Тибб несколько обиженным тоном. — А что до девочки, то всем известно, что она родилась девять лет назад, в канун дня всех святых. А те, что родились накануне этого праздника, видят то, что недоступно другим.

— Так, вероятно, потому-то девочка и не подняла крика, когда увидала его? Ежели бы это случилось с моим Хэлбертом (не говоря уж об Эдуарде, который мягче нравом), он бы всю ночь проревел от страха. Но похоже, что для мистрис Мэри это дело привычное.

— Может, и так, — отвечала Тибб, — ведь я же говорю, она родилась в канун дня всех святых, в самую полночь, когда, по словам нашего старого приходского священника, праздничный день уже начался. Но вообще-то наша девочка, вы сами видите, совсем как другие дети. И если бы не сегодняшний благословенный вечер и еще тот раз, когда мы в болоте застряли, когда сюда ехали, нельзя сказать, чтобы она видела такое, чего другие не видят.

— Но что же она могла увидеть на болоте, — заинтересовалась госпожа Глендининг, — кроме белых куропаток и болотных уток?

— Увидала что-то вроде белой леди, которая и показала, куда нам ехать, когда мы чуть не застряли в трясине. Но по правде сказать, и Шаграм тогда уперся, и Мартин думает, что он тоже что-то видел.

— А что же это была за белая леди? — продолжала Элспет. — Вы ни о чем не догадываетесь?

— Да это же всем известно, госпожа Элспет, — отвечала Тибб, — и если бы вам довелось жить со

знатными людьми, как мне, вы бы об этом не спрашивали.

— Я всегда проживала в своем собственном доме, — заметила Элспет довольно резко, — а если мне и не приходилось жить со знатными людьми, то знатные люди пришли жить ко мне.

— Что вы, что вы, сударыня! — воскликнула Тибб. — Вы меня извините, у меня и в мыслях не было вас обидеть. Но дело-то вот какое: старые знатные семьи не могут обходиться обыкновенными святыми (да будет благословенно их имя), как, скажем, святой Антоний или святой Катберт и другие, которых всякий грешник может позвать на помощь. У них есть свои собственные святые, или ангелы, или как их еще там называют. А что до Белой девы из замка Эвенелов, так она известна во всей округе. И ее всегда видят, как она плачет и рыдает перед тем, как кому-нибудь умереть в семье. И ее как раз такой и видели человек двадцать перед кончиной Уолтера Эвенела, мир праху его!

— Если она больше ничего не умеет, — заметила Элспет несколько презрительно, — то не за что ее уж так почитать. Что же она, не может оказать им настоящей помощи, а только смотрит на них со стороны?

— Если уж на то пошло, Белая дева может сделать много добра, да в старину и делала, — возразила Тибб, — но на моей памяти такого не было, разве вот когда девочка увидала ее на болоте.

— Ну что же, Тибб, — сказала госпожа Глендинг, вставая и зажигая железную лампу, — это, видно, их особенное преимущество, ваших знатных господ. Но богородица и апостол Павел достаточно святые для меня. Они никогда не оставят меня на болоте, если могут помочь мне выбраться оттуда, — я ведь под каждое сретение ставлю им в часовнях по четыре восковых свечи. А если никто и не увидит, чтобы они рыдали над моей могилой, зато уж они возрадуются моему светлому воскресению, да пошлет господь его всем нам. Аминь.

— Аминь, — набожно повторила Тибб, — а теперь мне пора накрыть торф: огонь-то в очаге почти заглох.

И она расторопно принялась за дело.

Вдова Саймона Глендининга приостановилась на минутку, чтобы обвести пристальным хозяйским взглядом всю залу и убедиться, что все в порядке, а затем, пожелав Тибб доброй ночи, удалилась на покой.

— Тоже, подумаешь, важная птица! — проворчала Тибб себе под нос. — Оттого, что она была женой лэрда, она передо мной нос задирает, когда я служу у такой знатной леди, как моя госпожа. — Дав этой краткой сентенцией выход своему раздражению, Тибб тоже отправилась спать.

Глава V

Кричите вы: «Монах!» Как соберет
Хромой пастух разбредшееся стадо?
Как пес, который лаять не умеет,
Загонит в хлев заблудшую овцу?
Ему сподручней греться у камина,
Вдыхая ароматы вкусных блюд,
Которые ему готовит Филлис,
Чем схватываться с волком на снегу.

«Реформация»

Здоровье леди Эвенел становилось все хуже. За несколько лет после кончины супруга она, казалось, постарела на полстолетия. Она утратила стройность и гибкость фигуры, живость и яркость красок и стала худой, бледной и слабой. Она как будто ни на что не жаловалась. Но для всякого было очевидно, что силы ее тают с каждым днем. Наконец, губы ее побелели, а глаза померкли. Однако она не выражала никакого желания позвать священника, пока Элспет Глендининг в своем усердии сама не коснулась этого деликатного вопроса, столь существенного, по ее мнению, для спасения души. Элис Эвенел кротко выслушала ее и поблагодарила за внимание.

— Если найдется хороший священник, который возьмет на себя труд добраться до нас, — сказала она, — я буду рада. Ибо молитвы и наставления достойных людей всегда полезны.

Это покорное согласие не совсем удовлетворило Элспет Глендининг, которая хотела или ожидала совсем иного. Но она заменила некоторое равнодушие благородной леди ко благу духовного назидания своим собственным неукротимым рвением; Мартин тотчас же был отправлен со всей поспешностью, на которую был способен Шаграм, в монастырь святой Марии, дабы пригласить одного из святых отцов прибыть к ним и оказать радость последнего утешения вдове Уолтера Эвенела.

Когда ризничий доложил лорду-аббату, что вдова покойного Уолтера Эвенела, проживающая в башне Глендеарг, очень плоха и жаждет утешения духовника, почтенный настоятель, выслушав просьбу, призадумался.

— Мы хорошо помним Уолтера Эвенела, — произнес он наконец, — он был храбрый и достойный рыцарь; южане отобрали у него земли и убили его... А не может ли его супруга прибыть сюда, к нам, для таинства исповеди? Дорога туда дальняя и трудная.

— Леди Эвенел нездорова, святой отец, — отвечал ризничий, — и не в состоянии вынести путешествие.

— Да, правда... Ну что же... Тогда кто-нибудь из братьи должен поехать к ней... Скажи-ка, ты не знаешь, получила она свою вдовью часть из наследства Уолтера Эвенела?

— Сущие пустяки, святой отец, — ответил ризничий. — Она проживает в Глендеарге со времени смерти супруга, почти что из милости у бедной вдовы, по имени Элспет Глендининг.

— А ты, видно, знаком со всеми вдовушками в нашей округе, — заметил аббат. — Хо! Хо! Хо! — И его полное тело начало сотрясаться от собственного остроумия.

— Хо! Хо! Хо! — отозвался ризничий, вторя ему в том тоне и созвучии, в каком обычно подчиненный радуется шутке начальника. Затем он присовокупил,

неестественно фыркающая и хитро подмигивая: — Ведь это наш долг, святой отец, утешать вдов. Хи! Хи! Хи!

Этот последний взрыв смеха был более сдержан, поскольку от аббата зависело, продолжить или прекратить шутку.

— Хо! Хо! — засмеялся аббат. — Ну, довольно шутить. Отец Филипп, облачись для поездки верхом и поезжай исповедовать эту госпожу Эвенел.

— Но... — возразил ризничий.

— Пожалуйста, без «но». Не может быть никаких «но» или «если», когда настоятель говорит с монахом, отец Филипп. Мы должны поддерживать строжайшую дисциплину — без того уже ересь растет, точно снежный ком, — народ хочет исповедоваться у бенедиктинцев и слышать их проповеди, а не иметь дело с нищенствующей монашеской братией, и мы не должны оставлять наш вертоград втуне, хотя возделывать его — тяжелый труд.

— И притом не слишком выгодный для святой обители, — добавил ризничий.

— Твоя правда, отец Филипп. Но разве ты не знаешь, что, препятствуя злу, мы делаем добро? Этот Джулиан Эвенел ведет беспутный и пагубный образ жизни, и, если мы проявим небрежение к нуждам вдовы его брата, он способен разграбить наши земли, а мы не сможем поставить ему это в вину. Притом же это наш долг — проявить внимание к древней фамилии, которая в свое время много пожертвовала на обитель. Скорее же в путь, брат мой. Скажи день и ночь, если понадобится, и пусть люди увидят, сколь ревностны аббат Бонифаций и его верные чада в исполнении своего духовного долга. Да не остановит нас усталость, ибо ущелье тянется на пять миль, да не остановит нас страх, ибо долину, говорят, посещают духи, — ничто не должно отвратить нас от следования нашему благому призванию, к вящему посрамлению клеветников еретиков и укреплению и возвеличению истинных и верных сынов католической церкви. Желал бы я знать, что скажет на это отец Евстафий?

Глубоко взволнованный нарисованной картиной трудов и опасностей, которые предстоит преодолеть, и той славы, которую он в результате приобретет (хотя и передоверив труды и опасности другому лицу), аббат не спеша направился в трапезную доканчивать завтрак, в то время как ризничий без всякой охоты последовал за старым Мартином, возвращавшимся в Глендеарг. Надо заметить, что из всех трудностей на пути труднее всего оказалось сдерживать резвого мула, дабы заставить его шагать вровень с несчастным, измученным Шаграмом.

Пробыв целый час наедине с исповедницей, монах вышел мрачный и задумчивый. Госпожа Элспет, которая приготовила в зале кое-какое угощение для почетного гостя, была поражена его явным смущением. Она взирала на него с тревогой. Ей казалось, что весь его вид говорит скорее о том, что ему пришлось выслушать признание в страшном преступлении, чем напутствовать к будущей жизни грешницу, примирившуюся со всем земным. После долгих колебаний Элспет не смогла удержаться от искушения задать вопрос. Она уверена, сказала она, что миледи удалось без труда облегчить свою душу. Они прожили вместе пять лет, и она по совести может сказать, что не встречала женщины, которая вела бы более примерную жизнь.

— Женщина, — сурово возразил ризничий, — ты говоришь о том, чего не знаешь. Какая польза чистить посуду снаружи, когда внутри она покрыта плесенью ереси?

— Конечно, наши блюда и деревянные тарелки должны были бы быть еще чище, святой отец, — отвечала Элспет, лишь наполовину понимая, что он сказал, и принимаясь вытирать фартуком пыль с посуды, полагая, что он жалуется на ее нечистоту.

— Что вы, госпожа Элспет! — воскликнул монах. — Ваша посуда так чиста, как только могут быть чисты деревянные блюда и оловянные сосуды. Плесень, о которой я говорю, — это та чумная зараза, которая каждый день все более проникает в нашу святую шотландскую церковь, подобно губительному

червью, что забирается в розовый венок на челе невесты.

— Мать пресвятая богородица! — воскликнула госпожа Элспет, осеняя себя крестным знамением. — Неужто же у меня живет еретичка?

— Нет, Элспет, нет, — отвечал монах, — было бы слишком жестоко с моей стороны высказывать такое мнение об этой несчастной леди, но мне хотелось бы иметь право сказать, что ее совершенно не коснулись еретические взгляды. Увы! Скверна эта носится в воздухе, как моровая язва в полдень, и заражает даже самых лучших, самых чистых овец стада. Ведь нетрудно убедиться, поговорив с этой дамой, что она так же начитанна, как и высокородна.

— Она пишет и читает, мне думается, не хуже вашего преподобия, — сказала Элспет.

— Кому же она пишет и что она читает? — живо откликнулся монах.

— Вообще, — отвечала Элспет, — я не могу сказать, чтобы она при мне когда-нибудь писала, но ее бывшая служанка — теперь она обслуживает всю нашу семью — говорит, что она умеет писать. А что до чтения, так она часто читала нам вслух поучения из толстой черной книги с серебряными застежками.

— Покажите мне эту книгу! — поспешно сказал монах. — Заклинаю вас верностью вашего вассального подчинения... вашей преданностью святой католической церкви... сейчас же... сейчас же покажите ее мне!

Добрая женщина колебалась, встревоженная впечатлением, какое ее слова произвели на духовника. К тому же она полагала, что книга, столь благоговейно изучаемая такой почтенной особой, как леди Эвенел, не могла содержать в себе чего-либо вредного. Однако, побуждаемая окриками, восклицаниями и даже угрозами отца Филиппа, она в конце концов принесла ему роковую книгу.

Это было очень легко сделать, не возбуждая подозрений со стороны владелицы, во-первых, потому, что та в изнеможении после долгой беседы с духовником

отдыхала в постели, и, во-вторых, потому, что в ту маленькую комнату в башне, где, наряду с кое-какими ценными вещами, хранилась и книга, проход был через особую дверь. Сама же леди Эвенел меньше всего думала о сохранности книги; кому и для чего она могла понадобиться в семействе, где никто не знал грамоты и где не бывало ни одного грамотного человека?

Поэтому госпоже Элспет без особых трудов удалось достать книгу, но совесть ее была неспокойна. В глубине души она упрекала себя в неблагоприятном и негостеприимном поступке в отношении близкого человека и друга. Перед ней стоял человек, облеченный двойною властью — светской и духовной. Откровенно говоря, она бы все же, при иных условиях, нашла в себе достаточно твердости, чтобы противостоять этому двойному авторитету. Но (к моему огорчению, я должен в этом сознаться) ее отпор был значительно ослаблен любопытством (свойственным всем дочерям Евы) узнать наконец тайну книги, которую леди Эвенел ценила так высоко и в то же время читала так осторожно. Надо сказать, что Элис Эвенел никогда не прочитывала ни единой страницы, не убедившись предварительно, что железная дверь башни накрепко заперта. И даже тогда, судя по отрывкам, которые она читала, она скорее стремилась познакомиться своих слушателей с добродетельными поучениями этой книги, чем превращать ее в символ новой веры.

Когда Элспет, то ли с любопытством, то ли с угрызениями совести, вручила книгу монаху, он, перелистав ее, воскликнул:

— Так и есть! Я так и думал! Где мой мул? Скорее оседлайте мне мула. Я здесь больше не могу оставаться. Очень, очень похвально ты поступила, дочь моя, что вручила мне эту опаснейшую книгу.

— Что же в ней, колдовская сила или дьявольщина? — спросила испуганная Элспет.

— Нет, боже избави! — отвечал монах, перекрестившись. — Это священное писание, но оно изложено народным языком и посему, согласно указанию

святой католической церкви, не может находиться в руках мирян.

— Но ведь священное писание указывает всем нам путь ко спасению, — возразила Элспет. — Святой отец, просветите мое невежество. Не может же недостаток ума быть смертным грехом, и, право, мне бы очень хотелось прочесть священное писание.

— Как вам этого не желать! — отвечивал монах. — Именно так наша прародительница Ева стремилась познать добро и зло, так грех и вошел в мир, а за ним и смерть.

— Истинно так, ваша правда! — согласилась Элспет. — Ох, если бы только миледи во всем поступала по советам апостолов Петра и Павла!

— Если бы она только уважала заветы отца небесного! — продолжал монах. — Ей даны были и рождение, и жизнь, и радость, но с тем, чтобы она не нарушала небесных предначертаний, закрепленных этими дарами. Истинно говорю вам, Элспет: слово убивает. Это значит, что священное писание, прочтенное неумелым глазом и неосвященными устами, подобно сильнодействующему лекарству, которое больные должны принимать по предписанию врача. Тогда они поправляются и благоденствуют. Но ежели они начнут пользоваться им по своему собственному разумению, то от собственной руки погибнут.

— Истинно, истинно так! — промолвила сбитая с толку Элспет. — Вам, уж конечно, лучше знать, ваше преподобие!

— Вовсе не мне, — возразил отец Филипп со всем смирением, какое, по его мнению, приличествовало ризничему монастыря святой Марии, — не мне, а его святейшеству папе, главе всех христиан, и нашему настоятелю, лорду-аббату святой обители. Я сам, убогий монастырский ризничий, могу лишь повторять то, что я слышал от выше меня стоящих. Но в одном будь уверена, добросердечная женщина, будь совершенно уверена: слово — слово само по себе — убивает. Но церковь располагает проповедниками для толкования слова и распространения его среди благочестивой паствы... Я говорю здесь, возлюбленные братья,

то есть я хотел сказать — возлюбленная сестра (ризничий невольно прибег к привычному обращению из конца проповеди), я говорю здесь не столько о протоиереях и иереях и вообще о белом или мирском духовенстве (так прозванном, ибо оно живет в мире и по его заветам и свободно от преград, отъединяющих нас от мира); я говорю далее не столько о нищенствующей братии (будь они в черных рясах или в серых, с крестами или без крестов); я говорю здесь о монахах, и в особенности — о монахах-бенедиктинцах, связанных уставом святого Бернарда Клервского и носящих имя цистерцианцев. Это большое счастье и великая слава для нашей страны, возлюбленные братья, — я хотел сказать — возлюбленная сестра, — что именно монахи обители святой Марии проповедуют здесь слово божие. Ибо хотя я сам всего лишь недостойный чернец, но должен заметить, что ни одна обитель в Шотландии не дала столько святых, столько епископов и столько пап (да будет благословенно имя наших великих покровителей!), как наш монастырь. А посему... Но я вижу, Мартин уже оседлал моего мула, и мне теперь остается только проститься с вами братским поцелуем (в коем нет стыда) и отправиться в многотрудный путь, ибо ваша долина пользуется дурной славой по причине обитающих в ней злых духов. Мало того — я могу не попасть засветло к мосту, и тогда мне придется переходить реку вброд, а вода, как я успел заметить, прибывает.

На этом ризничий покинул госпожу Элспет, совершенно сбитуую с толку как стремительностью его высказываний, так и содержанием его речей и, кроме того, далеко не спокойную в отношении книги, так как голос совести подсказывал ей, что не следовало сообщать о ней кому бы то ни было без ведома владыцы.

Как ни спешили монах и его мул поскорее добраться до более спокойных мест, чем Глендеарг, как ни горячо было желание отца Филиппа первым доложить настоятелю, что экземпляр опаснейшей книги нашелся тут, поблизости, во владениях аббатства, как

ни понуждали его некоторые особые причины проскочить как можно скорее через мрачное ущелье со столь дурной репутацией, все же и плохое состояние дороги и непривычка к быстрой езде сделали свое дело, так что сумерки наступили прежде, чем он выбрался из узкой долины.

Путешествие было действительно нерадостным. Склоны ущелья подступали друг к другу так близко, что при каждом повороте дороги тень, падая с запада, погружала восточный берег в совершенную тьму; колеблемые ветром ветви и листья частого кустарника как-то зловеще кивали ему. А утесы и скалы теперь, ночью, представлялись монаху и выше и мрачнее, чем были днем, когда он ехал в Глендеарг, и притом не один. Таким образом, отец Филипп ожил душой, когда он наконец выехал из ущелья на широкое пространство поймы реки Твид. Величественные воды этой реки текли то плавно, то бурно, но всегда полноводно и мощно, не в пример иным шотландским рекам. Надо сказать, что Твид даже в засуху течет вровень со своими берегами и почти не дает возможности разрастаться камышу, тогда как заросли его обычно уродуют берега весьма многих прославленных шотландских рек.

Монах, безучастный к красоте природы (в те времена природа не считалась достойной внимания), был все же, подобно предусмотрительному полководцу, весьма обрадован, что выбрался наконец из тесного ущелья, где враг мог застигнуть его врасплох. Он подобрал поводья и перевел мула на привычную плавную иноходь вместо беспокойной и тряской рыси, доставлявшей седоку величайшие неудобства. Затем он вытер пот со лба и принялся спокойно и равнодушно созерцать луну, которая, разгоняя вечерний сумрак, начала подниматься над полями и лесами, деревнями, сторожевыми башнями и над величавыми строениями монастыря, тонувшими вдаль в призрачном желтоватом свете.

Главным недостатком этого ландшафта, по мнению монаха, было то, что монастырь находился по ту сторону реки, а прекрасных мостов, ныне перекину-

тых через ее воды, тогда еще не существовало. Тогда имелся всего лишь один мост, ныне разрушенный; впрочем, любознательный исследователь еще может обнаружить его развалины.

Мост этот имел весьма своеобразный вид. На обоих берегах реки — в самой узкой ее части — были выстроены два мощных каменных устоя. В середине реки, на утесе, торчащем из воды, был построен еще один крепкий упор (вроде мостового быка), углом своим противопоставленный течению и достигавший уровня береговых устоев, а на нем высилась башня.

Нижний этаж ее был занят огромной аркой или сквозными воротами, ведущими через строение. Ворота с той и другой стороны были прикрыты подъемными мостами с их противовесами. Когда оба моста были спущены, проход через арку соединялся с береговыми устоями (на них падали концы подъемных мостов), и путь через реку был открыт.

Сторож, охранявший мост (он был крепостным одного из соседних баронов), жил со своей семьей во втором и третьем этажах башни. Сама же башня, когда подъемные мосты были сняты, представляла собой крепость посредине реки. Сторожу предоставлено было право взимать небольшую пошлину, или подать, за переход через мост, а так как размер ее не был установлен, между ним и проезжающими иногда возникали пререкания. Нечего и говорить, что в этих спорах сторожу обычно принадлежало последнее слово, так как он при желании мог оставить путешественника на берегу или даже завлечь его на середину моста, а затем запереть в башне, покуда тот с ним не договорится о размере взимаемого мыта.

Но особенно частыми были ссоры сторожа с монахами монастыря святой Марии. К великому его неудовольствию, святые отцы добивались — и наконец добились — права бесплатного перехода через мост. Однако, когда они захотели распространить эту льготу на многочисленных паломников, посещавших монастырь, сторож взбунтовался и был поддержан своим господином. Распря с обеих сторон разгорелась же-

стокая. Настоятель монастыря грозил отлучением от церкви. Сторож не мог отплатить ему тем же, но зато задерживал, как бы в чистилище, каждого монаха, которому нужно было перейти через мост. Все это было крайне неудобно и могло стать совершенно нестерпимым, если бы человек на коне в хорошую погоду не имел возможности перебраться через реку вброд.

Стояла дивная лунная ночь, как мы уже упоминали, когда отец Филипп приблизился к этому мосту, своеобразное устройство которого давало любопытное представление о трудностях жизни в те времена. Река не разлилась, но вода держалась выше, чем обычно (местные жители называют такую воду тяжелой), и монаху, конечно, не хотелось пробираться через нее вброд, когда можно было этого избежать.

— Питер, приятель! — громко воззвал ризничий. — Старый друг мой Питер, сделай милость, опусти мост. Эй, Питер, разве ты не слышишь? Отец Филипп тебя кличет!

Питер прекрасно его слышал и вдобавок отлично видел, но так как он считал именно ризничего главным врагом в своих распрях с монахами, то, ничтоже сумняшеся, отправился спать. Однако предварительно через отверстие в бойнице он проследил за тем, что же монах собирается делать, и сказал своей жене:

— Переплыть реку верхом при луне ризничему будет только полезно. Это научит его в следующий раз по-настоящему оценить пользу моста, по которому можно всегда, как зимой, так и летом, в полую воду и в засуху, перейти на ту сторону спокойно и не промокнув.

Накричавшись до хрипоты, умоляя и угрожая (ни на то, ни на другое мостовой Питер, как его звали, не отозвался никак), отец Филипп отправился вниз по реке отыскивать удобное место для переправы. Проклиная мужицкое упорство Питера, он все же принялся утешать себя мыслью, что перейти реку вброд не только безопасно, но даже приятно. Крутые

берега и росшие на них местами деревья так живописно отражались гладью темной реки, а окружающая прохлада и тишина составляли такой приятный контраст с его недавним возбуждением, когда он тщетно пытался умиловить непреклонного мостового стража, что у него даже отлегло от сердца.

Когда отец Филипп подошел к тому месту на берегу, где ему надлежало войти в воду, он вдруг увидел, что под поверженным дубом (или, вернее, под остатками дуба) сидит и плачет и ломает руки женщина, устремив пристальный взгляд на реку. Монах был крайне поражен тем, что встретил существо женского пола в таком месте и в такой поздний час. Но он был истым рыцарем в самом высоком значении этого слова (может быть, и более того, но это уж на его совести) в отношении дам.

Внимательно рассмотрев девушку (хотя она сама, казалось, не обращала на него никакого внимания), он был тронут ее отчаянием и готов был сейчас же предложить ей свою помощь.

— Барышня! — сказал он. — Вы, видно, сильно расстроены. Может, с вами случилась та же беда, что и со мной? Вам этот грубиян сторож не разрешил перейти через мост, и это помешало вам исполнить обет или какой-нибудь священный долг?

Девушка произнесла нечто невнятное, посмотрела на реку и затем взглянула в лицо ризничему. И в этот момент отцу Филиппу вдруг пришло в голову, что в обители святой Марии уже давно ожидают приезда одного именитого вождя горного клана для поклонения монастырским святыням и что, возможно, эта хорошенькая девушка принадлежит к его семейству, но путешествует одна, во исполнение какого-либо обета или отстала от своих из-за какой-либо случайности, а посему будет вполне уместно и благо-разумно оказать ей всяческое внимание, в особенности учитывая то, что она, видимо, не говорит на нижнешотландском наречии. Такова была та единственная причина, на которую впоследствии ссылался

ризничий в оправдание своей исключительной любезности; если же им руководила и иная, тайная причина, то я еще раз замечу, это дело его совести.

Принужденный объясняться знаками, на языке, понятном всем народам, предупредительный ризничий сначала указал перстом на реку, затем на круп своего мула и, наконец, так грациозно, как только мог, жестом пригласил прекрасную незнакомку занять место на седле позади себя. Она, по-видимому, поняла его, так как встала, чтобы принять его приглашение; но в то время как добрый монах (который, как мы уже упоминали, не был искусным наездником), усиленно работая правым шенкелем и левым поводом, старался пододвинуть мула боком к выступу берега, чтобы даме было удобнее взобраться на седло, незнакомка вдруг, с поистине чудесной легкостью, одним прыжком очутилась на спине животного, непосредственно за его спиной, как весьма умелый ездок. Мул как будто вовсе не был обрадован этой двойной ношей — он прыгал, лягался и непременно скинул бы отца Филиппа через голову, если бы девушка своей сильной рукой не удержала монаха в седле.

Постепенно непокорное животное пришло в себя и переменяло тактику: вместо того чтобы стоять, упершись, на месте, оно вдруг, вытянув морду, побежало к броду и со всех ног кинулось в воду. Тут монахом овладел новый страх — брод оказался необыкновенно глубоким, так что вода, журча и вздымаясь по бокам мула все выше, вскоре стала захлестывать животному холку. Отец Филипп совершенно потерял присутствие духа (впрочем, особой выдержкой он никогда и не отличался) и перестал следить за тем, чтобы голова мула была направлена к противоположному берегу. Мул не мог противостоять силе течения, потерял брод и почву под ногами и поплыл вниз по реке. И тут произошло нечто более чем странное: несмотря на чрезвычайную опасность, девушка начала петь, чем еще усугубила ужас достойного ризничего (если это только было возможно):

— Плыдем мы весело, блещет луна,
Зыбью неясной мерцает волна...
Ворон встревоженный каркнул над нами,
Мы проплываем как раз под ветвями...
Ветви дубовые так широки,
Их тени бегут посредине реки.
«Кто будит птенцов моих? — ворон грозитя, —
Мой клюв его кровью с зарей обагрится!
Я труп посиневший, распухший люблю,
С угрем и со щукой его разделяю!»

II

Плыдем мы весело, блещет луна,
За холмом золотая полоска видна.
Серебряный ливень летит над ольхою,
Плакучие ивы шуршат над рекою...
Башни аббатства у самых глаз,
Из келий монахи в вечерний час
К часовне спешат и дрожат невольно:
Не по Филиппе ли звон колокольный?

III

Плыдем мы весело, блещет луна,
И тенью и светом река полна...
Водовороты спят под скалою,
Так тихо над темною глубиною.
Келпи поднялся из бездны вод,
Он факел смерти зажег, и вот
Смотри, монах, и смешно тебе сганет,
Коль злобная харя в лицо тебе глянет!

IV

Счастливо удить! А кого же ты ждешь?
Из слуг кого иль кого из вельмож?
Мирянин иль поп в твой челнок садится,

Иль к милой дружок на тот берег стремится?
Чу! Слышишь, Келпи в ответ говорит:
«Спасибо сторожу, мост закрыт!
Исчезнут все в глубине бездонной:
Поп и мирянин, монах и влюбленный!»

Как долго девица могла бы продолжать пение или чем бы окончилось путешествие перепуганного монаха — сказать трудно. Но в тот момент, как она допевала последнюю строфу, они доплыли, или скорее всплыли в широкую спокойную полосу воды у крепкой мельничной запруды, через которую река низвергалась бурным водопадом.

Благодаря ли сознательным усилиям или увлекаемый силой течения, мул изо всех сил устремился к протоку в плотине, питающему монастырские мельницы, продвигаясь вперед то вплавь, то вброд, качаясь и выматывая из несчастного монаха всю душу. Его одежды от этой качки совсем разошлись, и он, желая их запахнуть, вытащил книгу леди Эвенел, которую хранил за пазухой. Но как только он это сделал, спутница столкнула его с седла в реку, а затем, держа за шиворот, раза два-три еще окунула поглубже в ледяную воду, дабы он промок до костей. Отпустила же она его тогда, когда он оказался настолько близко к берегу, что, сделав небольшое усилие (на большее его бы просто не хватило), смог выкарабкаться на землю. Так именно он и поступил, а когда затем он стал искать глазами свою необычайную спутницу, ее и след простыл. Но над водой, сливаясь с плеском волн, разбивающихся о плотину, все еще неслась ее безумная песня:

— Берег! Ура! Чернокнижник спасен!
Берик лучом еще не озарен!
Тебе повезло, невредим ты добрался,
Кто плыл со мною, тот редко спасался.

Монахом овладел гевыносимый ужас — голова закружилась; шатаясь, он прошел несколько шагов вперед, натолкнулся на стену и упал без чувств.

Глава VI

Итак, совет откроем. В том, что должно
Нам выполоть церковный вертоград
И плевелы отсеять от пшеницы,
Мы все согласны. Но как сделать это,
Не повредив ни лозы, ни колосья?
Вот в чем задача!

«Реформация»

Вечерня в монастыре святой Марии отошла. Аббат разоблачился, сменив свои великолепные ризы на обычное одеяние — черную рясу, которую носил поверх белого подрясника, и узкую наплечную мантию. Одеяние это, скромное и благопристойное, весьма картинно облегало представительную фигуру аббата Бонифация.

Едва ли кому-либо в мирное время удавалось с большим достоинством исполнять обязанности митрофорного аббата (таков был его титул), чем этому почтенному прелату. Правда, он был несколько избалован, что часто бывает с людьми, живущими исключительно для себя. Кроме того, он был тщеславен. И затем бывало, что, натолкнувшись на смелый отпор, он проявлял признаки неожиданной робости, которая не очень вязалась с его видным положением в церковной иерархии и с теми требованиями беспрекословного подчинения, которые он предъявлял как к монастырской братии, так и ко всем зависимым от него лицам. Но он был гостеприимен, щедр и по характеру своему не склонен к строгости. Одним словом, в иное время он бы мирно просуществовал на своем посту, ничем не отличаясь от любого «облеченного в пурпур» аббата, жил бы благопристойно, но в свое удовольствие, спал бы безмятежно и не страдал от сновидений.

Однако глубокое смятение, поразившее всю римско-католическую церковь в связи с распространением реформатских учений, совершенно нарушило покой аббата Бонифация, возложив на него обязанности и заботы, о которых он доселе не имел понятия. Ему пришлось оспаривать и опровергать заблуждения, назна-

чать расследования, разоблачать и наказывать еретиков, возвращать в лоно отпавших, поддерживать дух колеблющихся, оберегать духовенство от соблазна и укреплять в его среде строгую дисциплину.

Гонцы за гонцами (на взмыленных конях и еле живые от усталости) прилетали в монастырь святой Марии то от Тайного совета, то от примаса Шотландии, то, наконец, от королевы-матери с увещаниями, одобрениями, осуждениями, с запросами дать совет по одному вопросу и с требованиями представить сведения по другому.

Эти послания аббат Бонифаций прочитывал с важным видом совершенной растерянности или — если это больше понравится читателю — с растерянным видом бесконечной важности, обнаруживая одновременно удовлетворенное тщеславие и глубокое душевное смущение.

Сент-Эндрюский примас при своем остром уме предвидел эти недостатки аббата обители святой Марии и постарался их исправить. Он предложил ему принять в монастырь в качестве помощника приора брата цистерцианца, мужа совета и разума, преданного делу католической церкви и вполне способного не только быть советником аббата в затруднительных обстоятельствах, но и призывать его к неуклонному исполнению долга, буде он по слабости характера или робости захочет от сего уклониться.

Отец Евстафий занимал в монастыре примерно то же положение, какое в иностранных армиях занимает старый генерал, приставленный к принцу крови, который номинально числится главнокомандующим, при условии, что он не предпримет ничего без совета своего ментора. Разумеется, отец Евстафий разделял судьбу всех подобных негласных руководителей — начальник так же искренне его ненавидел, как и боялся. Все же, однако, цель, намеченная примасом, была достигнута. Отец Евстафий не выходил из головы почтенного аббата, часто превращаясь для него в пугало, — он не смел пошевеливаться в постели, тотчас же не подумав о том, как отнесется к этому отец Евстафий.

В каждом затруднительном случае вызывался Евстафий и запрашивалось его мнение. Но как только затруднение устранялось, аббат уже размышлял, как ему избавиться от своего советника. В каждом письме, которое он посылал властям предержажим, он рекомендовал отца Евстафия на замещение высокой церковной должности епископа или аббата. Но, поскольку все его просьбы успеха не имели и вакансии занимались другими лицами, он стал думать (в чем он с горечью признавался ризничему), что пост помощника приора в монастыре святой Марии, по видимому, пожизненный.

Но он был бы возмущен гораздо более, если бы мог предполагать, что честолубие отца Евстафия направлено на замещение его собственной должности. После нескольких апоплексических ударов, поразивших аббата (воспринятых его друзьями, в отличие от него самого, с большой тревогой), его пост мог действительно оказаться вакантным. Однако твердое убеждение аббата Бонифация в неизменной крепости своего здоровья (столь свойственное лицам, облеченным властью) мешало ему заметить какой-либо особенный расчет в намерениях отца Евстафия.

Необходимость консультироваться в важных случаях со своим советником заставляла аббата особенно стремиться избегать его советов при решении незначительных вопросов текущего управления, не без того, впрочем, чтобы каждый раз не задумываться, что бы сказал об этом отец Евстафий. Поэтому он не стал даже намекать отцу Евстафию о своем смелом намерении отправить брата Филиппа в Глендеарг. Но, когда время подошло к вечерне, а тот все не возвращался, он стал беспокоиться, тем более что у него были и другие основания для волнения. Распря с охранителем моста (или, иначе, с мостовым сторожем) грозила привести к серьезным последствиям, поскольку претензии его были поддержаны воинственным бароном, его господином; и, кроме того, были получены срочные письма от примаса, весьма неприятного содержания. Подобно подагрику, который хватается за костыль и в то же время проклинаят

болезнь, вынуждающую его им пользоваться, аббат хоть и с отвращением, но был вынужден пригласить отца Евстафия после богослужения к себе на дом, или, вернее, в свой дворец, который вплотную примыкал к монастырю и составлял с ним одно целое.

Аббат Бонифаций восседал в высоком деревянном кресле (спинка его, сплошь украшенная резьбой, заканчивалась митрой) у камина, где два-три огромных полена уже превратились в сплошную массу раскаленных углей. Подле него, на дубовом столике, стояла тарелка с остатками жареного каплуна, составившего вечернюю трапезу его преподобия вкупе с доброю бутылкой бордо отменного качества. Взор его рассеянно следил за игрой пламени, а сам он был погружен в мысли о своем прошлом и размышления о будущем — и в то же время был занят тем, что пытался угадать очертания башен и колоколен в горящих углях.

«Да, — думал аббат, — из этой пламенной груды встают в моем воображении мирные башни Дандренана, где текла моя жизнь, прежде чем я был призван к власти и заботам. Мы были мирным братством и строго выполняли правила монастырского обихода. А если кто-нибудь из нас, по слабости человеческой, впадал в искушение, он исповедовался: братии, и мы отпускали ему грех, и самым суровым наказанием для виновного были наши насмешки. Мне так и кажется, что я вижу перед собой монастырский сад с грушевыми деревьями, которые я прививал собственными руками. И на что я променял все это? Я завален делами, которые меня не касаются, зато меня называют владыка аббат, хотя я и нахожусь под опекой отца Евстафия! Как бы мне хотелось, чтобы эти огненные башни оказались аббатством Эбербросуик, и пусть бы отец Евстафий был там настоятелем! Да хоть бы он сгорел, но только бы освободил меня от своего присутствия! Примас говорит, что у нашего святейшего отца папы тоже есть советник, но я убежден, что он бы недели не прожил с таким советником, как мой. И ведь никак не разберешь, что он, собственно, думает, пока не признаешься,

какие у тебя затруднения. Одним намеком тут не обойдешься. Он точно скряга, который гроша медного не вынет из кошелька, пока несчастный, который просит о помощи, не признается в своей нищете и, пристав с ножом к горлу, не исторгнет милостыню. И вот так я бываю унижен перед лицом монастырской братии, которая может любоваться, как со мной обращаются точно с неразумным младенцем... Нет, я не могу это больше выносить!»

— Брат Беннет! (Послушник тотчас явился на его зов.) Пойди скажи отцу Евстафию, что я в нем не нуждаюсь.

— Я пришел доложить вашему преподобию, что святой отец идет по галерее и сейчас будет здесь.

— Ну хорошо, — ответил ему аббат, — я буду рад его видеть. Убери со стола — или нет, принеси тарелку: святой отец, может быть, проголодался. Хотя нет, приberi здесь — все равно с ним за столом по душам не поговоришь. Впрочем, оставь бутылку вина и подай еще кубок.

Послушник исполнил эти противоречивые приказания, как ему казалось, наиболее пристойным образом: убрал обглоданный остов каплуна и водрузил два кубка рядом с бутылкой бордо. В этот момент вошел отец Евстафий.

Это был худощавый, с изможденным лицом, человек; но у него были такие острые серые глаза, что, казалось, они могли просверлить собеседника насквозь. Тело его было изнурено не только постами, которые он соблюдал с неуклонной строгостью, но и постоянной, неутомимой работой его острого и пронзительного ума:

Влеком душою пламенной вперед,

Погибели он тело предает...

Из праха дух свершает свой исход.

Войдя, он поклонился лорду-аббату с подобающим почтением. Глядя на них обоих, когда они стояли рядом, едва ли можно было себе представить больший контраст по внешности и по характеру. Добродушное, румяное, с веселыми глазами лицо аббата, которое

не могло быть омрачено даже его теперешним беспокойством, представляло резкую противоположность впалым, бледным щекам и быстрому, пронизывающему взору монаха, взору, в котором светился ум живой и незаурядный, придававший глазам почти сверхъестественный блеск.

Аббат начал беседу с того, кто указал посетителю на стул и предложил выпить кубок вина. Эта любезность была отклонена весьма почтительно, но не без замечания, что вечерня уже отошла.

— Для пользы желудка, брат мой, — сказал аббат, слегка краснея. — Вы же знаете писание.

— Сие небезопасно, — отвечал монах, — пить одному, да еще в столь поздний час. Вне содружества с людьми виноградный сок превращается в коварного товарища одинокого бдения, а посему я воздерживаюсь от него.

Аббат Бонифаций только что налил себе в кубок около половины английской пинты, но, то ли пораженный справедливостью замечания, то ли стесняясь поступить ему наперекор, он оставил кубок нетронутым и поспешил переменить разговор.

— Примас нам пишет, — начал он, — чтобы мы произвели в наших владениях строжайший обыск, дабы обнаружить еретиков, поименованных в этом списке, но скрывшихся от заслуженного возмездия. Есть предположение, что они захотят пробраться через наши границы в Англию, и примас требует, чтобы я был неуклонно бдительным и все прочее.

— Разумеется, — заметил монах, — власть имущий не должен держать свой меч в ножнах — он обязан поразить им тех, кто готов весь мир перевернуть вверх дном. И, без сомнения, ваша испытанная мудрость с должным усердием поддержит требования высокопреосвященного владыки, без устали отражающего нападения на святую церковь.

— Конечно, но как это сделать? — отвечал аббат. — Да поможет нам пресвятая дева! Примас обращается ко мне, точно я светский барон, точно я военачальник и командую отрядом солдат! Хорошо ему говорить: «Пошлите людей, очистите страну, сторожите

перевалы!» Право, этих разбойников голыми руками не возьмешь. Последний раз, когда их банда пробиралась на юг через высохшее болото в Райдингберне (о чем нам сообщил высокочтимый брат наш, аббат из Келсо), они имели при себе эскорт в тридцать копий. Как нам, инокам в клобуках и мантиях, преградить им путь?

— Управляющий вашими владениями слывет искусным воином, святой отец, — возразил Евстафий, — а ваши вассалы обязаны подняться на защиту святой церкви — на этом условии они владеют своими землями. Если же они не способны выступить во имя церкви, дающей им хлеб, то пусть передадут свои участки кому-нибудь другому.

— Мы не преминем совершить все то, что послужит к вящей славе святой церкви, — произнес аббат, надуваясь от важности. — Ты сам сочинишь приказ управляющему и другим нашим подчиненным. Но тут еще одно дело: это недоразумение с мостовым сторожем и бароном Мейгалотом. Пресвятая дева Мария! Столько огорчений сваливается сразу на обитель и на паству, что просто не знаешь, с чего начать! Ты говорил нам, отец Евстафий, что поищешь в наших бумагах, нет ли там чего относительно беспошлинного прохода паломников через мост?

— Я пересмотрел все хранилище хартий в нашей обители, святой отец, — отвечал Евстафий, — и нашел в нем составленный в надлежащей форме акт на имя аббата Эйлфорда и братии монастыря святой Марии в Кеннаквайре, освобождающий на вечные времена от всяких поборов и пошлин за проход через подъемный мост в Бригтоне не только иноков обители, но и всех паломников, идущих поклониться монастырским святыням. Документ этот выдан в канун дня поминовения святой Бригитты в лето искупления тысяча сто тридцать седьмое и скреплен подписью и печатью дарителя, Чарлза Мейгалота, прапрадеда нынешнего барона. Дар им совершен ради спасения его души, во благо и во спасение душ его отца и матери, и всех его предков, и всех будущих потомков, носящих имя Мейгалот.

— Но нынешний барон ссылается на то, — возразил аббат, — что мостовые сторожа беспрепятственно пользуются своим правом уже более пятидесяти лет, и вдобавок он еще угрожает нам силой. А пока суд да дело, передвижение паломников задерживается, в ущерб спасению их душ и во уменьшение доходов обители святой Марии. Ризничий советует нам завести лодку; но сторож, этот известный нечестивец, клянется дьяволом, что, если только будет спущена лодка на реку, принадлежащую его господину, он разобьет и расколотит ее в щепы. Но кое-кто дает нам иной совет: выкупить право на сбор мыта за небольшую сумму серебра. — Сказав это, аббат запнулся, как бы ожидая ответа, но, не получив его, прибавил: — Ну, что же ты на это скажешь, отец Евстафий? Отчего ты молчишь?

— Оттого, что я поражен, как может лорд-аббат обители святой Марии задавать подобный вопрос одному из младших иноков.

— Младшему по времени пребывания с нами, брат Евстафий, — возразил ему аббат, — но не младшему по годам, мне думается, по жизненному опыту, и притом еще помощнику приора нашего монастыря.

— Меня удивляет, — продолжал Евстафий, — что настоятель этого высокочтимого дома господня может вопрошать кого бы то ни было, имеет ли он право отчуждать собственность нашей святой и божественной покровительницы церкви или уступать бессовестному барону (да еще, может быть, еретику) права и преимущества, принесенные в дар церкви его благочестивым предком. И папы и священные соборы решительно запрещают это: во имя спасения живых и упокоения душ умерших следует воспрепятствовать этому — да не будет сего никогда. Мы принуждены будем, может быть, уступить силе, если он посмеет прибегнуть к ней, но никогда мы не пойдем добровольно на то, чтобы достояние церкви было бессовестным образом разграблено, подобно тому как этот барон грабит стада быков у англичан. Приободритесь, преподобный отец, и не сомневайтесь в том, что правое дело восторжествует. Извлеките свой духовный меч и направьте его против нечестивца, посягающего

на наши священные права. Извлеките свой светский меч, если потребуется, и вселите отвагу и усердие в души преданных вассалов.

Аббат тяжело вздохнул:

— Все это легко говорить, когда не самому делать. Однако...

Но тут поспешно вошел Беннет.

— Мул, на котором нынче утром отбыл ризничий, — доложил он, — прибежал обратно в монастырскую конюшню, весь мокрый, и седло болтается у него под брюхом.

— Матерь пресвятая богородица! — воскликнул аббат. — Наш бедный брат, наверно, погиб!

— Быть не может, — живо откликнулся Евстафий. — Велите ударить в набат — пусть все братья раздобудут себе факелы, поднимите на ноги деревню, бегите все к реке, я сам побегу первый.

А аббат остался стоять, разинув рот от удивления, вдруг увидав, что им совершенно пренебрегают, и все то, что он должен был приказать, исполняется помимо него распоряжением младшего инок обители. Но прежде чем приказания отца Евстафия (которых никто не мыслил оспаривать) были приведены в исполнение, они оказались бесполезными, так как внезапно перед ними предстал сам ризничий, из-за которого поднялся весь переполох.

Глава VII

Стереть в мозгу начертанную смуту...
Очистить грудь от пагубного груза,
Давящего на сердце.

«Макбет»¹

Дрожа не то от холода, не то от страха, несчастный, насквозь промокший ризничий стоял перед настоятелем, опираясь на дружескую руку мельника, и едва мог выговорить слово.

¹ Перевод М. Лозинского.

После нескольких неудачных попыток он все же произнес довольно отчетливо:

— «Плывем мы весело, блещет луна...»

— Как «плывем мы весело»! — воскликнул в негодовании аббат. — Веселую же ночь ты выбрал для плавания, и достойно приветствуешь ты своего настоятеля!

— Брат наш, видно, не в себе, — заметил Евстафий. — Скажите, отец Филипп, что с вами?

— «Счастливо удить!» —

продолжал ризничий, делая безнадежную попытку уловить мотив песни своей таинственной спутницы.

— «Счастливо удить»? — повторил за ним аббат со все возрастающим удивлением и неудовольствием. — Клянусь святой обителью, он совсем пьян и смеет в нашем присутствии орать свои непристойные песни! Ежели только это сумасшествие можно излечить, посадив несчастного на хлеб и воду...

— Прошу извинить меня, ваше преподобие, — сказал отец Евстафий, — но воды брат наш наглотался через край. И, мне думается, его дикий взгляд — это скорее всего следствие ужаса, и ничего недостойного тут нет. Где ты его нашел, Хоб-мельник?

— Ваше преподобие, я шел запереть мельничные шлюзы, и как я подошел к ним, вдруг слышу — кто-то стонет поблизости. Я было решил, что это боров Джайлса Флетчера, потому что он, извините, никогда своих свиней не запирает, и я замахнулся ломом и хотел было, да простит мне пресвятая богородица, двинуть его как следует, как вдруг слышу — святые угодники! — кто-то стонет человеческим голосом. Тут я кликнул своих парней, и мы с ними нашли отца ризничего — он лежал без чувств под самой стенкой известковой печи, мокрым-мокрехонек. Как только он немножко очухался, он стал просить, чтобы мы доставили его к вашему преподобию, но по дороге нес такую околесицу, что, надо думать, он помешался. Вот только сейчас стал говорить что-то понятное.

— Ну что же, — сказал отец Евстафий. — Молодец, Хоб-мельник. А теперь ступай, но только в другой раз помни — сначала подумай, а потом уж бей, и в особенности в темноте.

— Само собой, ваше преподобие, мне это будет наукой, — отвечал мельник. — Никогда, до конца дней своих, я уже не спутаю честного инока с боровом. — И, поклонившись низко, с глубоким смирением, мельник удалился.

— Ну, отец Филипп, раз теперь этот мужлан ушел, — обратился к ризничему Евстафий, — может быть, ты расскажешь нашему высокочтимому настоятелю, что же с тобой приключилось? Может быть, ты *vinò gravatus*?¹ Если так, мы велим отнести тебя в келью.

— Водой, водой, а не вином, — пробормотал обесиленный ризничий.

— Ну! — воскликнул монах. — Ежели ты заболел от воды, может быть, вино тебя вылечит? — И с этими словами он протянул ему чарку, которую пострадавший выпил с явной для себя пользой.

— А теперь, — заметил аббат, — пусть пойдет переодеться, или пусть его лучше отведут в лазарет, а то, если он в таком виде начнет рассказывать, мы еще простудимся — от него несет такой сыростью, точно с гнилого болота.

— Я расспрошу его обо всем и доложу вам, ваше преподобие, — заявил Евстафий и пошел провожать ризничего в келью. Примерно через полчаса он вернулся к настоятелю.

— Как себя чувствует отец Филипп? — спросил аббат. — И что же с ним приключилось?

— Он вернулся из Глендеарга, досточтимый владыка, — отвечал Евстафий, — а что до остального, то он нарасказал мне таких чудес, каких никто здесь, в монастыре, и не слыхивал. — И он в общих чертах поведал аббату о приключениях ризничего на пути домой и при этом добавил, что, видимо, ум у него повредился: он и пел, и смеялся, и плакал — все сразу.

¹ Отягощен вином (лат.).

— Удивительное дело! — воскликнул аббат. — Как это сатане удалось наложить свою лапу на одного из наших честных иноков?

— Ваша правда, — согласился отец Евстафий. — Но у каждого текста есть свое толкование. У меня подозрение, что если это дьявол чуть не потопил отца Филиппа, то все же тут не обошлось и без его собственной вины.

— Как так? Я не поверю, чтобы у тебя были сомнения в том, что в прежние времена сатане дано было искушать святых и угодников божьих, хотя бы, например, праведного Иова.

— Упаси боже, чтобы я в этом сомневался, — заявил монах, осеняя себя крестным знамением. — Но если есть возможность найти другое, менее чудесное объяснение для его приключения, надо, по-моему, этим воспользоваться, не решая, конечно, ничего окончательно. Теперь послушайте: у этого Хоба-мельника есть смазливая дочка. Предположим — я говорю только предположим, — что наш ризничий повстречался с ней у брода, когда она возвращалась от своего дяди, что живет по ту сторону реки (а она нынче вечером была у дяди). И вот предположим, что из любезности и чтобы избавить ее от необходимости разуваться и стаскивать чулки, ризничий посадил ее на седло позади себя, и предположим еще, что он простер свою любезность несколько далее, чем девица могла позволить, и тогда можно легко себе представить, святой отче, что купание явилось следствием этих событий.

— И он выдумал все эти сказки, чтобы обмануть нас! — воскликнул настоятель, багровея от гнева. — Но мы расследуем это дело самым подробнейшим, самым внимательным образом. Пусть не рассчитывает, что ему так легко удастся нас провести, приписав следствия своих собственных беззаконий деяниям сатаны. Призови завтра эту девчонку, чтобы она предстала перед нами: мы разберемся во всем и покараем виновного.

— Прошу простить меня, ваше преподобие, — возразил Евстафий, — но мне кажется, что это было бы

неблагоразумно. По нынешним временам еретики рады всякой сплетне для того, чтобы возвести поклев на наше духовенство. Для борьбы со злом надо не только укреплять дисциплину, но и подавлять соблазны. Если мои догадки справедливы, дочь мельника будет сама молчать обо всем, а вашему преподобию нетрудно будет своим веским словом заставить молчать и ее отца и ризничего. В случае же, если он снова даст повод к нападкам на наш орден, тогда уже его можно будет наказать со всей строгостью, однако втайне. Ибо что написано о сем в декретах? «*Fascinosa ostendi dum puniuntur, flagitia autem abscondi debent*».¹

Латинские цитаты, как Евстафий уже имел случай убедиться, часто оказывали на аббата сильное действие — в латыни он был не очень силен, а признаться в своем невежестве стыдился. На этом их разговор окончился, и они разошлись на ночь.

На следующий день аббат Бонифаций с особой строгостью принялся допрашивать Филиппа об истинной причине несчастья, которое произошло с ним прошедшей ночью. Но ризничий твердо стоял на своем. Он ни в единой мелочи не уклонился от своего прежнего рассказа, хотя его ответы были порой довольно бессвязны; нет-нет да они перемежались отрывками песни загадочной девы, песни, которая, видимо, произвела на него такое сильное впечатление, что он не мог не напевать ее во время допроса.

Аббат сжалился над ризничим, непритворный испуг которого был, по-видимому, действительно вызван чем-то сверхъестественным. В конце концов он пришел к убеждению, что более естественное толкование событий, предложенное отцом Евстафием, хоть и правдоподобно, но не заключает в себе истины. Однако, с другой стороны, мы должны добавить (хотя мы изложили всю эту историю в точности так, как она записана в рукописи), что случай этот вызвал раскол в монастыре, так как некоторые иноки

¹ Я обнаружил проступки, дабы наказать за них, но позорные дела следует прятать (лат.).

имели, по их словам, основательные причины подозревать, что дело все-таки не обошлось без черноглазой дочки мельника. Но, как бы то ни было, в конечном итоге все сошлись на том, что история эта несет в себе такой соблазн, что разглашать ее отнюдь не следует, а посему ризничего обетом послушания обязали не болтать лишнего о своем ночном купании. Нетрудно себе представить, что он с великой радостью подчинился такому предписанию, поскольку уже облегчил себе душу подробным рассказом.

Когда отец Евстафий слушал чудесную повесть ризничего, внимание его было гораздо больше привлечено упоминанием о книге, которую тот привез из башни Глендеарг, чем его приключениями. Экземпляр священного писания в переводе на народный язык, как оказалось, проник даже на церковную территорию и был внезапно обнаружен в одном из самых отдаленных и глухих уголков владений монастыря святой Марии.

Отец Евстафий настойчиво требовал, чтобы ему принесли эту книгу. Но ризничий никак не мог удовлетворить его желание, так как он ее потерял, насколько он мог припомнить, в тот самый момент, когда сверхъестественное существо (каковым он почитал деву) его покинуло. Отец Евстафий самолично отправился на место происшествия, чтобы отыскать книгу, и произвел там самые тщательные розыски, но безуспешно. Он возвратился к настоятелю и доложил ему, что книга, по всей вероятности, упала в реку или в мельничий проток.

— Ибо едва ли можно себе представить, — добавил он, — чтобы певунья — приятельница отца Филиппа — могла улетучиться с экземпляром священного писания.

— Но, принимая во внимание, — возразил аббат, — что это еретический перевод, возможно, власть сатаны на него и распространилась.

— Да! — откликнулся отец Евстафий. — Конечно, одно из самых сильных орудий дьявола — подстрекательство дерзновенных и самоуверенных людей к высказыванию собственных мнений и заключений о святом писании. Но, при всех возможных кривотолках, писание все же остается источником нашего спасения

и никак не лишается святости из-за тех или иных опрометчивых о нем суждений. Таким же образом сильнодействующее лекарство могло бы быть признано негодным или ядовитым только потому, что безрассудные и невежественные лекари употребляли его во вред больным. Однако, с разрешения вашего превосходия, мне хотелось бы разобраться в этом деле более подробно. Я сам хочу отправиться, не медля ни минуты, в башню Глендеарг, и тогда посмотрим, посмеет ли какое-либо привидение или злонамеренная Белая дама воспрепятствовать моей поездке туда или обратно. Даете ли вы мне на это ваше пастырское разрешение и благословение? — спросил он, но таким тоном, как будто особого значения для него это не имело.

— Даю и то и другое, брат мой, — отозвался аббат.

Но стоило только Евстафию удалиться из комнаты, как настоятель в присутствии внимавшего ему ризничего не смог удержаться от выражения искреннего пожелания, чтобы любой дух — черный, белый или серый — проучил отца Евстафия как следует, раз навсегда излечив его от уверенности, что он умнее всех в обители.

— Я, со своей стороны, ничего особенно плохого ему не желаю, — добавил ризничий. — Пускай бы только он поплыл себе беззаботно вниз по течению, а привидение сидело бы у него за плечами, и пускай бы ночные вороны, русалки и болотные змеи только ждали, как бы его схватить:

«Плывем мы весело, блещет луна!

Счастливо удить! А кого же ты ждешь?»

— Брат Филипп! — воскликнул аббат. — Мы призываем тебя прочесть молитву, взять себя в руки и выкинуть наконец это дурацкое пение из головы. Это просто дьявольское наваждение.

— Постараюсь, высокочтимый отец, — отвечал ризничий, — но эти напевы застряли у меня в памяти, как колючки застревают в отрепьях нищего. Напевы эти звучат для меня теперь даже в пении псалмов; более того — монастырские колокола как будто повторяют их слова и вызывают мотив. Да если бы вы приго-

ворили меня сию минуту к смерти, я и тут бы продолжал петь: «Плывем мы весело...» Это, видимо, и на самом деле наваждение.

И он снова завел свое:

— «Счастливо удить!»

Но затем, сделав над собой усилие, он перестал петь и воскликнул:

— Нет, дело ясное — конец пришел моему священству! «Плывем мы весело...» Я стану петь это даже во время обедни. Горе мне! Я буду теперь петь до конца моих дней, и притом вечно одно и то же!

Почтенный аббат на это заметил, что ангелы тоже поют вечно и, по всей вероятности, одно и то же, и заключил это высказывание громким «ха-ха-ха!», ибо его преподобие (как читатель, вероятно, уже успел заметить) принадлежал к числу тех недалеких людей, которые питают пристрастие к плоским островам.

Ризничий, хорошо знакомый с остроумием своего настоятеля, хотел было присоединиться к его смеху, но тут вдруг злополучный мотив вновь зазвучал у него в ушах и, вырвавшись наружу, прервал его отклик на начальническую шутку.

— Замолчи ты, Христа ради, брат Филипп! — воскликнул аббат в сильнейшем раздражении. — Ты становишься просто невыносим! Я убежден, что подобные чары не могли бы долго влиять на человека благочестивого, да еще в доме благочестия. Иное дело, если у этого человека на совести смертный грех. Посему изволь прочесть семь покаянных псалмов, прибегни к усердному бичеванию плоти и облачись во власяницу, воздержись три дня от всякой пищи, кроме хлеба и воды. Я сам буду тебя исповедовать, и тогда посмотрим, не удастся ли нам изгнать из тебя этого поющего беса. Мне думается, что лучшего способа, чтобы заклясть дьявола, не придумал бы и сам отец Евстафий.

Ризничий испустил тяжелый вздох, но понял, что сопротивление бесполезно. Он удалился в свою келью, чтобы проверить, насколько псалмы способны изгнать из его очарованной памяти бесовские напевы.

Между тем отец Евстафий, направляясь к одинокой долине Глендеарг, добрался до подъемного моста. В короткой беседе с грубияном сторожем ему весьма ловко удалось склонить своего собеседника к большей сговорчивости в отношении его претензий к монастырю. Он напомнил сторожу, что его отец был вассалом обители, что его брат бездетен и что, таким образом, наследственный лен после смерти брата перейдет к церкви. Лен этот может быть пожалован ему, сторожу, но может быть пожалован и кому-нибудь другому, кто заслужит большее расположение аббата. Все будет зависеть от отношения данного человека к монастырю. Помощник приора намекнул сторожу, что выгоды его должности будут в значительной степени зависеть от того, смогут ли они в дальнейшем сочетаться с монастырскими интересами. С кротким терпением выслушал отец Евстафий грубую брань — то был ответ сторожа. Но твердо продолжая гнуть свою линию, он с удовлетворением отметил, что Питер постепенно стал сбавлять тон и наконец согласился вплоть до самого троицына дня даром пропускать через мост всех пеших паломников, с тем, однако, что едущие верхом или в повозках по-прежнему будут уплачивать причитающуюся пошлину.

Уладив, таким образом, весьма удачно дело, в котором монастырь был кровно заинтересован, отец Евстафий отправился в дальнейший путь.

Глава VIII

Не трать зря время — клад оно
 для мудрых!
Глупцы его безумно расточают,
А роковой Рыбак, пока мы медлим,
Улавливает души на приманку.

Старинная пьеса

Вверх по ущелью, окутанному ноябрьским туманом, медленно, но верно ехал отец Евстафий. Он не мог не поддаться тому грустному настроению, которое

порождает созерцание природы в это время года. Река, казалось, роптала уныло и глухо, как бы оплакивая уходящую осень. В рощах, местами окаймляющих ее берега, только листва дубов еще сохраняла тот бледно-зеленый цвет, который предвещает переход к буро-ржавым оттенкам. Ивы стояли почти обнаженные, а их листья устилали землю, шурша под ногами мула и разлетаясь от каждого дуновения. Листва других деревьев, совершенно засохшая, еле держалась на ветвях, ожидая первого порыва ветра, чтобы осыпаться.

Монах погрузился в размышления, которые с особой силой возбуждаются в душе приметам наступившей осени. «Вот они, — думал он, взирая на опавшие листья, — вот они лежат передо мной, упования нашей юности, расцветшие раньше всех, чтобы быстрее всех увянуть, столь прелестные весной и столь бренные зимой. Но и вы, уцелевшие, — продолжал он, глядя на засохшие листья, еще висящие на ветвях буковых деревьев, — вы подобны горделивым мечтам отважного человечества, которые расцветают позднее и все еще увлекают зрелый ум, хотя он и постиг их безрассудство. Ничто здесь не вечно, ничто не просуществует долго, разве что листья могучего дуба? Они появляются тогда, когда у остального леса листва уже прожила половину своего срока. Поблекшая, слинявшая зелень — вот все, что у него теперь осталось, но эти признаки жизненной силы он сохраняет до конца. Так пусть же таким будет и отец Евстафий! Радужные надежды моей молодости я растоптал ногами, как топчу этот сухой лист; горделивые мечты моей зрелости я вспоминаю теперь, как пустые химеры, которые давно поблекли; но мои церковные обеты, мое духовное призвание, которому я последовал в более поздние годы, — они будут жить, пока живет Евстафий. Возможно, что меня подстерегают опасности, да и силы мои невелики, но она будет жить, эта гордая решимость служить моей церкви и бороться с ересями, ее раздирающими».

Так говорил — или по крайней мере так думал — человек фанатической веры, порожденной недостаточ-

ностью образования, смешивавший насущные потребности христианства с непомерными и захватническими претензиями римской церкви и защищавший свое дело с жаром, достойным лучшего применения.

В то время как монах, будучи в таком созерцательном настроении, подвигался вперед, ему нет-нет да и казалось, что он видит перед собой на дороге женщину в белом одеянии, в позе глубокой печали. Но это впечатление было настолько мимолетным, что, как только он начинал пристально глядеть в ту сторону, где он только что видел фигуру, неизменно оказывалось, что он принял за видение нечто весьма обыкновенное — белый камень или поваленный ствол березы с серебристой корой.

Отец Евстафий слишком долго жил в Риме, чтобы разделять суеверные страхи малообразованного шотландского духовенства. Но все же ему показалось удивительным, что фантастический рассказ ризничего мог произвести на него такое сильное впечатление. «Странно... — подумал он. — Эта история, которую брат Филипп, несомненно, выдумал, чтобы скрыть свои неблагоприятные поступки, так крепко засела у меня в голове, что мешает мне предаться более серьезным размышлениям, — мне следует взять себя в руки. Я начну читать молитвы и выкину из памяти всю эту ерунду».

Приняв это решение, монах стал набожно шептать молитвы, перебирая четки, в точности следуя предписаниям своего ордена, и его уже больше не тревожили никакие видения, пока он не подъехал к башне Глендеарг.

Госпожа Глендининг, стоявшая у калитки, вскрикнула от удивления и радости, увидав уважаемого отца Евстафия.

— Мартин! Джаспер! Где же вы все? — засуетилась она. — Помогите же сойти высокочтимому помощнику приора и отведите мула на конюшню. О святой отче! Сам бог привел вас сюда, чтобы помочь нам. Я только что вновь собиралась послать верхового в монастырь, хотя мне и совестно было тревожить ваши преподобия.

— Тревоги для нас не имеют значения, сударыня, — отвечал отец Евстафий. — Чем я могу быть вам полезен? Я приехал навестить леди Эвенел.

— Как хорошо! — воскликнула госпожа Элспет. — А я как раз из-за нее-то и собиралась послать за вами: бедная леди, видно, и до завтрашнего дня не протянет! Не будете ли вы так добры пройти к ней?

— А разве она не исповедовалась у отца Филиппа? — спросил монах.

— Исповедовалась, — отвечала госпожа Глендининг, — и именно у отца Филиппа, как ваше преподобие справедливо заметили... Но... но мне хотелось, чтобы она совершенно очистилась покаянием от всех грехов. А мне показалось, что у отца Филиппа на этот счет остались сомнения... Да тут еще была книга, которую он взял с собой, так что... — И она запнулась, как бы не желая продолжать.

— Говорите все начистоту, госпожа Глендининг, — заметил отец Евстафий. — Это ваш долг ничего от нас не скрывать.

— Ах, ваше преподобие, с вашего разрешения, я бы от вас никогда ничего не скрыла, кабы только я не боялась повредить этим бедной леди. Она прекрасная женщина, живет с нами уже не первый год, и лучше ее я никого не знаю. Но это дело — пусть уж лучше она сама вам объяснит, ваше преподобие.

— Сначала вы мне скажите, госпожа Глендининг, и я еще раз повторяю — это ваш долг мне все рассказать.

— Книга эта, — несмело начала вдова, — которую отец Филипп увез из Глендеарга, книга эта, с разрешения вашего преподобия, нынче утром таинственным образом вернулась к нам.

— Вернулась? — воскликнул монах. — Как так?

— Ее принесли обратно к нам, в башню Глендеарг, — продолжала госпожа Глендининг, — а как — это уж один бог знает. Но это та книга, которую отец Филипп вчера увез. Старый Мартин — наш работник и слуга леди Эвенел — выгонял наших коров на пастбище, а надо вам сказать, досточтимый отец, что

по молитвам святого Вальдгэва и по милости обители у нас есть три добрых молочных коровы...

Монах чуть не застонал от нетерпения. Но он вовремя вспомнил, что женщина такого нрава, как почтенная вдова Глендининг, подобна волчку: не трогай его, когда он вертится, — он остановится, но если вздумаешь его подхлестывать, он будет вертеться без конца.

— Но оставим наших коров, ваше преподобие (хотя, уверяю вас, редко в каком стаде найдется такая скотина). Работник выгонял их на пастбище, а мои молодцы — это Хэлберт и Эдуард, которых ваше преподобие видели в праздничные дни в церкви (а в особенности вы должны помнить Хэлберта, так как вы изволили его гладить по голове и подарили ему значок святого Катберта, что он носит на шапке), и с ними еще была Мэри Эвенел (это дочка леди Эвенел), — так вот, они побежали за стадом и принялись играть и носиться по лугу, ваше преподобие, как это привычно детям. Вскоре они потеряли из виду и Мартина и коров, и им вздумалось залезть в узкую расщелину, которую мы зовем Корри-нан-Шиан, где в самой глубине течет родник, и вот там вдруг они видят — с нами крестная сила! — что сидит у родника женщина вся в белом и ломает руки. Ребята, конечно, перетрусили, увидав перед собой незнакомую женщину (кроме Хэлберта — ему на троицу минет шестнадцать, и он никогда ничего не боялся), но когда они к ней подошли — ее и след простыл.

— Стыдитесь, сударыня! — перебил ее отец Евстафий. — Такая рассудительная женщина — и вдруг верит всяким бредням! Дети попросту соврали — вот и все.

— Нет, сэр, тут что-то не так, — возразила почтенная хозяйка дома. Во-первых, они мне никогда за всю жизнь не лгали, а потом я должна вам открыть, что на том самом месте, где сидела белая женщина, они нашли книгу леди Эвенел и принесли ее в башню.

— Вот это наконец достойно внимания! — воскликнул монах. — Вы не знаете, в здешней округе не найдется другого экземпляра этой книги?

— Нет, ваше преподобие, — отвечала Элспет. — Откуда бы ей взяться? Да будь их даже двадцать штук, все равно здесь некому их читать.

— Так это наверняка та самая книга, которую вы отдали отцу Филиппу?

— Это так же верно, как то, что я с вами сейчас разговариваю, ваше преподобие.

— Очень странно! — произнес отец Евстафий, принимаясь в задумчивости ходить взад и вперед по комнате.

— Я была как на угольях, так мне хотелось узнать, что вы, ваше преподобие, на это скажете, — продолжала госпожа Глендининг. — Я все на свете готова сделать для леди Эвенел и для ее семейства, и я это, кажется, доказала, и ее слугам я желаю добра, и Мартину и Тибб (хотя Тибб и не всегда так почтительна со мной, как я могла бы ожидать), но мне думается, не слишком это ладно, что около леди увиваются ангелы, духи или феи, когда она гостит в чужом доме, да и для дома это нехорошая слава. А ведь, кажется, все для нее здесь делается, и ничего ей это не стоит — как говорится, ни гроша, ни труда. Но тут не только худая слава, а вот еще что: вовсе это не безопасно, когда в доме заведутся волшебные существа. Правда, я навязала по красной нитке на шею моим ребятам (так она, по материнской любви своей продолжала их называть) и каждому дала хлыстик из рябиновой ветки и еще зашила в подкладку их камзольчиков по кусочку вязовой коры. И очень хотелось бы мне узнать, ваше преподобие, что еще может сделать одинокая женщина, чтобы отвратить от себя духов и фей? Ах, беда! Я, кажется, дважды назвала их по имени!

— Госпожа Глендининг, — сказал монах несколько неожиданно, после того как достойная женщина наконец замолкла, — скажите, пожалуйста, знакома вам дочка мельника?

— Знакома ли мне Кейт Хэппер? — отвечала вдова. — Да уж так знакома — я ее знаю как облупленную. Разбитная была девка Кейт, когда мы с ней поумились, лет этак двадцать тому назад.

— Это, должно быть, не та девица, о которой я говорю, — возразил отец Евстафий. — Той, о которой я спрашиваю, лет пятнадцать, не больше. Такая черно-глазая; может быть, вы ее видели в церкви?

— Ваше преподобие, разумеется, правы — это, должно быть, племянница моей кумы, о которой вы изволите говорить. Только сама-то я, слава богу, слишком усердно молюсь за обедней, чтобы разбирать, какие у молодых девок глаза, черные или зеленые.

Почтенный помощник приора был все-таки настолько от мира сего, что не мог не улыбнуться на хвастливое замечание вдовы, что она стоит выше всяких искушений, в особенности, принимая во внимание, что подобные искушения опасны скорее для мужского пола, чем для женского.

— Тогда, может быть, — заметил он, — вы знаете, госпожа Глендининг, как она одевается?

— А как же, ваше преподобие, — отозвалась вдова довольно охотно. — Она носит белую юбку — наверно, потому белую, что на ней мучная пыль не так видна, — а сверху синюю накидку, но это уж только для того, чтобы было чем покичиться.

— Так не она ли и принесла обратно эту книгу и удрала, когда дети ее увидели? — спросил отец Евстафий.

Мистрис Глендининг призадумалась. Ей вовсе не хотелось опровергать заключения монаха, но она никак не могла понять, зачем бы мельниковой дочке забираться так далеко от своего дома, да еще в такое глухое место? Неужто только для того, чтобы оставить там старую книгу трем ребятишкам, и притом еще от них прятаться? А главное, она никак не могла взять в толк, почему бы девушке, раз она в доме всех знала (а при этом сама госпожа Глендининг всегда все честно платила, что с нее следовало за помол, и мельнику и засыпкам), — почему бы ей, мельничихе, попросту не зайти к ним отдохнуть, закусить и порассказать, что у них делается на мельнице.

Как ни странно, именно эти возражения окончательно убедили монаха, что его догадки были верны.

— Сударыня, — сказал он, — вы должны быть очень осторожны в ваших разговорах. Это пример, и, боюсь, не единственный пример, того, как далеко простирается власть врага рода человеческого в наши дни. Это дело следует проверить до тонкости, пропустить его через мельчайшие сита.

— Само собой, — согласилась Элспет, стремясь понять мысли помощника приора и ответить ему в тон. — Я частенько думала, что мельники на монастырской мельнице уж больно небрежно просеивают нашу муку, да и мелют зерно они тоже кое-как. Недаром народ болтает, что они не остановятся перед тем, чтобы пригоршню золы подсыпать добрым людям в муку.

— В этом мы тоже разберемся, сударыня, — отвечал помощник приора, не без удовольствия убеждаясь, что почтенная женщина не поняла его. — А теперь, с вашего разрешения, я хочу повидать леди Эвенел. Пожалуйста, пройдите к ней и предупредите, что я хочу ее видеть.

Госпожа Глендининг, исполняя его просьбу, ушла наверх, а монах, продолжая в волнении ходить из угла в угол, принялся размышлять о том, как ему лучше с надлежащей кротостью, но и с успехом выполнить возложенный на него свыше тяжкий долг. Он решил, подойдя к одру больной, начать сразу с упреков, но смягчить резкость выражений из снисхождения к ее телесной слабости. Однако если она вздумает возражать (на это ее могут вдохновить недавние примеры закоренелого еретичества), ему придется опровергать хорошо ему знакомые заблуждения.

Преисполненный пламенного негодования на ее незаконное вторжение в обязанности духовного лица по изучению священного писания, он представлял себе те возражения, которые он бы мог услышать от приверженцев новейшей школы ереси. Но он предвкушал и свою победу, когда увидит спорщицу распростертой ниц перед ним, ее исповедником. И он заранее сочинял в уме то страстное, но целительное увещание, с которым он обратится к ней, пригрозив лишить ее последнего утешения церкви. Он будет

заклинать ее спасением ее души открыть ему все те мрачные и злокозненные тайны, благодаря которым ересь проникла в самые отдаленные уголки земель, принадлежащих самой церкви; он спросит ее, кто же были эти враги, которые так незаметно передвигались с места на место, что ухитрились вернуть запрещенную церковью книгу туда, откуда она прямым ее распоряжением была изъята; и, наконец, он узнает у нее, кто же поощрял дерзновенную и нечестивую жажду знания, которая мирянам вредна и не имеет для них смысла и только помогает дьяволу-искусителю прибегать к привычным ему соблазнам тщеславия и честолюбия.

Однако почти все, что он так тщательно придумал, выскочило у него из головы, когда Элспет вернулась и, едва успевая утирать фартуком слезы, неудержимо льющиеся из глаз, жестом пригласила его следовать за собой.

— Как? — воскликнул монах. — Неужели она уже кончается? Нет, церковь не должна осуждать и отвергать, когда есть надежда на конечное спасение.

И, забыв о всяких раздорах, почтенный помощник priора бросился в ту маленькую горницу, где на убогой постели, которую она занимала с тех пор, как несчастная судьба привела ее в башню Глендеарг, вдова Уолтера Эвенела отдала душу создателю.

— Милосердный боже! — воскликнул помощник priора. — Неужели же из-за моей несчастной медлительности она отошла в иной мир без последнего напутствия церкви! Посмотрите хорошенько, сударыня, — нетерпеливо воскликнул он, — не осталась ли в ней хотя бы искорка жизни? Нельзя ли вернуть ее на землю, вернуть хотя бы на минуту? О! Если бы она могла хотя бы одним, самым неясным словом, одним самым слабым движением выразить свое участие в спасительных молитвах покаяния! Неужели же она не дышит? Вы уверены, что она не дышит?

— Она никогда больше не будет дышать, — отвечала вдова. — О, бедная сиротка, потерявшая отца, а теперь и мать! О, дорогая моя подруга, прожившая со мной столько лет, которую я никогда больше не

увиджу! Но она теперь наверняка на небесах, ибо какой же еще женщине там быть, если не ей? Ибо уж лучше ее женщины...

— Горе мне, — причитал несчастный монах, — если она отошла от нас без уверенности в своем спасении. Горе безрассудному пастырю, который позволил волку утащить избранную овцу из стада в то время, когда он готовил пращу и дубину, чтобы поразить зверя! Что, если в жизни, бесконечной для этой несчастной души, было уготовано блаженство? Как дорого обошлась ей моя медлительность! Она заплатила за мой промах спасением своей души.

С этими словами он приблизился к безжизненному телу, полный глубокого раскаяния, столь естественного для человека его убеждений, всей душой исповедующего учение католической церкви.

— Увы! — промолвил он, взирая на остывший труп, от которого дух отлетел так незаметно, что улыбка осталась на тонких посиневших губах покойницы. — Увы! — повторил он, следя за спокойным выражением ее лица, столь истощенного болезнью, что никакая гримаса страдания не могла исказить его черты. — Вот лежит оно, поваленное древо, на том самом месте, где его сразил топор. Ужасно помыслить, что, может быть, из-за моего нерадения оно будет теперь гореть в вечном огне! — И он принялся снова и снова умолять госпожу Глендининг как можно подробнее рассказать ему все, что было ей известно об образе жизни и поведении усопшей.

Ответы были в высшей степени лестные для покойной леди Эвенел, ибо ее приятельница, весьма уважавшая ее при жизни (правда, не без легкого оттенка зависти), теперь, после ее смерти, просто боготворила ее и не могла найти достаточно сильных выражений, чтобы воздать ей хвалу.

Надо сказать, что хотя леди Эвенел в глубине души и сомневалась в некоторых догматах римской церкви, втайне отклонялась от этого извращенного христианского учения и прибегала к той книге, которая является основой христианства, — она тем не менее регулярно посещала церковные службы и, веро-

ятно, еще не дошла в своих сомнениях до того, чтобы отвергать причастие. Таковы были взгляды ранних реформаторов той эпохи, стремившихся — по крайней мере временно — избежать раскола, пока неистовство папы не сделало его неизбежным.

Отец Евстафий с жадным вниманием прислушивался к каждому слову, которое могло убедить его в том, что леди Эвенел была тверда в исповедании основ истинной веры, ибо его мучила совесть, что он медлил в разговорах с хозяйкой Глендеарга, вместо того чтобы сразу поспешить туда, где он был особенно нужен.

— Если ты, — обратился он к недвижимому телу, — если ты не подлежишь страшной каре, ожидающей приверженцев лжеучений, если тебе придется страдать лишь некоторое время, чтобы искупить проступки, порожденные слабостью тела, но не смертным грехом, не бойся, что долгим будет твое пребывание в месте печали и воздыхания. Я постараюсь сделать все, чтобы помочь твоему освобождению, — я буду поститься, служить заупокойные обедни, читать покаянные молитвы и умерщвлять свою плоть, пока тело мое не станет подобно этим останкам, покинутым душой. Святая церковь, наша божественная обитель, сама наша присноблаженная покровительница мать божия заступятся за ту, чьи заблуждения уступают стольким добродетелям. Теперь оставьте меня, сударыня, здесь, у ее смертного одра, — я совершу те обряды, которые необходимы при этих печальных обстоятельствах.

Элспет удалилась, а монах со страстным и искренним пылом (хотя и основанным на заблуждении) принялся читать молитвы о спасении души новопреставленной. Около часа оставался он в горнице смерти, а затем вернулся в залу, где застал все еще рыдающую приятельницу покойной.

Но было бы несправедливо полагать, что мистрис Элспет Глендининг могла забыть свой долг хозяйки, даже предаваясь печали столь длительное время. Не надо думать, что искренняя и глубокая скорбь об усопшей поглотила ее настолько, что она уже не была

способна оказать надлежащее гостеприимство своему высокопочтимому гостю — одновременно духовнику и помощнику приора, облеченному властью как в делах церковных, так и в особенности в делах светских, кровно касавшихся вассалов монастыря.

Прежде чем предаться безудержной скорби, она поджарила ячменный хлеб, открыла бочонок домашнего пива, поставила на стол самое лучшее масло, самую свежую ветчину и сыр и, только выставив на стол все это угощение, присела в уголок к камину, накрыла голову клетчатым фартуком и дала волю слезам и рыданиям. Во всем этом не было ни малейшей доли притворства. Достойная женщина считала, что поддержать честь дома для нее такой же священный долг, в особенности если гостем был монах, как любой долг, возложенный на нее свыше, и, только выполнив его, она могла позволить себе плакать о своем друге.

Увидев входящего помощника приора, она встала с намерением его угостить. Но он наотрез отказался от всего, чем она пыталась его соблазнить. Ни масло, желтое золота, лучше которого, по ее словам, не найти было нигде в округе, ни ячменные булочки, о которых «покойная праведница, упокой господь ее душу, говорила, что они уж больно хороши», ни пиво, ни какая-либо иная снедь из ее хозяйственных запасов не могли заставить помощника приора нарушить обет воздержания.

— Сегодня, — сказал он, — я не возьму в рот никакой пищи до самого захода солнца и буду счастлив, если это поможет мне искупить мой грех невнимания; но еще более счастлив я буду, если это незначительное лишение, с верой и чистым сердцем на себя возложенное, поможет хоть в малой степени душе усопшей. Но все же, сударыня, — добавил он, — проявляя заботу о мертвых, я не могу забывать и о живых. Я не хочу оставлять у вас эту книгу, которая может принести непосвященным такое же зло, какое древо познания добра и зла принесло нашим прародителям. Сама по себе книга превосходна, но она пагубна для тех, кому возбраняется ею пользоваться.

— О, я с радостью отдам вам книгу, ваше преподобие, — отозвалась вдова Саймона Глендининга, — ежели только мне удастся выманить ее у детей. Впрочем, они, бедняжки, сейчас так обрелись, что вы можете у них живую душу вынуть из тела и они того не заметят.

— Дайте им взамен этот молитвенник, сударыня, — сказал отец Евстафий, вынимая из кармана молитвенник с яркими картинками, — и я сам к вам как-нибудь заеду или при случае кого-нибудь пришлю, чтобы объяснить им значение этих рисунков.

— Какие чудные картинки! — воскликнула в восхищении госпожа Глендининг, забыв на минуту свое горе. — Уж эта-то книга, поди, совсем не похожа на ту, что была у покойницы. Ежели бы вы тогда приехали к нам, ваше преподобие, вместо отца Филиппа, насколько это было бы лучше. Хотя, я не спорю, отец ризничий тоже человек могучий, а уж говорит он так громко, что, поди, стены бы у нас повалились, кабы не были они такие толстые. Но об этом уже предки Саймона позаботились, да упокоит господь их души.

Монах приказал подать своего мула и собрался уезжать. Хозяйка дома все еще задерживала его своими расспросами о похоронах, как вдруг во двор, окружающий сторожевую башню, въехал всадник, вооруженный с ног до головы,

Глава IX

«С тех пор, как к нам они

пришли,

Мечи и копыя принесли,

Бесплодны борозды земли!» —

Джон Аплэнд так сказал.

Рукопись Бэннатайна

Шотландские законы, столь же мудрые и беспристрастные, сколь бессильные и бездейственные в применении, тщетно пытались защитить земледелие от ущерба и разорения, причиняемого вождями кланов,

баронами и их приспешниками, которых прозвали «джеками» (от названия камзола с нашитыми железными пластинками, который носился в качестве доспехов). Эти воинственные наемники вели себя в высшей степени нагло в отношении трудового народа — существовали они преимущественно грабежом и всегда с большой охотой готовы были выполнить любое, даже самое незаконное распоряжение своих хозяев. Избрав такой образ жизни, оруженосцы эти променяли тихое довольство и постоянную полезную деятельность на ремесло неустойчивое, ненадежное и опасное, но им привычное и полное таких соблазнов, что никакая другая карьера их уже не прельщала. Отсюда становятся понятными жалобы Джона Апланда, воображаемого героя, олицетворяющего крестьянина, в уста которого безвестные поэты той эпохи вложили сатирическое описание тогдашних людей и нравов:

«Неистово несется к нам
И по лесам и по лугам
Весь в латах, с луком враг,
Там, где промчался он по ржи,
Попробуй, черта, удержи!» —
Джон Апланд молвил так,

Кристи из Клинт-хилла, всадник, вдруг появившийся около маленькой башни Глендеарг, был одним из тех головорезов, на которых жаловался поэт, о чем свидетельствовали его стальные наплечники, ржавые шпоры и длинное копье. К его шлему, отнюдь не блестящему, была прикреплена ветка остролиста — отличительный знак дома Эвенелов. На боку у него висел длинный обоюдоострый меч с полированной дубовой рукояткой. Изнуренный вид его коня и его собственная изможденная и устрашающая наружность явно говорили о том, что занятия его не принадлежат к числу легких или прибыльных. Он поклонился госпоже Глендининг без особой почтительности и совсем непочтительно — монаху. Надо заметить, что растущее неуважение к монашеской братии не могло не распространиться и на людей столь буйного и бес-

порядочного поведения, как «джеки», хотя позво-
лительно думать, что им, по существу, было совершенно
безразлично как новое, так и старое вероучение.

— Значит, госпожа Глендининг, померла наша ле-
ди? — спросил «джек». — А мой-то господин прислал
ей жирного быка для засола на зиму; ну что же, он
сгодится и для поминок. Я оставил его наверху, в
ущелье, а то он слишком бросается в глаза — мечен
и огнем и железом. Чем скорее вы его обдерете, тем
будет лучше и вам спокойнее, вы меня понимаете?
А теперь дайте гарнец овса моему коню, а мне са-
мому — кусок жареного мяса и кружку эля: мне ведь
еще надо проехать в монастырь, хотя, пожалуй, этот
монах может выполнить мое поручение.

— Твое поручение, невежа! — отозвался помош-
ник приора, хмуря брови.

— Ради самого создателя! — воскликнула несчаст-
ная вдова Глендининг, ужаснувшись от одной мысли,
что между ними может возникнуть ссора. — Кристи!
Это же помощник приора. Высокоуважаемый сэр, это
же Кристи из Клинт-хилла, главный «джек» лэрда
Эвенела. Вы же знаете, что они за люди, чего от них
ждать?

— Вы елужите дружинником у лэрда Эвенела? —
спросил монах, обращаясь к всаднику. — И вы сме-
ете так грубо разговаривать с членом братства свя-
той Марии, обители, которой ваш господин стольким
обязан?

— А он хочет быть ей еще больше обязан, ваше
монашеское преподобие, — отвечал грубиян. — Он
услыхал, что его невестка, вдова Уолтера Эвенела,
лежит на смертном одре, и послал меня упредить
отца настоятеля и всю братию, что он желает справ-
лять по ней поминальную тризну у них в монастыре
и что он сам туда прибудет с лошадьми и несколь-
кими друзьями и проживет у них три дня и три ночи,
и чтобы угощение людям и корм лошадям были за
счет обители. Об этом своем намерении он их заранее
предупреждает, дабы они подготовились как следует
и вовремя все успели.

— Друг мой, — возразил помощник приора, — я и не подумаю, будь в этом уверен, передавать столь наглые требования отцу настоятелю. Ты что же, полагаешь, что достояние церкви, завещанное ей благочестивейшими государями и набожными дворянами, ныне в бозе почившими и усопшими, может быть растрачено в разгульных пирах распутником из мирян, у которого столько прихлебателей, что он не может их прокормить на свой заработок или на свои доходы? Передай твоему господину от имени помощника приора монастыря святой Марии, что примас Шотландии повелел нам никогда больше не оказывать гостеприимства, которое вымогается под сомнительными и лживыми предложениями. Земля наша и имущество даны нам для того, чтобы мы могли приходить на помощь паломникам и верующим, а не для того, чтобы услаждать банды грубой солдатни.

— И это ты мне! — заорал рассерженный копьеносец. — Эти слова мне и моему господину? Ну, так берегись же теперь, отче святой! Попробуй ты своими «ave»¹ и «credo»² спасти стада от угона, а сено — от огня.

— Ты грозишь грабежом и поджогом достоянию святой церкви?! — воскликнул помощник приора. — И это открыто, на людях, при солнечном свете! Все, кто здесь есть, будьте свидетелями тому, что сказал этот прощелыга. А тебе советую — вспомни, сколько таких мошенников, как ты, лорд Джеймс утопил в черном пруду в Джедвуде. Я буду жаловаться ему и примасу Шотландии.

Солдат схватил копье и приставил его острием к груди монаха.

Госпожа Глендининг принялась звать на помощь:

— Тибб Тэккет! Мартин! Где вы пропали? Ради самого создателя, Кристи, опомнись, ведь это служитель святой церкви!

— Я не боюсь его копья, — сказал помощник приора. — Если я буду умерщвлен, защищая права и

¹ Радуйся (лат.).

² Верую (лат.).

преимущества моей обители, примас сумеет отомстить за меня.

— Пусть он сам лучше остережется, — проворчал Кристи, но все же опустил копьё и приставил его к стене башни. — Если верить солдатам из Файфа, что приходили сюда к нам с губернатором во время последнего набега, Норман Лесли враждует сейчас с примасом и сильно на него насаждает. А Нормана мы знаем. Это такой пес — как вцепится, его не отодрать. Но я совсем не хотел оскорблять преподобного отца, — добавил он, видимо решив, что слишком далеко зашел. — Я простой солдат. Седло да копьё — вот мои заботы. С книжниками и попами мне дела иметь не приходилось. И я готов просить у вас прощения и благословения, ежели маленько что не так сказал.

— Бога ради, ваше преподобие, — зашептала вдова Глендининг помощнику приора. — Простите вы его, пожалуйста. Как же иначе нам, простым людям, спать спокойно по ночам, ежели монастырь станет враждовать с таким головорезом, как он?

— Вы правы, сударыня, — промолвил помощник приора, — прежде всего нам надлежит подумать о вашем спокойствии. Солдат, я тебя прощаю, и да благословит тебя бог и приобщит тебя к честной жизни.

Кристи из Клинт-хилла не слишком охотно склонил голову и проворчал себе под нос:

— Это все одно, что сказать: дай тебе бог помереть с голоду. Но вернемся к поручению моего господина. Что мне ему передать?

— Что тело вдовы Уолтера Эвенела будет предано земле со всеми почестями, приличествующими ее сану, и что она будет похоронена в одной могиле с ее доблестным супругом. Что же касается предположенного трехдневного посещения монастыря вашим господином со всей его свитой, то я не имею полномочия решать этот вопрос. Вам следует сообщить о намерениях вашего хозяина самому высокочтимому лорду-аббату.

— Ну что же, придется мне скакать в эту чертову даль, — заметил Кристи. — Да уж как-нибудь до ночи

доберусь. Эй ты, молодец! — обратился он к Хэлберту, видя, что тот взял в руки копье, оставленное в стороне. — Что, нравится тебе эта игрушка? Не хочешь ли поехать со мной и поступить в отряд «болотных людей»?

— Да избави нас боже от такой напасти! — воскликнула несчастная мать. Но затем, спохватившись, что она таким неожиданным возгласом могла вызвать неудовольствие Кристи, она принялась объяснять, что со дня гибели Саймона она не может видеть без содрогания ни копья, ни лука, ни какого-либо другого смертоносного оружия.

— Ерунда! — отвечал Кристи. — Тебе, вдовушка, пора найти другого мужа и выкинуть все эти пустяки из головы. А что бы ты сказала, если бы к тебе посватался такой лихой парень, как я? Твоя старая башня еще может постоять за себя, а в случае нужды — кругом пропасть этих ущелий, утесов, болот и кустарников. Право, тут можно жить припеваючи, ежели подобрать себе с полдюжины крепких молодцов, и завести столько же выносливых меринов, и промышлять по дорогам чем бог пошлет, а вдобавок и тебя ласкать, старая красотка.

— Ах, мастер Кристи, как это вы можете говорить такие речи одинокой вдове, да еще когда у нее в доме покойница!

— Одинокой? Вот потому-то тебе и пора обзавестись муженьком, что ты одинока. Твой прежний супруг помер — ну так что же, поищи себе другого, не такого хилого, чтобы он не свернулся на сторону, как цыпленок от типуна. Я лучше тебе скажу... Впрочем, дай мне сначала закусить, хозяйюшка, а потом мы с тобой еще потолкуем.

Хотя Элспет прекрасно знала характер этого человека (которого она недолюбливала и в то же время боялась), она не могла не улыбнуться на его попытки поухаживать за ней. Она шепнула помощнику приора:

— Пусть его, лишь бы успокоился, — и пошла за солдатом в башню, чтобы принести ему еду.

Элспет надеялась, что хорошее угощение и ее обаяние настолько развлекут Кристи из Клинт-хилла, что ссора с отцом Евстафием уже не возобновится.

Помощник приора, со своей стороны, тоже не имел желания затевать совершенно ненужные раздоры между обителью и такой личностью, как Джулиан Эвенел. Кроме того, он считал, что для поддержки пошатнувшегося престижа римско-католической церкви наряду с твердостью обязательна и кротость, в особенности теперь, когда, не в пример прошлому, споры между духовенством и мирянами обычно кончались к выгоде последних. Поэтому он решил удалиться, дабы избежать дальнейших препирательств, но все же не преминул предварительно завладеть книгой, которую накануне унес ризничий и которая столь чудесным образом вернулась в ущелье.

Эдуард, младший сын Элспет Глендининг, ни за что не хотел отдавать книгу помощнику приора, и, несомненно, к его протестам присоединилась бы Мэри, если бы она в это время не плакала в своей спальне, где Тибб делала все, что было в ее силах, чтобы утешить девочку, потерявшую мать. Младший Глендининг решительно вступился за ее права и с твердостью, которая ранее вовсе не была ему свойственна, заявил, что, раз теперь добрая леди умерла, книга принадлежит Мэри, и никому кроме Мэри она не достанется.

— Но, милый мой мальчик, эту книгу Мэри не годится читать, — ласково возразил отец Евстафий. — И неужели ты все-таки хочешь, чтобы она у нее осталась?

— Сама леди ее читала, — отвечал на это юный защитник собственности, — так что она не может быть вредной. Никому я ее не отдам. Где же Хэлберт? Наверно, слушает хвастливые рассказы этого болтуна Кристи. Он всегда готов драться, а когда надо — его и нет.

— Как, Эдуард, неужели же ты станешь драться со мной, священником и стариком?

— Будь вы сам папа, — возразил мальчик, — и такой же старый в придачу, как эти горы, вы все равно

не унесете книгу Мэри без ее разрешения. Я буду драться за нее.

— Но послушай, дружок, — промолвил монах, забавляясь горячностью дружеских чувств у мальчика. — Я же ее у вас не отнимаю. Я беру ее на время почитать. И в залог того, что я ее верну, вместо нее оставляю свой собственный молитвенник с картинками.

Эдуард с живым любопытством раскрыл молитвенник и стал рассматривать картинки.

— Святой Георгий с драконом — Хэлберту это понравится; архангел Михаил замахивается мечом на дьявола — это ему тоже придется по вкусу. Ой, взгляните на этого Иоанна Крестителя, как он ведет агнца в пустыню с крестом из тростниковых палочек, с сумой и посохом! Это будет моя самая любимая картинка! А что здесь можно найти для бедняжки Мэри? Вот тут красивая женщина почему-то скорбит и плачет.

— Это святая Мария Магдалина кается в своих прегрешениях, мой мальчик, — пояснил монах.

— Это *нашей* Марии не подойдет — она ничего дурного не делает и никогда на нас не сердится, разве уж если мы нехорошо поступили.

— Тогда, — сказал отец Евстафий, — я покажу тебе Марию, которая может взять под свое покровительство и ее, и вас, и всех послушных детей. Взгляни, как она здесь хороша, и одеяние ее все в звездах.

Мальчик пришел в восторг от изображения пресвятой девы, которое показал ему помощник приора.

— Она действительно похожа на нашу милую Мэри, — сказал он. — И, пожалуй, возьмите эту черную книгу — там нет таких хороших картинок, а вместо нее оставьте для Мэри вашу. Но вы должны обещать, святой отец, что вы ее вернете, — ведь Мэри, может быть, все-таки захочется иметь эту книгу, которая принадлежала ее маме.

— Конечно, я еще вернусь, — сказал монах, уклоняясь от прямого ответа, — и, может быть, научу тебя писать и читать эти замечательные буквы, которые ты

тут видишь, и научу тебя раскрашивать их в синий, зеленый и желтый цвета и обводить золотом.

— Да? И научите рисовать такие же изображения, как эти святые, и особенно как эти две Марии? — спросил мальчик.

— С их благословения, — отвечал помощник приора, — я смогу обучить тебя и этому искусству, насколько я сам его постиг и насколько ты способен будешь его перенять.

— Тогда, — заявил Эдуард, — я нарисую Мэри. Но помните, вы должны вернуть черную книгу. Это вы мне должны обещать.

Желая избавиться от настойчивости мальчика и в то же время поскорее вернуться в монастырь, чтобы не встречаться больше с этим бездельником Кристи, помощник приора обещал Эдуарду исполнить все, что тот от него требовал, сел на мула и отправился в обратный путь.

Ноябрьский день уже клонился к вечеру, когда помощник приора выехал домой. Трудная дорога и различные проволочки во время его пребывания в башне задержали его дольше, чем он ожидал. Холодный западный ветер уныло свистел между ветвей деревьев, срывая с них последние засохшие листья.

«Вот так, — думал монах, — все более печальной делается юдоль земная по мере того, как нас увлекает за собой течение времени. Что я приобрел своей поездкой? Одну только уверенность, что ересь насаждает на нас с еще большим упорством, чем раньше, и что дух мятежа, столь распространенный на западе Шотландии, грозящий насильем монашеству и грабежом достоянию церкви, теперь приблизился к нам вплотную».

В эту минуту его размышления прервал конский топот. Отец Евстафий обернулся и узнал во всаднике того самого невежу солдата, которого он оставил в башне.

— Добрый вечер, сын мой, и да благословит тебя бог, — обратился к нему помощник приора, когда тот проезжал мимо.

Но солдат едва кивнул в ответ и, пришпорив коня, помчался так быстро, что вскоре оставил монаха и его мула далеко позади себя.

«Вот еще одна язва нашего времени, — подумал помощник приора. — Этот простой парень, который родился, казалось бы, для того, чтобы пахать землю, благодаря немилосердным и нечестивым раздорам в нашей стране развратился и стал бессовестным, наглым разбойником. Наши шотландские бароны превратились ныне в отъявленных воров и бандитов — они теснят бедный люд, и разоряют церковь, и без зазрения совести вымогают у аббатств и приоратов три четверти их доходов. Я боюсь, что не успею вовремя, чтобы побудить аббата дать отпор этим дерзким притеснителям. Нужно мне поторопиться». И он ударил хлыстом своего мула. Но, вместо того чтобы прибавить рыси, мул вдруг отпрянул назад, и никакие усилия всадника не могли больше заставить его двинуться с места.

— Неужели же и ты заразился мятежным духом века? — воскликнул помощник приора. — Ты всегда был такой послушный и кроткий, и вдруг заартачился, точно бешеный «джек» или закоренелый еретик.

В то время как он пытался образумить строптивое животное, чей-то голос, похожий на женский, вдруг запел у него над самым ухом или, во всяком случае, совсем близко:

— Монах, счастливый тебе вечерок!
И мул твой хорош, и плащ твой широк!
Едешь холмами или в долине —
Кто-то следит за тобой отныне...
Обратно возьмем
Мы черный том!
Мы черную книгу себе вернем!

Помощник приора огляделся вокруг, но поблизости не было ни дерева, ни кусточка, за которым могла бы спрятаться певица «Да сохранит меня мать божья! — подумал он. — Надеюсь, что мои чувства мне не изменяют. Но как мог я сочинять стихи,

которые я презираю, и музыку, к которой я равнодушен, или каким образом у меня в ушах мог зазвучать мелодичный женский голос, когда я давно отвык от таких звуков? Это выше моего понимания и получается почти как видение Филиппа-ризничего. Ну, вперед, приятель, выезжай скорее на тропинку и бежим отсюда, пока мы окончательно не потеряли рассудка».

Но мул стоял на месте как вкопанный, упирался и ни за что не хотел двигаться в том направлении, которое указывал ему всадник, а по ушам его, плотно прижатым к голове, и по глазам, чуть не вылезающим из орбит, можно было заключить, что его объял неистовый ужас.

Помощник приора вновь пытался то угрозами, то ласковыми уговорами вернуть своенравное животное к исполнению его долга, как вдруг опять, совсем рядом, услышал тот же мелодичный голос:

— Эй, настоятель, пришел ты сюда
Ог мертвой книгу отнять без стыда?
Смотри берегись, а не то не спасешься!
Книгу верни, а то сам не вернешься!
Обратно иди!
Ждет смерть на пути!
Заклинаю властителем прочь уйти!

— Именем господа бога! — воскликнул изумленный монах. — Тем именем, пред которым трепещет всякая тварь земная, заклиная тебя сказать, зачем ты меня преследуешь?

Тот же голос отвечал:

— Я не дух добра и не злобный бес,
Не из адских недр, не с благих небес,
Дымка тумана, всплеск над волною,
Меж ясною мыслью и сонной мечтою...
Видят меня
На закате дня,
Я людей ослепляю, к себе их маня.

«Нет, это не игра воображения», — подумал помощник приора, пытаясь взять себя в руки, ибо, несмотря на всю его выдержку, при внезапном появлении существа потустороннего кровь застыла у него в жилах, а волосы зашевелились.

«Я приказываю тебе, — воскликнул он громко, — каковы бы ни были твои намерения, исчезни и не смущай меня более! Лживый дух, ты можешь пугать только тех, кто нерадиво трудится на ниве господней!»

Голос немедленно отвечал:

— Напрасно, монах, преграждаешь мне путь,
Ведь я метеором могу промелькнуть...

Я пляшу на волне, в облаках я летаю,

Со снами благими по свету витаю.

Опять, опять,

Там, где луга гладь,

Там, где лес, я встречу тебя опять.

Путь теперь, по-видимому, был свободен, мул успокоился и как будто готов был вновь двигаться вперед, хотя пятна пота на его спине и дрожь всего тела явно показывали, какого страха он натерпелся.

«Я сомневался в существовании каббалистов и розенкрейцеров, — размышлял помощник приора, — но теперь, клянусь моим святым орденом, я уже не знаю, что и сказать! Сердце мое бьется ровно, руки мои холодны, я совершенно трезв и полностью владею своими чувствами... Одно из двух — или врагу рода человеческого позволено было сбить меня с толку, или писания Корнелия Агриппы, Парацельса и других авторов, трактовавших об оккультной философии, не лишены основания. На повороте, при выходе из долины? Не скрою, хотелось бы избежать этой второй встречи, но я служитель церкви, и да не одолеют меня врата адовы».

С этими словами отец Евстафий вновь двинулся вперед, но с осторожностью, и не без страха, ибо он не мог предугадать, каким образом и где именно его дальнейшее путешествие будет прервано невидимой спутницей. Он спустился примерно на милю вниз

по ущелью, никого не встретив, как вдруг на том самом месте, где ручей совсем близко подходит к отвесному склону и на крутом повороте сужает тропинку настолько, что по ней едва может пробраться всадник, прежний дикий страх вновь овладел мулом. Лучше понимая теперь причину его беспокойства, монах не стал понукать его, а обратился к невидимому существу (ибо он не сомневался, что это опять то же существо) с торжественным закланием, которое в таких случаях предписывает римская церковь.

В ответ на это голос вновь запел:

— Добрый смел, вины не зная,
Злобный дик, все забывая...
Коли ты с умом,
Схоронись за холмом,
А то не кончится дело добром!

Помощник приора внимательно слушал, повернувшись в ту сторону, откуда, казалось, неслись звуки, как вдруг почувствовал, что кто-то стремительно на него насккивает, и, прежде чем он успел разобраться, в чем дело, посторонняя сила мягко, но неотвратимо выбила его из седла. При падении он потерял сознание и долго лежал на земле недвижимо; когда он упал, солнце еще золотило вершину дальней горы, а когда он пришел в себя, бледная луна заливала окрестность своим светом. Он проснулся в состоянии совершенного ужаса и какое-то время не мог избавиться от этого чувства. Наконец, приподнявшись, он сел на траву и постепенно осознал, что пострадал он единственно от того, что холод сковал все его тело. Вблизи слышался шорох, и сердце монаха учащенно забилося. Сделав над собой усилие, он встал и, оглядевшись, с облегчением убедился, что шорох производил его собственный мул. Кроткое животное не покинуло своего хозяина во время обморока и мирно пощипывало траву, росшую в изобилии в этом уединенном уголке.

Не сразу собравшись с духом, монах наконец вновь сел в седло и, размышляя о своем необычно-

венном приключении, спустился вниз по ущелью и выехал на широкую долину, по которой вьется река Твид. Подъемный мост тотчас же опустился по первому его требованию. И надо сказать, что отец Евстафий настолько расположил к себе грубияна сторожа, что Питер вышел с фонарем, чтобы посветить ему при небезопасном переходе на ту сторону.

— Скажу по совести, сэр, — заметил сторож, поднося фонарь к лицу отца Евстафия, — вид у вас очень усталый, и бледны вы как смерть. Но, положим, много ли надо, чтобы из вас, келейных жителей, душу вытрясти? Я вот про себя скажу. Пока я еще не засел здесь, на этом чертовом столбе, между ветром и рекой, я, бывало, скакал верхом, да еще натошак, по тридцать шотландских миль и оставался свеж и румян, как яблочко. Но, может быть, вам дать закусить и выпить чего-нибудь горячительного?

— Мне ничего не надо, — отвечал отец Евстафий, — ибо я дал зарок поститься. Но спасибо вам за вашу доброту, и прошу вас, отдайте то, от чего я отказался, первому нищему страннику, который придет сюда бледный и усталый, и вам обоим это пойдет на пользу — ему сейчас, а вам — в свое время.

— Клянусь честью, я так и сделаю, — отвечал Питер, мостовой сторож, — и пусть и вам это тоже пойдет на пользу. Удивительно все-таки, как этот помощник приора всегда найдет путь к самому сердцу человека, не то что другие попы и монахи, которым одно только и надо — напиться да набить себе брюхо. Жена! Эй, жена! Слушай меня, мы дадим чарку водки и краюху хлеба первому страннику, который сюда придет. Ты для этого случая слей куда-нибудь осадок из водочного бочонка и отложи в сторону ту прогорклую лепешку, что ребята не могли есть.

Пока Питер отдавал эти милосердные и в то же время благоразумные распоряжения, помощник приора (чье кроткое увещание побудило мостового сторожа к столь необычайному подвигу человеколюбия) медленно поднимался в гору, по направлению к монастырю. По дороге он невольно обнаружил в своем собственном сердце врага, более страшного, чем

всякий враг, которого мог бы послать ему навстречу сатана.

Отец Евстафий почувствовал сильное искушение скрыть необычайное приключение, которое выпало ему на долю. Ему особенно не хотелось в нем признаться, ибо он сурово осуждал отца Филиппа, а тот (теперь он это охотно признавал) встретился на обратном пути из Глендеарга с препятствиями, весьма схожими с теми, которые возникли перед ним самим. И в этом он еще раз убедился, когда сунул руку за пазуху и обнаружил, что книга, которую он вез из башни Глендеарг, исчезла. Единственное, что он мог предположить, — что ее украли в то время, как он лежал без чувств.

«Если я признаюсь, что меня посетило видение, — думал помощник приора, — меня поднимет на смех вся монастырская братия. Ведь меня послал сюда примас для того, чтобы я стоял на страже порядка и подавлял их глупости. Я дам аббату такое оружие против себя, что мне будет с ним не совладать, и один бог знает, как в своем безрассудном простодушии он будет злоупотреблять им во вред и поношение святой церкви. Но, с другой стороны, если я сам не принесу искреннего покаяния в своем позоре, с каким лицом я осмелюсь в дальнейшем увещевать и направлять на путь истинный других? Сознайся же, гордый человек, — продолжал он, обращаясь к самому себе, — что во всем этом деле тебя тревожит не благо святой церкви, а твое неминуемое унижение. Да, небо покарало тебя именно в том, чем ты больше всего похвалялся, — в твоей умственной гордости и в презрении к чувственным соблазнам. Ты насмеялся над своими братьями и издевался над их неопытностью — претерпи же теперь их насмешки, расскажи им то, чему они, может быть, не поверят, утверждай то, что они примут за проявление трусости, а может быть, и лжи. Пусть они сочтут тебя безмозглым фантазером или заведомым обманщиком — претерпи этот позор! Но да будет так! Я исполню свой долг и во всем покаюсь настоятелю. И если затем я перестану быть полезным обителю, то господь наш и наша пречистая заступница пошлют меня туда, где смогу лучше им служить».

Столь богобоязненное и самоотверженное решение нельзя не поставить в заслугу отцу Евстафию. Люди любой профессии очень высоко ценят уважение со стороны своих ближайших соратников. Но в монастырях, для рядовых монахов, лишенных возможности проявлять честолюбие (как лишены они и возможности поддерживать за пределами монастырской ограды дружественные или родственные связи), нет ничего дороже, чем уважение окружающих.

Однако даже сознание того, как обрадуются его признанию и настоятель и большинство монахов обители святой Марии (ибо их давно уже раздражал тот негласный, но строгий контроль, который он осуществлял в монастыре), даже понимание того, каким смешным, а может быть, и преступным он окажется в их глазах, не могло отвратить отца Евстафия от исполнения его долга христианской совести.

Укрепившись, таким образом, в принятом решении, помощник приора уже подъезжал к воротам монастыря, как вдруг был крайне поражен, увидев перед собой пылающие факелы, пеших и конных людей и шныряющих среди толпы монахов, заметных в темноте по их белым клобукам.

Его приветствовал единодушный крик радости, так что ему сразу стало ясно, что он и был причиной тревоги.

— Вот он! Вот он! Слава тебе господи, вот он цел и невредим! — кричали вассалы, в то время как монахи восклицали:

— *Te Deum laudamus*,¹ ты не оставишь в нужде верного раба твоего!

— Что случилось, дети мои? Что случилось, братия? — вопрошал всех отец Евстафий, слезая со своего мула.

— Нет, брат наш, если ты не знаешь, в чем дело, — отвечали монахи, — мы тебе ничего не станем объяснять, пока ты не пройдешь в трапезную. Знай одно: лорд-аббат приказал этим усердным и верным вассалам ни минуты не медля спешить тебе на помощь.

¹ Тебя, бога, хвалим (лат.).

Можете расседлать коней и разойтись по домам. А завтра все, кто здесь был, можете пройти на монастырскую кухню, получить кусок ростбифа и добрую кружку пива.

Вассалы разошлись с веселыми восклицаниями, а монахи в столь же веселом настроении повели помощника приора в трапезную.

Глава X

.. Вот я здесь,
Здрав, невредим, благодаренье небу,
Как раньше был, пока не занесла
На нас измена дерзкое копьё

Деккер

Первый человек, которого увидел помощник приора, когда оживленная толпа монахов привела его в трапезную, был Кристи из Клинт-хилла. Он сидел у камина, в оковах и под стражей, с тем видом угрюмой и тупой безнадежности, с каким обычно закоренелые преступники ожидают близкого наказания. Но когда помощник приора подошел к нему близко, черты лица Кристи приняли выражение дикого изумления и он воскликнул:

— Дьявол! Сам дьявол приводит мертвых обратно к живым!

— Нет, — возразил один из монахов, — скажи лучше, что пресвятая дева оберегает своих верных слуг от козней врага. Наш дорогой брат жив и здоров.

— Жив и здоров! — промолвил Кристи, вскочив на ноги и придвигаясь к помощнику приора, насколько позволяли оковы. — Нет уж, теперь я никогда больше не доверюсь моему копыю — ни крепкому древку, ни стальному наконечнику. Ведь подумать только, — добавил он, с изумлением взирая на отца Евстафия, — ни ранки тебе, ни царапинки, и даже ряса не порвана!

— А откуда могли бы быть у меня раны? — спросил отец Евстафий.

— От моего доброго копья, что до сих пор служило мне верой и правдой, — ответил Кристи из Клинт-хилла.

— Да простит тебе всевышний грех твоего умысла! — ужаснулся помощник приора. — Неужто же ты способен был умертвить служителя алтаря?

— А почему бы и нет? — отвечал Кристи. — Люди из Файфа уверяют, что даже ежели вас всех перерезать, все равно при Флоддене народу погибло куда больше.

— Негодяй! Ты что же, мало что убийца — еще и еретик?

— Нет, клянусь святым Джайлсом, нет! Я радовался, не скрою, когда лорд Монанс честил вас лгунами и мошенниками, но когда он потребовал, чтобы я стал слушать какого-то Уайзхарта, проповедника, как они его называют, так это все одно, что необъезженного жеребца, только что скинувшего всадника, уговаривать стать на колени, чтобы помочь другому ездоку взобраться в седло.

— А он еще не совсем испорчен! — заметил ризничий, обращаясь к аббату, который вошел в этот момент. — Он отказался слушать еретика проповедника!

— Да, зачтется ему это на том свете, — отозвался аббат. — Приготовься к смерти, сын мой, мы передадим тебя в руки мирянина, нашего управляющего, и он повесит тебя на холме висельников, как только начнет светать.

— Аминь! — заключил злодей. — Все равно один конец. И какая разница, будут ли клевать меня вороны в обители святой Марии или в Карлайле?

— Позвольте мне просить вас, ваше преподобие, повременить немного, пока я не расспрошу... — вступил в разговор помощник приора.

— Как! — воскликнул аббат, который только сейчас заметил отца Евстафия. — Наш дорогой брат вернулся к нам, когда мы уже отчаялись его видеть! Нет, не преклоняй колен перед таким грешником, как я, встань и прими мое благословение. Когда этот негодяй появился перед нашими воротами, мучимый

угрызениями совести, и закричал, что он убил тебя, мне показалось, что рухнул столб, поддерживающий крышу над нашей головой. Нет, не должна больше такая драгоценная жизнь подвергаться опасностям, от которых не уберечься в нашей пограничной стороне. Нельзя дольше терпеть, чтобы лицо, столь взысканное и хранимое небом, занимало такое ничтожное положение в церкви, как должность несчастного помощника приора. Я буду спешно писать примасу, чтобы он поскорее перевел тебя отсюда с повышением.

— Позвольте, прежде всего объясните мне, — прервал его помощник приора, — этот солдат сказал, что он меня убил?

— Что он пронзил вас насквозь! — отвечал аббат. — Пронзил копьем на полном скаку. Очевидно, он промахнулся. Но когда вы, смертельно пораженный, как ему представлялось, пали на землю, тут, по его словам, предстала перед ним сама пречистая дева, наша небесная заступница.

— Ничего подобного я не говорил, — прервал его арестованный. — Я сказал, что я собирался пошарить в карманах его рясы (ведь они бывают туго набиты), когда меня остановила женщина в белом. В руке у нее была камышовая палочка, и одним ее ударом она вышибла меня из седла, ну точно так, как я бы сшиб четырехлетнего ребенка железной палицей. А потом эта чертовка принялась петь:

«Власть куста, как крестом,
Здесь тебя защитила,
А не то камышом
Я б тебя задушила».

Я еле пришел в себя от страха, вскочил в седло и сдуру прискакал сюда, чтобы меня здесь повесили как вора.

— Ты сам видишь, почтенный брат мой, — обратился аббат к помощнику приора, — сколь взыскан ты благоволением нашей покровительницы, пречистой девы, что она сама снизошла до того, чтобы охранять

пути твои. Со времен нашего блаженного основателя она никому еще не оказывала такой милости. Мы были бы теперь недостойны обладать духовным старшинством над тобой, а посему и просим тебя подготовиться к скорому переводу в Эбербросуикскую обитель.

— Увы, владыка и отец мой, — отвечал помощник приора, — ваши слова пронзают мне сердце. На таинстве исповеди я вскоре открою вам, почему я считаю себя скорее игрушкой в руках сил преисподней, чем избранником, пребывающим под покровом сил небесных. Но прежде разрешите мне задать этому несчастному несколько вопросов.

— Как вам будет угодно, — сказал аббат, — но вы все-таки не сможете убедить меня в том, что вам прилично оставаться далее на второстепенном положении в монастыре святой Марии.

— Я хотел бы узнать у этого бедняги, что заставило его покуситься на жизнь человека, который не сделал ему никакого зла.

— Помилуй, ты же грозил мне бедой, — отвечал злодей, — а только дураку грозят дважды. Разве ты не помнишь, что ты мне говорил про примаса, и лорда Джеймса, и про черный пруд в Джедвуде? Ты, видно, думал, что я так глуп, что буду дожидаться, пока ты меня предашь и мне затянут петлю на шее? Какой мне в том расчет?.. Хотя мне никакого расчета не было приезжать сюда и каяться в своих прегрешениях.... Видно, нечистый меня попутал, когда я сюда завернул... Надо было мне вспомнить пословицу: «Монах все простит, кроме обиды».

— И только из-за этого... из-за одного моего слова, которое я произнес в минуту раздражения и тотчас забыл, ты решился на такое дело? — спросил отец Евстафий.

— Да, из-за этого... И еще из-за твоего золотого креста, который мне полюбился, — отвечал Кристи из Клинт-хилла.

— Праведное небо! Этот желтый металл, этот тлен так прельстил тебя своим блеском, что ты забыл о самом крестном изображении? Отец настоятель,

я прошу вас как о величайшем благодеянии: представьте этого грешника моему милосердию.

— Нет, брат мой! — вмешался ризничий. — Вашему правосудию, если хотите, но не милосердию. Вспомните, что не все мы находимся под особым покровительством пречистой девы и не всякая ряса в нашем монастыре может служить панцирем, защищающим грудь от ударов копья.

— Именно по этой причине я и не хотел бы, чтобы из-за меня, недостойного, возникла распря между обителем и Джулианом Эвенелом, его господином, — ответил помощник приора.

— Да сохранил нас пресвятая дева! — воскликнул ризничий. — Он же второй Юлиан Отступник!

— Итак, с позволения нашего высокочтимого отца настоятеля, — начал отец Евстафий, — я прошу, чтобы с этого человека сняли цепи и отпустили его на все четыре стороны. А вот тебе, друг мой, — добавил он, передавая ему свой золотой крест, — то изображение, ради которого ты готов был обогреть свои руки кровью. Посмотри на него внимательно, и да вселит оно в тебя иные, лучшие мысли, чем те, которые у тебя были, когда ты не узрел в нем ничего, кроме слитка золота. Продай его, если нужда тебя заставит, но приобрети себе взамен другой крест, самый обыкновенный, чтобы у тебя не было соблазна думать о его цене, а только о ценности. Крест мой был подарен мне одним дорогим другом; но нет ничего дороже на свете, как направить на путь истинный заблудшую душу.

Воинственный «джек», освобожденный от оков, стоял в недоумении, глядя то на помощника приора, то на золотой крест.

— Клянусь святым Джайлсом, — сказал он наконец, — я вас не понимаю! Вы даете мне золото за то, что я поднял копье на вас; сколько же вы бы мне дали, если бы я теперь направил его против еретиков?

— Святая церковь, — возразил помощник приора, — сначала испытывает средства словесного увещания, чтобы вернуть заблудших овец в стадо, и только затем вынимает из ножен меч святого Петра.

— Оно, конечно, так, но, говорят, примас советует не пренебрегать и костром и виселицей в помощь увещеваниям и мечу. Однако прощайте. Я обязан вам жизнью. Может быть, я этого и не забуду.

В этот момент в трапезную ворвался запыхавшийся управляющий в синей куртке и с перевязями через оба плеча в сопровождении нескольких стражников с алебардами.

— Я чуточку опоздал явиться по приказу вашего высокопреподобия. Я несколько пополнял со времени битвы при Пинки, и кожаные доспехи не налезают на меня так легко, как раньше. Но тюрьма в подземелье готова, и хотя, как я уже сказал, я чуточку опоздал...

Но тут предполагаемый пленник, к величайшему его удивлению, весьма важно зашагал ему навстречу и остановился прямо против него.

— Вы действительно несколько запоздали, управляющий, — промолвил он, — и я весьма признателен вашим кожаными доспехам и вам лично за то, что вы так долго в них влезали. Если бы мирское правосудие явилось на четверть часа раньше, я бы уж более не нуждался в духовном милосердии. А засим, честь имею кланяться. Желаю вам благополучно вылезть из доспехов, в которых вы здорово смахиваете на бора в латах.

Управляющий очень рассердился, услышав такое сравнение, и гневно воскликнул:

— Не будь тут высокочтимого лорда-аббата, я бы тебе показал, негодяй...

— Вы хотите померяться со мною силами? — прервал его Кристи из Клинт-хилла. — Так встретимся на рассвете у источника святой Марии.

— Закоренелый грешник! — обратился к нему отец Евстафий. — Ты только что избавился от смерти и уже снова думаешь об убийстве?

— Я с тобой, мерзавец, еще вскорости повстречаюсь и научу тебя петь «господи помилуй»! — проревел управляющий.

— А я еще до того как-нибудь в лунную ночь повстречаюсь с твоим стадом на выгоне, — отвечал Кристи.

— Я тебя как-нибудь в туманное утро вздерну на виселицу, гнусный вор! — продолжал кричать светский служитель церкви.

— Ты сам вор, и гнуснее тебя нет, — спокойно возразил Кристи. — И ежели я дождусь того, что твоя жирная туша достанется червям, надеюсь, я тогда займу твою должность по милости этих преподобных отцов.

— По их милости ты получишь одно, а по моей — другое! — бесновался управляющий. — Духовника и веревку — вот все, что ты от нас получишь.

— Господа! — прервал их помощник приора, замечая, что монашеская братия проявляет гораздо больший интерес, чем допускало приличие, к перепалке между правосудием и беззаконием. — Прошу вас обоих уйти. Мастер управляющий, удалитесь вместе с вашими стражниками и не беспокойте больше человека, которому мы даровали прощение. А ты, Кристи (или как тебя зовут), уходи отсюда и помни, что ты обязан жизнью добросердечию лорда-аббата.

— Ну, что касается этого, — возразил Кристи, — то я нахожу, что жизнью-то я обязан вам. Но, впрочем, считайте как хотите, а я буду знать, что мне подарили жизнь, и покончим с этим. Прощайте.

И, посвистывая на ходу, он удалился из трапезной с таким видом, как будто жизнь, которая была ему возвращена, не стоила особой благодарности.

— Упрям до жестокости, — заметил отец Евстафий. — Хотя почему знать: может быть, под этой грубой породой таится и чистая руда.

— Избавить вора от виселицы... — проворчал ризничий. — Конец пословицы вы знаете? Ну, предположим, что, по милости божьей, этот наглый разбойник нас не тронет и мы останемся живы, но кто может поручиться, что он не захочет нашего хлеба или пива и не тронет наши стада?

— В этом я могу быть вам порукой, братья, — вмешался в разговор один старый монах. — Вы, друзья мои, очевидно не очень понимаете, какую пользу можно получить от кающегося разбойника. Во времена аббата Ингильрама — а я помню это время,

точно это было вчера — вольные добытчики были самими желанными гостями в нашем монастыре. Они платили нам десятину с каждого стада, что им удавалось добыть у южан. А так как порой они малость перебарщивали, то, бывало, отдавали нам и седьмую часть — все зависело от того, как за них возьмется духовник. И вот мы, бывало, видим с башни, что по долине бредут десятка два жирных быков или движется целая отара овец, а гонят их два-три ражих парня, вооруженных с головы до ног, со сверкающими шлемами, в кольчугах и с длинными копьями. Покойный лорд-аббат Ингильрам, веселый он был человек, еще изволил шутить: «Вот она бредет, наша десятина с дани египтян». Я ведь и знаменитого Армстронга видел — красивый был мужчина и такой славный, так жалко, что все-таки не избежал он пеньковой петли. Я как сейчас его вижу, как он проходит к нам в монастырь, — на шляпе у него девять золотых кистей (а на каждую кисть пошло по девять золотых монет английской чеканки). И вот он все ходит из часовни в часовню — то здесь помолится перед образом, то там станет на колени, то перед одним алтарем, то перед другим, и, глядишь, тут пожертвует кисть, там — золотой, пока наконец на шляпе останется столько золота, сколько на моем клобуке. Да, что говорить, уж такого грабителя в нашей пограничной стороне теперь во веки веков не найти!

— Ваша правда, отец Николай! — отозвался аббат. — Нынешние все больше норовят отнять золото у церкви, а не то чтобы завещать ей золото или передать в дар. А что до скота, то будь я проклят, если они разбирают, с чьих пастбищ его гнать: Лейнеркостского аббатства или обители святой Марии!

— Никуда они теперь не годятся, — подхватил отец Николай. — Вот уж истинно, что негодяи. То ли дело грабители в мое время! Достойные были люди! И не голько достойные, а и сердобольные. И мало того, что сердобольные, — еще и набожные!

— Не стоит об этом вспоминать, отец Николай! — заключил аббат. — А теперь, возлюбленная братия,

давайте расходиться, поскольку это происшествие с чудесным спасением высокочтимого помощника приора помешало нам сегодня отстоять вечерню. Но все же пусть колокола возвестят свой благовест, как обычно, в назидание окрестным мирянам и для призыва на молитву наших послушников. А теперь примите мое благословение, братья. Отец эконоом выдаст каждому по чарке вина и найдет в своей кладовой чем вам закусить, ибо вы претерпели смятение и тревогу, а в таком состоянии вредно отходить ко сну с пустым желудком.

— Gratias agimus quam maximas, Domine reverendissime,¹ — ответствовали ему иноки, расходясь один за другим, по старшинству.

Однако помощник приора остался и, пав на колени перед аббатом, когда тот намеревался уйти, стал умолять его принять от него исповедь в происшествиях истекшего дня. Почтенный лорд-аббат уже начал было зевать и готов был, сославшись на усталость, просить отложить исповедь; но именно перед отцом Евстафием ему никак не хотелось обнаруживать нерадивость в исполнении своего пастырского долга. Поэтому он согласился на исповедь, и отец Евстафий поведал ему обо всех необычайных приключениях, выпавших на его долю во время путешествия. Выслушав его, аббат спросил отца Евстафия, не отдает ли он себе отчета в каком-либо своем тайном грехе, который мог позволить нечистым силам временно его обольстить. Помощник приора откровенно признался, что, возможно, он и навлек на себя наказание за ту бессердечную суровость, с которой он в свое время осудил рассказ ризничего, отца Филиппа.

— Может быть, господь, — добавил кающийся, — хотел показать мне, что в его власти установить связь между нами и существами потусторонними, или, как мы привыкли их называть, сверхъестественными, и одновременно пожелал покарать грех самодовольства, самообольщения и всезнайства.

¹ Приносим тебе величайшую благодарность, высокочтимый владыка (лат.).

Недаром говорится, что добродетель сама себя вознаграждает. Аббат согласился исповедовать помощника приора весьма неохотно, но едва ли когда исполнение долга было лучше вознаграждено. Настоящим торжеством для аббата было узнать, что человек, внушавший ему нечто вроде страха или зависти (а может быть, и то и другое вместе), вдруг обвинял себя сам в той ошибке, за которую он ранее (хотя и негласно) осуждал его. Это одновременно служило подтверждением безусловной правоты аббата, тешило его самолюбие и успокаивало его страхи. Но сознание своего превосходства не возбудило в душе настоятеля никаких дурных чувств — наоборот, оно скорее укрепило в нем природное добродушие. И настолько далек был аббат Бонифаций от желания унижить помощника приора и дать ему почувствовать свою власть, что, отпуская ему грехи, он довольно комично путал выражения, естественные для его удовлетворенного тщеславия, с деликатнейшими высказываниями, имевшими целью пощадить самолюбие отца Евстафия.

— Брат мой, — начал он свое увещание, — вы, по свойственной вам проницательности, не могли не заметить, что мы часто согласовывали наше суждение с вашим мнением, даже в важнейших делах обители. И тем не менее мы были бы крайне огорчены, если бы вы заключили из сего, что мы считаем наше собственное суждение менее содержательным или наш ум более ограниченным, чем ум и рассудительность наших братьев. Ибо действовали мы так исключительно из желания поощрить наших подопечных (и в том числе вас, высокоуважаемый и любезный брат наш) к тому мужеству, которое необходимо для свободного высказывания своих мыслей. Мы нередко воздерживались от принятия того или иного решения для того, чтобы дать возможность ниже нас стоящим (и в особенности нашему дражайшему брату, помощнику приора) смело и откровенно предложить свое решение. И вот эта-то наша снисходительность и наше смирение могли в известной мере возбудить в вас, высокоуважаемый брат наш, ту излишнюю само-

надеянность, которая привела вас к тому, что вы переоценили ваши способности и тем самым подвергли себя (что ныне для нас совершенно ясно) насмешкам и издевательствам со стороны злых духов. Ведь давно известно, что небо тем меньше нас почитает, чем выше мы возносимся в собственных глазах. А с другой стороны, возможно, что мы сами были несколько виноваты, пренебрегая своим высоким саном в сем аббатстве и разрешая руководить собой и даже надзирать за собой своему же подчиненному. А посему, — продолжал лорд-аббат, — мы оба должны исправить вашу ошибку — вы будете меньше уповать на ваши природные способности и мирские познания, а я менее охотно буду подчинять свои суждения мнению человека, ниже меня стоящего по сану и по должности. Однако из этого не следует, что мы отказываемся от преимущества, которым мы пользовались и собираемся пользоваться и впредь, запрашивая вашего мудрого совета, тем более что преимущество это было не раз рекомендовано нам нашим высокопреосвященным примасом. Поэтому, если нам впредь встретятся дела значительной важности, мы будем вызывать вас к себе частным образом и выслушивать ваш совет, и ежели он совпадет с нашим мнением, то мы представим его в капитул как мнение, исходящее от нас лично. Таким образом, мы избавим вас, возлюбленный брат наш, от сомнительной славы, так легко порождающей духовную гордыню, и сами избежим искушения впасть в тот избыток скромности, который может повредить нашему сану и унижить нашу особу в глазах монашеской братии.

Несмотря на глубокое уважение, которое отец Евстафий, как ревностный католик, питал к таинству исповеди, казалось, он должен был не без иронии прислушиваться к словам своего начальника. Уже очень наивно излагал настоятель свой хитрый план воспользоваться знанием и опытностью помощника приора, чтобы затем приписать все заслуги себе. Однако какой-то внутренний голос заставил отца Евстафия тотчас же признать, что настоятель прав.

«Мне следовало, — размышлял он, — больше заботиться о высоком значении его сана, чем думать о тех или иных недостатках его характера. Мне следовало прикрыть плащом духовную наготу моего руководителя и по мере моих сил поддерживать его репутацию для вящей пользы как братии, так и мирян. Аббат не может быть унижен без того, чтобы в его лице не была унижена вся обитель. Сила монашеского ордена в том и состоит, что он может распространить на всех своих сочленов (и в особенности на руководителей) те духовные дары, которые нужны им, чтобы они были прославлены».

Движимый этим настроением, отец Евстафий чистосердечно подчинился приговору своего начальника, который даже в этот решительный момент скорее убеждал его, чем осуждал. Затем он смиренно согласился давать советы своему лорду-аббату так, как тот найдет нужным, и признал, что это будет полезнее для него самого, ибо избавит его от всякого искушения похвалиться своей мудростью. И, наконец, он умолял высокочтимого отца настоятеля назначить ему такую епитимью, которая соответствовала бы тяжести его прегрешения, не скрыв при этом, что он уже постился весь день.

— Именно это-то я и осуждаю, — возразил ему аббат вместо того, чтобы похвалить его за воздержание. — Мы возражаем против этих епитимий, постов и долгих бдений. Они только порождают ветры и пары тщеславия, от желудка поднимающиеся к голове и надувающие наше существо хвастливостью и самомнением. Для послушников пристойно и назидательно изнурять себя постом и молитвенным бдением. Часть братии в каждом монастыре должна поститься, и легче всего это переносить молодому желудку. Вдобавок воздержание отвращает молодежь от дурных мыслей и подавляет жажду мирских удовольствий. Но, возлюбленный брат наш, поститься тому, кто уже смирился и умер для мира, как я и ты, совершенно излишне и только способствует зарождению духа гордыни. А посему я предписываю тебе, высокочтимый брат наш, пойти в кладовую и выпить по мень-

шей мере две чарки доброго вина, и закусить плотно и сытно, выбрав то, что тебе более по вкусу и что наиболее полезно для твоего желудка. И еще: ввиду того, что самомнение порой понуждало тебя относиться без должной снисходительности и дружелюбия к менее умудренным и просвещенным братьям, я предписываю тебе поужинать в обществе брата Николая и, без всякого нетерпения и не прерывая его, целый час выслушивать его рассказы о случаях, имевших место во времена нашего достоуважаемого предшественника, аббата Ингильрама, да упокоит господь его душу! Что же касается тех благочестивых упражнений, которые могут быть полезны для вашей души и должны искупить грехи, о которых вы смиренно и с сокрушением нам поведали, то мы подумаем о них и сообщим вам наше решение завтра утром.

Любопытно отметить, что с этого достопамятного вечера почтенный аббат стал относиться к своему советнику гораздо мягче и благосклоннее, чем прежде, когда он считал помощника приора человеком безупречным и безукоризненным и не мог найти на покровах его мудрости и добродетели ни единого пятнышка. Казалось, признание отца Евстафия в своих несовершенствах доставило ему дружбу его начальника. Но в то же время растущее благоволение аббата сопровождалось некоторыми мелочами, которые для высокой души и возвышенных чувств помощника приора были более огорчительны, чем даже тяжелая обязанность выслушивать нескончаемую и скучнейшую болтовню отца Николая. Так, например, аббат в разговорах с другими монахами называл его не иначе, как «наш возлюбленный и несчастный брат Евстафий!» И нет-нет он начинал предостерегать молодых братьев против ловушек хвастовства и духовной гордыни, которые расставляют сатаной для уловления самоуверенных праведников. При этом он сопровождал эти назидания такими взглядами и намеками, что и без прямых указаний было ясно, что именно помощник приора не устоял однажды против таких обольщений. В этих случаях только монашеский обет послушания, дисциплина философа и долго-

терпение христианина помогали отцу Евстафию перенести это демонстративное и напыщенное покровительство честного, но несколько туповатого настоятеля. Он наконец стал сам стремиться покинуть монастырь или, во всяком случае, отказывался теперь от вмешательства в дела монастырского управления с такою же решительностью и властью, с какою в прежние времена стремился вникать во все,

Глава XI

И это вы зовете воспитаньем?
Нет, это стадо медленных быков,
Гонимое погонщиком орущим.
Кто впереди, бредет себе привольно,
Пощипывая травку на лужках.
А все удары, вопли и проклятья
Ленивцам злополучным достаются,
Медлительно плетущимся в хвосте.

Старинная пьеса

Протекло два или три года, в течение которых гроза обновления все ближе подступала к католической церкви, с каждым днем громяхая все громче и становясь все страшнее. Под влиянием обстоятельств, изложенных в конце предыдущей главы, помощник приора Евстафий значительно изменил свой образ жизни. Он по-прежнему во всех важных случаях приходил на помощь аббату своими знаниями и опытом, будь то в частной беседе или в присутствии всего капитула ордена. Но в повседневном обиходе он теперь скорее стремился жить для себя и гораздо менее, чем раньше, интересовался делами обители.

Теперь он часто по целым дням отлучался из монастыря. А так как глендеаргские приключения произвели на него глубокое впечатление, его снова и снова влекло посетить одинокую башню и проведать сирот, живших под ее кровлей. К тому же ему по-прежнему хотелось узнать, не вернулась ли в башню Глендеарг та книга, которую он потерял, столь чудесным образом избавившись от копыя убийцы.

«Все-таки странно, — думал он, — что нездешний дух (ибо он не мог не почитать за духа существо, с ним говорившее), с одной стороны, помогает распространению ереси, а с другой — стремится спасти жизнь ревностному служителю католической церкви».

Однако, сколько он ни расспрашивал обитателей башни Глендеарг, никто из них больше не видал иско-мой книги с переводом текста священного писания.

Между тем участвовавшие посещения отца Евстафия имели немалые последствия для Эдуарда Глендининга и для Мэри Эвенел. Эдуард проявлял необыкновенные способности к учению при совершенно исключительной памяти и приводил этим в восторг помощника приора. Будучи понятливым и прилежным, он обладал живостью восприятия и упорным терпением, то есть сочетал в себе те качества таланта и усердия, которые так редко идут рука об руку.

Отец Евстафий искренне желал, чтобы эти столь рано проявившиеся, незаурядные способности были посвящены служению церкви. Сам юноша, как он полагал, охотно пошел бы ему навстречу, так как, обладая характером скромным, спокойным и созерцательным, он, казалось, считал науку главной целью жизни, а приобретение знаний — самым большим удовольствием. Что же касается его матери, то помощник приора почти не сомневался, что, привыкнув с детства питать глубокое уважение к монахам обители святой Марии, она почтет за особое счастье, если один из ее сыновей сделается иноком этого славного монастыря. Но, как выяснилось в дальнейшем, досточтимый отец Евстафий ошибался и в первом и во втором случае.

Когда он заговорил с Элспет Глендининг о том, что больше всего радует материнское сердце — о способностях и успехах ее сына, — она слушала его с упоением. Но как только отец Евстафий стал намекать на необходимость посвятить такие выдающиеся дарования святому делу церкви, говоря, что они послужат ей и защитой и украшением, вдова неизменно старалась переменить разговор. Если же он настаивал, она ссылалась на то, что одинокая женщина не способна управлять леном, и на то, что соседи часто

пользуются ее беззащитным положением, а также на свое желание, чтобы Эдуард, заняв место отца, остался жить в башне и в час ее кончины закрыл ей глаза.

На подобные возражения помощник приора отвечал, что, даже с мирской точки зрения, благосостояние семьи скорее упрочится, если один из ее сыновей поступит в обитель святой Марии, так как трудно предположить, чтобы ему не удалось доставить своим близким могущественное покровительство. А что может быть для нее приятнее, чем видеть своего сына на высоком посту в церкви? Или что может быть утешительнее, чем знать, что он напутствует ее к загробной жизни, всеми уважаемый за святость своей жизни и безупречность поведения? И, наконец, он стремился внушить ей, что ее старший сын, Хэлберт, по неукротимости своего нрава, своеволию и рассеянности, неспособен к учению и что именно поэтому (и еще потому, что он старший в роде) он лучше всего справится с мирскими делами и будет успешно управлять ее маленьким поместьем.

Элспет не смела прямо отклонить предложение отца Евстафия из боязни вызвать его неудовольствие, но все же она всегда находила все новые и новые возражения. Хэлберт, по ее словам, не походил ни на одного из соседних мальчиков — он был на голову выше и в два раза сильнее любого своего сверстника во всей округе. И он был неспособен ни к каким мирным занятиям. Если он не любил книг, то еще больше он ненавидел плуг и мотыгу. Он очистил от ржавчины отцовский меч, прицепил его к поясу и почти не расставался с ним. Хэлберт был добрый мальчик и вежливый, если с ним говорить по-хорошему, но если начать ему перечить, он превращался в сущего дьявола.

— Одним словом, — заключила она, заливаясь слезами, — отнимите у меня Эдуарда, ваше преподобие, и вы вынете краеугольный камень, на котором зиждется мой дом. Ибо сердце мне подсказывает, что Хэлберт пойдет по стопам отца и погибнет такой же смертью.

Когда разговор доходил до этого пункта, монах, по добросердечию своему, старался на время отложить

спор, надеясь, что, может быть, возникнут какие-либо новые обстоятельства, которые устранят предубеждение Элспет (ибо он считал это предубеждением) против предполагаемой духовной карьеры Эдуарда.

Оставив в покое мать, помощник приора принимался за сына и, подогрев в нем жажду к знанию, доказывал ему, насколько больше и лучше он сможет удовлетворить свои стремления, если согласится постричься в монахи. Но он и здесь наталкивался на тот же отпор, что и у госпожи Элспет. Эдуард ссылался на отсутствие настоящего призвания к такой ответственной деятельности, на то, что ему не хочется покидать мать, и на многое другое. Но помощник приора находил, что все это лишь пустые отговорки.

— Я ясно вижу, — сказал он однажды, отвечая на возражения Эдуарда, — что не только у неба, но и у дьявола есть свои слуги и что слуги дьявола столь же или, увы! более предприимчивы и всячески стараются убогатворить своего господина. Я надеюсь, мой молодой друг, что ты отказываешься вступить на предлагаемое поприще не потому, что враг рода человеческого уловил тебя на одну из своих обычных приманок — лень, любострастие, стремление к благам мира сего и жажду мирской славы. Но в особенности я надеюсь, более того — я верю, что тщеславное желание овладеть высшей мудростью (грех, в который особенно часто впадают люди, способные к наукам) еще не привело тебя к страшной опасности знакомства с вредными учениями, ныне столь распространенными, касающимися религии. Лучше было бы для тебя, чтобы ты остался так же невежествен, как смертные твари, чем, побуждаемый гордыней всезнания, преклонил бы ухо к лстивым речам еретиков.

Эдуард Глендининг выслушал это назидание отца Евстафия опутив глаза, но не преминул, когда он замолк, горячо восстать против обвинения, что он когда-либо интересовался чем-либо, что находится под запретом церкви. И, таким образом, монаху ничего не оставалось, как снова гадать, почему же этот

юноша проявляет такое отвращение к принятию монашеского чина.

Существует старинная пословица — ее приводил еще Чосер и ее же цитировала королева Елизавета: «Даже величайшие ученые не всегда самые мудрые люди на свете!» И пословица эта совершенно справедлива, даже если бы поэт и не приводил ее, а королева на нее не ссыалась. Если бы отец Евстафий поменьше думал об успехах еретического учения и побольше обращал внимания на то, что происходило в башне, он мог бы угадать по глазам Мэри Эвенел (которой было лет четырнадцать — пятнадцать) ту причину, из-за которой ее юный друг уклонялся от монашеских обетов. Я уже говорил, что она тоже была прилежной ученицей отца Евстафия, и ее невинная, полудетская красота производила на него сильное впечатление, хотя он, может быть, и сам того не сознавал. Ее дворянство и виды на богатое наследство давали ей право на изучение искусства чтения и письма. К каждому уроку, который задавал ей монах, она готовилась вместе с Эдуардом; он его ей объяснял и пояснял, пока она не усваивала все в совершенстве.

Вначале Хэлберт учился вместе с ними. Но его заносчивость и отсутствие выдержки скоро оказались несовместимыми с делом, требующим упорства и неослабного внимания. Посещения помощника приора были нерегулярными, и часто он отсутствовал неделями. В этих случаях Хэлберт обязательно забывал заданный урок и вдобавок многое из того, что он выучил ранее. Этот недостаток ему был, конечно, неприятен, но не настолько, чтобы возбудить в нем желание исправиться. Иногда, по примеру всех лентяев, он, вместо того чтобы заниматься самому, начинал мешать своему брату и Мэри Эвенел, и между ними происходили разговоры вроде следующего:

— Эдуард, надевай шапку и идем скорее — лэрд Колмсли уже показался в ущелье со своими собаками.

— А мне все равно, — отвечал младший брат. — Свора собак может затравить оленя и без меня, а мне надо помочь Мэри Эвенел приготовить уроки.

— А ну тебя! Ты, кажется, будешь зубрить уроки монаха, пока сам не превратишься в монаха. Мэри, хочешь, пойдем со мной? Я покажу тебе голубиное гнездо, о котором тебе рассказывал.

— Я не могу идти с тобой, Хэлберт, — отвечала Мэри, — мне надо выучить урок, а это займет много времени. Мне очень обидно, что я такая тупая. Если бы я могла справиться с ним сама так быстро, как Эдуард, я бы с радостью пошла.

— Если так, я тебя подожду. Мало того — я сам попробую выучить урок.

Улыбнувшись, но тяжело вздохнув при этом, он вновь взялся за букварь и принялся с усилием за-тверживать то, что ему было задано. Как бы изгнанный из общества своих товарищей, он печально и безмолвно уселся в углу одной из глубоких оконных ниш. После тщетных усилий преодолеть как книжную премудрость, так и свое нежелание ее постичь он невольно принялся наблюдать за своими товарищами по учению, вместо того чтобы заниматься делом.

Картина, представившаяся его взору, была очаровательна, но почему-то она не доставляла ему особого удовольствия. Прелестная девушка, склонившись над книгой со спокойным, но сосредоточенным выражением, пыталась внимательно разобраться в возникших трудностях, время от времени обращаясь к Эдуарду за помощью, а тот сидел с ней рядом, готовый по первому ее слову устранить любое затруднение, и, казалось, был горд одновременно как успехами своей ученицы, так и сознанием пользы, которую он ей приносит. Между ними существовала тесная, живая связь — желание овладеть знаниями и торжество при устранении встречающихся трудностей.

Глубоко уязвленный (хотя и не сознавая ни характера, ни источника своего раздражения), Хэлберт не в силах был дольше любоваться этой мирной сценой. Он вскочил, отбросил в сторону букварь и воскликнул:

— К черту все эти книги и дураков, которые их выдумали! Вот если бы десяток-другой южан пока-

зался у нас в ущелье, тогда бы мы узнали, какая ерунда все это бормотание и бумагомарание.

Мэри и Эдуард остолбенели: они смотрели на Хэлберта с изумлением, а он продолжал, все более волнуясь, весь раскрасневшись, со слезами на глазах:

— Да, Мэри, я желал бы, чтобы отряд южан напал на нас сегодня, сейчас же! Тогда бы ты убедилась, что крепкая рука и острый меч стоят много больше, чем все мудрейшие книги на свете и все гусиные перья, которыми они были писаны.

Мэри была удивлена и напугана его горячностью, но тотчас же ласково ответила:

— Ты рассердился, Хэлберт, потому что не можешь выучить урок так скоро, как Эдуард. Я такая же непонятливая. Иди сюда, Эдуард сядет между нами и будет учить нас обоих вместе.

— Меня он учить не будет, — сердито ответил Хэлберт. — Я никак не могу научить его делать то, что мужественно и почетно, и не желаю учиться у него монашеским фокусам. Я ненавижу монахов с их гнусным кваканьем, как у лягушек, с их длинными рясами, как бабьи юбки, со всеми их приседаниями, с их преподобиями и преосвященствами и с этими ленивыми вассалами, которые им в угоду барахтаются в болоте с плугом и бороной от самых святок до Михайлова дня. Я никого не хочу назвать лордом, кроме того храбреца, кто с мечом в руках отстоит свое звание. И, по мне, тот не мужчина, кто не знает, что такое сила и мужество.

— Ради бога, успокойся, Хэлберт! — воскликнул Эдуард. — Если бы тебя кто-нибудь услышал и потом донес, это погубило бы маму.

— Так донеси ты на меня! Это пойдет тебе на пользу, а повредит только мне одному. Передай им, что Хэлберт Глендининг никогда не будет вассалом какого-нибудь старикашки в клобуке и с выбритой макушкой, когда двадцать баронов в шлемах с перьями нуждаются в храбрых оруженосцах. Пускай монахи тебе отдадут мой несчастный клочок земли, и собирай ты с него зерна побольше, чтобы хватило тебе на овсяную кашу.

Он решительно вышел из комнаты, но тут же вернулся и продолжал в том же злобно-раздраженном тоне:

— И нечего вам о себе так много воображать — особенно тебе, Эдуард, — потому только, что вы носите с этой книгой на пергаменте и хвастаете, что умеете ее читать. А учителя я найду получше вашего старого, угрюмого монаха, и книга у меня будет лучше его печатного молитвенника. Раз ты так обожаешь ученость, Мэри Эвенел, ты скоро увидишь, кто из нас учение — Эдуард или я.

Тут он выбежал из комнаты и уже больше не возвращался.

— Что с ним такое? — спросила Мэри, наблюдая через окошко, как Хэлберт широкими и неровными шагами удалялся вверх по ущелью. — Куда это твой брат спешит, Эдуард? О какой книге, о каком учителе он тут говорил?

— Не стоит об этом гадать, — отвечал Эдуард. — Хэлберт злится, сам не зная на что, и говорит, сам не зная о чем. Давай лучше заниматься, а он устанет карабкаться по скалам и вернется обратно, как это всегда с ним бывает.

Но, видимо, у Мэри были более серьезные основания для беспокойства. Под предлогом головной боли она отказалась продолжать урок, которым они были столь увлечены, и Эдуарду так и не удалось уговорить ее заниматься в то утро.

Между тем Хэлберт с лицом, искаженным ревнивой злобой, с глазами, еще влажными от слез, с непокрытой головой быстро, как лань, бежал вверх по узкому, бесплодному ущелью Глендеарг. Точно бросая отчаянный вызов судьбе, он выбирал самые нехоженые, самые опасные тропы, много раз сознательно подвергая себя опасности, хотя ему ничего не стоило ее избежать, чуть отклонившись в сторону. Кажется, он хочет лететь прямо, как стрела, пущенная из лука.

Наконец он добежал до узкой расселины среди скал, напоминающей горный овраг, откуда в ущелье

стекал небольшой ручеек, впадающий в речку, протекающую через Глендеарг. Он стал взбираться по этой расселине еще выше, нисколько не замедляя шаг, не глядя по сторонам и не останавливаясь ни на минуту, пока не достиг источника, из которого ручеек брал свое начало.

Здесь Хэлберт остановился и окинул все окружающее мрачным и почти испуганным взглядом. Перед ним вздымался громадный утес; в его расселине росло деревцо дикого остролиста, который осенял своей темно-зеленой листвой журчавший внизу ручеек. Скалы по обе стороны родника вздымались так высоко и сходились так близко, что только летом, да и то в солнечный день, лучи света могли достичь дна бездны, где стоял Хэлберт. Но сейчас было лето, полуденный час, и солнечные зайчики беспрепятственно плясали на прозрачных струях источника.

«Сейчас самый подходящий момент! — подумал Хэлберт. — И сейчас я... я смогу скоро стать гораздо учнее, чем Эдуард со всем его прилежанием. Мэри увидит, что не к нему одному можно обращаться с вопросами и не он один может сидеть рядом с ней, и прижиматься к ней, когда она читает, и указывать ей всякое слово и всякую букву. А она любит меня больше, чем его, это наверняка: в ней течет благородная кровь, и она презирает робость и трусость. Но что же я сам-то стою здесь так робко и трусливо, точно я какой-нибудь монах? Что мне бояться вызвать эту тень — этого духа? Я уже его видел однажды, так почему же мне его не увидеть еще раз? Что он может мне сделать — мне, человеку из костей и мяса, да еще когда при мне отцовский меч? Если от одной мысли о бесплотном духе у меня сердце колотится и волосы шевелятся на голове, то что со мной будет, когда передо мной окажется банда живых ражих южан? Клянусь душой первого Глендининга, я сейчас испробую заклинание!»

Он скинул с правой ноги кожаную туфлю (или низкий башмак), встал в боевую позицию, обнажил свой меч и, оглядевшись вокруг, как бы собираясь

с силами, трижды низко поклонился остролисту и трижды источнику, а затем произнес громким голосом следующие стихи:

— Трижды в роще молю: «Отзовись!»
Там, где песня ручья прозвенела!
Я прошу тебя: «Пробудись,
Белая дева из Эвенела!»

Полдень... На озере волны зажглись...
Полдень... Гора от лучей заалела...
Я прошу, прошу, пробудись,
Белая дева из Эвенела!

Едва он произнес эти строфы, как в трех шагах от Хэлберта Глендининга возникла женская фигура в белом одеянии.

Наверно, испугался ты,
Увидев женщины черты
Необычайной красоты.¹

Глава XII

Таится что-то в древнем суеверье,
Загадочно пленяющее нас.
Ручей, что тысячью хрустальных брызг
Пробился из скалы уединенной
В таинственную тишь, считаться может
Приютом существа, что чистотою
И вѣщей властью превосходит нас.

Старинная пьеса

Как сказано было в конце предыдущей главы, едва успел молодой Хэлберт Глендининг произнести слова таинственного заклинания, как в двух ярдах перед ним предстало видение в образе прекрасной женщины в белом. Ужас, объявший его, взял верх над его природной храбростью и над твердой решимостью не испугаться в третий раз того духа, которого он уже ли-

¹ «Кристабел» Колриджа. (Прим. автора.)

цезрел дважды. Ведь человеку невольно становится не по себе от сознания, что он находится в присутствии существа, по облику ему подобного, но по своей природе и стремлениям столь чуждого, что он не может ни понять его намерения, ни предугадать его действия.

Хэлберт стоял молча, с трудом переводя дыхание. Волосы у него поднялись дыбом, рот был открыт и взор неподвижен. И единственным доказательством его прежней решимости оставался застывший в его руке меч, направленный в сторону видения. Наконец Белая дама (так мы будем называть это существо) голосом несказанно прекрасным начала напевать (или даже скорее петь) следующие стихи:

— Зачем, о смуглый мальчик, меня ты призываешь?
Зачем сюда пришел ты, иль страха ты не знаешь?
Кто хочет с нами знаться, не должен сам дрожать,
Ни трус, ни грубый олух не смогут нас понять!
Тот ветер, что примчал меня, в Египет возвратится,
И облако со мною в Аравию умчится...
Уж облако отплыло, вздыхает ветерок:
Закатный час уж близок, а путь еще далек.

Изумление, охватившее Хэлберта, уступило место решимости, и он смог кое-как произнести дрожащим голосом:

— Именем бога заклинаю тебя, кто ты?

Ответ прозвучал в иной мелодии и в другом ритме:

— Кто я — не могу сказать,
Кто я — ты не должен знать!
То ли с неба, то ль из ада,
То ли горе, то ль отрада,
Я все то, что бы могло
Дать тебе добро иль зло.
Ни создание земное,
Ни видение ночное,
В тьме полей, над мглой болот
Я свершаю свой полет.
От волшебного потока
Вихрь несет меня далеко ..

Зыблется в душе моей
Отблеск всех людских страстей:
И во мне их душ движенье,
Как в зеркальном отраженье.
Зыбким призрачным лучом
Мчусь я меж добром и злом,
Счастьем неземным владея:
Век наш в десять раз длиннее.
Род людской счастливей нас,
Нет надежд нам в смертный час:
Им настанет пробуждение,
Нам — навек уничтоженье.
Вот что я могу сказать,
Вот что можешь ты узнать.

Белая дама остановилась, как бы выжидая ответа. Но пока Хэлберт медлил, не зная, как начать, видение стало постепенно блекнуть, становясь все более и более бестелесным. Правильно угадав в этом признак его скорого исчезновения, Хэлберт принудил себя наконец выговорить:

— Леди, когда я видел тебя в ущелье и ты вернула нам черную книгу Мэри Эвенел, ты сказала, что в один прекрасный день я научусь читать ее.

Белая дама ответила:

— Я заклинанье творю, чтоб ты мог
Найти меня там, где волшебный поток.
Но цапля и сокол тебе милее,
Чем тайны, которыми я владею.
Тебе милее копье и меч,
Чем строки псалмов и священная речь.
Тебе милей на оленя охота,
А чтение тебе — не под силу работа.
По мшистым лесам ты бесстрашно идешь,
И ты презираешь дворян и вельмож.

— Я не буду больше поступать так, прекрасная дева, — сказал Хэлберт. — Я хочу учиться, и ты мне обещала, что, если у меня будет такое желание, ты

мне поможешь. Я не боюсь тебя больше, и я не хочу больше оставаться невеждою.

По мере того как он произносил эти слова, образ Белой дамы становился все более зримым и наконец сделался таким же явственным, как вначале. Бесформенная и бесцветная тень снова приняла черты почти телесной реальности, хотя краски ее были менее яркие, а контур фигуры менее отчетлив и определен — так по крайней мере казалось Хэлберту, — чем у кого-либо из простых смертных.

— Исполнишь ли ты мое желание, прекрасная леди, — спросил он, — и дашь ли ты в мое распоряжение священную книгу, которую Мэри Эвенел так часто оплакивала?

Белая дама отвечала:

— Ты трус — тебя я упрекала,
В лентя веры было мало.
Вернулся ночью ты, так знай:
Спи на дворе, иль дверь ломай!
Лилось к тебе звезды сиянье,
Теперь слабей ее влиянье...
Лишь доблесть да упорный труд
Удачу вновь тебе вернут.

— Если я и был лентяем, — возразил юноша, — то теперь, ты увидишь, я буду стараться с лихвой все наверстать. Еще недавно совсем другие мысли были у меня на уме, другие чувства волновали мое сердце, но отныне, клянусь небом, все мое время будет посвящено серьезным занятиям. За один сегодняшний день я точно пережил годы. Я пришел сюда мальчиком, я вернусь мужчиной, я смогу говорить не только с людьми, но со всеми нездешними существами, которые по божьему соизволению передо мной предстанут. Я узнаю, что содержит в себе эта таинственная книга, я узнаю, почему леди Эвенел так ее любила, и почему монахи так ее боялись и хотели украсть, и почему ты дважды спасала ее из их рук. Что за тайна заключается в ней? Скажи, заклинаю тебя!

Белая дама, с видом необыкновенно печальным и торжественным, наклонила голову, скрестила руки на груди и отвечала:

— Здесь, в этой книге роковой,
Источник тайны вековой.
Тот в жизни обретает счастье,
Кому дано всевышней властью
Ее с надеждою читать,
Замки ломать и в путь дерзать.
Но проклят тот, в ком это чтение
Родит сомненье иль презренье.

— Дай мне эту книгу, миледи, — попросил юноша. — Меня называют лентяем, меня считают тупицей, но на этот раз у меня хватит терпения, а с божьей помощью, и рассудка, чтобы ее понять. Отдай мне ее.
Видение снова отвечало:

— В бездне, в темной глубине
Книгу скрыть досталось мне.
Огонь небес там ввысь стремится
И музыка небес струится...
Священный тот залог
По всей земле доселе
Все чтили, как умели,
Лишь человек не мог.
Дай руку мне! Под тайной вѣщей
Познай невиданные вещи!

Хэлберт Глендининг смело подал руку Белой даме.
— Ты боишься следовать за мной? — спросила она, когда его рука задрожала от прикосновения ее мягкой холодной длани. —

Страх берет пойти со мной?
Что ж, с крестьянскою судьбой
Смирись по воле рока!
Сиди с кнутом впереди,
В лугах за оленем броди,
Но больше не подходи
К волшебному потоку.

— Если то, что ты говоришь, правда, — отвечал бесстрашный юноша, — то мой удел много завиднее твоего. Отныне никакой лес и никакой родник меня больше не испугают. Нет такой силы, естественной или сверхъестественной, которая помешала бы мне свободно бродить по моим родным местам.

Едва он это произнес, как вдруг они стали проваливаться сквозь землю, летя так стремительно, что у Хэлберта перехватило дыхание и он перестал что-либо ощущать, кроме невероятной быстроты, с которой их влекло вниз. Наконец их сильно тряхнуло, и они сразу остановились. От такого удара смертный, невольно пролетевший через неведомые пространства, вероятно, разбился бы вдребезги, не поддержи его вовремя нездешняя спутница.

Прошло более минуты, пока Хэлберт, придя в себя и оглянувшись, увидел, что находится в гроте или естественной пещере; стены ее были выложены сверкающими камнями и кристаллами, в радужных переливах которых отражался свет пламени, полыхающий на алебастровом алтаре. Алтарь этот с горящим огнем стоял в центре грота, круглого и необычайно высокого, напоминающего собор. На все четыре стороны от алтаря простирались сводчатые длинные галереи или аркады, сооруженные из того же сверкающего материала и уходящие в темноту.

Не хватило бы человеческого воображения, как не хватило бы и никаких слов, чтобы описать лучезарный блеск, который рождало ярчайшее пламя, отражаясь тысячью искр в гранях камней и кристаллов, украшающих стены. Огонь на алтаре тоже не горел спокойно и ровно. Пламя то вздымалось, то падало, иногда устремляясь ввысь в виде яркой огненной пирамиды, иногда затихая и приобретая более нежные, розоватые оттенки, чтобы затем, собравшись с силами, вновь вскинуться с прежним бешенством. Никакое топливо, по-видимому, в этом огне не сгорало — над ним не было заметно никакого дыма.

Но, что было всего удивительнее, пресловутая черная книга лежала посреди алтаря, среди самого сильного огня, и не только не горела, но даже и не тлела.

Казалось, такой нестерпимый жар может расплавить алмаз, но все его неистовство не оказывало никакого действия на священную книгу.

Белая дама, довольно долгое время молчавшая, чтобы дать возможность молодому Глендинингу прийти в себя, теперь вновь обратилась к нему с тем же мелодическим пением:

— Вот книга та, что ты искал так смело.
Возьми, но с ней иметь опасно дело!

Уже в какой-то мере привыкнув к чудесам и страстно желая доказать свою храбрость, Хэлберт, нимало не колеблясь, сунул руку в огонь, рассчитывая вытащить книгу быстрым движением, чтобы пламя не успело его обжечь. Но его расчет не удался. Рукав моментально воспламенился, и хотя он сразу отдернул руку, он все же так сильно обжегся, что чуть не закричал от боли. Усилием воли он сдержался, и только искаившееся лицо и подавленный стон выдали его муку. Белая дама провела своей холодной рукой по его руке, и, прежде чем она успела спеть следующую строфу, боль совершенно прошла, а от ожога не осталось и следа:

— Дерзновенно
Тканью гленной
Ты нетленный взвил огонь...
Хоть ты малый
И удалый,
Без меня его не тронь!
Снять рукав свой постарайся,
Скинь — и снова попытайся!

Повинуясь тайному смыслу ее слов, Хэлберт, оборвав и бросив на пол обгорелый рукав, обнажил правую руку до плеча. Как только эти полусожженные кусочки ткани упали на пол, они сами собой свернулись в клубок, клубок съежился и тут же превратился в пепел, а затем, подхваченный внезапным порывом ветра, рассеялся в воздухе. Белая дама, заметив удивление на лице юноши, тотчас запела:

— Ткань и нить, создання тлена,
Не разрушат эти стены.
Все деянья смертных рук
Здесь, как дым, растают вдруг.
Глиной золото станет сразу,
Вмиг расплавятся алмазы...
Гибнет все, спасенья нет:
Вечен только правды свет.
Скóрби ты не предавайся,
Лучше снова попытайся!

Ободренный ее словами, Хэлберт Глендининг решился на вторую попытку. Он протянул обнаженную руку в огонь и вытащил из него священную книгу, причем не только не обжегся, но даже не почувствовал жара. Удивленный и даже несколько испуганный этим, он наблюдал, как пламя, как бы собравшись с последними силами, метнулось огненным столбом к потолку, а затем стало затухать и заглохло окончательно. Наступил полнейший мрак. Хэлберту уже не было времени размышлять о том, что делать дальше, так как Белая дама схватила его за руку и они стали подниматься вверх с такой быстротой, с какой прежде спускались.

Когда их вынесло из недр земли, они оказались около источника Корри-нан-Шиан. Осмотревшись, юноша поразился, заметив, что все тени уже склоняются к востоку и, видимо, близится вечер. Он вопросительно взглянул на свою руководительницу, но ее образ стал таять у него на глазах: щеки ее побледнели, черты лица стали менее явственны, а фигура — менее различимой, постепенно сливаясь с туманом, ползущим из глубины оврага. Только что перед ним была красивая женщина, и вот теперь ее прекрасный облик превратился в смутное видение, своими неясными очертаниями напоминавшее призрак девы, умершей от любви, какую в неверном свете луны она является своему обольстителю.

— Остановись, видение! — воскликнул юноша, ободренный своим успехом в подземном храме. — Не лишай меня своего благоволения. Ты дала мне оружие,

научи же меня им пользоваться. Научи меня читать и понимать, что написано в этой книге. Иначе какая мне польза, что она теперь в моих руках?

Но образ Белой дамы все мерк и таял, пока от него не остался только контур, столь же смутный и еле различимый, как лик месяца в зимнее утро. И, прежде чем отзвучали последние строфы ее новой песни, она растаяла окончательно:

— Увы! Увы!
Нам милость не дана
Прочсть святыя письма.
Мы воздушныя созданья,
Не дана нам власть познания,
Лишь людям суждена она.
Наберись же терпенья —
Возвестит провиденье
В нужный час нужный путь, без сомненья!

Видение уже исчезло, а теперь и голос стал замирать на печальных нотах, становясь все тише и глуше, как будто нездешняя посетительница медленно отлетала от того места, где она начала свою песню.

Тогда Хэлберта обуял тот безграничный ужас, с которым он до того так успешно боролся. Необходимость во что бы то ни стало действовать поневоле вселяла в него мужество, а присутствие нездешнего существа, хоть и страшного, все же, как ему казалось, ограждало его от опасностей и служило защитой. Теперь же, когда он мог спокойно подумать о том, что произошло, леденящий трепет пробежал по его телу, волосы у него зашевелились, и он не смел оглянуться, боясь увидеть рядом с собой нечто еще более ужасное, чем привидение. Внезапно его коснулось дуновение легкого ветерка и вызвало в нем то самое странное, но поэтическое ощущение, о котором нам поведал наш самый вдохновенный бард:¹

Овевал его щеки, кудри взвивая,
Как весной на лугу, ветерок.

¹ Колридж. (*Прим. автора.*)

Но, с боязнью его дуновение сливая,
Быть приятным он все-таки мог.

Несколько мгновений пораженный юноша стоял молча. Ему казалось, что нездешнее существо, которое повергло его в ужас, но в то же время как будто ему покровительствовало, все еще парит над ним, подхваченное ветром, и вот-вот опять предстанет его взору.

— Говори! — воскликнул он, воздев руки. — Прерви молчание, явись мне снова, чудесное видение! Трижды я тебя видел, но при мысли, что ты все еще здесь, близко, где-то рядом, сердце мое бьется с такой силой, точно вот сейчас земля должна разверзнуться предо мной и дать выход дьяволу.

Однако ничто не указывало более на присутствие Белой дамы, и ничего сверхъестественного уже не было ни слышно, ни видно. Между тем Хэлберт, заставив себя вновь обратиться к призраку, обрел свою прежнюю храбрость. Он еще раз осмотрелся кругом и затем медленно побрел обратно по уединенной тропинке, оставляя за собой таинственное обиталище духов.

Нельзя было себе представить большего контраста, чем то страстное нетерпение, с которым он мчался в Корри-нан-Шиан, перескакивая через корневища и обломки скал, и то сосредоточенное настроение, в котором он возвращался обратно. Он теперь благодарно выискивал самую торную тропу, — но не из желания избежать опасности, а для того, чтобы никакие затруднения не могли отвлечь его, всецело поглощенного мыслями о пережитом. Прежде он хотел в бешеном риске найти выход отчаянию и злобе и тем заставить себя забыть о причине своего гнева. Теперь он старательно обходил всякое препятствие, встречающееся на пути, дабы оно не мешало его раздумью и не отвлекало его от глубоких размышлений. Так и брел он, медленно и осторожно, скорее напоминая паломника, чем смелого охотника за красным зверем, и только уже к самой ночи добрался до родной башни.

Глава XIII

Был мельник дюж, здоров и лих,
И, если б драться взялся,
Он даже и десятерых —
И то б не побоялся.

«Церковь Спасителя в долине»

Солнце, как мы уже говорили, закатилось, когда Хэлберт воротился в отчий дом. В это время года обычно обедали в полдень, а ужинать садились примерно через час после захода солнца. К обеду Хэлберт не вернулся. Но это никого не удивило, ибо, увлекшись охотой или каким-либо иным занятием, он часто забывал о времени. Его мать хотя и сердилась и огорчалась, когда его не было за столом, тем не менее настолько привыкла к его постоянным отлучкам и настолько не способна была приучить его к порядку, что раздраженное замечание было почти единственным наказанием, которым карался его проступок.

Однако на этот раз почтенная госпожа Элспет разгневалась гораздо больше, чем обычно. Тут дело было не только в том, что на столе красовалось заливное из бараньей головы и ножек, что его украшал паштет из потрохов и стояло блюдо с фаршированным бараньим боком, но и в том, что в дом прибыл столь важный гость, как Хоб-мельник (таково было его прозвище, хотя настоящее имя его было Хэппер).

Прибытие мельника в башню Глендеарг, совсем как прибытие посольства одного государя ко двору другого, преследовало две цели: одну явную, другую тайную. Официально Хоб приехал навестить своих друзей из числа монастырских ленников, чтобы принять участие в деревенском празднике сбора урожая и подкрепить старую дружбу новыми возлияниями. Но, по существу, он прибыл еще и для того, чтобы подсчитать количество снопов в их скирдах и разузнать все подробности о количестве собранного каждым ленником зерна, дабы предупредить возможную утечку помольной пошлины.

Всему свету известно, что в каждом шотландском баронстве или феодальном владении, как светском,

так и церковном, земледельцы обязаны доставлять свое зерно на мельницу феодала и платить за помол высокую пошлину, именуемую городским мельничным сбором. Я бы тут мог еще кое-что добавить и насчет обложения ввоза и вывоза, но оставим это: сказанного довольно, чтобы доказать мою полную осведомленность в этом предмете. Те же из ленников, которые подлежали мельничному сбору, но уклонялись от него, увозя молоть зерно на чужую мельницу, облагались штрафом. И вот как раз такая «чужая» мельница, построенная на земле одного светского барона, находилась в соблазнительно близком соседстве с Глендеаргом. А мельник на ней был так обходителен, что Хобу надо было проявить величайшую бдительность, дабы предупредить нарушение своей монополии.

Он придумал для этого, как ему казалось, самое верное средство. Под предлогом упрочения добрососедских отношений и искренней дружбы, он ежегодно совершал объезд всех монастырских земель, считывая все скирды в поле и примерно вычисляя, сколько мешков зерна даст каждая из них, что позволяло ему впоследствии весьма обстоятельно судить, привезено ли все зерно на его мельницу или нет.

Госпожа Глендининг, подобно всем ленникам аббатства, принуждена была считать эти своеобразные домашние обыски проявлениями обычной вежливости. Но, впрочем, мельник ни разу не посещал ее со времени смерти мужа, вероятно потому, что башня Глендеарг находилась в отдалении и к ней приписано было очень небольшое количество пахотных — или, иначе, внутренних — полей. Но в этом году, по настоянию Мартина, там было засеяно несколько мешков зерна во внешнем поле, и благодаря хорошей погоде начинание это дало прекрасный урожай. Возможно, что именно это обстоятельство и заставило честного мельника включить Глендеарг в программу своего ежегодного объезда.

Госпожа Глендининг на этот раз была рада посещению, которое в свое время едва выносила. Основной (если не единственной) причиной такой перемены настроения было то, что Хоб захватил с собой свою

дочку Мизи — ту самую, о наружности которой она могла дать помощнику приора лишь самые скудные сведения, хотя наряд ее описала во всех подробностях.

Раньше почтенная вдова обращала мало внимания на эту девицу. Однако внимательные и несколько загадочные расспросы помощника приора возбудили ее любопытство относительно мельниковой дочери. Она кое-кого прямо спросила о ней, кое-что выпытала исподтишка, а затем многое узнала, как бы случайно несколько раз заговорив о бедной Мизи. Все добытые данные и сведения сводились к одному: Мизи — черноглазая хохотушка, свежая и румяная, как маков цвет, а кожа у нее такая белая, как та крупчатка, которую ее отец готовил для булок лорда-аббата. Нрава она была веселого — с утра до ночи громко распевала и звонко смеялась. А что касается ее состояния (в материальном смысле этого слова), то вне зависимости от того, что мельник мог накопить благодаря своей необычайной оборотистости, ей еще должен был достаться по наследству очень порядочный кусок земли, и, кроме того, можно было надеяться, что ленное право на мельницу и мельничную землю отойдет ее будущему мужу на весьма льготных условиях, ежели вовремя о том шепнуть словечко аббату и приору, помощнику приора, ризничему и вообще всем, кому следует.

Словом, думая и раздумывая об этих достоинствах Мизи, Элспет наконец пришла к выводу, что единственная возможность отвратить ее сына Хэлберта от пристрастия к шпорам, копыю и уздечке (этими словами определялись тогда интересы пограничных всадников), отвести от него смертоносные стрелы и спасти его от петли — это возможность женить его, а нареченной невестой будет Мизи Хэппер.

И вот, точно угадав ее желание, Хоб-мельник вдруг появился перед ней в Глендеарге, верхом на своей широкозадой кобыле, причем за его спиной на подушке восседала прелестная Мизи, вся расплываясь в улыбке деревенской кокетки, со щечками, алеющими, как пионы (если госпожа Глендининг когда-либо видела пионы), в ореоле густых и черных как

смоль волос. Идеал красоты, который почтенная вдова составила в своем воображении, неожиданно воплотился в облике оживленной, хорошенькой Мизи Хэппер. Не прошло и получаса, как госпожа Глендининг уверилась в том, что именно эта девушка призвана укротить ее беспокойного Хэлберта. Правда, Мизи, как скоро заметила вдова, любила плясать вокруг майского шеста не меньше, чем заниматься хозяйством, а Хэлберт, уж наверное, предпочел бы разбивать чужие головы, только бы не молотить зерно. Но все же мельники всегда и всюду бывали ловкими и сильными людьми, и такими их описывали еще Чосер и Иаков I. И это понятно, так как только опередив и переплюнув (да простится нам это грубое выражение) своих противников на деревенских соревнованиях, мельник мог без всяких затруднений собирать свою помольную пошлину, ибо со здоровым молодцом не очень-то поспоришь. А что касается недостатка хозяйственности у мельничихи, то госпожа Глендининг держалась того мнения, что это горе тоже небольшое, если ей будет помогать энергичная свекровь. «Я сама перееду к молодым и буду вести хозяйство, так как жить в башне становится уж очень одиноко, — думала госпожа Глендининг. — Да к тому же в мои преклонные годы хочется быть поближе к церкви. А потом Эдуард может договориться с братом и взять на себя управление леном — ведь он же любимец помощника приора. А тогда он станет жить в старой башне, как прежде жил его покойный отец. А там, почему знать, может и Мэри Эвенел, хоть она и знатных кровей, займет хозяйское место у очага и останется в башне навсегда. Конечно, у нее за душой ничего нет, но уж так она хороша и разумна, что я другой такой никогда и не видала, несмотря на то, что я всех девиц тут, в округе, знаю наперечет, да и матерей их тоже знала. Уж такая она ласковая да милая, а уж как заплетет себе ленты в косы — такая красotka сделается, заглядение! А потом, хоть дядюшка ее и обездолил, а все же, поди, когда-нибудь, с божьей помощью, пробьет стрела его кольчугу — ведь людей и получше его убивали. А если ее родные станут напирать на ее

происхождение да благородство, то Эдуард может им возразить, ее родичам: «А где вы были, друзья, когда она однажды поздним вечером в ненастье еле добралась до нашего ущелья, да не на коне, а на самом обыкновенном осле?» А если они станут упрекать его, что он не дворянин, он может привести им старую поговорку:

Кто в делах благороден,
Тот и высокороден,

Да вдобавок, в жилах Глендинингов (и Брайдонов тоже) всегда текла самая благородная кровь. И он может им сказать: «Еще неизвестно...» В этот момент хриплый голос мельника отвлек ее от этих мыслей и напомнил, что, если она хочет, чтобы ее воздушные замки не развеялись как дым, она должна прежде всего подкрепить свои мечты любезностью по отношению к гостю и его дочери. А между тем она самым странным образом проявляла к ним полное невнимание и, думая о том, как она войдет с ними в самые тесные отношения, и желая при этом завоевать их доверие и дружбу, допускала, чтобы они сидели перед ней в дорожной одежде, точно они вот-вот уедут.

— Итак, сударыня, я хочу сказать, — заключил свою речь мельник (начала его речи она не слышала), — если вы так заняты по хозяйству или у вас какие другие заботы, то мы с Мизи можем и прокатиться обратно к Джонни Броксмаусу, который нас настойчиво уговаривал остаться у него.

Внезапно очнувшись от своих размышлений о свадьбах и помолвках, мельницах, вассальном подчинении и баронской гордости, госпожа Глендининг на минуту почувствовала себя девушкой из басни, опрокинувшей кувшин с молоком, на котором зиждилось столько золотых грез. Но ее кувшин, к счастью, только закачался у нее на голове, и она поспешила восстановить его равновесие. Вместо того чтобы пытаться как-то оправдаться в своей рассеянности и нелюбезности к гостям (что было бы, пожалуй, трудновато), она пошла в наступление, как искусный генерал, который смелой атакой прикрывает слабость своих по-

зий. Она громко вскрикнула и принялась горячо упрекать своего старого друга в бессердечии, если он мог хотя бы минуту сомневаться в том, что она не рада всей душой приветствовать его у себя с милой дочкой. И только подумать, что он хочет возвращаться к Джону Броксмаусу, когда их старая башня стоит на своем прежнем месте, а в ней всегда, даже в самые трудные времена, находился приют для истинных друзей! А он еще их сосед и приходится кумом ее Саймону (упокой, господи, его душу), и покойник считал его своим лучшим другом! И она продолжала дальше в том же духе и с такой искренностью, что в конце концов убедила в ней сама себя и Хоба-мельника тоже, который, в сущности, вовсе и не собирался обижаться. Дело в том, что его очень устраивала возможность переночевать в Глендеарге, и он согласился бы на это, даже если бы его принимали не с таким горячим радушием.

На все упреки Элспет, что, значит, он не расположен к ней, раз намеревается покинуть ее дом, мельник отвечал очень рассудительно:

— Помилуйте, сударыня, что же мне оставалось делать? Я думал, вам совсем не до нас, поскольку вы нас едва замечаете. Почему я мог знать? Может быть, думаю, у вас на меня зуб за то, что мы с вашим Мартином поцапались из-за ячменя, который вы недавно посеяли. Что греха таить, штраф за незаконный помол часто становится людям поперек горла. Но я только пекусь о своем, кровном, а народ пошел болтать, что, мол, мельник — грабитель, а засыпки его — сущие разбойники.

— Ах, как вы можете так говорить, сосед Хоб! — воскликнула госпожа Элспет. — И возможно ли, что Мартин стал с вами спорить из-за помольного сбора? Я ему за это намылю голову, уж поверьте моему слову честной вдовы. Вы ведь хорошо знаете, как трудно одинокой женщине справляться с работниками.

— Нет, сударыня, — возразил мельник, расстегивая свой широкий пояс, стягивавший плащ и одновременно служивший портупеей для широкого меча

работы Андреа Феррары, — не браните Мартина, потому что я на него зла не держу. Это моя обязанность защищать свои права на мельничный сбор и на все добавки к нему. И дело это святое, потому, как говорится в старой песне:

Мне мельница — кормилица
Мать, дочка и жена!

Мельница моя старая и убогая, но она моя кормилица, и я по гроб жизни буду к ней привязан, как я говорю моим засыпкам. И так, по-моему, каждый человек должен относиться к тому, что его кормит. Ну что же, Мизи, сбрось плащ, раз соседка нам так рада. И мы также рады ее видеть — на монастырских землях никто не платит нам пошлину так исправно, как она.

И с этим мельник без дальнейших церемоний повесил свой плащ на пару ветвистых оленьих рогов, прибитых к голой стене башни, служивших в те времена вешалкой.

Между тем госпожа Элспет принялась помогать девице, которую она предназначала себе в невестки, освободиться от плаща, накидки и прочих принадлежностей ее дорожного туалета, дабы она могла предстать в таком наряде, какой пристал хорошенькой и оживленной дочке богатого мельника: в белом платье с широченной юбкой, по всем швам расшитой узорами зеленого шелка с серебряной ниткой. Элспет могла теперь более внимательно рассмотреть приветливое личико юной мельничихи в ореоле черных волос с вплетенной в них шелковой зеленой лентой, вышитой серебром под цвет узоров на юбке. Лицо это, надо сказать, было совершенно очаровательно: большие черные лукаво-простодушные глазки, маленький ротик и тонко очерченные, хотя и несколько полные губки, жемчужно-белые зубы и прелестная ямочка на подбородке. Фигурка этой веселой девушки была кругленькая, но крепкая и ладная. Возможно, что с годами она бы расплылась, приобретая те черты тяжеловесной мужественности, что так свойственны шотландским красавицам. Но в шестнадцать лет Мизи

была сложена, как богиня. Взволнованная Элспет, при всем ее материнском пристрастии, не могла не подумать, что тут мужчина и получше Хэлберта мог бы потерять голову. Правда, Мизи казалась немного ветреной, а Хэлберту не было и девятнадцати. Но все равно, пора было его остепенить — об этом вдова постоянно думала. А тут представляется такой прекрасный случай.

В своей простодушной хитрости госпожа Глендининг принялась безудержно расхваливать милую гостью, уверяя, что лучше и краше ее она никого не видела. В течение первых пяти минут Мизи слушала ее, вся заливаясь краской от удовольствия. Но не прошло и десяти минут, как комплименты почтенной вдовы стали казаться ей уже не столь лестными, сколь забавными, и ей гораздо больше хотелось смеяться над ними, чем радоваться. Надо сказать, что, при всем своем природном добродушии, девица эта не лишена была некоторой доли остроумия. Наконец, даже самому Хобу надоело слушать похвалы, расточаемые его дочери, и он прервал их:

— Да что говорить, она девка здоровая и, будь она годков на пять постарше, поди, не хуже любого парня грузила бы мешки с мукой на лошадей. Но мне бы хотелось повидать ваших обоих сыновей. Люди болтают, что ваш Хэлберт уж такой удалец, что мы, того и гляди, услышим, как он по ночам орудует в Уэстморленде «среди болотных людей».

— Сохрани нас господь от такой напасти, соседка! Избави нас боже и помилуй! — с живостью воскликнула госпожа Глендининг, ибо намек на то, что Хэлберт может стать одним из грабителей, столь многочисленных в те времена в Шотландии, затронул самую ее чувствительную струну. Но боясь, что этот испуг может выдать ее тайные опасения, она поспешила добавить: — Со времен разгрома при Пинки я вся дрожу, когда услышу про самострелы и копыя или когда мужчины заговорят о сражениях. Я надеюсь, что с помощью божьей и по милости пречистой девы мои сыновья проживут весь свой век мирными и честными вассалами аббатства, как мог бы прожить и их

отец, не будь этой ужасной войны, на которую он пошел с другими храбрецами, чтобы не вернуться обратно.

— Можете мне об этом не говорить, сударыня, — прервал ее мельник, — я сам там был и еле ноги унес (правда, ноги-то были не мои, а моей кобылы). Как я увидел, что наши ряды прорваны и все войско бежит через вспаханное поле, тут я понял, что ежели я не пришпорю своего коня, то мне самому вставят шпоры в бок. И я поспешил удрать, пока не поздно.

— И хорошо сделали! — отозвалась вдова. — Вы всегда были благоразумны и осторожны. Ежели бы мой Саймон был так умен, как вы, он был бы сейчас здесь, с нами, и вспоминал бы про это. Но он вечно похвалялся своим благородным происхождением и своими предками, и уж он-то стал бы драться до самого конца, лишь бы не отстать от этих графов, баронов и рыцарей. А у них, видно, не было жен, чтобы их оплакивать, или были такие, которым было все равно, останутся они вдовами или нет. Нам, простым людям, этого не понять. А что касается сынка моего, Хэлберта, то за него можете не бояться. Он бежит быстрее всех у нас в округе, и ежели случится несчастье ему попасть в такую переделку, то он, пожалуй, и вашу кобылу обгонит.

— А это не он ли, соседка? — спросил мельник.

— Нет, — отвечала мать. — Это мой младший сын, Эдуард. Тот, который умеет читать и писать не хуже самого нашего лорда-аббата, да простится мне такое слово.

— Вот как! Так это тот молодой ученый, которого помощник приора так высоко ставит? Говорят, он далеко пойдет, этот малый. Как знать, может он когда-нибудь сам станет помощником приора, чем черт не шутит!

— Чтобы быть помощником приора, сосед-мельник, — вступил в разговор Эдуард, — надо сперва стать священником, а к этому у меня, кажется, нет призвания.

— Он у нас станет пахать землю, соседка, — заметила почтенная вдова, — и, надеюсь, Хэлберт тоже.

Мне хотелось бы показать вам Хэлберта. Эдуард, где же твой брат?

— Наверное, на охоте, — отвечал Эдуард. — По крайней мере сегодня утром он побежал за лордом Колмсли с его гончими. Я слышал, как собаки лаяли целый день там, внизу, в долине.

— Если бы я услышал эту музыку, — воскликнул мельник, — у меня бы сердце взыграло и я бы, поди, сделал мили две или три крюку. Когда я еще служил засыпкой у мельника в Морбэтле, я бегал за гончими от Экфорда до самого подножия Хоунамлоу — и пешком, госпожа Глендининг. Мало того — я был впереди всей охоты, когда лэрд Сесфорд со своими всадниками застрял однажды среди болот и оврагов. И, когда собаки загнали оленя, я вынес его на своем горбу к перекрестку дорог у Хоунама. Я как сейчас вижу перед собой старого, седого рыцаря, что сидит на своем боевом коне, вытянувшись в струнку, а конь у него весь в мыле. «Слушай ты, мельник, — говорит он, — бросай ты свою мельницу и иди служить ко мне. Я из тебя человека сделаю». Но я решил уж лучше остаться при моих жерновах, и правильно сделал. Потому гордый лорд Перси велел повесить пятерых молодцов из свиты лэрда Сесфорда у Элвика за то, что они спалили деревеньку где-то около Фоуберри. И почем знать, может быть, как раз меня-то бы и повесили.

— Ах, соседushка, соседushка! — сказала на это госпожа Глендининг. — Вы всегда были разумны и предусмотрительны. Но если вы любите охоту, то, мне думается, вам Хэлберт понравится. Он о соколах да о гончих может говорить целый день, совсем как этот оглашенный Том, что служит лесничим у лорда-аббата.

— Охота охотой, но ему-то разве нет охоты вернуться домой к обеду, сударыня? — спросил мельник. — У нас в Кеннаквайре полдень — самый час обеда.

Вдова принуждена была сознаться, что даже в этот важнейший час Хэлберт частенько отсутствует.

Мельник покачал головой и ничего не ответил, только привел старинную поговорку: «Дикие гуси много летают, да жиру себе не наживают».

Опасаясь, что в случае дальнейшего промедления с обедом мельник еще строже осудит Хэлберта, госпожа Глендининг спешно позвала Мэри Эвенел заниматься Мизи Хэппер, а сама побежала на кухню. Там, в царстве Тибб Тэккет, она принялась греметь тарелками и блюдами, снимать горшки с огня, ставить сковородки на жар и орудовать вертелом, сопровождая все эти проявления хозяйственной энергии столькими замечаниями в адрес Тибб, что та, наконец, потеряв всякое терпение, заявила:

— И чего это так стараться, чтобы накормить какого-то старого мельника? Что вы, лорда Брюса принимаете, что ли?

Но поскольку предполагалось, что она говорит это про себя, госпожа Глендининг нашла, что ей лучше этих слов не расслышать.

Глава XIV

Позвольте мне к обеду пригласить
Друзей разнообразных Пир не в пир,
Где всем одно подносят. Пастор Джон
Похож на ростбиф — английское блюдо,
Достойный олдермен — на жирный пудинг,
Два капитана — пара турухтанов,
А их друг щеголь — словно гусь в гренках.
Итак, мгновенно стол накрыт — и здесь
Один закон царит — Разнообразье.

Новая пьеса

— А кто же эта славная девица? — спросил Хобмельник, когда Мэри Эвенел вошла в залу, чтобы заниматься гостей вместо госпожи Элспет Глендининг.

— Это же молодая леди Эвенел, папаша! — отозвалась юная мельничиха, приседая так низко, как того требовал деревенский этикет. Мельник, ее отец, тоже снял колпак и поклонился, не так почтительно, может быть, как если бы молодая леди появилась

перед ним во всем блеске своей знатности и богатства, но все же достаточно вежливо, чтобы проявить то должное уважение к высокому происхождению, которое испокон веков отличало шотландцев.

Надо заметить, что Мэри Эвенел, имея в течение многих лет перед глазами пример своей матери и обладая врожденным чувством такта и даже собственного достоинства, была столь обходительна со всеми, что внушала невольное уважение и притом решительно пресекала всякие попытки к фамильярности со стороны тех, с кем ей приходилось общаться, но кто отнюдь не приходился ей ровней. Она была от природы кротка, задумчива, склонна к созерцательности и вдобавок доброжелательна, легко прощая малосущественные обиды. Но все же характер у нее был несколько сдержанный и замкнутый, почему она избегала принимать участие в обычных деревенских развлечениях, даже если ей и приходилось на храмовых праздниках или на ярмарках встречаться со своими сверстниками. На таких сборищах она появлялась очень ненадолго, ибо относилась к ним со спокойным равнодушием, не проявляя никакого интереса к веселью, и только стремилась как можно скорее ускользнуть из шумной компании.

Очень скоро стало известно, что она родилась в канун дня всех святых и оттого она, по поверью, будто бы обладает властью над невидимым миром. Все это вместе взятое заставило окрестную молодежь дать ей прозвище Дух из Эвенела, как будто ее прелестная, но хрупкая фигурка, ее очаровательное, но бледное личико, ее глубокие синие глаза и русые волосы принадлежали скорее к миру бестелесному, чем вещественному.

Всем известное предание о Белой даме, предполагаемой покровительнице семьи Эвенелов, придавало особую пикантность этому образчику деревенского остроумия. Но острота эта до глубины души возмущала обоих сыновей Саймона Глендининга. И когда кто-либо в их присутствии, говоря о юной барышне, употреблял это прозвище, Эдуард старался воспрепятствовать дерзкому зубоскальству силою убежде-

ния, а Хэлберт — силою своих кулаков. Надо заметить, что Хэлберт обладал некоторым преимуществом перед братом. Хотя он не мог помочь ему в случае необходимости словом, сам он твердо мог рассчитывать на помощь Эдуарда, который никогда первый не лез в драку, но и не отказывался поддержать брата в схватке или поспешить ему на выручку.

Однако горячая привязанность обоих юношей, живших в отдалении от монастыря, не могла оказать особого влияния на мнение окрестных жителей, которые продолжали считать Мэри существом, как бы попавшим к ним из другого мира. Все же они относились к ней если не с любовью, то с уважением. Внимание, которое помощник приора оказывал ее семье, не говоря уже о страшном имени Джулиана Эвенела, с каждым новым эпизодом тех смутных времен делавшемся все более знаменитым, невольно придавало некоторую значительность и его племяннице. Поэтому многим льстила возможность с ней познакомиться, а некоторые из более робких ленников даже заботливо внушали своим детям необходимость быть особо почтительными к знатной сироте. Одним словом, хотя Мэри Эвенел и не пользовалась большой любовью, так как ее мало знали, на нее все же взирали с чувством, напоминающим благоговейный трепет. Отчасти это было вызвано страхом перед «болотными людьми», которыми распоряжался ее дядя, а отчасти — ее собственной сдержанностью и замкнутостью, что не могло не поражать суеверные умы людей, живших в ту эпоху.

Нечто похожее на трепет испытала и Мизи, оставшись наедине с молодой особой, столь далекой от нее по происхождению и столь отличной по манерам и поведению. Ее достойный отец воспользовался первым попавшимся предлогом, чтобы незаметно удалиться, дабы на досуге рассмотреть, насколько полны хозяйские амбары и закрома, и подсчитать, что ему это обещает в смысле мельничного сбора.

Однако в молодости между людьми существует некая таинственная связь, напоминающая масонскую, которая помогает им, не теряя лишних слов, отно-

ситься друг к другу с приятнью и чувствовать себя непринужденно при самом поверхностном знакомстве. Только с годами, научившись притворству в отношениях с людьми, мы постигаем искусство скрывать от окружающих свой характер и утаивать настоящие чувства.

Таким образом, молодые девушки скоро нашли общий язык и предались занятиям, свойственным их возрасту. Сначала они навестили голубей Мэри Эвенел, о которых она заботилась с материнской нежностью, а затем стали перебирать кое-какие принадлежавшие ей драгоценные вещицы, среди которых нашлось два-три предмета, возбуждивших особое внимание Мизи, впрочем вполне бескорыстное, так как зависть была чужда ее открытому и веселому нраву. Золотые четки и некоторые женские украшения уцелели во время постигшего Эвенелов несчастья, правда скорее благодаря сообразительности Тибб Тэкет, чем по инициативе самой владелицы, которая была тогда слишком потрясена горем, чтобы заботиться о чем бы то ни было. Они поразили Мизи до глубины души, так как она никогда не представляла себе, чтобы, за исключением лорда-аббата и сокровищницы монастыря, кто-нибудь на свете мог еще владеть таким количеством чистого золота, какое было заключено в этих драгоценностях. Мэри, при всей своей скромности и серьезности, не могла не получить некоторого удовольствия от восхищения своей деревенской собеседницы.

Трудно было представить себе больший контраст, чем наружность обеих девушек. Веселая, улыбающаяся мельничиха с нескрываемым удивлением рассматривала эти безделушки, которые казались ей редкостными и дорогими. С простодушно-смирненным сознанием своего ничтожества расспрашивала она Мэри Эвенел об их назначении и стоимости, пока Мэри со спокойным видом непринужденного достоинства выкладывала перед ней, для ее развлечения, одну вещь за другой.

Мало-помалу они настолько сдружились, что Мизи рискнула спросить, почему Мэри Эвенел никогда не

бывает на празднике майского шеста. Она только собралась выразить свое изумление, услышав, что Мэри не любит танцевать, как вдруг у ворот башни послышался конский топот, прервавший их беседу.

Мизи кинулась к окошку со всем пылом безудержного женского любопытства.

— Матерь божия! Милая леди, к нам едут два кавалера верхом на великолепных конях! Идите сюда, поглядите сами!

— Нет, — отвечала Мэри Эвенел, — вы мне лучше скажите, кто они.

— Ну, как хотите. Но почему я знаю, кто они? А впрочем, постойте: одного-то я знаю, да и вы тоже. Он веселый парень, хотя, правда, говорят, что на руку нечист, но нынешние кавалеры уверяют, что это не беда. Он оруженосец вашего дяди, и зовут его Кристи из Клинт-хилла. Только сегодня на нем не старая зеленая куртка с ржавой кольчугой поверх, а алый плащ с серебряным шитьем дюйма в три шириной, а кираса такая, что перед ней можно причесываться, как перед вашим зеркальцем слоновой кости, что вы мне сейчас показывали. Идите сюда, миледи, идите, дорогая, к окошку и полюбуйтесь сами.

— Если это действительно Кристи, — отвечала наследница Эвенелов, — боюсь, Мизи, что я и так слишком скоро его увижу, а радости мне это доставит мало.

— Ну, уж если вы не хотите взглянуть на весельчака Кристи, — воскликнула мельничиха, вся раскрасневшись от возбуждения, — то подойдите сюда и скажите, кто же это с ним рядом. Такого прелестного, такого очаровательного молодого человека я никогда еще не видела.

— Это, наверно, мой названный брат, Хэлберт Глендининг, — сказала Мэри с притворным равнодушием. Надо сказать, что она привыкла называть сыновей Элспет своими названными братьями и относиться к ним так, как будто они действительно были ее братья.

— О нет, клянусь пресвятой девой, это не он, — воскликнула Мизи. — Обоих Глендинингов я очень хорошо знаю, а этот всадник, видно, не здешний. На нем малиновая бархатная шляпа, а из-под нее видны

длинные каштановые волосы. У него усы, а подбородок чисто выбрит, только на самом кончике торчит маленькая бородка. Кафтан и штаны на нем небесно-голубые, а разрезы подшиты белым атласом. Оружия на нем только шпага и кинжал. Если бы я была мужчиной, я бы ничего, кроме шпаги, не носила! Это и легко и красиво, и не надо таскать на себе целый пуд железа, как мой папаша, — у него на боку широкий палаш с заржавленной рукояткой в виде чашки. А вам, леди, разве не нравятся шпага и кинжал?

— По правде говоря, — отвечала Мэри, — я нахожу, что лучшее оружие — это то, которое служит правому делу и которое только ради этого и извлекается из ножен.

— А не можете вы догадаться, кто этот чужестранец? — спросила Мизи.

— Право, ума не приложу. Но если у него такой спутник, то мне и не очень интересно знать, — ответила Мэри.

— Помилуй бог, да он сходит с лошади, этот красавчик! — воскликнула Мизи. — Ой, я так рада, точно папаша мне подарил те серебряные серьги, что он мне давно обещает. Да вы подошли бы к окну — ведь все равно, так или иначе, вам же придется его увидеть.

Трудно сказать, как скоро заняла бы Мэри Эвенел наблюдательный пост, если бы не безудержное любопытство ее проворной приятельницы. Однако теперь ее чувство собственного достоинства все-таки не устояло перед соблазном, и, решив, что она уже проявила достаточно благопристойного равнодушия, Мэри сочла возможным наконец удовлетворить и свою любознательность.

Из окошка, несколько выдвинутого вперед, было видно, что Кристи из Клинт-хилла действительно сопровождал какой-то очень изящный и бравый щеголь. Судя по изысканности его манер, по красоте и роскоши наряда, по великолепию коня и богатству сбруи, можно было предположить (тут Мэри полностью сошлась со своей новой подругой), что он, по всей вероятности, человек знатного происхождения.

Кристи как будто тоже чем-то возгордился, так как он начал кричать с еще большей наглостью, чем обычно:

— Эй вы! Эй, кто тут есть! Поворачивайтесь вы там, в доме! Эй вы, мужичье, почему никто не отвечает, когда я кричу? Эй! Мартин, Тибб, госпожа Глендининг! Очумели вы, что ли, что заставляете нас прохладиться здесь, в тени, когда мы наших коней чуть не заморили и они все в мыле?

Наконец зов был услышан и Мартин вышел им навстречу.

— Здорóво!— крикнул ему Кристи. — Как живешь, старая перечница? На, возьми наших коней, отведи их в конюшню и постели им свежей соломки. Оботри их сначала, да поворачивайся живее. И смотри не уходи из конюшни, пока не вычистишь их до блеска, чтоб был волосок к волоску.

Мартин отвел лошадей в конюшню, как было ему приказано, но дал полную волю своему негодованию, как только почувствовал, что это безопасно.

— Ведь подумать только, — жаловался он старому Джасперу, батраку, который пришел ему на помощь, услышав повелительные возгласы Кристи, — подумать только, что этот бездельник, этот прощелыга Кристи из Клинт-хилла распоряжается, точно какой-то начальник или высокородный лорд! Это он-то! Я же его помню сопливым мальчишкой в доме у Эвенелов, которому каждый, кому не лень, давал пинка или подзатыльника. А теперь он важный барин и орет и ругается, черт бы его побрал, подлеца! И что, эти господа не могут безобразничать в своей компании, а непременно им нужно еще за собой в преисподнюю тащить такого прохвоста, как этот Кристи! Меня так и подмывает пойти сказать ему, чтобы он сам вычистил свою лошадь, — уж наверное, он это сделает не хуже меня.

— Полно, полно, помалкивай, милый человек! — возразил ему Джаспер. — Чего с дураком связываться? Лучше отойти от бешеной собаки, чем дать ей себя покусать.

Мартин признал справедливость этой поговорки и, успокоившись, поручил Джасперу вычистить одну из чужих лошадей, а сам принялся за другую, уверяя, что ему даже доставляет удовольствие ухаживать за таким красавцем скакуном. И только когда он буквально в точности выполнил распоряжение Кристи, он почел возможным, тщательно умывшись, присоединиться к гостям в трапезной, но не для того, чтобы подавать к столу, как мог бы предположить современный читатель, а для того, чтобы пообедать с ними за одним столом.

Между тем Кристи представил своего спутника как сэра Пирси Шафтона, заявив при этом, что это его друг и друг его хозяина и что он намеревается прожить в башне у госпожи Глендининг денька три-четыре. Почтенная вдова никак не могла понять, чем она заслужила такую честь, и охотно отказалась бы от нее, сославшись на отсутствие в доме необходимых удобств для приема столь важного гостя. Со своей стороны, и неожиданный посетитель, обведя глазами голые стены, взглянув на прокопченный очаг, оглядев убогую и поломанную мебель и заметив, наконец, смущение хозяйки, как будто тоже готов был выказать неохоту оставаться в доме, где он, очевидно, стал бы стеснять госпожу Глендининг и при этом подвергать лишениям самого себя.

Но внутреннее сопротивление как хозяйки, так и ее гостя столкнулось с неумолимой волей человека, прекратившего всякие возражения своим решительным словом:

— Таков приказ моего господина. И кроме того, — добавил Кристи, — хотя желание барона Эвенела является законом и должно исполняться на десять миль вокруг его владений, у меня к вам, сударыня, имеется еще письмо от вашего барона в юбке, вашего лорда-попа, который тоже предлагает вам, поскольку вы считаетесь с его волей, принять этого храброго рыцаря как можно лучше и позволить ему жить у вас тихо и неприметно, как ему будет угодно. А что касается вас, сэр Пирси Шафтон, то подумайте сами, что вам сейчас нужнее, — тайна и безопасность или мягкая

постель и веселые собугыльники? Да и не судите о хозяйке, госпоже Элспет, по ее хижине, ибо вскорости вы сами убедитесь, пообедав у нее, что этих церковных вассалов не так-то легко заставить врасплох.

Затем Кристи представил чужестранца Мэри Эвенел, племяннице своего барона, со всей учтивостью, на какую был способен.

Пока оруженосец барона Эвенела склонял сэра Пирси Шафтона покориться судьбе, вдова Глендининг велела своему сыну Эдуарду проверить собственными глазами приказ лорда-аббата. Убедившись, что Кристи совершенно точно передал его содержание, она нашла, что ей ничего другого не остается, как постараться сделать пребывание гостя в ее доме как можно более приятным. Тот, со своей стороны, тоже как будто примирился с неизбежностью (очевидно, побуждаемый к тому вескими причинами) и решил благосклонно принять гостеприимство, предложенное ему довольно холодно.

Надо сказать, что обед, который вскоре задымился перед гостями, не оставлял желать ничего лучшего как в смысле качества, так и количества. Госпожа Глендининг вложила в него все свое искусство, и, радуясь той соблазнительной картине, которую представляли блюда на столе, она забыла и о своих брачных планах и о досадных препятствиях к их осуществлению. Она вся ушла в хозяйские обязанности по угощению, побуждая гостей есть и пить и снова наполняя их тарелки, прежде чем кому-нибудь пришло бы в голову отказаться.

Гости между тем внимательно разглядывали друг друга, видимо стремясь составить себе мнение о своих соседях. Сэр Пирси Шафтон удостоивал беседой одну только Мэри Эвенел, даря ее тем бесцеремонным и снисходительным вниманием, не без оттенка легкого презрения, с которым щеголь наших дней снисходит до провинциальной барышни, если поблизости нет женщины более интересной или более светской. Впрочем, его манера обращения несколько отличалась от нынешней, так как правила приличия тех времен не позволяли сэру Пирси Шафтону ковырять в зубах во

время разговора, или зевать, или издавать нечленораздельные звуки (подобно тому нищему, который уверял, что турки вырезали ему язык), или притворяться глухим, либо слепым, либо немощным. Но хотя узоры его речей и были иными, общий их фон оставался неизменным, так что можно считать, что напыщенные и витиеватые комплименты, коими галантный рыцарь шестнадцатого столетия украшал свои речи, представляли собой те же самые порождения тщеславия и самодовольства, которыми пересыпают свой жаргон современные фаты.

Английский рыцарь был все же несколько смущен, заметив, что Мэри Эвенел слушает его с совершенным равнодушием и отвечает весьма кратко на все те речи, которые должны были, по его мнению, ослепить ее своим блеском или привести в замешательство своей загадочностью. Но если он был разочарован, не произведя желаемого или, скорее, ожидаемого эффекта на особу, к которой он обращался, его рассуждения поразили своим великолепием Мизи-мельничиху, невзирая на то, что она не поняла из них ни единого слова. Впрочем, речи галантного рыцаря были настолько изысканы, что их едва ли бы поняли и люди гораздо более образованные, чем Мизи.

Примерно в ту эпоху существовал в Англии «замечательный, непревзойденный поэт своего времени, проникательный, веселый, остроумно-живой и живо-остроумный Джон Лили, тот самый, который пирует с Аполлоном и кого Феб увенчал своим лавровым венком, не оставив себе ни листика». Вот этот-то удивительный поэт, написавший удивительно нелепую и претенциозную книгу под названием «Эвфуэс и его Англия», находился в то время в зените своей славы. Жеманный, напыщенный и ненатуральный слог его «Анатомии ума» имел очень большой, хотя и скоропроходящий успех. Однако все придворные дамы одно время ему подражали, и *parler Eurhuisse*¹ было для придворных кавалеров так же обязательно, как владеть шпагой или танцевать.

¹ Говорить в стиле эвфуизма (франц.).

Поэтому не удивительно, что хорошенькая мельничиха была ослеплена блеском этого ученого и изящного разговора настолько, насколько ее когда-либо слепила мучная пыль на отцовской мельнице. Она сидела молча, широко раскрыв глаза и рот (совсем как летом настезь раскрывались окна и двери мельницы) и старалась запомнить хотя бы словечко из тех перлов красноречия, которые сэр Пирси Шафтон рассыпал перед ней в таком изобилии.

Что касается мужской части компании, то Эдуард, жестоко страдая от своей невоспитанности, молча слушал, как очаровательный молодой щеголь с легкостью и живостью необыкновенной скользил по поверхности банально-галантного разговора. Правда, природный здравый смысл и хороший вкус очень скоро подсказали Эдуарду, что галантный кавалер болтает вздор. Но увы! Где найти молодого человека, скромного и даровитого, который не страдал бы от сознания, что его затмил в разговоре и опередил на жизненном пути человек развязный, обладающий не столько подлинными, сколько показными талантами? Тут требуется большая душевная стойкость, чтобы без всякой зависти уступить пальму первенства более удачливому сопернику.

Эдуард Глендининг еще не постиг умения относиться ко всему философски. Презируя жеманство изящного кавалера, он в то же время завидовал его красноречию, изысканной грации его манер и выражений и той свободной уверенности, с которой он элегантно жестом передавал что-либо своим соседям по столу. А если уж говорить начистоту, он завидовал его любезности особенно потому, что она преследовала цель прельстить Мэри Эвенел. Хотя молодая девушка принимала его услуги только тогда, когда не могла без них обойтись, все-таки было совершенно ясно, что этот чужестранец стремится заслужить ее расположение, считая ее одну достойной своего внимания. Благодаря своему титулу, высокому положению в свете, весьма приятной наружности, а также некоторым искоркам ума и остроумия, проскакивающим через густой туман невообразимой чепухи, которую он нес,

он был, как поется в старинной песенке, настоящий дамский угодник. И вот бедный Эдуард со всеми его природными достоинствами и благоприобретенными знаниями, в своем камзолчике из домашнего сукна, в синем колпаке и грубых лосинах казался шутком рядом с этим придворным кавалером и, сознавая свое ничтожество, отнюдь не питал расположения к человеку, оттеснившему его на второй план.

Кристи, со своей стороны, удовлетворив богатырский аппетит (благодаря которому люди его профессии, подобно волкам и орлам, могли набивать себе желудки впрок на несколько дней), тоже стал ощущать, что его неправомерно отодвинули в тень. Этот достойный человек, кроме других замечательных качеств, отличался еще необыкновенным самомнением. А будучи от природы смел и дерзок, он отнюдь не желал допускать, чтобы им пренебрегали. И со своей обычной наглой фамильярностью (которую такие люди считают свободой обращения) он прерывал изящные рассуждения рыцаря так же бесцеремонно, как мог бы пронзить копьем его вышитый кафтан.

Сэр Пирси Шафтон, будучи вельможей самых благородных кровей, никак не хотел поощрять и даже терпеть такой развязности, почему он или вовсе ему не отвечал, или отвечал весьма кратко, выражая совершенное презрение к этому грубому копыеносцу, который осмеливался обращаться с ним как с равным.

Что касается мельника, то он больше помалкивал. Весь его разговор вертелся обычно вокруг жерновов и помольной дани, и он вовсе не желал хвастаться своим богатством перед Кристи из Клинт-хилла или прерывать разглагольствования английского рыцаря.

Здесь не будет лишним привести образчик высказываний сэра Пирси Шафтона — хотя бы для того, чтобы показать теперешним молодым дамам, чего они лишились, живя в век, когда эвфуизм уже вышел из моды.

— Поверьте мне, прелестнейшая леди, — говорил рыцарь, обращаясь к Мэри, — именно таково оказалось искусство английских придворных нашего просве-

щенного века, что они бесконечно усовершенствовали невыразительный и грубый язык наших предков, тот язык, что лучше подходит буйным гулякам на празднике майского шеста, чем придворным кавалерам, танцующим в бальной зале. Посему я и считаю безусловно и совершенно невозможным, чтобы те, кто войдет после нас в вертоград ума и любезности, изъяснялись иначе или вели себя по-иному. Венера радуется только речам Меркурия; Буцефал не даст себя покорить никому, кроме Александра; никто, кроме Орфея, не сможет извлечь мелодичных звуков из флейты Аполлона.

— Достойный рыцарь, — отвечала ему Мэри, едва удерживаясь от смеха, — нам остается только радоваться тому счастливому обстоятельству, что солнечный луч любезности снизошел до нас в нашем уединении, хотя он скорее ослепляет нас, чем освещает.

— Прелестно и изящно сказано, очаровательная леди, — отозвался на это эвфуист. — Ах, почему я не захватил с собою «Анатомию ума», это ни с чем не сравнимое произведение, квинтэссенцию человеческого разума, сокровищницу изящнейших мыслей, это просветительно-прелестнейшее и назидательно-необходимейшее руководство ко всякому полезному знанию. Этот драгоценный источник просвещения, что научает грубияна светскому обращению, тупицу — остроумию, тугодума — игривости ума, увальня — изяществу, мужлана — благородству и всех их вместе — невыразимому совершенству человеческой речи, тому красноречию, которому никакое красноречие не может воздать надлежащей хвалы, тому искусству, которое мы называли эвфуизмом, не найдя для этого бесценного дара иного панегирика.

— Пресвятая дева Мария! — воскликнул Кристи из Клинт-хилла. — Если бы вы, ваша милость, нам в свое время рассказали, какое сокровище вы хранили в замке Прадхоу, мы бы с Диком Долговязым, конечно, вывезли оттуда все эти драгоценности, если бы только их можно было увезти на лошади. Но вы нам раньше говорили, что ничего там не оставили, кроме серебряных щипчиков для завивки усов.

Сэр Пирси откликнулся на это невольное заблуждение Кристи (ибо тот, конечно, не мог себе представить, что все эти восторженные слова вроде «бесценный», «сокровище», «драгоценный» и пр. относятся к маленькой книжке в четвертку листа) одним только презрительным взглядом и, снова повернувшись к Мэри Эвенел, как к единственной особе, достойной его внимания, продолжал свои красноречивые разглагольствования:

— Вот точно так и свиньям никогда не понять великолепия восточного жемчуга; вот точно так бесполезно предлагать изысканные блюда некоему домашнему длинноухому животному, которое всему на свете предпочитает листья чертополоха. Совершенно так же бессмысленно расточать сокровища ораторского искусства перед невеждами и предлагать тончайшие умственные яства тем, кто в моральном и метафизическом смысле стоит не выше ослов.

— Сэр рыцарь, если таково ваше звание, — вступил в разговор Эдуард, — мы не можем соревноваться с вами в выпренности выражений. Но я прошу вас в виде личного одолжения, пока вы удостоиваете своим присутствием наш дом, воздержаться от таких обидных сравнений.

— Успокойся, добрый поселянин, — отвечал рыцарь, приветственно помахав ему рукой. — Прошу тебя, успокойся. А вы, мой страж, которого я едва ли могу назвать честным стражем, позвольте мне посоветовать вам взять пример с похвальной молчаливости этсго почтенного земледельца, который сидит среди нас, словно набрав в рот воды, и этой привлекательной девицы, впитывающей в себя каждое услышанное слово, хотя слова эти мало ей понятны, подобно тому как верховой конь подчас внимательно слушает лютню, хотя и понятия не имеет о музыкальных созвучиях.

— Чудо как хорошо сказано, — решила наконец вымолвить госпожа Глендининг, которой стало невмogu так долго молчать, — чудо как хорошо, не правда ли, сосед Хэппер?

— Сказано ловко, что и говорить, куда как ловко! — отвечал мельник. — Только я бы за целый мешок таких слов одного гарнца отрубей не дал.

— И я тоже так думаю, да простит мне его милость, — подхватил Кристи из Клинт-хилла. — Помнится мне, что я однажды в морэмском деле, что было близ Берика, ссадил копьём с седла одного молодого южанина, и покатился он у меня кубарем на десять шагов от своего коня. Камзол у него был расшит золотом, и я подумал, что у него, поди, дома тоже найдется золото (хотя бывает, что дома у таких хлыщей ни черта не найдешь). Вот я с ним и заговорил о выкупе, а он вдруг понес всякую ахиною вроде той, что мы слышали от его милости, что ежели я доподлинно сын Марса, то я его и так помилую, и тому подобный вздор.

— И никакой пощады он от тебя не дождался, могу в этом поклясться! — воскликнул сэр Пирси, удостоивавший эвфуистического разговора одних только дам.

— По совести скажу, — продолжал Кристи, — я бы не постеснялся всадить ему копьё в глотку, кабы в это время на нас откуда-то сзади не выскочили эти черти — Старый Хансдон и Генри Кэри, а за ними их молодцы, и не погнали нас обратно на север. И я тоже пришпорил моего Баярда и ускакал вслед за другими. Недаром у нас в Тайндейле говорят: «Ежели чужие руки тебя одолеют, вспомни, что у тебя еще есть свои ноги».

— Поверьте мне, миледи, — обратился снова сэр Пирси к Мэри Эвенел, — я от души сочувствую вам, особе благородной крови, что вы принуждены обитать среди невежд, подобно тому драгоценному камню, что скрывается в голове жабы, или той гирлянде роз, что украшает чело осла. Но кто этот кавалер, у которого внешность спорит с его деревенским нарядом и чей взгляд обещает больше, чем говорит его наружность? Даже если...

— Прошу вас, сэр рыцарь, — перебила его Мэри, — поберегите ваши сравнения для более изы-

сканных умов и позвольте познакомить вас с моим названным братом, Хэлбертом Глендинингом.

— Без сомнения, это — сын доброй хозяйки этой хижины, — отозвался английский рыцарь. — Мне помнится, что мой проводник упоминал похожее имя, говоря о владелице жилища, которое вы, сударыня, украшаете своим присутствием. Что же касается этого юноши, то в нем что-то есть такое, что его можно принять за человека вполне благородного, ибо, как говорится, не всякий угольщик черен...

— И не всякий мельник бел, — подхватил мельник Хэппер, очень довольный тем, что ему тоже наконец удалось вставить словечко в разговор.

Хэлберт, несколько раздраженный бесцеремонностью, с которой рассматривал его англичанин, и не зная в точности, как ему воспринимать его слова и обращение, отвечал довольно резко:

— Сэр рыцарь, у нас в Шотландии есть поговорка: «Не говори про куст, за которым ты прячешься, что это метелка». Вы искали гостеприимства в доме моих родителей, спасаясь от какой-то опасности, — так по крайней мере мне сказали мои домашние. Так не презирайте же бедность этого дома и простоту его обитателей. Вы могли бы долго проживать при английском дворе, и мы бы не подумали искать вашего расположения или надоедать вам своим присутствием. Но если уж судьба привела вас сюда, к нам, удовлетворитесь теми удобствами и теми беседами, которые вы у нас здесь найдете, и не издевайтесь над нашим гостеприимством. Предупреждаю вас: у шотландцев терпение коротко, а ножи у них длинные.

Все глаза были устремлены на Хэлберта во время его речи, и у всех было ощущение, что никогда прежде он не проявлял такой рассудительности и такого самообладания. Было ли это потому, что нездешнее существо, с которым он так недавно общался, вселило в него ум и благородство, которых ему раньше не доставало, или свободная уверенность его высказываний и обращения родились от одного только соприкосновения с потусторонним миром, призвавшим его

к иной доле, чем доля обыкновенных смертных, — об этом мы судить не беремся. Но всем открылось сразу, что отныне Хэлберт стал другим человеком. Он действовал с твердостью, энергией и решимостью, присущими более зрелому возрасту, и проявлял качества характера, свойственные людям более высокого звания.

Рыцарь воспринял урок, ему данный, довольно добродушно.

— Клянусь честью, — сказал он, — ты совершенно прав, любезный юноша. Но я вовсе не имел намерения издеваться над кровлей, давшей мне приют. Я скорее хотел воздать хвалу тебе, родившемуся под низкой кровлей, но способному подняться много выше. Ведь жаворонок, вылетая из самого скромного гнезда на вспаханной ниве, так же взмывает к солнцу, как и орел, который вьет свое гнездо на самом высоком утесе.

Эта цветистая речь была прервана госпожой Глендининг, с привычной ей материнской заботой накладывавшей еду на тарелку Хэлберта и при этом громко и упрекавшей его за долгое отсутствие.

— Помяни мое слово, — ворчала она, — будешь бегать по всем этим местам, где обретается всякая нечисть, и случится с тобой то же, что случилось с Мунго Мерри, который заснул под вечер на зеленом лугу возле развалин старой церкви, а проснулся наутро среди диких утесов Брэдалбейна. Или будешь ты охотиться за ланью, а красный олень выйдет тебе навстречу и пронзит тебя своими рогами, как это было с Диконом Торберном, который так и не поправился от раны, нанесенной ему рогатым зверем. И гляди еще, будешь ты бродить повсюду с этим длинным мечом на боку (что вовсе не идет мирным людям), и нарвешься когда-нибудь на тех, у кого, кроме меча, будет и копьё. А ведь теперь по всей стране разъезжают эти гнусные разбойники, что бога не боятся и стыда и совести не имеют.

Тут ее взгляд, «великого смятения полный», встретился со взглядом Кристи из Клинт-хилла, и она сразу прекратила свои материнские упреки, насмерть

перепугавшись, что тот может на нее обидеться. Надо заметить, что родительские укоры, как и супружеские, при всей их справедливости, часто бывают не ко времени. Что-то было во взгляде Кристи столь хитрое и расчетливое (его серые, пронзительно-острые и в то же время жестокие глаза выражали одновременно и злобу и коварство), что почтенная вдова, мгновенно поняв свою оплошность, живо представила себе шайку вооруженных грабителей, которая гонит ночью, при свете луны, вниз по ущелью дюжину ее лучших коров.

Голос ее поэтому сразу спустился с высоких нот родительского увещания и приобрел совсем иной, тихий и как бы униженно просящий оттенок.

— Не то чтобы я хотела сказать, что плохого мнения о наших пограничных всадниках. Я не раз говорила Тибб Тэккет (и она это может подтвердить), что, по мне, копье и уздечка так же к лицу настоящему мужчине, как перо священнику или опахало знатной леди. И мало того... Что, разве я не говорила этого, Тибб?

Тибб отнюдь не обнаруживала особой охоты подтверждать, что ее госпожа питала глубокое уважение к вольным добытчикам с пограничных гор. Но, припертая к стене, она наконец выдала из себя:

— А как же, конечно, без сомнения, я могу поручиться, что вы что-то в этом роде говорили.

— Мама, — твердо и решительно произнес Хэлберт, — чего или кого ты боишься в доме моего отца? Я надеюсь, что среди наших гостей не найдется такого человека, при котором ты должна была бы опасаться говорить мне или моему брату все, что сочтешь нужным? Мне очень жаль, что я так задержался, но я не знал, что найду здесь столь приятное общество. Очень прошу меня извинить. А если ты меня простишь, то гости простят и подавно.

Этот ответ, выражавший одновременно и сыновнюю покорность и чувство собственного достоинства, естественное для человека, который по праву первородства стал главою дома, встретил всеобщее одобрение. Сама Элспет признавалась Тибб в тот же

вечер: «Я и не думала, что он когда-нибудь станет так умен. До сегодняшнего дня он все, бывало, из себя выходил, как только начнешь ему что выговаривать, и чуть что не так ему скажешь, он сейчас начинает кричать и топать ногами, ну прямо как четырехлетний ребенок. А тут вдруг он говорит все так степенно и вежливо, точно сам лорд-аббат. Не знаю, что из этого выйдет, но он превратился в настоящего джентльмена».

Общество вскоре разошлось. Молодежь удалилась к себе, а старшие отправились по разным хозяйственным делам. Кристи пошел на конюшню посмотреть, в порядке ли содержится его лошадь, Эдуард засел за книгу, а Хэлберт, всегда отличавшийся ловкостью и сноровкой, притом что умственные усилия были ему достаточно чужды, поднял половицу в своей комнате и принялся устраивать тайник, чтобы схоронить в нем экземпляр священного писания, столь чудесным образом спасенный как от людей, так и от духов. Тем временем сэр Пирси Шафтон по-прежнему сидел в каменной неподвижности на том самом стуле, на который он опустился, придя в трапезную. Он сидел, скрестив руки на груди, вытянув ноги и вперив глаза в потолок, как будто задался целью сосчитать каждую ниточку на паутине, что в изобилии свисала со сводчатого потолка; при этом он был преисполнен такой торжественной и невозмутимой важности, точно все его существование зависело от правильности этого счета.

Его с трудом удалось вывести из созерцательного состояния, в которое он был погружен, чтобы пригласить его к ужину, к которому молодые девушки не вышли. Сэр Пирси раза два-три оглянулся, точно искал кого-то, но ничего о них не спросил и только тем проявил свое сожаление об отсутствии надлежащего общества, что стал очень рассеян, говорил мало и односложно и отвечал только на повторные вопросы, и то простым и ясным английским языком, которым он, когда хотел, владел превосходно, без всяких вывертов и словесных украшений.

Кристи, которому неожиданно удалось овладеть разговором, принялся рассказывать всем, кому была охота его слушать, всякого рода были и небылицы из своего бурного, но отнюдь не славного прошлого. У госпожи Элспет волосы вставали дыбом от этих рассказов, а Тибб, наслаждаясь тем, что находится в обществе воинственного «джека», слушала его с таким же нескрываемым восторгом, с каким Дездемона слушала Отелло. Между тем каждый из юных Глендинингов был настолько погружен в свои собственные мысли, что они опомнились только тогда, когда им велели идти спать.

Глава XV

Чеканит не монеты он, а фразы,
Подобье позолоченных жетонов...
Их лишь дурак берет, а умный — нет!

Старинная пьеса

Утром оказалось, что Кристи из Клинт-хилла куда-то исчез. Так как эта почтенная личность не имела привычки предварять свои передвижения трубным гласом, то его ночной отъезд никого, в сущности, не удивил, хотя и породил некоторую тревогу, не поживился ли он чем-нибудь предварительно. Поэтому, согласно правилу, выраженному в словах народной баллады:

В ларь заглянули и в буфет:
Там цело все, пропажи нет, —

все оказалось в полном порядке — ключ от конюшни висел над дверью, а ключ от железной решетки торчал в замке. Одним словом, отступление Кристи было совершено самым безукоризненным образом, с учетом интересов оставшегося гарнизона, и пока что он не дал ни малейшего повода к упрекам.

Сохранность имущества проверил Хэлберт, который, вопреки своему обыкновению, не схватил пищали или арбалета и не исчез в лесу на целый день,

а с серьезностью, совершенно не свойственной его возрасту, внимательно осмотрел все вокруг башни. После этого он вернулся в трапезную, или, иначе, в залу, где в столь ранний час, как семь утра, уже был накрыт стол для завтрака.

Здесь он нашел эвфуиста в той же элегантной позе глубокого раздумья, что и накануне. Руки его совершенно так же были сложены на груди, глаза так же устремлены на ту же паутину, а ноги так же вытянуты. Эта его томная важность уже успела порядком надоесть Хэлберту, и, кроме того, его вовсе не радовало, что рыцарь, видимо, и дальше собирается вести себя так же. Поэтому он решил немедленно с ним заговорить и узнать наконец, что же привело в башню Глендеарг гостя, столь высокомерного и в то же время столь скрытного.

— Сэр рыцарь, — обратился он к нему весьма решительно, — я уже дважды сказал вам «с добрым утром», но, как видно, рассеянность помешала вам обратить на это внимание, а тем более отозваться на мое приветствие. В вашей воле быть учтивым или не быть. Но, поскольку то, что я имею вам сообщить, близко касается вашего благополучия и безопасности, я бы попросил вас быть ко мне несколько более внимательным, дабы у меня не создалось впечатления, что я говорю с истуканом.

В ответ на это неожиданное обращение сэр Пирси Шафтон раскрыл глаза и поразил собеседника пристальным взглядом. Но, поскольку Хэлберт выдержал этот взгляд без смущения и страха, рыцарь нашел нужным изменить свою позу. Он подобрал ноги и принялся внимательно смотреть в лицо молодому Глендинингу, тем самым давая понять, что он его слушает. Мало того — чтобы сделать это намерение более ясным, он даже выразил его словами:

— Говорите, мы слушаем.

— Сэр рыцарь, — продолжал юноша, — у нас, на монастырских землях, не принято беспокоить людей, пользующихся нашим гостеприимством, какими-либо расспросами, ежели люди эти пребывают у нас в доме не более суток. Мы знаем, что как преступники, так

и должники часто ищут у нас убежища, и избегаем домогаться у паломника, который оказался нашим гостем, признания в истинной причине его паломничества или епитимьи. Но когда такой человек, как вы, сэр рыцарь, занимающий по сравнению с нами гораздо более высокое положение (и в особенности если он еще кичится этим), изъявляет намерение пользоваться нашим гостеприимством достаточно долгое время, мы обычно считаем нужным спросить у него, откуда он к нам прибыл и что побудило его предпринять такое путешествие.

Прежде чем ответить, английский рыцарь зевнул раза два-три, а затем промолвил с деланной шутовской восторженностью:

— Право, любезный поселянин, ваши вопросы меня несколько смущают, ибо вы спрашиваете меня о таких вещах, по поводу которых я не в состоянии дать вам надлежащий ответ. Удовлетворитесь пока тем, юнец, что вы имеете указание вашего лорда-аббата принять меня наилучшим образом, хотя этот «наилучший образ» и не вполне соответствует ни моему, ни вашему желанию.

— Мне хотелось бы получить более определенный ответ, сэр рыцарь, — возразил молодой Глендининг.

— Друг мой, — отвечал рыцарь, — не надо горячиться. Может быть, у вас, на севере, и принято вырывать у высокопоставленных лиц их секреты, но поверьте мне, что как лютня, к которой притрагивается неумелая рука, издает порой нестройные звуки, так и...

В этот момент дверь залы отворилась и вошла Мэри Эвенел.

— Но как можно говорить о нестройности, — воскликнул рыцарь, вновь обретая привычный приторно-галантный тон, — когда сама душа гармонии является перед нами в образе совершеннейшей красоты. Подобно лисам, волкам и иным зверям, лишенным разума, что бегут прочь от солнца, когда оно встает перед ними во всей своей красе, раздражение, гнев и прочие злобные страсти отступают или, вернее, бегут от лица, озарившего нас своим светом, от лица,

обладающего даром смягчать наши сердца, прояснять наши заблуждения, утишать наши горести и успокаивать наши страхи. Ибо то же действие, которое лучи солнца оказывают своим пылом и жаром на мир материальный и физический, оказывают и эти глаза, перед которыми я преклоняюсь, на наш духовный микрокосм.

Он заключил эту рацею глубоким поклоном. Мэри Эвенел, взглянув сначала на одного, потом на другого и поняв, что между ними что-то произошло, могла только ответить:

— Ради самого создателя, что все это значит?

Недавно обретенные ее названным братом такт и рассудительность, видимо, оказались недостаточными, чтобы он мог дать ей разумный ответ. Хэлберт искренне недоумевал, как отнестись к гостю, казалось бы, преисполненному самоуверенности и важности и при этом столь туманно высказывающемуся, что совершенно невозможно было понять, шутит он или говорит серьезно.

Как бы то ни было, Хэлберт решил при более удобном случае непременно добиться объяснения от сэра Пирси Шафтона, а пока оставить его в покое. Впрочем, дальнейшие объяснения были бы и невозможны, так как в этот момент вошла его мать в сопровождении юной мельничихи и возвратился честный мельник из овина, где он прикидывал и высчитывал возможный в этом году для него помол.

В ходе этих подсчетов многоопытного знатока мельничного дела не могло не поразить то обстоятельство, что доля урожая, которая останется у госпожи Глендининг за вычетом монастырской десятины и мельничного сбора, будет весьма значительна. Я не берусь сказать, не стал ли честный мельник под влиянием этих соображений лелеять такие же планы, как и госпожа Элспет, но, во всяком случае, он охотно дал согласие, когда вдова пригласила его дочь погостить в Глендеарге недельку-другую.

Поскольку главные герои нашей повести остались совершенно довольны друг другом, все дела были отложены в сторону и гости и хозяева в самом

веселом расположении принялись завтракать. За столом сэру Пирси так польстило внимание смуглой Мизи к каждому его слову, что, несмотря на свое знатное происхождение и высокий сан, он нет-нет да удостоивал ее некоторыми второсортными и менее цветистыми изъяснениями своей любезности.

Мэри Эвенел, почувствовав значительное облегчение от того, что не на нее одну теперь было обращено внимание рыцаря, прислушивалась к разговору с несравненно большим удовольствием, чем накануне. Что же касается галантного кавалера, то, поощряемый знаками одобрения со стороны прекрасного пола, ради которого он расточал свое красноречие, он очень скоро перешел к большей откровенности, чем в объяснении с Хэлбертом, дав им понять, что только непосредственная опасность вынудила его стать их невольным гостем.

Сразу после завтрака все общество разошлось. Мельник пошел готовиться к отъезду, а дочь его принялась устраиваться в доме, в котором она намеревалась теперь гостить. Эдуард был вызван Мартином для каких-то консультаций по земледельческим вопросам, чем Хэлберта никак нельзя было заинтересовать; госпожа Глендининг удалилась куда-то по хозяйству, и Мэри только что собралась за ней последовать, как вдруг вспомнила, что английский рыцарь и Хэлберт останутся вдвоем и между ними опять может возникнуть ссора.

Во избежание такой опасности она тотчас же вернулась обратно и присела на каменную скамью в оконной нише. Она рассчитывала, что ее присутствие окажет благотворное влияние на Хэлберта Глендининга, горячий нрав которого внушал ей некоторые опасения.

Чужестранец обратил на это внимание и, то ли решив, что она ищет его общества, то ли повинаясь законам вежливости, предписывающим не оставлять даму в молчании и одиночестве, тотчас же подсел к ней и приступил к разговору.

— Поверьте мне, прекрасная леди, — сказал он, — будучи изгнан из своей родины и, казалось бы, лишен

всякой отрады, я тем не менее бесконечно счастлив, так как нашел здесь, на севере, в скромной сельской хижине, чистосердечную и милую особу, которой я могу излить свои чувства. Позвольте же мне настоятельно просить вас, очаровательная леди, согласно широко распространенному и принятому при нашем дворе обычаю (при дворе, являющемся вертоградом возвышенных умов), обменяться с вами нежными эпитетами, дабы тем засвидетельствовать глубочайшую вам преданность. Пусть же, например, отныне я буду называть вас моим Покровительством, а вы меня — вашей Приветливостью.

— Наши северные обычаи и деревенские нравы не позволяют нам, сэр рыцарь, обмениваться прозвищами с чужестранцами, — отвечала Мэри Эвенел.

— Однако, — воскликнул рыцарь, — до чего же вас легко испугнуть! Так, стоит лишь махнуть платком перед необъезженным конем, как он уже шарахается в сторону, хотя потом и привыкает к развевающимся знаменам. Верьте мне, благопристойный обмен эпитетами — не что иное, как только обмен любезностями между доблестью и красотой, когда бы и где бы они ни встретились. Сама Елизавета, королева Англии, именует Филиппа Сиднея своим Мужеством, а он, отвечая государыне, называет ее своим Вдохновением. Вот почему, мое прекрасное Покровительство, я отныне буду называть вас только так...

— Все же не без согласия самой леди, сэр, — прервал его Хэлберт. — Ибо я надеюсь, что ваше превосходное придворное воспитание не заставит вас забыть о правилах самой обыкновенной вежливости.

— Любезный арендатор, или, вернее, ленник, — отвечал ему рыцарь со своей неизменной холодной вежливостью, но в то же время с оттенком некоторого высокомерия, который вовсе не чувствовался, когда он обращался к молодой особе, — мы не имеем привычки у нас, на юге, вмешиваться в чужой разговор, когда мы не можем считать себя ровней собеседникам. И я принужден, при всей моей деликатности, напомнить вам, что необходимость, заставившая меня

проживать с вами в одной хижине, нас далеко еще не сравняла.

— Клянусь пречистой девой, — воскликнул молодой Глендининг, — а я думаю, как раз наоборот! Люди простые считают, что тот, кто ищет пристанища, обязывается по отношению к тому, кто его предоставляет. А посему я нахожу, что мы с вами равны, пока живем под одной крышей.

— Ты в этом ошибаешься, — отвечал сэр Пирси. — И для того, чтобы ты совершенно постиг разницу между нами, знай, что я отнюдь не считаю себя твоим гостем, а только гостем твоего сеньора, лорда-аббата монастыря святой Марии. По причинам, известным только ему и мне, он счел возможным оказать мне гостеприимство при посредстве тебя, своего слуги и вассала. Следовательно, ты в этом случае, если говорить откровенно, всего лишь орудие моего удобства, вроде этого дрянного и шаткого стульчика, на котором я сижу, или деревянной тарелки, с которой я ем свой неприхотливый обед. Вот почему, — добавил он, обращаясь к Мэри, — моя любезная хозяйшюшка, или, вернее, как я уже говорил, мое очаровательное Покровительство...

Мэри Эвенел собралась было ему ответить, но в это время Хэлберт, изменившись в лице, вдруг закричал свирепым и угрожающим тоном:

— Даже от самого короля Шотландии, будь он жив, я не снес бы такого оскорбления!

Мэри бросилась между ними, воскликнув:

— Ради самого создателя, Хэлберт, подумай, что ты делаешь!

— Успокойтесь, прелестное Покровительство, — обратился к ней сэр Пирси с величайшим хладнокровием. — Этот невоспитанный и грубый юноша не заставит меня совершить нечто неподобающее в вашем присутствии, как и не заставит меня забыть о моем достоинстве. Ибо уж скорее загорится кусок льда ярким пламенем, чем искра гнева зажжет мою кровь, настолько я умею соразмерять свои порывы с должным уважением к моему милостивому Покровительству.

— Вы совершенно правы, называя ее вашим Покровительством, сэр рыцарь, — отвечал Хэлберт. — Клянусь святым Андреем, это единственное разумное слово, которое я от вас слышал! Но мы можем встретиться с вами в таком месте, где ее покровительство уже не будет служить вам защитой.

— Чудеснейшее Покровительство, — продолжал придворный кавалер, не удостоивая откликнуться не только словом, но даже и взглядом на угрозу разгневанного Хэлберта, — будьте уверены, что ваша неизменная Приветливость не больше пострадает от речей этого простолюдина, чем светлая и спокойная луна — от лая деревенской шавки, когда она, забравшись на навозную кучу, считает себя в самом близком соседстве с блистательным светилом.

Трудно сказать, до каких пределов дошла бы ярость Хэлберта после такого нелестного сравнения, если бы в этот момент в залу не ворвался Эдуард с известием, что два важнейших должностных лица из монастыря святой Марии, брат кухарь и брат келарь, только что прибыли в сопровождении вьючного мула, нагруженного обильными запасами провизии, объявив при этом, что за ними следом едут лорд-аббат, помощник приора и ризничий. Такое знаменательное событие никогда еще не отмечалось в летописях обители святой Марии, да и никакие старожилы Глендеарга ничего подобного не видали. Правда, существовало какое-то не слишком достоверное известие, что однажды, в давно прошедшие времена, некий аббат обедал в Глендеарге, заблудившись на охоте среди болот, лежащих к северу от башни. Но что ныне здравствующий лорд-аббат добровольно подвигнется на путешествие в такую отдаленную и унылую местность, в далекую Камчатку монастырских владений — об этом никто не мог и помыслить. И, конечно, это известие поразило удивлением всех членов семьи Глендинингов, кроме одного только Хэлберта.

Этот вспыльчивый юноша так жестоко переживал нанесенное ему оскорбление, что не мог думать ни о чем другом.

— Я рад, — воскликнул он, — я рад, что аббат приезжает к нам! Я узнаю от него, по какому праву этот чужестранец послан сюда издеваться над нами в нашем собственном доме, точно мы не свободные люди, а рабы. Я скажу ему, этому гордому попу, я не буду стесняться...

— Что ты, что ты, братец! — прервал его Эдуард. — Подумай, как дорого тебе могут обойтись эти слова!

— А как бы они дорого мне ни обошлись, — возразил ему Хэлберт, — я никогда не поступлюсь своей честью и не затушу в себе справедливого гнева из страха перед аббатом.

— А наша мать? — воскликнул Эдуард. — Ведь подумай: ее могут выгнать из дому, ее могут лишиться имущества. Как ты поправишь тогда то несчастье, которое навлечешь на нас своей опрометчивостью?

— Это правда, клянусь небом! — сказал Хэлберт, ударив себя кулаком по лбу. Затем, топнув ногой, чтобы дать выход своей ярости, он повернулся и вышел вон.

Мэри Эвенел смотрела на английского рыцаря и раздумывала, как ей лучше уговорить его не сообщать аббату о буйстве ее названного брата, чтобы не повредить его семейству. Но сэр Пирси, до мозга костей джентльмен, увидав ее смущение и угадав ее намерение, не стал дожидаться просьбы с ее стороны.

— Поверьте мне, прелестнейшее Покровительство, — начал он, — что ваша Приветливость не способна ни видеть, ни слышать, ни запоминать, ни передавать ничего из тех непристойных поступков, которые могли иметь место, пока я обретался в Элизиуме вашей близости. Приливы праздного гнева могут волновать грубую натуру простолюдина; но душа истого вельможи не поддается натиску бурных страстей, подобно тому как замерзшую поверхность озера не может волновать ветер...

В этот момент резкий голос госпожи Глендининг позвал Мэри, чтобы она поскорее шла ей помочь. Мэри тотчас же поспешила на ее зов, очень довольная тем, что таким образом может избавиться от

комплиментов и изысканных сравнений придворного кавалера. Но, как видно, ее уход доставил ему не меньшее удовольствие. Не успела она перешагнуть порог, как сладкое выражение церемонной и безукоризненной любезности на его лице, сопровождавшее каждое его слово, сменилось выражением усталости и скуки. Потянувшись, он зевнул и принялся рассуждать сам с собой:

«Какого черта принесло сюда эту девчонку? Как будто недостаточно и той каторги, что я заперт в этой гнусной хижине, которая в Англии не годилась бы и для собаки! Меня здесь травит злобный деревенский мальчишка, я завишу от честного слова продажного негодяя и не могу даже спокойно поразмыслить о своих несчастьях, так как вынужден быть начеку, резвиться и суетиться, все в угоду девице, страдающей бледной немочью, и только потому, что в ее жилах течет благородная кровь! По совести сказать, отбросив всякие предрассудки, из этих двух девушек молоденькая мельничиха во сто крат лучше. Но терпение, Пирси Шафтон! Ты не должен терять заслуженной репутации верного поклонника прекрасного пола, остроумного, ловкого, безукоризненно светского кавалера. Лучше возблаговари небо, Пирси Шафтон, что оно послало тебе особу, за которой ты можешь волочиться, не роняя своего достоинства (поскольку в благородстве рода Эвенелов не может быть сомнения). В ее лице ты нашел оселок, на котором сможешь оттачивать свое остроумие, бритвенный ремень, на котором сможешь править свою рассудительность, мишень, в которую сможешь выпускать стрелы своей галантности. Ибо подобно тому, как клинок из Бильбао делается все более блестящим и острым, чем больше его натачиваешь, так и... Однако что же я трачу запас моих красочных сравнений в разговоре с самим собой? Вон там ползет процессия монахов, напоминающая стаю черных ворон, медленно взлетающих на пригорок. Я все-таки надеюсь, что они не забыли моих сундуков с платьем, привозя с собой уйму съестных припасов для своей поповской утробы. Вот было бы весело,

если бы все мое одеяние сделалось добычей пограничных разбойников!»

Обеспокоенный этим соображением, он поспешно сбежал вниз и велел оседлать себе коня, дабы поскорее проверить это важнейшее обстоятельство, поспешив навстречу лорду-аббату и его свите. Не успел он проехать и мили, как уже натолкнулся на них, подвигавшихся медленно и торжественно, как подобало их сану и достоинству. Рыцарь не преминул приветствовать лорда-аббата со всей цветистостью выражений, которая была обязательна в те времена для общения между людьми высокопоставленными. При этом он имел удовольствие убедиться, что его сундуки в целости и сохранности следуют в числе прочего багажа за процессией. Удовлетворенный этим наблюдением, он повернул своего коня и поехал обратно, сопровождая аббата к башне Глендеарг.

Велика между тем была тревога почтенной госпожи Глендининг и ее помощников в приготовлении достойной встречи владыке-настоятелю и его свите. Монахи, конечно, не могли рассчитывать на обилие запасов, хранившихся в ее кладовой. Но все же она горела желанием добавить к столу кое-что и от себя, дабы тем самым заслужить благоволение своего светского лорда и духовного руководителя. Встретив Хэлберта, еще кипевшего негодованием после столкновения с гостем, она велела ему тотчас же отправиться в лес и не возвращаться без оленьей туши. Она напомнила ему, что он слишком часто убегает на охоту для собственного удовольствия, чтобы раз в жизни не постараться добиться особенной удачи для поддержания чести дома.

Мельник, который теперь заторопился домой, обещал прислать ей лосося со своим работником. Госпожа Элспет подумала, что с нее и так хватит гостей, и начала раскаиваться, что пригласила еще бедную Мизи. Она стала прикидывать в уме, как бы ей, без всякой обиды, отправить обратно хорошенькую мельничиху вместе с ее отцом, отложив исполнение своих фантастических планов до более удобного времени. Однако неожиданное великодушие, проявленное

Хобом Хэппером, заставило ее отказаться от этого намерения, так как это было бы с ее стороны уж слишком неучтиво. Таким образом, мельник уехал один.

Но гостеприимство, проявленное госпожой Элспет, не осталось без награды. Мизи, живя по соседству с монастырем и бывая там достаточно часто, не могла остаться равнодушной к благородному искусству кулинарии. Отец всячески поощрял ее способности, так что по праздникам он нередко вкушал такие яства, которые могли бы поспорить даже с лакомыми блюдами, подававшимися к столу аббату. Скинув праздничный наряд и одевшись попроще, добродушная мельничиха засучила повыше рукава на своих белоснежных руках и, как выразилась Элспет, «принялась помогать не за страх, а за совесть». Она действительно выказала необыкновенные способности, вкупе с неутомимым усердием, в приготовлении соусов, и бланманже, и невесть чего еще, о чем госпожа Глендининг не имела никакого понятия и что без ее помощи она бы никак не могла состряпать.

Оставив на кухне свою умелую заместительницу и сожалея в душе, что Мэри Эвенел при ее воспитании ничего нельзя было поручить, кроме разве того, чтобы устлать тростником пол в большой зале и украсить ее цветами и зеленью, госпожа Глендининг спешно переделась в свое лучшее платье и с трепещущим сердцем встала у входной двери своей маленькой башни, чтобы низко присесть перед лордом-аббатом, когда он перейдет порог ее скромного жилища. Эдуард стоял рядом с матерью и испытывал такое же волнение, которое никак не сочеталось с его обычной рассудительностью. Но ему еще предстояло познать, как трудно бороться нашему рассудку с силой обстоятельств и нашим чувствам, притупившимся от привычных впечатлений, — с поражающей их новизною.

В данном случае он со смешанным чувством любопытства и благоговейного трепета взирал на небольшую группу всадников, степенно подвигавшихся на своих смиренных лошадках, всадников, облаченных в широкие черные рясы с белыми наплечными ман-

тиями. Процессия эта отчасти напоминала похоронную, ибо двигалась она отнюдь не ускоряя шага, для того чтобы не мешать спокойной беседе и не нарушать пищеварения. Правда, ее мирное течение отчасти нарушал сэр Пирси Шафтон, желавший доказать, что искусство верховой езды занимает не последнее место среди присущих ему талантов. Он поэтому нарочно прищипоривал и горячил своего резвого жеребца, заставляя его гарцевать, пританцовывать, ходить испанским шагом и производить всякие иные эволюции, к величайшему неудовольствию лорда-аббата, чей смиреннейший мерин при виде такого молодечества стал проявлять признаки явного беспокойства. Почтенный прелат в панике зывал:

— Пожалуйста, умоляю вас, сэр, сэр рыцарь, побойтесь бога, сэр Пирси! Тише ты, Бенедикт! Ты добрый, хороший конь, тпру, тпру же, голубчик!

Словом, самые горячие его просьбы сменялись самыми убедительными уговорами, как это часто бывает с робкими ездоками, когда они пытаются утихомирить рядом едущего лихого наездника или собственного взыгравшего скакуна. Но наконец это тяжкое испытание завершилось, и аббат, слезая с седла во дворе перед башней Глендеарг, от всей души вознес благодарственную молитву своему создателю.

Обитатели башни все вкупе преклонили колени и облобызали руку аббата — эту церемонию довольно часто принуждены были выполнять даже монахи. Но высокопреподобный аббат Бонифаций был настолько расстроен неприятностью, коей завершилось его путешествие, что совершал эту церемонию без должной торжественности и даже без надлежащего терпения. В одной руке он держал белоснежный платок и вытирал пот со лба, протягивая в то же время другую своим вассалам для поцелуя. Затем, наспех благословив их широким крестом и бормоча при этом: «Да благословит вас бог, благословит вас бог, дети мои», — он спешно направился в дом. Здесь он еще успел повернуть на истертые крутые ступени

темной винтовой лестницы, по которой ему пришлось подыматься в приготовленную для него комнату. И тут наконец, изнемогая от усталости, он бросился в кресло, не скажу что превосходное, но самое лучшее, какое нашлось в башне.

Глава XVI

Изящнейший придворный, он желает
Изысканными яствами, вином,
Сладчайшей музыкою, омовеньем
И сменою камзолов и жилетов
Людскую брэнность даже обессмертить.
В придворном блеске счастье видит он!

«Магнетическая леди»

Когда лорд-аббат так неожиданно и высокомерно покинул встречавших его вассалов, помощник приора постарался загладить бестактность своего начальника, ласково и сердечно поздоровавшись со всеми членами семейства, особо выделив при этом госпожу Глендинг, ее приемную дочь и ее сына Эдуарда.

— Где же, — соизволил он затем спросить, — находится этот жалкий Немврод, Хэлберт? Надеюсь, он еще не научился, по примеру своего великого предшественника, обращать охотничье копье против человека?

— О нет, что вы! — отвечала госпожа Глендинг. — С вашего разрешения, он отправился в лес убить оленя, а то он обязательно был бы здесь с нами, когда я и мои близкие удостоились такой чести.

— О, это дело благое — раздобыть свежего мяса нам на потребу, — промолвил вполголоса помощник приора, — такой дар мы примем с удовольствием. Однако я пожелаю вам доброго здравия, сударыня, ибо я должен спешить к его высокопреподобию, владыке настоятелю.

— Одно только словечко, досточтимый сэр, — задержала его вдова, — сделайте милость, уж вы за нас заступитесь, ежели что будет не так; а если чего

будет недоставать, вы скажите, что — мы это сейчас добудем, или как-нибудь нас извините, так как вам, ученому человеку, это нетрудно. Ведь вся-то наша посуда и все серебро были расхищены после этой несчастной битвы при Пинки, где я потеряла бедного моего Саймона Глендининга, а уж это тяжелее всего!

— Не думайте ни о чем и не тревожьтесь, — отвечал ей помощник приора, стараясь незаметно высвободить полу своей рясы из рук взволнованной Элспет, — отец келарь захватил с собой столовую посуду аббата и его кубки. А если и окажется в вашем хозяйстве какой недостаток, то вы его с лихвой восполните вашим усердием.

С этими словами он ускользнул от нее и отправился в залу, где шли спешные приготовления для полдника, который должны были вкушать аббат и английский рыцарь. Здесь он нашел и самого лорда-аббата, восседающего в высоком деревянном кресле Саймона Глендининга, которое предварительно обложили всеми пледами, имевшимися в доме, чтобы превратить его в возможно более удобное и покойное седалище.

— Прости господи мое прегрешение, — вздыхал аббат Бонифаций, — но не перевариваю я этих жестких кресел, они такие неудобные, как скамьи для наших послушников. Не хочется мне гневить бога, но я поражаюсь, сэр рыцарь, как это вы ночевали в такой дыре? Ежели ваша постель была так же тверда, как стул, на котором вы сидите, вы с таким же успехом могли бы растянуться на каменном ложе святого Пахомия. Как протрясешься добрых десять миль, так невольно захочется сесть на мягкое, а тут, пожалуйста, ничего нет, кроме голых досок.

Ризничий и келарь, выражая на своих лицах искреннее сочувствие, кинулись к лорду-аббату, помогли ему привстать, а затем постарались устроить его в кресле поудобнее. Это им наконец в какой-то мере удалось, хотя он и продолжал стонать, то жалуясь на страшную усталость, то хвастаясь тем, что выполнил свой долг, не убоявшись изнурительных трудов.

— Вы, странствующие рыцари, — говорил он придворному кавалеру, — видно, неясно себе представляете, что другие тоже могут претерпевать невзгоды и лишения не меньше тех, что выпадают на вашу долю. И вот уж могу сказать о себе самом и воинах обители святой Марии, коих являюсь, так сказать, предводителем, что мы не уклоняемся от жарких боев за правду, но смело идем в наступление. Нет, клянусь пресвятою девою, как только я услышал, что вы обретаетесь здесь и по некоторым причинам не решаетесь прибыть к нам в монастырь, где бы мы вас приняли с открытой душой и устроили много лучше, я тотчас же, стукнув молотком по столу, вызвал моего послушника. «Брат Тимофей, — говорю, — вели седлать моего Бенедикта. Вели седлать моего вороного и попроси помощника приора и иноков из нашей свиты приготовиться к отъезду назавтра после утрени — мы едем в Глендеарг». Брат Тимофей остолбенел — видно, не поверил своим ушам. Но я повторил свое приказание и добавил, чтобы брат кухарь и брат келарь поспешили вперед, дабы помочь нашим бедным вассалам, владельцам этой башни, приготовить нам здесь пристойную трапезу. Итак, сэр Пирси, я надеюсь, вы примете во внимание наши общие тревоги и беспокойства и не посетуете на какой-либо недостаток.

— Клянусь душой, — отвечал сэр Пирси Шафтон, — не за что мне вас извинять. Если вы, духовные воители, принуждены были претерпевать те лишения, о которых вы, ваше высокопреподобие, нам поведали, то было бы совершенно непристойно мне, грешному светскому человеку, жаловаться на твердую, как камень, постель, на похлебку, которая отзывает жжеными перьями, на мясо, столь пережаренное, что я невольно вспомнил Ричарда Львиное Сердце, который съел обгорелую голову мавра, и на прочую снедь, могущую радовать разве лишь мужиков на этой северной окраине.

— Святые угодники мне порукой, сэр, — воскликнул с некоторой досадой аббат, так как он по натуре своей был большим хлебосолом, — я от души огорчен

тем, что наши вассалы не смогли вам оказать лучшего приема. Но я все же прошу вас заметить, что если бы обстоятельства позволили сэру Пирси Шафтону оказать честь нашей убогой обители своим посещением, ему бы, вероятно, не пришлось особенно жаловаться.

— Для того чтобы объяснить вашему высокопреподобию, какие причины не позволяют мне посетить вашу обитель и тем самым мешают мне воспользоваться вашим широким и прославленным гостеприимством, мне требуется или более удобное время или, — он огляделся вокруг, — меньшее число слушателей.

Лорд-аббат тотчас же отдал распоряжение келарю:

— Сходи-ка на кухню, брат Гиларий, и узнай там у нашего брата кухаря, в какое время он рассчитывает подать нам полдник. Ибо это будет совершеннейший позор и поношение (учитывая испытания, перенесенные честным и благородным рыцарем, не говоря уже об испытаниях, перенесенных нами лично), ежели нам придется вкушать пищу не тотчас же, как ее снимут с огня.

Брат Гиларий с радостной поспешностью побежал выполнять приказ своего настоятеля и вскоре вернулся обратно с известием, что ровно в час полдник будет на столе.

— До этого времени, — сообщил исправный келарь, — вафли, пышки и прочие изделия из теста не успеют как следует подрумяниться на медленном огне. А ежели, с другой стороны, час трапезы будет отложен хотя бы на десять минут, то, по мнению брата кухаря, олений окорок сильно пострадает, несмотря на все искусство поваренка, которого он так хвалил вашему высокопреподобию.

— Что? — спросил аббат. — Олений окорок! Откуда такая прелесть? Я что-то не помню, чтобы ты упоминал об окороке, когда собирал корзину с припасами.

— С вашего разрешения, милорд и милостивый владыка, — отвечал келарь, — хозяйский сын убил оленя и прислал его нам на кухню. А поскольку он

его убил только что и животный жар еще не покинул тела, брат кухарь полагает, что мясо будет нежно, как у цыпленка. И надо еще сказать, что этот юноша обладает особым даром стрелять дичь — он целит только в сердце или в голову, и, таким образом, животное не истекает кровью. Олень попался очень жирный. Вашему высокопреподобию не часто пришлось вкушать такую оленину.

— Довольно, довольно, перестань, брат Гиларий! — отозвался аббат, проглотив слюну. — Не приличествует инокам нашего ордена так много разглагольствовать о еде, тем более что, постоянно умерщвляя нашу плоть, мы (будучи все же людьми смертными) особо подвержены тому искушению, — тут он опять невольно облизнулся, — которое представляет вид пищи для голодного. Все же назови мне имя этого юноши — истинные заслуги должны быть вознаграждены: мы сделаем его *frater ad succurrendum*¹ нашей кухни и кладовой.

— Увы! Досточтимый владыка и милостивый лорд, — отвечал на это брат келарь, — я справлялся об этом юноше и узнал, что он предпочитает шлем клобуку и меч — духовному оружию.

— Ну, если так, то мы произведем его в помощники лесничего, и раз он отвращается от монашеского чина, то пусть себе стреляет в лесу целый день на здоровье. Наш старый лесничий, Толбой, стал слаб глазами и уже дважды перепортил нам благородную дичь, неосторожно поразив оленя в ляжку. А это большой грех на охоте ли, при разделке ли туши, или при готовке портить мясо тех животных, которые созданы для того, чтобы мы могли употреблять их в пищу. Посему озаботься, брат Гиларий, чтобы этому юноше была предоставлена должность, соответствующая его дарованиям. А теперь, сэр Пирси Шафтон, раз нам придется ждать больше часа, пока мы сможем наконец не только обонять, но и вкушать то, что для нас готовят, могу я вас просить быть настолько любезным, чтобы пове-

¹ Братом помощником (лат.).

дать нам причину вашего приезда? И, в частности, объясните нам, почему вы не можете переселиться в нашу более обжитую и более удобную обитель.

— Высокопреподобный владыка и высокоуважаемый лорд, — начал сэр Пирси Шафтон, — вы слишком проникательны, чтобы не знать, что и у стен имеются уши и что в том случае, когда кто-либо рискует своей головой, он невольно опасается, не будет ли разглашена его тайна.

Аббат сделал знак инокам из своей свиты, чтобы они удалились, задержав одного только помощника приора, после чего обратился к рыцарю со словами:

— Вы можете, сэр Пирси, свободно высказываться при нашем верном друге и советнике отце Евстафии, просвещенным мнением которого мы очень дорожим, но, к сожалению, не сможем долго пользоваться, поскольку он, несомненно, в ближайшее время получит соответствующее его достоинствам более высокое назначение, где я ему от души желаю найти такого же неоценимого друга и помощника, как он сам. А к нему лично лучше всего приложим старый монастырский стих:

И сказал аббат приору:
«Ты умен, в том нету спору!
Ты способен очень скоро
Дать разумнейший совет!»

— Конечно, — добавил он, — положение, которое дорогой брат Евстафий занимает в нашем монастыре, никак не соответствует его заслугам. Мы, к сожалению, не можем возвести его в сан приора, ибо эта должность в нашей обители, по некоторым причинам, остается вакантной. Как бы то ни было, он пользуется моим полным доверием и совершенно достоин вашего, поскольку о нем можно сказать: *intravit in secretis nostris*.¹

Учтиво поклонившись святым отцам, сэр Пирси Шафтон вздохнул столь глубоко, что, казалось, лопнет его стальная кираса, и начал так:

¹ Он посвящен в наши тайны (лат.).

— Без сомнения, ваши преподобия, у меня есть все основания тяжело вздыхать, поскольку я променял рай на чистилище, оставив блестящие чертоги английского королевского двора и забравшись сюда, в эту нору на краю земли. Я оставил ристалища и турниры, где из любви к чести или в честь любви всегда готов был сразиться с равным себе, для того чтобы здесь направлять свое рыцарское копье на подлых воров и грязных убийц. Я променял ярко освещенные залы, где беззаботно порхал, на это безобразное, полуразвалившееся каменное гнездо. Я бежал с веселого пиршества, чтобы очнуться у дымного очага в шотландской собачьей конуре. Я изменил звукам лютни, восхищающим душу, и виолы-да-гамба, пробуждающим в ней любовь, для того, чтобы северная волюнка терзала мне уши своим писком и воем. А главное, я покинул сонм любезных красавиц, плеядой созвездий окружающих трон Англии, чтобы вести здесь учтиво-унылые беседы с маловоспитанной девицей и служить предметом жадного любопытства мельниковой дочки. Но мало всего этого — я отказался от оживленных бесед с галантными рыцарями и веселыми кавалерами одного со мной звания и толка, чье остроумие блистает и искрится, как молния, ради общения с монахами и церковными вассалами... Но, простите, с моей стороны было бы неучтиво развивать эту тему.

Аббат слушал эти бесконечные жалобы с широко раскрытыми, округлившимися глазами, по которым нетрудно было догадаться, что он далеко не все понимал. Когда рыцарь замолк, чтобы перевести дух, аббат бросил на помощника приора смущенный, вопросительный взгляд, недоумевая, в каком тоне ему отвечать на столь удивительное вступление. Помощник приора тотчас же поспешил прийти на помощь своему принципалу.

— Мы глубоко сочувствуем вам, сэръ рыцарь, по поводу тех многочисленных огорчений и лишений, которые судьба заставила вас претерпеть. В частности, мы скорбим, что вы принуждены были жить среди

людей, которые вполне отдадут себе отчет, что недостойны такой чести, отчего они никогда к ней и не стремились. Но все это не относится к делу и не объясняет нам, почему же обрушились на вас все ваши несчастья, или, иначе, какая причина заставила вас согласиться на то, что не сулило вам больших радостей.

— Владыка и милостивый сэр, — отвечал рыцарь, — прошу извинить несчастного, который, начав рассказывать историю своих бедствий, не мог не затянуть этой повести, подобно тому как упавший в пропасть не может не измерять взглядом высоту, с которой он был сброшен.

— Но мне кажется, — возразил на это отец Евстафий, — что с его стороны было бы разумнее прежде всего сообщить пришедшим ему на помощь, какие кости у него сломаны.

— В столкновении наших умов вы, ваше преподобие, с налета поразили меня вашим копьем, а я промахнулся, проскочив мимо. Простите меня, милостивый сэр, что я выражаюсь языком турниров, что должно звучать несколько странно для ваших благочестивых ушей. О, это великолепное сборище храбрых, веселых, благородных рыцарей! О, этот престол любви, цитадель чести! О, эти небесные красавицы, вдохновляющие нас на подвиги! Никогда больше Пирси Шафтон не привлечет ваших благосклонных взоров, дав шпоры своему коню и летя во весь опор с копьем наперевес под призывные звуки трубы, именуемой на благородном языке гласом войны! Никогда больше он не опрокинет с наскака своего противника, смело преломив его копье, и не объедет затем победоносно весь блестящий круг арены, принимая дары восторга, коими красота награждает рыцарскую отвагу!

Тут он замолк, заломил руки и, вперив глаза в потолок, казалось, полностью погрузился в горькие размышления об утраченном счастье.

— Да он полоумный, совсем полоумный! — зашептал аббат помощнику приора. — Я бы очень хотел как-нибудь от него отвязаться. Ведь, того и гляди,

он с безумных глаз на нас кинется. Не лучше ли бы было позвать сюда наших братьев?

Но помощник приора умел лучше своего начальника отличать напыщенные разглагольствования от бреда сумасшедшего, и, хотя бешеные чувства в речах рыцаря казались ни с чем не сообразными, он все же прекрасно знал, до каких нелепостей может дойти тот, кто хочет следовать за модой.

Поэтому он подождал, чтобы дать рыцарю возможность справиться со своим горестным волнением, а потом вновь, и очень настойчиво, напомнил ему, что лорд-аббат предпринял весьма тяжелую для его лет и привычек поездку единственно для того, чтобы узнать, чем он может быть полезен сэру Пирси Шафтону. Но что он никакой помощи ему оказать не сможет, пока не узнает в точности, по каким причинам он принужден был искать приюта в Шотландии.

— Солнце уже стоит высоко, — добавил он, глядя в окно, — и если отцу настоятелю придется вернуться в монастырь, не получив нужных сведений, наши сожаления будут, конечно, обоюдными, но проигрываете от этого все же вы один, сэр Пирси Шафтон.

Намек этот не пропал даром.

— О богиня учтивости! — воскликнул рыцарь. — Неужели же я мог настолько пренебречь твоими законами, чтобы принести в жертву моим праздным жалобам покой и время почтенного прелата! Знайте же, высокопреподобные и не менее высокоуважаемые отцы, что я, ваш убогий посетитель и гость, прихожусь близким родственником по крови сэру Пирси Нортумберленду, чье имя столь прославлено, что его знают всюду, где чтят английскую доблесть. Так вот, нынешний граф Нортумберленд, о котором я хочу рассказать вам несколько подробнее..

— В этом нет нужды, — прервал его аббат, — мы знаем его как достойного мужа и подлинного дворянина, знаем также, что он искренний привереженец нашей католической веры, несмотря на то что на престоле Англии ныне сидит еретичка И потому, что вы ему приходитесь сродни, и так как нам

известно, что вы, как и он, тверды в вере и глубоко преданы нашей святой матери церкви, мы говорим вам, сэр Пирси Шафтон, добро пожаловать и, если бы это было в наших силах, постарались бы помочь вам в вашей крайности.

— Я глубоко признателен вам за ваше добросердечие, — поклонился ему сэр Пирси. — Итак, мне остается только сообщить вам, что мой высокородный кузен, граф Нортумберленд, обсуждал вкупе со мною и некоторыми другими лицами из числа избранных, выдающихся умов нашего века, как лучше вернуть в лоно святой католической церкви соблазненное ересью королевство (так иногда что-либо обсуждает с другом, как лучше поймать и взнуздать вырвавшегося на волю коня). При этом ему угодно было настолько втянуть меня в свои планы, что это уже стало для меня небезопасно. Тут, как на грех, неожиданно открылось, что эта принцесса Елизавета, окружив себя советниками, чрезвычайно искусно умеющими обнаружить любой замысел, направленный на то, чтобы подвергнуть сомнению ее права на престол, а в особенности замысел, ставящий себе целью восстановление католицизма, кое-что узнала о подкопе, который мы сделали еще задолго до того, как могли бы подготовить взрыв. По этой причине мой высокородный кузен Нортумберленд, рассудив, что разумнее всего одному человеку взять на себя вину за всех, и возложил на меня одного бремя совокупной ответственности. А я готов был принять на себя это бремя, во-первых, потому, что он неизменно проявлял ко мне самое сердечное и родственное расположение, а во-вторых, потому, что за последнее время доходы с моего поместья, не знаю по какой причине, перестали давать мне возможность жить в блистательной роскоши, что для нас, натур исключительных и изысканных, совершенно обязательно, потому что отличает нас от простолудинов.

— Так, значит, — заметил помощник приора, — благодаря состоянию ваших дел путешествие в чужие края не представляло для вас таких затрудне-

ний, как для вашего двоюродного брата, сиятельного графа?

— Вы совершенно правы, — отвечал придворный кавалер, — гет аси, или, иначе, вы попали в самую точку. Надо вам признаться, что в последнее время я был несколько несдержан в своих тратах на празднества и турниры и заимодавцы-купчишки перестали ссужать меня деньгами для новых проявлений галантной доблести, служащих к украшению рыцаря и одновременно прославляющих всю нацию. Говоря откровенно, мое желание увидеть новый строй в Англии было отчасти вызвано надеждой поправить свои материальные обстоятельства.

— Таким образом, неуспех ваших общественных начинаний в сочетании с расстройством частных дел и заставил вас искать приюта в Шотландии? — спросил помощник приора.

— Rem аси, — повторю я еще раз, — ответил сэръ Пирси. — И поступил я так не без основания, ибо если бы я не бежал, то, надо думать, мне бы пришлось болтаться на пеньковой веревке. Я так быстро собрался в путешествие, что едва успел сменить свой персиковый, вышитый золотом камзол генуэзского бархата на эту кирасу работы Бонамиго в Милане. Я помчался на север, рассчитывая, что мне лучше всего скрыться у моего высокородного кузена Нортумберленда, в одном из его многочисленных замков. Но когда я летел по направлению к Элнвику со скоростью звезды, стремительно падающей с неба, меня встретил около Норталлертона некто Генри Воган, слуга моего благородного родственника, который предупредил меня, что мне не следует являться к нему, ибо, согласно приказу, полученному им от английского двора, он вынужден будет меня немедленно арестовать и посадить в тюрьму.

— Со стороны вашего благородного родственника это было бы довольно жестоко, — заметил аббат.

— Как будто бы и так, милорд, — отвечал сэръ Пирси, — и тем не менее я по гроб жизни буду отстаивать честь моего высокородного кузена Нортум-

берленда. Во всяком случае, Генри Воган снабдил меня от имени моего кузена добрым конем, кошельком с золотом и дал мне двух пограничных стражников в провожатые. Они-то меня и провели такими путями и тропами, по которым ни один рыцарь, мне думается, со времен Ланселота и Тристрама не хаживал, в шотландское королевство, в поместье одного барона (по крайней мере он считает себя бароном), по имени Джулиан Эвенел, который и принял меня, если иметь в виду неожиданность моего приезда, согласно своим возможностям.

— А это, — заметил аббат, — должно быть, было весьма худо. Судя по тому, с какой жадностью он поглощает пищу, будучи в гостях, он, наверное, у себя дома никогда не ест досыта.

— Вы правы, сэр, то есть я хочу сказать — ваше высокопреподобие, — продолжал сэр Пирси. — Постная была у него еда, и хуже всего то, что мне еще пришлось расплачиваться за все при отъезде. Хотя, конечно, этот Джулиан Эвенел никаких денег с нас не брал, но он так бурно восхищался моим кинжалом, у которого рукоятка была чеканного серебра редкой работы (надо правду сказать, что по форме и красоте это оружие не имеет себе равных), что мне ничего другого не оставалось, как просить его принять этот кинжал от меня на память. Мне не пришлось его долго упрашивать: он тотчас же засунул его себе за грязный кожаный пояс, и уверяю вас, ваше преподобие, у меня на глазах благородный кинжал превратился вдруг в нож мясника.

— Такой роскошный подарок, — сказал отец Евстафий, — давал бы вам право прожить у него несколько долее.

— Высокочтимый сэр, — отозвался сэр Пирси, — ежели бы я у него еще оставался, то он бы у меня выманил все мое достояние, он бы меня ободрал как липку, могу в этом поклясться! Признаться сэр, он уже выпросил у меня мой запасной камзол и подговаривался к лосинам. Я принужден был перейти в спешное отступление, дабы меня не раздели донага. Этот грабитель с большой дороги, его оруженосец,

меня тоже пощипал: он отобрал у меня алый плащ и стальную кирасу, принадлежавшие моему пажу, с которым я вынужден был расстаться. К счастью, я вскоре получил письмо от моего сиятельного кузена, в котором он извещал, что сообщил вам обо мне и послал вам два сундука с моим платьем. В них должны находиться: мой великолепный камзол малинового шелка с разрезами, подбитый золотой парчой, с перевязью и всем прочим, что к нему полагается. Он был на мне, когда в последний раз при дворе играл театр. Затем черное шелковое трико — две пары, с подвязками алого цвета; шелковый же телесного цвета камзол, обшитый мехом, в котором я танцевал на маскараде; потом еще...

— Сэр рыцарь, — прервал его помощник приора, — прошу вас, не трудитесь перечислять все ваши наряды. Монахи обители святой Марии не похожи на баронов-грабителей, и все ваше платье, которое нам прислали, мы самым исправным образом привезли вам сюда, не вынимая его из сундуков. Мне кажется, я могу заключить как из того, что было сказано, так и из предварительного сообщения графа Нортумберленда, что вам сейчас желательно как бы притаиться, чтобы о вас забыли, если только это возможно при вашей известности и вашем высоком положении в свете.

— Увы, преподобный отец! — воскликнул придворный кавалер. — Лезвие, скрытое в ножнах, не будет сверкать; алмаз, спрятанный в футляре, не может блистать, — так и известность, которую приходится скрывать, не может привлекать внимания. Мой приезд в это убежище вызовет восхищение лишь у немногих, которые будут иметь возможность оценить его по достоинству.

— Я полагаю, высокопреподобный отец и милостивый лорд, — обратился помощник приора к аббату, — что ваша испытанная мудрость подскажет этому благородному рыцарю, как ему себя вести, чтобы одновременно обеспечить его безопасность и спокойствие нашей обители. Ибо вам известно, что

в наше нечестивое время делалось много дерзких попыток поколебать основы всех церковных установлений и что наша святая обитель не раз находилась под угрозой. До сих пор никто не мог обнаружить ни единого пятнышка на наших ризах. Но теперь при дворе нашей государыни взяла верх партия, сочувствующая как политическим целям королевы Англии, так и еретическому учению пресвитерианской церкви, а может быть, и более далеко идущей и более страшной ереси. И наша королева, при всем своем добром желании, не может уже больше оказывать должного покровительства своей гонимой церкви.

— Милорд и высокопреподобный владыка! — преврал его рыцарь. — Я с радостью освобожу вас от своего присутствия, чтобы вы имели возможность обсуждать этот предмет без помехи. Да и, по правде говоря, мне хочется поскорее проверить, в какой ящик камердинер моего сиятельного родственника уложил мой гардероб, и как он его уложил, и не пострадало ли мое платье в дороге. Там должны быть четыре наряда столь безукоризненного и элегантного покроя, что никакое воображение самой изысканной женщины не могло бы представить себе ничего лучше. При этом к ним прилагается еще по три перемены лент, кружев и бахромы, которые могут в случае необходимости по-новому оживить каждый наряд и четыре пары платья превратить в двенадцать пар. Там должен быть уложен и мой черный верховой костюм и три вышитых рубашки с ниспадающими лентами. Я очень прошу вас меня извинить, но я, право, должен все это проверить, и при том как можно скорее.

Сказав это, он удалился. Помощник приора проводил его выразительным взглядом, заметив:

— Кто о чем — у всякого своя забота.

— Господи, твоя воля! — воскликнул аббат, совершенно сбитый с толку безудержным многословием рыцаря. — Ведь можно же набивать себе голову одними шелками, бархатами, кружевами и прочей дрянью! И что это вздумалось графу Нортумберленду избрать

себе в качестве ближайшего друга и советника, да еще в столь важном и опасном деле, такого пустейшего вертопраха!

— Будь он иным, досточтимый отец, — отвечал помощник приора, — он бы менее подходил к роли козла отпущения, для которой его, вероятно, с самого начала готовил его высокородный кузен на случай возможного провала заговора. Я кое-что слышал об этом Пирси Шафтоне. Законность происхождения его матери из рода Пирси (к этому вопросу он относится чрезвычайно болезненно) подвергалась весьма большому сомнению. Если безрассудная отвага и доведенная до нелепости галантность могли бы быть приняты в расчет для доказательства того высокого происхождения, на которое он претендует, то он бы ни в чем ином не нуждался. А в общем, он один из тех современных заносчивых хлыщей, которые, по примеру Роуланда Йорка или Стьюкли и иже с ними, проматывают свое состояние и из пустого бахвальства подвергают свою жизнь опасности, и все для того, чтобы их считали первейшими рыцарями нашей эпохи. А когда им надо поправить свои делишки, они лезут в безумные авантюры и отчаянные заговоры, которые подготавливаются людьми много умнее их. Пользуясь его же напыщенным сравнением, такие самонадеянные дураки напоминают мне охотничьих соколов, которых расчетливые заговорщики держат на своей руке под колпаком и в полной тьме, спуская их на добычу, только когда в этом будет надобность.

— Мать божья! — забеспокоился аббат. — Какой это все-таки неподходящий гость для нашей мирной обители! Уж и без того наши молодые монахи слишком любят наряжаться, гораздо больше, чем это допустимо для служителей божьих, а тут этот рыцарь им всем вскружит головы, начиная с нашего ризничего и кончая последним поваренком.

— Нам надо опасаться худшей беды, — отозвался помощник приора. — Ведь в наше грешное время достояние церкви без зазрения совести продается и покупается, земли ее без стеснения описывают и от-

бирают, не делая никакой разницы с неосвященными владениями светских баронов. И вот представьте себе, какой казни нас могут подвергнуть, если узнается, что мы дали приют мятежнику, поднявшему бунт против той, кого именуют королевой Англии! Тут и английское войско придет нас грабить и жечь, и не будет недостатка и в местных, шотландских паразитах, выпрашивающих себе кусок монастырской земли. Жители Шотландии были когда-то настоящими шотландцами, неподкупными и пылавшими горячей любовью к родине, забывавшими все на свете, когда враг подступал к ее границам. А ныне, ныне они — как мне их назвать — одни из них французы, другие англичане, и те и другие с любопытством взирают, как на их родной земле, точно на подмостках ярмарочного балагана, дерутся иностранцы.

— Спаси нас господи! — отозвался аббат. — Истинно, по трудным, скользким путям приходится нам брести в наши дни.

— А посему, — продолжал отец Евстафий, — мы должны подвигаться вперед с большой осторожностью. В частности, нам никак не следует привозить в обитель святой Марии этого сэра Пирси Шафтона.

— Но куда же нам его девать? — возразил аббат. — Не забудьте, что он пострадал за святое дело церкви. И примите во внимание, что его покровитель, граф Нортумберленд, был нам всегда другом, а будучи вдобавок нашим соседом, он может причинить нам и добро и зло, в зависимости от того, как мы примем его родственника.

— Само собой разумеется, — отвечал помощник приора, — что как по этим причинам, так и по священному долгу христианского милосердия я бы советовал помочь этому человеку и поддержать его. Не посылайте его обратно к Джулиану Эвенелу — этот бессовестный барон не задумается обобрать ссыльного чужестранца до нитки. Пусть он остается здесь. Место это уединенное, и если даже условия жизни здесь для такой особы, как он, и неподходящие,

то тем больше оснований полагать, что здесь его искать не станут. А мы, со своей стороны, постараемся по возможности облегчить ему пребывание в башне.

— А ты полагаешь, что его можно будет уговорить? — спросил аббат. — Хотя я оставляю ему свою дорожную постель и пришлю сюда мягкое кресло.

— При таких удобствах ему не на что будет жаловаться, — отозвался помощник приора. — А ежели вдруг возникнет какая-либо опасность, он легко сможет добежать до монастыря, где мы его спрячем, пока не появится возможность переправить его в безопасное место.

— А не лучше ли бы было сейчас же отправить его ко двору нашей королевы и избавиться от него раз и навсегда?

— Да, но мы подвели бы этим наших друзей. Этот мотылек сложит свои крылышки и заползет в щель, прячась здесь, в Глендеарге, от холодного ветра. Но попади он в Холируд, тут уж он непременно с риском для жизни распустил бы свои пестрые крылья на глазах у королевы и всего двора. Он не упустил бы случая отличиться, он весь бы вывернулся наизнанку, чтобы добиться расположения нашей всемилостивейшей государыни. И он добился бы того, что в течение каких-нибудь трех дней все глаза были бы устремлены на него, и мир, царящий между двумя державами, был бы поставлен под угрозу ради какой-то глупейшей мошки, которая не может удержаться, чтобы не покружиться вокруг огня.

— Ты убедил меня, отец Евстафий, — заявил аббат, — на этом мы и порешим. Но я несколько улучшу твой план. Я потихоньку пошлю ему не только кое-чего из домашних вещей, но и вина и пшеничного хлеба. Тут есть один юноша, который весьма искусно стреляет оленей. Я велю ему следить за тем, чтобы у рыцаря всегда была свежая дичь.

— Безусловно, это наша обязанность постараться скрасить ему жизнь; лишь бы не было риска, что его здесь обнаружат.

— Мы сделаем еще больше. Я сейчас же отправлю службу к брату хранителю ризницы, дабы он

нынче же прислал сюда все, что может понадобиться рыцарю для ночлега. Позаботьтесь об этом, ваше преподобие.

— Все будет сделано, — отвечал помощник приора. — Но я слышу, как этот простофиля кричит, чтобы ему помогли завязать тесемки на платье. Его счастье, если кто-либо здесь согласится стать его камердинером.

— Однако пора бы ему и возвратиться, — произнес аббат. — Брат келарь спешит сюда с дымящимся блюдом. Клянусь честью, от верховой езды у меня разыгрался волчий аппетит.

Глава XVII

Я поищу себе другой подмоги!
Ведь, говорят, кругом порхают духи,
Как рой пылинок в солнечном луче.
И, если магии они подвластны,
Они слетятся и дадут совет.

Джеймс Дафф

Теперь мы снова привлечем внимание читателя к Хэлберту Глендинингу, покинувшему башню Глендеарг тотчас же после ссоры с новым ее гостем — сэром Пирси Шафтоном. В то время как он чуть не бежал вверх по ущелью, старый Мартин, следовавший за ним по пятам, умолял его успокоиться.

— Хэлберт, — говорил ему старый слуга, — ты никогда не доживешь до седых волос, если будешь приходить в бешенство из-за всякого пустяка.

— Очень мне нужны твои седые волосы, — отвечал ему Хэлберт, — если всякий дурак будет безнаказанно избирать меня мишенью для своих издевок. Какой смысл жить, как ты живешь, старик? Вечно куда-то спешить, потом спать, чтобы, проснувшись, кое-как поесть и опять ложиться на жесткий тюфяк? Что хорошего трудиться с раннего утра не покладая рук, чтобы вечером, едва волоча ноги от усталости, только и мечтать об отдыхе? Не лучше

ли заснуть, чтобы уж не просыпаться, чем вечно от тяжелой работы переходить к тупому бесчувствию и от бесчувствия — снова к работе?

— Господи помилуй нас, грешных! — отвечал Мартин. — Может, и есть правда в том, что ты говоришь, но, пожалуйста, не спеши так: моим старым ногам за твоими молодыми не угнаться, идем потише, и я тебе объясню, почему, хотя старость не радость, а все же с ней можно примириться.

— Ну что же, говори, — согласился Хэлберт, умеряя свой шаг, — но только помни: нам надо еще пристрелить оленя на потребу святым отцам. Как видно, они устали до смерти, сделав в одно утро целых десять миль, а если мы не дойдем до Броксберна, не видать нам оленьих рогов.

— Вот что я тебе скажу, милый мой Хэлберт, ведь я тебя люблю как родного сына, — начал Мартин. — Я смиренно буду ждать, пока не придет мой час, потому такова воля моего создателя. Да, конечно, живется мне не сладко, зимой я дрожу от холода, а летом изнываю от жары, а все же, хотя питаюсь я скудно и сплю жестко и все презирают меня в моей низкой доле, все же, думается мне, что, будь я вовсе никчемный человек, давно бы меня господь призвал к себе.

— Бедный старик, — отвечал Хэлберт, — может ли такое пустое утешение, которое ты себе придумал, примирить тебя с твоей жалкой участью?

— Участь моя была так же жалка, а сам я был так же нищ и убог, когда мне удалось спасти свою госпожу и ее дочь от неминуемой гибели.

— Правильно, Мартин! — воскликнул Хэлберт. — Один этот поступок может служить оправданием всей твоей никчемной жизни.

— А что я могу преподать тебе урок терпения и научить тебя покорности воле провидения, Хэлберт, это ты ни во что не ставишь? Я так нахожу, что мои седины на что-нибудь да пригодны, — хотя бы на то, чтобы удержать от безрассудства горячую молодую голову.

Хэлберт опустил глаза и замолчал на минуту, но затем возобновил разговор.

— Мартин, — спросил он, — ты не заметил во мне перемены с некоторых пор?

— Безусловно, — ответил Мартин. — Прежде ты был необуздан, вспыльчив, опрометчив в суждениях и безрассуден в поступках. А теперь хотя ты по-прежнему горяч, но ведешь себя так сдержанно и достойно, как никогда раньше. Ну, точно ты заснул простым деревенским парнем, а проснулся джентльменом.

— А ты знаешь, как ведут себя джентльмены? — спросил Хэлберт.

— А как же, — откликнулся Мартин. — Кое-что я в этом смысле. Мы побывали с моим покойным господином Уолтером Эвенелом и в городе, и при дворе, и на поле битвы. Правда, он так и не смог меня отблагодарить, кроме того, что подарил мне участок земли на вершине холма, где я пас голов сорок овец. А все-таки даже вот сейчас, когда я с тобой разговариваю, я замечаю, что выражаюсь иначе, чем мне привычно, и — не знаю почему — вместо простого шотландского наречия изъясняюсь по-городскому.

— А откуда такая перемена в тебе или во мне, ты не знаешь?

— Перемена? Нет, клянусь моим спасением, тут не перемена, а мне приходят опять на память те мысли, а на язык те слова, что я говорил лет тридцать назад, когда мы с Тибб еще не поженились. Это очень странно, что теперь ты, Хэлберт, действуешь на меня так, как раньше никогда не бывало.

— А тебе не кажется, Мартин, что во мне теперь появилось что-то такое, что поможет мне подняться из моего жалкого, низменного, презренного звания и поставит на одну доску с теми гордцами, что ныне издеваются над моей бедностью и простотой?

Помолчав с минуту, Мартин отвечал:

— Есть в тебе это, Хэлберт, безусловно есть. Бывает, конечно, что и простой конь породистого скакуна обскочет. Не приходилось тебе слышать о Хьюге Дене,

который ушел с монастырских земель, лет этак тридцать пять назад? Смышленный парень был этот Хьюг — читать и писать умел не хуже любого священника, а с мечом и со щитом управлялся лучше всякого воина. Я его хорошо помню — другого такого среди монастырских ленников нет и не было, зато и возвысил его господь превыше всех.

— А что с ним случилось? — спросил Хэлберт с горящими от возбуждения глазами.

— А то с ним случилось, — отвечал Мартин, — что он сделался доверенным слугой самого архиепископа Сент-Эндрю.

Хэлберт разочарованно спросил:

— Слугой? Да еще у священника? И только этого он и достиг, несмотря на все свои познания и способности?

Мартин, в свою очередь, взглянул на своего молодого друга с грустным удивлением:

— А на что же еще он мог рассчитывать? — ответил он. — Сын церковного вассала не из того теста сделан, чтобы стать рыцарем или лордом. Ни храбрость, ни школьная премудрость не могут, по-моему, мужичью кровь обратить в кровь благородную. Но все же я слышал, что Хьюг Ден оставил добрых пятьсот шотландских фунтов своей единственной дочери, и она вышла замуж за судью в Питтенуиме.

Хэлберт еще раздумывал, что ему ответить, как вдруг на тропинку выскочил олень. В мгновение ока арбалет взлетел к плечу юноши, стрела свистнула, и олень, подскочив в последний раз, пал бездыханным на зеленый дерн.

— Вот и оленина, которую нам заказала госпожа Элспет, — сказал Мартин. — Кто бы мог подумать, что горный олень спустится так низко в долину в это время года? И какая гладкая да сытая животиная — жиру на ней будет, поди, пальца с три. Везет же тебе, Хэлберт, во всем тебе удача! Если бы ты поступил в монастырские стражники, ты, наверно, разъезжал бы верхом в красном камзоле и из всех из них был бы самый лихой.

— Молчи, старик,— отвечал Хэлберт.— Если я когда-нибудь и буду служить, то только моей королеве. Потрудись отнести оленью тушу в башню, раз ее там ждут. А я сам отправлюсь на большое болото. Я засунул за кушак на всякий случай парочку легких стрел: может быть, подстрелю болотную куропатку.

Он прибавил шагу и скоро исчез из виду. Мартин остановился и посмотрел ему вслед: «Из этого мальчугана выйдет толк, ежели только его не погубит честолюбие. Служить королеве! Клянусь честью, у нее на службе найдутся люди и похуже его. Я в этом уверен. А почему бы ему и не держать голову высоко? Кто хочет взобраться на вершину, тот до половины горы уж наверняка доберется. А кто мечтает о золотом платье, тот хоть один рукав себе да отхватит». Ну что ж, дружок! — Эти слова были обращены к убитому оленю. — Пойдем-ка теперь в Глендеарг на моих на двоих. Конечно, не так это будет быстро, как ежели бы ты сам бежал на своих резвых четырех, но.. Нет, сударь мой, ты что-то уж больно тяжел. Возьму-ка я с собой окорок и переднюю часть, а остальное схороню пока здесь под дубом, а затем ворочусь сюда на лошади...»

В то время как Мартин с олениной возвращался в башню, Хэлберт продолжал свой путь. Он свободнее вздохнул, когда освободился от спутника. «Доверенный слуга у ленивого и заносчивого попа, камердинер архиепископа Сент-Эндрю,— повторял он про себя.— Всю жизнь бороться только ради этого и ради чести породниться с судьей из Питтенуима и считать, что это награда за прошлое, настоящее и будущее, что это предел мечтаний для сына церковного вассала! Боже мой, если бы мне не было так отвратительно грабить по ночам честной народ, я бы, кажется, надел кольчугу, вооружился копьем и поступил в пограничные всадники. Но на что-то мне все-таки надо решиться! Нельзя больше оставаться униженным и оскорбленным и терпеть издевательства от первого попавшегося кривляки иностранца, забредшего к нам с юга, у которого одно достоинство, что он носит звенящие шпоры на рыжих сапогах. Я вызову

это неведомое существо, этот призрак, будь что будет! С тех пор как я говорил с ним, прикоснулся к нему, во мне зародились такие мысли и такие чувства, о которых я прежде и понятия не имел. И вот теперь, когда даже мое родное ущелье становится для меня тесным, я должен переносить чванное зубоскальство придворного кавалера, да еще при Мэри Эвенел! Нет, клянусь небом, я этого не потерплю!»

Рассуждая таким образом, он добрался до отдаленной расселины в горах, именуемой Корри-нан-Шиан. Время подходило к полудню. Некоторое время он стоял задумавшись, смотря на текущий родник, стараясь представить, какой прием окажет ему Белая дама. Она ему, собственно, не запретила вызвать ее еще раз. Но в ее прощальных словах, когда она ему советовала дожидаться иного руководителя, звучало что-то похожее на запрещение.

Впрочем, Хэлберт Глендининг не привык долго раздумывать. Решительность и смелость лежали в основе его характера, а недавняя перемена, происшедшая с ним и как бы обострившая все чувства, только усилила эти свойства. Он обнажил свой меч, скинул башмак с ноги, трижды почтительно поклонился источнику и трижды — остролисту и повторил уже сослужившее ему службу заклинание:

— Трижды в роще молю: «Отзовись!»
Там, где песня ручья прозвенела!
Я прошу тебя: «Пробудись,
Белая дева из Эвенела!»

Полдень... На озере волны зажглись,
Полдень... Гора от лучей заалела...
Я прошу, прошу, пробудись,
Белая дева из Эвенела!

Его глаза были устремлены на куст остролиста, когда он произносил последние слова, и вдруг он невольно содрогнулся, так как воздух между ним и деревом помутнел и как бы сгустился в неясный облик женской фигуры. Но это начальное появление при-

зрака было еще настолько слабым и фигура оставалась до такой степени прозрачной, что он сквозь нее, как сквозь тонкую вуаль, мог различать ветви и листья кустарника. Однако мало-помалу видение принимало все более отчетливые очертания, и, наконец, Белая дама явилась перед ним. На лице ее было написано неудовольствие. Она заговорила, и речь ее по-прежнему была пением или скорее напевной декламацией, ибо, привыкнув к общению с ней, Хэлберт начал различать отдельные белые стихи в общем потоке песенной мелодии.

— Сегодня всем духам и феям надо
Лить слезы над участью горькой своей:
И, вторя ветру, вздыхает дриада,
И плачет наяда в гротах морей.
Свершилось в этот день искупленье,
Но к нему непричастен призраков род:
Лишь детям праха дано спасенье,
Увы, а не духам лесов и вод.
Того неизбежно беда постигает,
Кто в пятницу утром духа встречает.

— Нездешний дух! — смело начал Хэлберт Глендининг. — Бесполезно угрожать тому, кто свою жизнь в грош не ставит. Смертью грозит мне твой гнев. И все-таки я не думаю, чтобы ты захотела или могла меня уничтожить. Я не подвержен тому ужасу, который вы, призраки, внушаете обыкновенным смертным. Душа моя избавилась от страха, познав отчаяние. Если небо, как ты сама говоришь, о нас, людях, больше заботится, чем о вас, мое дело взывать к тебе, а твое — откликаться. Ведь я существо высшего порядка!

Пока он говорил, Белая дама не сводила с него сурового и гневного взора. Лицо ее как будто не изменилось, но приобрело не свойственное ему ранее напряженное и мрачное выражение. Глаза сузились и засверкали, легкая судорога пробежала по ее чертам, и, казалось, призрак вот-вот превратится в нечто отвратительно-страшное. Такие лица представляются

горячечному всоображению курильщиков опиума, сперва поражая их своей красотой, а затем внезапно превращаясь в страшных уродов.

Однако, когда Хэлберт заключил свою отважную речь, перед ним вновь стояла прежняя Белая дама, с тем же печальным выражением на бледном, спокойном лице. А он ожидал, что ее волнение закончится какой-либо ужасающей метаморфозой. Скрестив руки на груди, видение отвечало ему:

— Дерзкий юнец! Удача твоя,
Что встретился ты со мной у ручья,
Что сердце твое не дрожало,
Что храбрость прочь не бежала,
Что не был ты страхом объят
И вынес ты гневный взгляд
Белой дамы из Эвенела!
А вздрогнул бы ты хоть на миг
Иль робко взором поник —
Прочь душа бы твоя отлетела.
Хоть во мне все небо голубое,
И в жилах кровь течет росой,
А ты — лишь праха темный след.
Ты говори — я дам ответ!

— Объясни же мне, — спросил юноша, — благодаря какому наваждению произошла такая перемена в моем сознании и в моих мечтах, что я перестал думать об оленях и собаках, о луке и стрелах, что теперь душа моя отвращается от всего, что раньше привязывало ее к этому тесному ущелью? Отчего теперь вся кровь во мне закипает при одной мысли о ненавистном человеке, у стремени которого я бы в свое время бежал целое утро, радуясь каждому его милостивому слову? Почему теперь я жажду общения с принцами крови, рыцарями и дворянами? Неужели я тот самый человек, который еще вчера спокойно прозябал в неизвестности, а сегодня воспрянул, горя честолюбием и желанием славы? Скажи, ответь мне, если можешь, откуда такая перемена? Околдован ли я, или я раньше находился во власти чар? Я чувствую,

что теперь я совсем другой человек, и в то же время
сознаю, что это по-прежнему я. Скажи, открой мне,
не твоему ли злиянию я обязан этим превращением?

Белая дама отвечала:

— Всесильный чародей объял
Весь мир своею мощью:
Орла над грудой горных скал
И горлиц в темной роще.
В людских сердцах свою игру
Ведет властитель строгий:
От блага к злу, от зла к добру
В лачуге и в чертоге.

— Не говори так загадочно, — взмолился юноша,
краснея до того, что его лицо, шея и руки побагро-
вели, — дай мне яснее понять твои слова.

Дух продолжал:

— Твоим сердцем завладел
Образ Мэри Эвенел!
Гордеца берет досада
От презрительного взгляда.
Да, мечтою ты объят
Встать к могучим, к мудрым в ряд!
Жребий низкий отвергая,
Все забавы забывая,
В стан бойцов ты хочешь встать:
Счастье взять иль жизнь отдать!
Сердце ты свое спроси-ка,
И оно в тоске великой
Скажет: «Вечный твой удел —
Образ Мэри Эвенел!»

— Скажи же мне тогда, — отвечал Хэлберт, в то
время как краска по-прежнему заливала ему щеки, —
скажи, ты, открывшая мне то, в чем я до сей поры
сам не смел себе признаться, как мне объяснить ей
мои чувства, как мне сообщить ей о моей любви?

Белая дама отвечала:

— Не спрашивай меня,
Не разреши сомнений я!

Мы созерцаем терпеливо
Страстей приливы и отливы,
Всех чувств блистательный парад...
Так северным сияньем взгляды
Пленен, когда лучи сияют
И в небе радугой играют,
И оторваться — силы нет!
Но словно лед полярный свет.

— Но ведь твоя собственная судьба, — возразил ей Хэлберт, — если только люди не ошибаются, тесно связана с судьбою смертных?

Видение отвечало:

— Таинственные узы наше племя
Связуют с поколением людей.
Звезда взошла над домом Эвенелов,
Когда нормандец Ульрик в первый раз
Себе присвоил, принял это имя.
И вот звезда, в зените засияв,
Роняет вниз слезу росы алмазной,
И падает она сюда, в ручей...
И Дух возник из этого потока:
Он сроком жизни с домом Эвенелов
И с царственной звездой навеки связан.

— Говори же яснее, — молвил молодой Глендиннг, — я совсем перестал тебя понимать. Скажи мне, что связало твою судьбу с домом Эвенелов? И прежде всего открой мне, какой рок преследует этот дом?

Белая дама отвечала:

— Взгляни на пояс мой, на нить золотую:
Она легчайшей паутинки тоньше...
Когда бы не заклятие на ней,
Она б мой белый плащ не обвивала.
Сперва была она тяжелой цепью,
Какою мог быть скован и Самсон,
Пока его коварно не остригли.
Но эта цепь все тоньше становилась
С падением величья Эвенелов...

Когда же нить истертая порвется,
В стихиях мира вновь я растворюсь.
Не задавай ты мне вопросов больше,
Мне звезды запрещают отвечать!

— Ты умеешь читать по звездам? И можешь сказать мне, что будет с моей любовью, если ты не в силах ей помочь?

Белая дама снова отвечала:

Блиставшая над домом Эвенелов
Когда-то ярко, меркнет уж звезда...
Она тускнеет, как фонарь с рассветом,
Когда уходит сторож с маяка.
Печальное, зловещее влияние
Неумолимо, пагубно растет:
Соперничество, гибельные страсти
И ненависть — вот что грозит в грядущем!

— Соперничество, говоришь ты? — повторил Глендининг. — Так, значит, мои опасения подтвердились! Неужели же этот английский червь, заползший в мой родной дом, будет безнаказанно издеваться надо мной, да еще в присутствии Мэри Эвенел? Дай же мне, высокий дух, возможность помериться с ним силами — помоги мне преодолеть ту разность сословий, благодаря которой он отказывается от поединка. Дай мне возможность сразиться с ним как равный с равным, и что бы ни предвещали мне звезды со всего небосклона, мой отцовский меч сумеет противостоять их влиянию.

Белая дама отвечала с такою же готовностью, как всегда:

— Юнец, ты на меня не злись:
К беде влеку я, берегись!
Мы духи, нет у нас в крови
Ни ненависти, ни любви.
Порыв иль мудрость верх возьмет?
Мой дар добро иль зло несет!

— О, дай мне восстановить мою честь, — продолжал Хэлберт Глендининг, — дай мне отплатить сторицей

моему гордому сопернику за все обиды, которые он мне нанес, а потом — будь что будет. А если мне не удастся ему отомстить, я усну вечным сном и не буду ничего знать о моем позоре.

Призрак не замедлил с ответом:

— Как Пирси-хвастуна унять?

Иглу лишь стоит показать!

На запад солнце держит путь...

Пора! Прощай и счастлив будь!

Сказав или, вернее, пропев эти слова, Белая дама извлекла из своих кудрей серебряную иглу и передала ее Хэлберту Глендинингу. Затем она встряхнула головой так, что волосы ее рассыпались по плечам, и очертание ее фигуры стало таким же волнистым, как ее волосы, лицо побледнело, как молодой месяц, весь облик ее подернулся туманом, и постепенно она растаяла в воздухе.

К чудесам тоже привыкаешь, но все-таки юноша, оставшись один у источника, еще раз испытал, хоть и в гораздо меньшей степени, тот внезапный ужас, который охватил его, когда призрак исчезал перед ним в первый раз. Но теперь страшное сомнение отягчало его душу: мог ли он с чистой совестью пользоваться дарами потустороннего существа, которое даже и не выдавало себя за небесного ангела, а может быть (как знать?), принадлежало к гораздо более опасному разряду духов, чем оно уверяло. «Я поговорю об этом с Эдуардом, — сказал он себе, — он знаком с церковной наукой и посоветует мне, что делать. Хотя нет, не стоит: Эдуард слишком шепетилен и осторожен. Я испытаю действие ее дара на самом Пирси Шафтоне, если он еще раз вздумает меня задеть, и тогда узнаю по исходу дела, не опасно ли прибегать к помощи Белой дамы. А теперь — домой, домой! И мы скоро узнаем, долго ли мне суждено оставаться в родном доме, ибо я не намерен больше терпеть оскорбления на глазах у Мэри Эвенел, когда отцовский меч висит у меня на боку.

Глава XVIII

«Дам восемнадцать пенсов
в сутки,
Ты будешь лучник мой!
Тебя назначу я владыкой
Над северной страной». —
«А я, — сказала королева, —
Тебе тринадцать дам!
Ты их получишь без помехи,
Когда захочешь сам».

Уильям Клаудсли

Обычаи той эпохи препятствовали обитателям Глендеарга принять участие в полднике, поданном в большой зале старой башни для лорда-аббата со свитой и сэра Пирси Шафтона. Госпожа Глендининг не могла быть к нему допущена как по причине ее низкого происхождения, так и потому, что она была женщина, ибо настоятелю обители святой Марии возбранялось (хотя этим запрещением часто пренебрегали) вкушать пищу в женском обществе. Первое из этих соображений касалось и Эдуарда Глендининга, а второе — Мэри Эвенел. Однако его высокопреподобию угодно было пригласить их всех в залу, дабы несколькими милостивыми словами отблагодарить за оказанный ему любезный и радушный прием.

Дымящийся окорок уже стоял на столе, а белоснежная салфетка была с должной почтительностью завязана братом келарем вокруг шеи аббата, и ничто, казалось, не препятствовало началу трапезы, если бы не отсутствие сэра Пирси Шафтона. Но вот и он появился, сияя, как солнце, в алом бархатном камзоле с прорезями, подбитом серебряной парчой, и в шляпе новейшего фасона, тулью которой обвивала металлическая лента тонкой ювелирной работы. На шее у него красовалось золотое ожерелье, украшенное рубинами и топазами, столь драгоценное, что становилась понятна его тревога о сохранности багажа, видимо обусловленная не только пристрастием к мишуре. Это роскошное ожерелье (или скорее цепь, напоминавшая те цепи, что носили рыцари самых высоких орденов) ниспадало ему на грудь и заканчивалось медальоном.

— Вы заставили нас дожидаться, сэр Пирси Шафтон, — заметил ему аббат, с поспешностью усаживаясь в кресло, услужливо подвинутое к столу братом кухарем.

— Прошу прощения, досточтимый отец и милостивый лорд, — отвечал этот образец галантности. — Мне пришлось несколько задержаться, чтобы скинуть с себя дорожные доспехи и преобразиться в иной вид, более пристойный для столь избранного общества.

— Не могу не воздать хвалу вашей учтивости, — сказал на это аббат, — а также вашему благоразумию, поскольку вы избрали надлежащее время, чтобы предстать пред нами в полном блеске. Конечно, если бы эту дорогую цепь заметили где-нибудь во время ваших недавних путешествий, то очень возможно, что ее законному владельцу пришлось бы с ней расстаться.

— Эта цепочка, ваше высокопреподобие? — отозвался сэр Пирси. — Но это же безделка, пустяк, мелочь, имеющая жалкий вид на этом камзоле... Иное дело, когда я надеваю камзол темно-вишневого генуэзского рытого бархата с прорезями кипрского шелка, тогда эти камни, выделяясь на более густом и темном фоне, напоминают своим блеском звезды, сверкающие сквозь темные тучи.

— Я несколько в том не сомневаюсь, — ответил аббат. — А теперь прошу вас к столу.

Но сэр Пирси оседлал своего любимого конька, и его уже было не так-то легко остановить.

— Я допускаю, — продолжал он, — что как ни пустячна эта безделица, она могла при случае прельстить Джулиана. Матерь божья! — воскликнул он, спохватившись. — Что же я такое говорю, и в присутствии моего чуткого, моего очаровательного Покровительства, или, вернее сказать, моей Деликатности! Сколь неделикатно было бы при вашей Приветливости, мое прелестное Покровительство, услышать от меня неосторожное словечко, вырвавшееся из плена моих уст и перескочившее через ограду Благопристойности, чтобы тем самым нарушить владения Этикета.

— О господи! — воскликнул несколько нетерпеливо аббат. — Наибольшая деликатность в настоящее время, по-моему, заключается в том, чтобы не дать остыть нашему жаркому. Отец Евстафий, прочитайте молитву и нарежьте окорок.

Помощник приора с готовностью выполнил первое распоряжение аббата, но помедлил с исполнением второго.

— Нынче пятница, ваше высокопреподобие, — сказал он по-латыни, стремясь, чтобы этот намек по возможности не достиг ушей чужестранца.

— Мы с вами путешественники, — возразил аббат, — *viatoribus licitum est*.¹ Вы знаете каноническое правило: путешественник довольствуется той пищей, которую предоставляет ему его суровая доля. Я даю вам всем на сегодня разрешение от поста, с тем что вы, братия, прочтете покаянную молитву перед отходом ко сну, а рыцарь раздаст милостыню по своим возможностям, и затем, в следующем месяце каждый из вас, в наиболее удобный день, воздержится от употребления мяса. А теперь принимайтесь вкушать предложенные яства с веселым духом. А ты, брат келарь, *da mixtus*.²

Пока аббат определял условия, при которых слабость человеческая получит его прощение, он сам уже наполовину справился с куском благородной оленины и теперь запивал его рейнвейном, слегка разбавленным водой.

— Справедливо говорится, — заметил он, делая знак келарю, чтобы тот отрезал ему еще кусок жаркого, — что добродетель сама себя вознаграждает. Например, это незамысловатое и наспех приготовленное блюдо мы вкушаем в неказистом помещении, и тем не менее я не помню, чтобы когда-либо ел с таким аппетитом с тех самых пор, как я был простым чернецом в Дандренанском аббатстве и работал в саду с восхода солнца и до полудня, пока наш аббат не ударит в кимвал. Тогда я спешил в трапезную,

¹ Путешественникам это позволительно (лат.).

² Дай разбавленного (лат.).

голодный, с пересохшим горлом (*da mihi vinum, quaeso, et merum sit*¹), и набрасывался с жадностью на любую еду, которую нам давали согласно уставу. Скоромный или постный день, *caritas*² или *penitentia*³ — это было мне безразлично. В те времена мне не приходилось жаловаться на желудок, а теперь мне требуется и вино и деликатная пища, иначе все будет невкусно и пищеварение мое расстроится.

— Может быть, преподобный отец, — сказал на это помощник приора, — если вы будете изредка посещать отдаленные пределы наших монастырских земель, то это окажет столь же благотворное влияние на ваше здоровье, как и чистый воздух дандренанских садов?

— Возможно, что по милости нашей пречистой покровительницы такие поездки могут пойти нам на пользу, — ответил аббат, — в особенности если еще при этом позаботиться, чтобы дичь, подаваемая к нашему столу, была убита по всем правилам каким-либо опытным стрелком, знающим свое дело.

— Если лорд-аббат позволит мне сделать замечание, — вмешался в разговор брат кухарь, — я нахожу, что наилучшим способом удовлетворить желания вашей милости в этом существенном вопросе было бы нанять в качестве ловчего или лесничего старшего сына этой почтенной женщины, госпожи Глендининг, которая здесь присутствует и подает нам кушанья. Мне ли по моей должности не знать, как должно убивать дикого зверя, и я по совести могу вас заверить, что ни мне, ни какому-либо другому *coquinaarius*⁴ еще не приходилось видеть столь меткого выстрела. Он с налета попал оленю прямо в сердце.

— Что это вы толкуете об одном удачном выстреле, отец мой! — возразил сэр Пирси. — Я должен вам заметить, что один удачный выстрел еще не делает хорошего стрелка, как одна ласточка не делает весны.

¹ Дай мне вина, прошу, и пусть оно будет неразбавленным (лат.).

² Благодать (лат.).

³ Покаяние (лат.).

⁴ Повару (лат.).

Впрочем, я видел этого молодца, и если с его тетивы стрелы слетают столь же быстро, как дерзкие речи — с его языка, я готов признать его таким же великолепным стрелком, как Робин Гуд.

— Вот что, — сказал аббат. — Пора внести в это дело ясность, расспросив хозяйку дома. Необдуманно было бы с нашей стороны принимать опрометчивые решения, благодаря чему щедроты, дарованные нам провидением и нашей пречистой покровительницей, оказались бы в неумелых руках и сделались негодны для употребления достойными людьми. Посему подойди к нам ближе, господа Глендининг, и открой своему мирскому повелителю и духовному владыке чистосердечно и правдиво, без страха и сомнения, учитывая, что это дело серьезное, действительно ли сын твой столь искусно владеет луком, как утверждает брат кухарь?

— С позволения вашего высокопреподобия, — отвечала господа Глендининг, присев весьма низко, — я кое-что смыслю в стрельбе из лука, поскольку супруг мой, да упокоит господь его душу, был пронзен стрелой в бою при Пинки, сражаясь под церковным знаменем, как верный вассал святой обители. Он, с разрешения вашей милости, был храбрый солдат и честный человек. И если не считать, что он иногда соблазнялся подстрелить оленя и одно время добывал себе пропитание тем же способом, что другие пограничники, я иных грехов за ним не знаю. И все же, хоть я и служила по нем одну заупокойную мессу за другой, и обошлось мне это в сорок шиллингов, не считая целой четверти пшеницы и четырех мешков ржи, я все-таки и сейчас не убеждена, что его выпустили из чистилища.

— Женщина, — сказал ей лорд-аббат, — мы отнесемся ко всему этому с должным вниманием. И если твой муж, как ты говоришь, пал, защищая дело церкви и под ее знаменем, будь уверена, что мы вызовим его из чистилища, при условии, конечно, что он там находится. Но сейчас мы намереваемся говорить не о твоём супруге, а о твоём сыне. Не о застреленном шотландце, а о подстреленном олене. А посему

я прошу тебя, отвечай мне на следующий вопрос: искусен ли твой сын в стрельбе из лука? Да или нет?

— Увы, достопочтенный лорд!— отвечала вдова.— Если бы я могла сказать, что неискусен, моя пашня была бы лучше возделана. Отличный стрелок? Прав, святой отец, желала бы я, чтобы он отличался в чем-нибудь ином... так как он стреляет и из арбалета, и из большого лука, и из пищали, и из фальконета, и из кулеврины. И если, скажем, заблагорассудится этому высокочтимому джентльмену, нашему гостю, отойти на сто ярдов со шляпой в руке, то Хэлберт пронзит ее стрелой, дротиком или пулей (если только высокочтимый джентльмен не задрожит, а будет держать ее крепко), и я прозакладываю четверку ячменя, что он не заденет ни одной ленточки. Я видела, как он это проделывал с нашим старым Мартином, и достопочтенный помощник приора тоже это видел, если он соблаговолит об этом вспомнить.

— Едва ли я это когда-нибудь забуду, госпожа Глендининг, — сказал отец Евстафий, — ибо я не знал, чему отдать предпочтение: самообладанию ли юного стрелка или выдержке старика. Все же я не стану советовать сэру Пирси Шафтону подвергать свою драгоценную шляпу — и, более того, свою драгоценную особу — такому риску, разве что он найдет в этом особенное удовольствие.

— Будьте уверены, что не найду, — возразил сэру Пирси Шафтон с некоторой поспешностью. — Будьте вполне уверены, святой отец, что не найду. Я не оспариваю достоинств этого юноши, поскольку ваше предположение за него ручается. Но лук — это только палка, а тетива — вервие из льна или, в лучшем случае, из выделений шелковичного червя. И сам стрелок — только человек, чьи пальцы могут соскользнуть и чей взор может помутиться, ибо бывает, что подслеповатый попадет прямо в цель, а прославленный стрелок промахнется и угодит невесть куда. А посему не следует нам затевать опасных опытов.

— Да будет так, как вы говорите, сэру Пирси, — заключил аббат. — А мы между тем назначим этого юношу ловчим в лесах, дарованных нам покойным

королем Давидом, для того чтобы мы охотой возрождали наш утомленный дух, дабы мы могли оленьей разнообразить наш скудный стол и дабы мы не ощущали нужды в коже для переплета книг нашей библиотеки. Таким образом, он одновременно проявит заботу как о наших телесных, так и о духовных нуждах.

— На колени, женщина! — в один голос воскликнули брат келарь и брат кухарь, обращаясь к госпоже Глендининг — На колени, и облобызай руку его высокопреподобия за милость, оказанную твоему сыну.

И тут они принялись перекликаться на два голоса, точно распевая антифоны на клиросе, перечисляя все выгоды, связанные с должностью ловчего:

— Зеленый кафтан с кожаными штанами на троицу, — начал брат кухарь.

— Четыре марки денег на сретение, — откликнулся брат келарь.

— Бурдюк крепкого эля ко дню святого Мартина и простого пива вволю, если договориться с кладовщиком.

— А он человек рассудительный, — заметил аббат, — и никогда не откажет в поощрении ревностному служителю монастыря.

— Добрую миску похлебки и большой кусок баранины или говядины сможет получить на кухне каждый праздник, — продолжал кухарь.

— Бесплатно пасти двух коров и лошадь на монастырских лугах, — подхватил келарь.

— Волчья кожа на сапоги будет даваться ежегодно, чтобы продираться сквозь заросли и колючки, — отозвался кухарь.

— И разные иные блага, quae nunc praescribere longum,¹ — заключил аббат своим внушительным голосом, как бы подводя итог перечню выгод, сопряженных с должностью монастырского ловчего.

Госпожа Глендининг между тем стояла на коленях, машинально обращая свое лицо от одного церковнослужителя к другому, поскольку они находились

¹ Которые долго перечислять (лат.).

от нее справа и слева, и весьма напоминая, таким образом, заводную фигурку на башенных часах. Как только они замолкли, она благоговейно приложила к руке щедрого и многомилостивого аббата. Однако, памятуя о том, как ее сын бывает иногда несговорчив, она, горячо благодаря аббата за его великодушное предложение, не могла не выразить робкой надежды, что Хэлберт окажется достаточно благоразумным, чтобы его принять.

— Как это принять? — нахмурил брови аббат. — Женщина, что он, не в своем уме, твой сын?

Грозный тон, каким был задан этот вопрос, настолько смутил Элспет, что она была не в силах ответить. Впрочем, любой ее ответ вряд ли был бы слышан, так как оба должностных лица при столе аббата соблаговолили вновь начать свою перекличку:

— Отказаться! — поразился кухарь.

— Отказаться! — отозвался келарь с еще большим изумлением. — Отказаться от четырех марок в год! — продолжал он.

— А эль и пиво, а похлебка и баранина, а даровой прокорм коров и лошади! — возопил кухарь.

— А кафтан, а кожаные штаны! — откликнулся келарь.

— Минуту терпения, братия, — остановил их помощник приора. — Не будем возмущаться, ибо пока еще нет для этого достаточных оснований. Этой почтенной женщине характер и склонности ее сына известны лучше, чем нам. Я, со своей стороны, могу только заметить, что он не обнаруживает расположения к чтению или к наукам, и, несмотря на все мои старания, я так и не смог приохотить его к этим занятиям. И тем не менее это вовсе не заурядный юноша, и, по моему слабому разумению, он весьма схож с теми личностями, коих господь возвышает среди целого народа, когда он хочет, чтобы его освобождение было завоевано сильной рукой и мужественным сердцем. Такие люди, как нам случалось видеть, бываюг наделены своеволием и даже упрямством, что представляется строптивостью и глупостью тем, кто с ними общается, до тех пор, пока не представится случай и

они, по воле провидения, не станут избранным оружием для исполнения великих целей.

— Должен сказать, вовремя ты вступился, отец Евстафий, — сказал аббат, — и мы поглядим на этого молодчика до того, как решим, куда его определить. Как вы находите, сэр Пирси Шафтон, не так ли поступают при дворе, подбирая человека для должности, а не должность для человека?

— С соизволения вашего, милорд и владыка, — отвечал нортумберлендский рыцарь, — я отчасти, то есть в известной степени, разделяю ваше мудрое суждение. Но все же, не в обиду будь сказано помощнику приора, нам не пристало искать храбрых вождей и освободителей народа в жалких хижинах черни. Поверьте мне, если в этом молодом человеке и есть проблески воинственной отваги, чего я не собираюсь оспаривать (хотя я редко видел, чтобы самонадеянность и дерзость на поверку оказывались благородством и мужеством), все же этого недостаточно, чтобы возвысить его за пределы его собственной, ограниченной и низменной сферы. Так и светлячок блестит очень ярко среди стеблей травы, но мало было бы от него проку, если бы его вознесли на маяк.

— А вот, кстати, идет сюда и сам молодой охотник, — заметил помощник приора, — и мы предоставим ему слово.

Сидя лицом к окну, он первый мог заметить, как Хэлберт поднимался на холм, где стояла башня.

— Позовите его сюда, — распорядился лорд-аббат, и оба монаха, прислуживавшие за столом, бросились со всех ног исполнять приказание. Госпожа Глендининг тоже выскочила за дверь, во-первых, для того, чтобы успеть посоветовать сыну проявить послушание, а во-вторых, чтобы уговорить его переодеться перед тем, как он предстанет пред лицом аббата. Но кухарь и келарь, с громкими возгласами перебивая друг друга, уже успели подхватить Хэлберта под руки и торжественно ввели его в залу, так что ей оставалось только воскликнуть: «Да будет его святая воля! Но все-таки как было бы хорошо, если бы он надел свои воскресные штаны!»

При всей ограниченности и скромности этого желания, судьбе не угодно было его удовлетворить, ибо Хэлберт Глендининг столь мгновенно и столь неожиданно для себя был представлен аббату и его свите, что у него не оставалось ни минуты времени, чтобы облачиться в праздничные штаны, что на языке того времени значило короткие брюки вместе с чулками.

Однако, несмотря на то что он так внезапно оказался в центре всеобщего внимания, в самой наружности Хэлберта было нечто такое, что не могло не вызвать к нему невольного уважения со стороны общества, куда его ввели столь бесцеремонно и где многие были склонны отнестись к нему с высокомерием, если не с совершенным презрением. Но о его появлении и о приеме, ему оказанном, мы расскажем в следующей главе.

Глава XIX

Так выбирай: богатство или честь!
Тебе здесь денег хватит, чтоб изведать
Забавы юноши и страсти мужа..
Лишь припаси немного и на старость.
Но помни, что тогда — прощай,
тщеславье!
Оставь надежду жизнь свою возвысить,
Подняться над уделом землепашца,
Пот льющего за хлеб насущный свой.

Старинная пьеса

Прежде чем мы приступим к описанию свидания молодого Глендининга в этот знаменательный для него час с аббатом обители святой Марии, необходимо хотя бы вкратце рассказать о его внешности и манерах.

Хэлберту было в это время лет девятнадцать. Стройный и скорее ловкий, чем сильный, он все же отличался тем крепким и ладным сложением, которое обещает могучую силу в дальнейшем, когда рост остановится, а фигура вполне разовьется. Он был пре-

восходно сложен и, как все люди этого склада, отличался естественным изяществом и великолепной выправкой, так что его высокий рост не казался чрезмерным. И только если сравнить его фигуру с фигурами людей, его окружавших, можно было заметить, что в нем было более шести футов. Это сочетание необычного роста с безукоризненным сложением и непринужденностью манер давало юному наследнику Глендинингов, несмотря на его низкое происхождение и деревенское воспитание, большое преимущество даже перед самим сэром Пирси Шафтоном, который был ниже его и сложен, хотя и довольно прилично, однако в целом не так соразмерно. Но, с другой стороны, очень красивое лицо сэра Пирси давало ему то решительное преимущество перед шотландцем, которое дают правильность черт и свежесть красок в сравнении с чертами скорее резкими, чем красивыми, и цветом лица, подверженным постоянному воздействию перемен погоды, отчего все розовые и белые его оттенки пропадают в густом золотисто-коричневом загаре, ровно покрывающем щеки, шею и лоб, отливая местами темной бронзой. Самой поразительной чертой в лице Хэлберта были глаза. Большие, карие, они сверкали, когда он был оживлен, таким необыкновенным блеском, точно излучали свет. Сама природа позаботилась круто завить его темно-каштановые волосы, которые обрамляли и оттеняли его лицо. Оно отличалось теперь смелым и одухотворенным выражением, гораздо более смелым, чем можно было ожидать, судя по его зависимому положению и прежнему поведению — робкому, неуверенному и неуклюжему.

Одежда Хэлберта была, конечно, не такова, чтобы особенно выгодно подчеркнуть его привлекательную внешность. Куртка его и штаны были сшиты из грубой, деревенской ткани, и шапка тоже. У пояса, стягивавшего стан, висел уже упомянутый нами меч, а за пояс с правой стороны были заткнуты пять или шесть стрел и дротиков, а также широкий нож с коstitialной ручкой, или, как его тогда называли, боевой кинжал. Для полного представления о наряде юноши

мы должны упомянуть еще просторные сапоги из оленьей кожи, которые можно было натянуть до колена или спустить ниже икр. Такие сапоги в те времена обычно носили все, кому приходилось по долгу службы или ради удовольствия бродить по лесу, ибо они защищали ноги от колючек и цепких кустарников, в которые невольно приходилось забираться, гоняясь за дичью. Упомянув обо всех этих мелочах, мы заканчиваем описание внешнего облика Хэлберта.

Гораздо труднее передать душевное волнение, отразившееся во взгляде молодого Глендининга, когда он внезапно очутился перед лицами, к коим привык с раннего детства относиться с благоговейным уважением. Но, как ни велико было его смущение, в поведении его нельзя было обнаружить и следа приниженности или растерянности. Он держал себя точно так, как надлежит благородному и бесхитростному юноше с отважной душой, но совершенно неопытному, которому в первый раз в жизни пришлось мыслить и действовать в подобном обществе и при столь неблагоприятных обстоятельствах. Не было в нем и тени развязности или малодушия, которые могли бы поколебать его истинного друга.

Опустившись на колени, он поцеловал аббату руку, затем встал и, отступив на два шага, почтительно поклонился всем присутствующим, улыбнувшись в ответ на ободряющий кивок помощника приора — единственного, кто его знал, — и покраснел, заметив тревожный взгляд Мэри Эвенел, которая с беспокойством следила за испытанием, выпавшим на долю ее названому брату. Быстро оправившись от смятения, которое его охватило, когда встретились их взоры, он, стоя, с полным самообладанием стал дожидаться, когда аббату будет угодно с ним заговорить.

Искренность и чистосердечие, благородная осанка и непринужденное изящество молодого человека не могли не расположить в его пользу монахов, которые его окружали. Аббат, оглянувшись, обменялся милостивым и одобрительным взглядом со своим советником отцом Евстафием, хотя в таком вопросе, как назначение лесничего или ловчего, он как будто скло-

нен был распорядиться, не запрашивая мнения помощника приора, хотя бы для того, чтобы показать свою независимость. Однако впечатление, произведенное внешностью молодого человека, было столь благоприятным, что, забыв обо всех прочих соображениях, аббат, видимо, спешил поделиться с окружающими своим удовольствием, что его выбор оказался таким удачным. Отец Евстафий, как всякий здравомыслящий человек, был искренне рад, что выгодная должность предоставляется лицу достойному. Ему не приходилось еще видеть Хэлберта с тех пор, как особые обстоятельства произвели столь существенную перемену в мыслях и чувствах юноши. Поэтому он был почти уверен, что предложенная должность, несмотря на сомнение, высказанное его матерью, придется ему по вкусу, поскольку он страстно любил охоту и так же страстно ненавидел занятия, требующие усидчивости или упорства. Брат келарь и брат кухарь со своей стороны были так очарованы располагающей наружностью Хэлберта, что, видимо, не могли представить себе никого более достойного, чем этот энергичный и обаятельный молодой человек, для получения жалования ловчего и связанных с этой должностью прав и привилегий, вроде дарового пастбища для скота и ежегодной смены кафтана и кожаных штанов.

Сэр Пирси Шафтон — оттого ли, что он был поглощен собственными размышлениями, или потому, что не считал достойным внимания объект всеобщего интереса, — как будто не разделял чувств симпатии к молодому охотнику. Он сидел, полузакрыв глаза и скрестив руки, погруженный, как казалось, в соображения более глубокие, чем те, которые могли быть возбуждены происходившей перед ним сценой. Однако, несмотря на его кажущееся безучастие и рассеянность, очень красивое лицо сэра Пирси Шафтона все же выражало какое-то тщеславное самодовольство; он то и дело сменял одну эффектную позу на другую (эффектными они казались ему одному) и нет-нет украдкой бросал взгляд на присутствующих дам, чтобы проверить, насколько ему удалось

привлечь их внимание. От этого при сравнении сильно выигрывали резкие черты Хэлберта Глендининга, выражавшие спокойствие, силу духа и мужественную твердость.

Из всех особ женского пола, находившихся в Глендеарге, только одна мельникова дочка была достаточно беззаботна, чтобы исподтишка любоваться изысканными манерами сэра Пирси Шафтона. Мэри Эвенел и госпожа Глендининг обе с волнением и тревогой ждали, что ответит Хэлберт на предложение аббата, и с ужасом предугадывали последствия его вероятного отказа. Его младший брат Эдуард, будучи от природы застенчив, почтителен к старшим и даже робок, сочетал в себе благородство с нежной привязанностью к брату. Этот второй сын госпожи Элспет скромно стоял в уголке, после того как аббат, по просьбе помощника приора, удостоил его минутным вниманием, обратившись к нему с несколькими банальными вопросами относительно его успехов в чтении Доната и «*Promptuarium Parvulorum*»,¹ причем не дождался его ответов.

Теперь он пробрался из своего угла поближе к брату и, став несколько позади него, схватил его левую руку своей правой и, слегка пожав ее (на что Хэлберт также ответил горячим пожатием), выразил тем свое сочувствие и готовность разделить его участь.

Так простояли они несколько минут, пока аббат, не говоря ни слова, прихлебывал вино из своего кубка, дабы приступить к делу с надлежащей важностью, и наконец начал в следующих выражениях:

— Сын мой, мы, законный твой сеньор и милостью божьей настоятель обители святой Марии, слышаны о многообразных твоих талантах... гм... в частности, касающихся искусства охоты и того умения, с которым ты поражаешь дикого зверя, расчетливо и именно так, как надлежит стрелку, не злоупотребляя божьими дарами и не портя мяса, идущего в пищу, что слишком часто бывает с небрежными ловчими... гм... — Тут аббат сделал паузу, но, увидев,

¹ «Кладовой премудростей для малышей» (лат.).

что на его лестные слова молодой Глендининг только поклонился, продолжал: — Сын мой, мы находим, что твоя скромность похвальна, но все же желаем, чтобы ты с полной откровенностью высказался относительно назначения тебя на должность ловчего и лесничего как в тех лесах, в которых право охоты предоставлено нам по дарственным благочестивых королей и дворян, чьи души ныне вкушают плоды своих щедрот в пользу церкви, так и в лесах, искони принадлежащих нам по праву вечной и неотъемлемой собственности. Преклони же колена, сын мой, чтобы мы могли без всякого промедления благословить тебя на твою новую должность.

— На колени! На колени! — завопили кухарь и келарь, стоя по обе стороны юноши.

Но Хэлберт Глендининг остался недвижим.

— Если бы я хотел выразить благодарность и преданность вашему высокопреподобию за лестное предложение, — сказал он, — я бы пал ниц и очень долго стоял бы на коленях. Но я не могу преклонять колена, чтобы принять от вас должность, пользуясь вашей милостью, ибо я решил искать счастья иным путем.

— Как так, сударь? — воскликнул аббат, хмуря брови. — Не ослышался ли я? И как это ты, прирожденный вассал нашей святой обители, в ту самую минуту, когда я оказываю тебе знак величайшего благоволения, дерзаешь променять службу мне на службу кому-то другому?

— Милорд, — возразил Хэлберт Глендининг, — мне весьма прискорбно, если вы думаете, что я не умею ценить ваше великодушие или что я могу предпочесть службе у вас какую-либо иную службу. Но проявленная вами милость может только ускорить исполнение решения, принятого мною уже давно.

— Вот как, сын мой, — заметил аббат, — ты так решил? Рано же ты научился принимать решения, не спросясь тех, от кого ты зависишь. А что же это за мудрое решение, если позволено мне будет спросить?

— Отказаться в пользу брата и матери, — ответил Хэлберт, — от доли в поместье Глендеарг, которое

принадлежало моему отцу Саймону Глендинингу, и просить ваше высокопреподобие быть для них таким же добрым и снисходительным сеньором, каким были ваши предшественники — аббаты монастыря святой Марии для моих предков. Что же касается меня, то я решил искать счастья там, где лучше всего смогу его найти.

Тут госпожа Глендининг, которой материнская тревога придала смелости, решила прервать молчание возгласом:

— О сын мой!

Эдуард, прижимаясь к брату, прошептал:

— Брат мой, брат мой!

Затем помощник приора взял слово, считая, что его неизменное участие к семейству Глендинингов дает ему право сделать Хэлберту строгое внушение.

— Непокорный юноша, — начал он, — какое безумие побуждает тебя отталкивать протянутую руку помощи? Какое призрачное благо маячит перед твоими глазами, и может ли оно заменить благо честной и спокойной независимости, которое ты отвергаешь с таким презрением?

— Четыре марки в год, точно в срок! — возгласил кухарь.

— А пастбище, а даровой кафтан, а штаны! — отозвался келарь.

— Тише, братия! — прервал их помощник приора. — Да соблаговолит ваша милость, досточтимый владыка, предоставить этому сумасбродному юноше, по моему ходатайству, день на размышление. Я берусь растолковать ему, в чем заключается его долг по отношению к вашему высокопреподобию, к его семье и к себе самому, и надеюсь его убедить.

— Я глубоко признателен вам за вашу доброту, преподобный отец, — отвечал юноша. — Вы всегда, неизменно проявляли ко мне сердечное участие, за что я могу только выразить вам мою благодарность, так как больше мне нечем отплатить вам. Мое несчастье, а не ваша вина, что ваши заботы пропали даром. Но мое решение твердо и непоколебимо: я не могу принять великодушное предложение лорда-аб-

бата: Не знаю, на радость ли или на горе, но судьба моя зовет меня в иные края.

— Клянусь пречистой девой, — воскликнул аббат, — мне кажется, он и впрямь не в своем уме!.. Скажите, сэр Пирси, когда вы так справедливо отзывались о нем, заранее предсказав, что он не подойдет для должности, которую мы ему предназначили, вы, верно, что-нибудь уже слышали о его своенравии?

— Нет, боже сохрани, — отвечал сэр Пирси Шафтон со своим обычным безразличием. — Я судил только по его рождению и воспитанию. Редко бывает, чтобы из яйца коршуна вылупился благородный сокол.

— Сам ты коршун и еще пустельга в придачу, — нимало не задумываясь, отвечал ему Хэлберт.

— И это-то в нашем присутствии, да еще в разговоре с человеком благородным! — вскричал аббат, побагровев от гнева.

— Да, милорд, — отвечал юноша, — даже в вашем присутствии я кину обратно в лицо этому франту незаслуженное оскорбление, затрагивающее честь моей семьи. Имя храброго отца, павшего за родину, я обязан защищать!

— Невоспитанный мальчишка! — продолжал кричать аббат.

— Успокойтесь, милорд, — вступил в разговор рыцарь, — прошу прощения, что так невежливо вас прерываю, но позвольте мне убедить вас не гневаться на этого мужлана. Верьте мне, я придаю так мало значения грубостям этого наглеца, что скорее северный ветер сдвинет с места один из ваших утесов, чем сэр Пирси Шафтон потеряет свое хладнокровие.

— Как ни чванитесь вы, сэр рыцарь, вашим мнимым превосходством, — возразил Хэлберт, — не будьте так уверены, что вас ничем не пронять.

— Клянусь, ничем, что бы ты ни придумал, — объявил сэр Пирси.

— А эта вещица вам знакома? — спросил молодой Глендининг, показывая ему серебряную иглу, полученную от Белой дамы.

Никто никогда не видел такого мгновенного перехода от презрительного спокойствия к бешеной ярости, который произошел с сэром Пирси Шафтоном. Таковую же примерно разницу можно наблюдать, сравнивая пушку, мирно стоящую в амбразуре, с той же пушкой, когда к ней поднесут зажженный фитиль. Он вскочил, весь затрясся от бешенства, лицо его побагровело и исказилось от злобы, так что он напоминал скорее одержимого, чем человека в здравом рассудке. Кинувшись вперед со сжатыми кулаками, он принялся яростно потрясать ими перед самым лицом Хэлберта, так что тот даже оторопел, видя, в какое неистовство он его привел. Но тут же рыцарь разжал кулаки, ударил себя ладонью по лбу и в неописуемом волнении выбежал за дверь. Все это произошло так быстро, что никто из присутствующих не успел опомниться.

Когда сэр Пирси убежал, то все в изумлении молчали целую минуту; потом все сразу стали требовать от Хэлберта Глендиннга, чтобы он сейчас же объяснил, каким образом ему удалось вызвать такую разительную перемену в поведении английского рыцаря.

— Ничего я ему не сделал, — отвечал Хэлберт Глендиннг, — кроме того, что вы все видели. Разве я могу отвечать за странные причуды его нрава?

— Молодой человек, — сказал аббат самым строгим тоном. — Эти увертки тебе не помогут. Не такой это человек, чтобы его можно было вывести из себя без достаточной причины. А эта причина исходила от тебя, и ты должен ее знать. Повелеваю тебе, если ты хочешь избежать сурового наказания, объясни, чем ты довел нашего друга до такого исступления. Мы не должны терпеть, чтобы наши вассалы сводили с ума наших гостей в нашем присутствии, а мы бы понятия не имели, как это делается.

— Не во гнев будь сказано вашему высокопреподобию, я только показал ему эту вещицу, — отвечал Хэлберт Глендиннг, вручив иглу аббату, который рассмотрел ее со всех сторон, после чего покачал го-

ловой и, ни слова не говоря, передал ее помощнику приора.

Отец Евстафий довольно внимательно осмотрел таинственную иглу, а затем, обратившись к Хэлберту, произнес сурово и строго:

— Молодой человек, если ты не хочешь дать нам повод к очень странным подозрениям, изволь сейчас же сообщить нам, где ты взял эту вещь и почему она оказывает особенное действие на сэра Пирси Шафтона.

Будучи приперт к стене, Хэлберт не мог ни уклониться от этих затруднительных вопросов, ни отвечать на них. Откровенное признание в те времена могло привести его на костер, между тем как в наше время чистосердечная исповедь заслужила бы ему разве только репутацию отъявленного лгуна. По счастью, его спасло неожиданное возвращение сэра Пирси Шафтона, который, входя, услышал вопрос помощника приора.

Не давая времени Хэлберту ответить, рыцарь, быстро пройдя вперед, мимоходом шепнул ему на ухо: «Молчи, ты получишь удовлетворение, которого доби-ваешься».

Когда сэр Пирси вернулся на свое место, лицо его еще хранило следы недавнего волнения. Но вскоре, успокоившись и овладев собой, он оглянулся и принес всем извинения за свое поведение, сославшись на внезапное и острое недомогание. Никто не проронил ни слова — все только удивленно переглядывались.

Лорд-аббат распорядился, чтобы все удалились, кроме сэра Пирси Шафтона и помощника приора.

— А с этого дерзновенного юноши, — прибавил он, — не спускайте глаз, чтобы он не удрал. Ибо ежели он, посредством чар или иным образом, повредил здоровью нашего уважаемого гостя, клянусь своим стихарем и митрой, его постигнет примерная кара.

— Милорд и преподобный отец, — возразил Хэлберт с почтительным поклоном, — не беспокойтесь, я останусь ждать своей участи. Мне думается, вы лучше всего узнаете от самого достопочтенного рыцаря,

в чем причина его расстройства и что моя вина тут ничтожна.

— Будь покоен, — проворчал рыцарь, не поднимая глаз, — я все сумею объяснить лорду-аббату.

После этого общество стало расходиться, и вместе со всеми удалился и молодой Глендининг.

Когда аббат, помощник приора и английский рыцарь остались одни, отец Евстафий, вопреки своему обыкновению, не удержался и заговорил первый:

— Поведайте нам, благородный рыцарь, по какой таинственной причине лицезрение этой безделицы могло так глубоко смутить ваш покой и вывести вас из равновесия, когда вы только что проявили удивительную выдержку, не обращая никакого внимания на вызывающее поведение этого вздорного и самонадеянного юноши?

Рыцарь взял из рук почтенного монаха серебряную иглу, спокойно и с величайшим вниманием рассмотрел ее и, возвратив ее помощнику приора, начал так:

— Поистине, высокочтимый отец, я могу только поражаться, как ваша испытанная мудрость, залогом которой служат ваши седины и высокий сан, могла, подобно гончей, потерявшей чутье (простите мне это сравнение), с громким лаем кинуться по ложному следу. Право, я ничем бы не отличался от осинового листочка, что трепещет при малейшем дуновении ветерка, будь я способен прийти в волнение при виде серебряной иглы или начеканенных из нее серебряных грошей. Все дело в том, что с ранней молодости я подвержен припадкам, вроде того, который только что случился у вас на глазах. Это внезапная жестокая боль, проникающая до мозга костей, которая пронзает меня точно так, как острая шпага в руках храброго солдата пронзает все ткани и мускулы. Но очень быстро, как вы сами видите, она проходит.

— И все же, — возразил помощник приора, — остается непонятным, зачем юноша показал вам эту серебряную иглу, точно какой-то знак, который должен был вам что-то напомнить, по-видимому — нечто неприятное.

— Ваше высокопреподобие вольны делать любые предположения, — сказал сэр Пирси, — но я не могу признать, что вы попали на верный след, когда это не так. Надеюсь, что я не обязан отвечать за вздорные поступки невоспитанного мальчишки?

— Разумеется, — отвечал помощник приора, — мы не станем продолжать дознание, если это неприятно нашему гостю. Тем не менее, — сказал он, обращаясь к своему настоятелю, — этот случай может в какой-то степени изменить намерение вашего высокопреподобия дать на короткое время приют нашему уважаемому гостю в этой башне — в убежище уединенном и надежном, а оба эти условия, при нынешних наших отношениях с Англией, весьма желательны.

— Ваша правда, — отозвался аббат, — сомнение ваше основательно, хотя лучше бы его устранить. Ибо я, пожалуй, не найду более подходящего убежища на землях нашей обители. И в то же время я не решаюсь предложить приют здесь нашему достойному гостю при невоздержанности и запальчивости этого тупоголового упряма.

— Помилуй бог, достопочтенные отцы, за кого вы меня принимаете? — воскликнул сэр Пирси Шафтон. — Клянусь честью, я хотел бы остаться в этом доме, если бы это от меня зависело. Что из того, что этот юноша и вспылит малость? Я на него не обижаюсь, даже если пламя его гнева и могло мне повредить. Наоборот, я уважаю его за это. Я заявляю, что останусь здесь, и он мне поможет охотиться на оленя. Мне очень хочется подружиться с ним, раз он такой замечательный стрелок. И увидите, мы с ним очень скоро пришлем лорду-аббату тушу самого крупного оленя, подстреленного с таким искусством, что сам почтенный брат кухарь останется доволен.

Все это было сказано так весело и непринужденно, что аббат не стал возражать и завел речь о мебели, занавесках, съестных припасах и о всем прочем, что он намеревался прислать в башню Глендеарг, дабы украсить жизнь своего гостя. Беседа эта, подкрепленная несколькими кубками вина, занимала их

до того времени, пока лорд-аббат не приказал седлать лошадей, чтобы вернуться в монастырь.

— Так как, — объявил он при этом, — из-за тягот путешествия нам не удалось отдохнуть после обеда, то всем лицам из нашей свиты, которые по причине усталости не смогут участвовать во всеобщем бдении, дается на сегодня, в виде индульгенции, освобождение от этих трудов.

Проявив, таким образом, милостивую заботу о своих верных соратниках (что, по его мнению, должно было их устроить), добрый аббат, видя, что все готово к отъезду, по очереди благословил всех присутствующих, дал облобызать свою руку госпоже Глендининг, поцеловал в щеку Мэри Эвенел и даже мельникову дочку, когда они обе к нему подошли, приказал Хэлберту сдерживать свою горячность, во всем слушаться английского рыцаря и быть ему помощником и преподавал Эдуарду наставление оставаться *discipulus impiger atque strenuus*.¹

Затем он самым любезным образом простился с сэром Пирси Шафтоном, посоветовав ему не удаляться далеко от башни, чтобы не попасться в руки английским солдатам пограничной стражи, которые могут за ним охотиться. Выполнив, таким образом, долг вежливости в отношении всех и каждого, он вышел на двор в сопровождении всего своего штата. Здесь с тяжким вздохом, похожим на стон, преподобный отец взгромоздился на своего иноходца, покрытого темно-малиновым чепраком, свисавшим до самой земли.

Предвкушая удовольствие оттого, что на смиренное поведение его мерина уже не будут оказывать дурное влияние скачки и прыжки боевого скакуна сэра Пирси, лорд-аббат тихой и ровной рысью затрусил в монастырь.

Когда отец Евстафий сел на лошадь, чтобы сопровождать своего настоятеля, он отыскал глазами Хэлберта, который стоял поодаль, за выступом стены, и оттуда наблюдал за отъезжающими и провожающими.

¹ Усердным учеником и не лениться (лат.).

Не удовлетворенный объяснением происшествия с таинственной серебряной иглой и в то же время близко принимая к сердцу судьбу юноши, о котором у него создалось самое благоприятное впечатление, достойный монах решил при первом удобном случае выяснить это дело до конца. А пока он только взглянул на Хэлберта пристально и строго и погрозил ему пальцем, когда тот поклонился. Затем он догнал остальных священнослужителей и стал спускаться вслед за аббатом в долину.

Глава XX

Надеюсь, сэр, на ваше благородство!
Мне окажите честь своим мечом,
Как это водится у джентльменов.
Итак, не будем времени терять!
За мною следуйте.

«Паломничество любви»

Прощальный взгляд отца Евстафия и данный им знак предостережения глубоко запомнились Хэлберту Глендинингу. На уроках доброго монаха он не приобрел такого запаса знаний, как Эдуард, но к своему наставнику сохранил самое искреннее уважение; короткого раздумья сейчас оказалось достаточно, чтобы юноша понял, как опасно приключение, в которое он оказался втянутым. В чем именно заключалось оскорбление, нанесенное им сэру Пирси Шафтону, он догадаться не мог; однако было ясно, что обида смертельна и теперь ему предстояло ответить за нее.

Не желая возобновлять ссору и этим ускорить наступление неприятных событий, Хэлберт решил побродить часок-другой в одиночестве и на досуге обдумать, как лучше держать себя с надменным чужестранцем. Время ему благоприятствовало, он мог уединиться, не подавая вида, что намеренно избегает встречи с гостем, так как все домочадцы разбрелись, чтобы продолжать работу, прерванную приездом

монахов, или чтобы восстановить порядок, нарушенный их пребыванием.

Хэлберт был уверен, что никто не заметил, как он вышел из башни, спустился с возвышенности, на которой она стояла, и направился к долине, простиравшейся между подножием холма и первым поворотом извилистой речушки, где несколько разбросанных дубов и берез служили надежным укрытием от посторонних глаз. Как только он добрался до этого места, как неожиданный сильный удар по плечу заставил его обернуться, и он убедился, что сэр Пирси Шафтон все время шел следом за ним.

Когда, то ли от плохого самочувствия, то ли от неуверенности в правоте своего дела, или по каким-либо другим причинам, наш боевой задор начинает спадать, ничто нас так не обескураживает, как решительность действий противника. Сильный телом и духом Хэлберт Глендининг все же несколько оторопел, завидя перед собой оскорбленного им чужестранца, весь облик которого являл неприкрытую враждебность. Хотя сердце у юноши, может быть, и екнуло, он был слишком горд, чтобы выдать свое волнение.

— Чем могу служить вам, сэр Пирси? — спросил он английского рыцаря без малейшей растерянности, не смущаясь его грозным видом.

— Служить мне? — передразнил его сэр Пирси. — Вот так вопрос, после того как вы столь непозволительно со мной поступили. Поражаюсь я ослеплению твоему, юнец, и твоей злонамеренной и дерзкой строптивости — и кого ты оскорбить замыслил? Гостя твоего ленного господина, лорда-аббата, гостя твоей матери, чье гостеприимство должно было оградить меня от бесчестья. Я не спрашиваю, мне дела нет, каким образом удалось тебе овладеть роковой тайной, с помощью которой ты осмелился опозорить меня при всех. Но да будет тебе известно, что за познание сей тайны ты заплатил своею жизнью.

— Полагаю, что и рука моя и меч не допустят этого, — мужественно возразил Хэлберт.

— Пожалуй, ты прав! — воскликнул англичанин. — Я не собираюсь лишить тебя законного права

защищаться. Мне даже прискорбно, что из-за молодости и деревенского воспитания от твоей самозащиты будет мало проку. Но запомни: я предупреждаю, что в этом поединке снисхождения от меня ждать бесполезно.

— Будь уверен, гордец, что милости я просить не стану, — ответил юноша. — И хотя ты говоришь так, как будто я уже лежу у твоих ног, поверь, я не намерен просить тебя о пощаде, да и не нуждаюсь в ней.

— Стало быть, ты ничего не желаешь предпринять, — удивился рыцарь, — дабы отвратить верную гибель, какую ты сам на себя столь легкомысленно накликнул?

— А чем прикажете с вами расплатиться? — спросил Хэлберт Глендининг, стремясь проникнуть в истинные намерения чужестранца, но не проявить угодную ему покорность.

— Сей же час изъяснись без промедления и без уверток, — сказал кавалер, — как удалось тебе нанести столь глубокую рану моей рыцарской чести. Если ты при этом укажешь мне противника, более достойного мщения моего, я, пожалуй, разрешу опустить вуаль забвения на дерзости, учиненные мне столь невежественной и ничтожной особой, как ты.

— Слишком уж высоко вознесла тебя важность! Придется ее попридержать, — грозно возразил ему Глендининг. — Как беглец и изгнанник, насколько мне известно, пришел ты в дом моего отца, а уже в первом твоём приветствии звучали презрение и насмешка. Как мне удалось сполна рассчитаться с тобой за это презрение, пусть подскажет тебе совесть. С меня довольно того, что я, потомок свободных шотландцев, не оставляю оскорбления без ответа и обиды — без отмщения.

— Вот и прекрасно! — воскликнул сэръ Пирси Шафтон. — Мы разрешим это дело завтра утром с оружием в руках. Время — рассвет, а место назначай сам. Мы объявим, что идем на оленя.

— Согласен, — ответил Хэлберт. — Я поведу тебя в такую глушь, где сотни людей могут драться и умереть без помехи.

— Прекрасно, — сказал сэр Пирси, — а теперь разойдемся. Многие сочтут, что, жалую право дуэли — истонное право дворянина — сыну жалкого крестьянина, я унижаю свое достоинство, подобно тому как благословенное солнце унизило бы себя, если бы решилось слить свои золотые лучи с миганием бледной, тусклой, догорающей сальной свечи. Но никакие сословные преграды не заставят меня отказаться от мести за оскорбление, которое ты мне нанес. А теперь, сэр поселянин, бери пример с меня и не хмурься. Пусть домашние ни о чем не догадываются, а завтра наш спор будет решен оружием.

С этими словами он повернулся и пошел к Глендеаргу.

Заслуживает, быть может, упоминания то обстоятельство, что только последнюю свою тираду сэр Пирси украсил цветами красноречия, которыми обычно уснащал свою речь. По-видимому, в минуту острой обиды его оскорбленное самолюбие и стремление отомстить за поруганную честь оказались сильнее привычки к вычурным оборотам речи. И так велика была сила прямодушного мужественного порыва, что сэр Пирси Шафтон, как ни странно, впервые показался своему юному сопернику человеком, заслуживающим уважения и почтительности, в продолжение того немногословного диалога, в котором они бросили друг другу вызов. Теперь, когда, по пути к башне, юноша медленно брел за гостем, он раздумывал о том, что если бы английский рыцарь всегда проявлял благородство в речах и поступках, то обидные слова в его устах не звучали бы так оскорбительно. Сейчас, однако, смертельная обида была нанесена, и все дальнейшее могло решиться лишь в смертельном бою.

Семья собралась к ужину, и тут сэр Пирси одарил всех домочадцев любезной улыбкой и удостоил очарованием своего красноречия тех, кого раньше вовсе не замечал. Наибольшее внимание он по-прежнему, разумеется, оказывал божественной и неподражаемой Скромности, как ему угодно было величать Мэри

Эвенел, не скупясь попутно на восторженные витиеватости по адресу молодой мельничихи, которую он называл Прелестным созданием, и по адресу хозяйки дома, которую величал Достойной матроной. Наконец, опасаясь, что изящества его беседы для полного восторга присутствующих будет недостаточно, он великодушно, без всякой просьбы, стал улаживать их своим пленительным пением. Выразив горькое сожаление об отсутствии виолы-да-гамба, он порадовал общество песней, которую, как он выразился, «неподражаемый Астрофел, именуемый среди смертных Филиппом Сиднеем, сочинил, вдохновляемый еще несовершеннолетней музой, дабы показать миру, чего должно ожидать от него в более зрелые лета. Когда-нибудь оно увидит свет, это произведение, представляющее небывалое совершенство человеческой мысли, посвященное поэтом его родной сестре, непревзойденной Партенопее, которую все знают как графиню Пемброк. Об этом творении, — продолжал он, — в коем по дружбе было разрешено принять небольшое участие и мне, недостойному, я смело могу сказать, что его проникновенно грустная тема, вызывающая нашу печаль, настолько украшена блистательными сравнениями, нежными описаниями, обворожительными стихами и забавными интермедиями, что эти вкрапленные поэтические перлы кажутся яркими звездами, оживляющими сумрачные одежды ночи. И хотя я сознаю, как жестоко пострадает мелодичный и изысканный язык песни от овдовевшего голоса моего, овдовевшего из-за разлуки с его постоянной подругой — виолой, я все же попытаюсь дать вам хотя немного отведать восхитительной прелести стихов нашего несравненного Астрофела».

Сказав это, он сразу, без сострадания и раскаяния, пропел около пятисот стихотворных строк, о которых достаточное представление могут дать первые две и завершающие четыре строчки:

Кто б мог ее красу воспеть?
О ней — всем перьям шелестеть!
.....

Добро — перо, которым благо
Хвалю, а небо — мне бумага.
В чернилах славы скрыт венец .
Каков зачин — таков конец!

Имея обыкновение петь с полужакрытыми глазами, сэр Пирси Шафтон и на этот раз оглянулся кругом только после того, как, в соответствии с обещанием текста, взял последнюю ноту, — и тут обнаружил, что большинство его слушателей не устояло перед соблазном дремоты. Мэри Эвенел, правда, благодаря врожденной учтивости удержалась от сна, несмотря на все многословие божественного Астрофела, в то время как сновидения давно уже унесли Мизи в пыльную кладовую отцовской мельницы. Эдуард, внимательно слушавший некоторое время, под конец крепко уснул, а нос хозяйки дома, если бы только управлять звуками, которые он издавал, мог бы с успехом заменить басовые ноты виолы-да-гамба, об отсутствии которой так сокрушался певец. Хэлберт, однако, не чувствовал ни малейшего искушения отдаться сонным чарам — ему было не до сна; он не сводил глаз с певца, но не потому, что увлекся стихами или находил в пении больше удовольствия, чем остальные слушатели. Он восхищался, а может быть, завидовал самообладанию человека, который был способен целый вечер распевать нескончаемые мадригалы, когда наутро ему предстоит смертельный поединок. Врожденная наблюдательность помогла Хэлберту заметить, что взгляд прекрасного кавалера то и дело украдкой устремлялся в его сторону, словно хотел убедиться, какое впечатление на юношу производят самообладание и безмятежность его противника.

«На моем лице не отразится ничего, — гордо думал Хэлберт. — Я буду так же невозмутим, как он».

И, взяв с полки мешок с рыболовными принадлежностями, он принялся искусно плести лесу и насаживать крючки и заготовил с полдюжины мух (для тех, кто восхищается благородным искусством ужения рыбы по старинному способу, сообщаем, что для наживки он пользовался коричневыми птичьими перья-

ми) к моменту, когда сэр Пирси добрался до заключительных велеречивых образов божественного Астрофела. Таким образом, и Хэлберт проявил величественное пренебрежение ко всему, что может принести завтрашний день.

Так как было уже поздно, обитатели Глендеарга стали расходиться по своим комнатам. Уходя, сэр Пирси сказал хозяйке дома, что ее сын Элберт...

— Хэлберт, — поправила его Элспет, отчетливо произнося имя сына, — Хэлберт, он назван в честь своего деда Хэлберта Брайдона.

— Так вот, я просил вашего сына Хэлберта вместе со мной завтра на рассвете поднять оленя с лежки, чтобы я сам мог убедиться, так ли ваш сын проворен в этом деле, как утверждает молва.

— Увы, сэр, — ответила Элспет, — боюсь, что он даже чересчур проворен. — Если уж речь идет о проворстве — когда в его руках такая штука, где с одной стороны сталь, а с другой чья-то беда. Во всяком случае, он всегда к вашим услугам, и я полагаюсь на вас, что вы научите его во всем покоряться нашему владыке и лорду милостивому аббату и убедите принять выгодную должность ловчего. Ведь, как справедливо говорили тут два достойных монаха, это будет большим подспорьем в моем сиротском положении.

— Доверьтесь мне, почтенная хозяйка, — объявил сэр Пирси, — я намереваюсь так основательно втолковать ему правила поведения и вежливости по отношению к вышестоящим лицам, чтобы впредь он уже никогда по легкомыслию не погрешал против должной почтительности. Мы встретимся, следовательно внизу, у березовой рощи, — сказал он, обращаясь к Хэлберту, — чуть только дневное светило приоткроет свои вежды. — Юноша ответил знаком согласия, и рыцарь продолжал: — А теперь мне остается пожелать моей обольстительной Скромности скорейшей встречи с нежными сновидениями, что веют крылами над ложем спящих красавиц. Прелестному созданию я желаю самых щедрых даров Морфея, а всем про-

чим — обычной доброй ночи, и сам прошу у вас разрешения уединиться на ложе отдохновения, хотя могу воскликнуть вместе с поэтом:

Покой? — Нет, только смена мест и поз.

Сон? — Нет, нет, только обморок, забвенье.

Кровать? — Нет, только камень в изголовье,

Покой, кровать и сон — их нет в изгнание!

Отвесив изысканный поклон, он удалился, не слушая вдову Глендининг, которой хотелось уверить гостя, что он проведет нынешнюю ночь много приятнее, чем предыдущую, поскольку для него из монастыря прислали теплые одеяла и мягкую перину. Но доблестный рыцарь, вероятно, полагая, что изыскство его ухода сильно пострадает, если он, спустившись с героических высот, начнет обсуждать столь прозаические домашние подробности, поспешил выйти из комнаты, не дослушав хозяйку.

— Очень приятный джентльмен, — сказала вдова Глендининг, — но, надо признаться, с причудами. Поет нежно, только песня очень уж длинная. Его беседа, скажу по совести, полезна, но хотелось бы знать, когда он думает уехать.

Выразив, таким образом, свое уважение к гостю и в то же время дав понять, что она не прочь его выпроводить, добродушная хозяйка предложила всем идти спать, а Хэлберту наказала вовремя подняться, чтобы на рассвете встретиться с сэром Пирси Шафтоном, как он того пожелал.

Лежа на соломенном тюфяке рядом с братом, Хэлберт невольно посетовал на крепкий сон, который тотчас же смежил очи Эдуарда, а ему в этой милости отказал. Чем больше он думал, тем яснее становились ему загадочные слова призрака о том, что талисман, которого он так опрометчиво добивался, принесет ему больше вреда, чем добра. Слишком поздно, увы, стал он сознавать, какие опасности и горести будут угрожать его семье независимо от исхода предстоящего поединка. Если его ждет смерть, то он мог бы сказать просто: «Люди, прощайте!» В его сознании

крепла уверенность, что его матери и близким как наследство после него достанутся самые ужасные затруднения и бедствия, — такое предчувствие никак не могло приукрасить в его воображении облик смерти, и без того угрюмый. Совесть подсказывала ему, что гнев аббата жестоко обрушится на его родных; одна надежда, что их оградит великодушие победителя. А Мэри Эвенел? Разве поражение, если оно постигнет его в предстоящем поединке, не покажет, что он нимало не годился ей в защитники, зато уж постарался даже после смерти навлечь несчастье на нее и на тот дом, где она с самого младенчества находила приют и защиту. К этим размышлениям примешивались все горькие и тревожные чувства, овладевающие самыми смелыми людьми, готовыми драться за правое дело, если к решению спора, с оружием в руках, судьба влечет их в первый раз в жизни.

Каким бы плачевным ни представлялось ему будущее в случае поражения, и победа над соперником не сулила ничего отрадного, кроме сохранения жизни и некоторой улады оскорбленного тщеславия. Для друзей, для матери и брата, а в особенности для Мэри Эвенел, последствия его торжества могли быть пагубнее, чем поражение и смерть. Оставшись победителем, английский рыцарь мог бы из великодушия протянуть руку помощи семье павшего, но если бы сэр Пирси не вернулся с поединка, ничто не смогло бы оградить Глендинингов от преследования аббата и монахов, которые притесняли бы их за нарушение мира во владениях обители и за убийство гостя, сраженного тем вассалом церкви, в чей дом этот гость, по указанию аббата, был водворен как в безопасное убежище. Любой исход роковой встречи предвещал Хэлберту крушение его семьи — крушение, вызванное единственно его запальчивостью, и мысли об этом, как тернии в изголовье, не давали Хэлберту сомкнуть глаз и лишали покоя его душу.

Напрасно искал он третьего пути; правда, один ему представился, но он был унизителен и тоже чреват опасностями. Можно было чистосердечно

рассказать английскому рыцарю, при каких странных обстоятельствах он стал обладателем этой таинственной иголки. Рассказать, что Белая дама дала ему этот дар (в минуту гнева, как он теперь вспомнил) нарочно для того, чтобы он предъявил его сэру Пирси. Но гордость не позволяла юноше унизиться до подобного признания, и рассудок, который в таких случаях чудесным образом спешит на помощь гордости, приводил множество доказательств бесполезности и низости такого шага.

«Если я расскажу о столь удивительном приключении, — рассуждал он сам с собой, — меня или заклеймят как лжеца, или накажут как колдуна. Будь сэр Пирси Шафтон великодушен, благороден и доброжелателен, как рыцари, о которых мы читаем в романах, мне удалось бы завоевать его доверие, и, не раболепствуя перед ним, я мог бы избежать тягостного положения, в котором очутился. Но он человек высокомерный, заносчивый, тщеславный и дерзкий — такой у него по крайней мере вид... Унижаться перед таким противником бесполезно...»

— Нет, не буду унижаться! — воскликнул он, вскочил с постели, схватился за свой палаш и начал им размахивать при лунном свете, проникавшем в комнату через глубокую нишу, служившую окном. Вдруг, к его крайнему изумлению и испугу, на освещенном луною полу возник воздушный облик, не бросающий тени на пол. В смутном призраке Хэлберт по голосу узнал Белую даму.

Еще никогда при виде ее не испытывал он такого волнения. Раньше он сам вызывал ее и, с нетерпением ожидая, что она покажется, был готов ко всему, что могло произойти. Но на этот раз Белая дама пришла без зова, и ее появление, казалось, предвещало надвигающееся несчастье. Юношу охватил гнетущий страх от сознания, что он вступил в сообщество с потусторонним существом, могущество и намерения которого ему неизвестны, а поступки — неподвластны. Окаменев от ужаса, он пристально глядел на призрачную гостью, которая пропела или скорее продекламировала следующие строки:

— Чтобы мщение утолить,
Ты не бойся кровь пролить:
Слово, завязав узлом,
Разруби его мечом!

— Сгинь, вероломный дух! — вскричал Хэлберт. — Я заплатил за твой совет слишком дорогой ценой. Прочь отсюда, во имя господа бога!

Белая дама засмеялась, и ее холодный, неестественный смех был куда страшнее, чем томная грусть, обычно звучавшая в ее голосе. Она продолжала:

— Ты звал меня раз, и второй раз позвал,
В третий раз призрак сам пред тобою предстал,
Ты незван и непрошен в приют мой проник —
Я незвана, непрошена здесь в этот миг!

Вне себя от ужаса Хэлберт крикнул брату:

— Эдуард, проснись! Проснись, ради всего святого!

Эдуард проснулся и спросил, что случилось.

— Посмотри кругом, — сказал Хэлберт, — посмотри хорошенько, ты никого не видишь в комнате?

— Да тут нет никого, поверь мне, — ответил Эдуард, озираясь по сторонам.

— Как, а в лунном свете там, на полу, ты ничего не видишь?

— Ничего не вижу, — ответил Эдуард, — один ты стоишь тут, опершись на обнаженный меч. Прошу тебя, Хэлберт, доверься духовному оружию и меньше полагайся на сталь и железо. Сколько ночей в последнее время ты спал беспокойно, стонал, бредил о битвах, привидениях, духах... И сон не освежал тебя... Проснувшись, ты продолжал бредить наяву. Послушайся меня, дорогой Хэлберт, прочти Pater и Credo, отдай себя в руки всевышнего, и ты заснешь крепко и встанешь здоровым и бодрым.

— Все может быть, — прошептал Хэлберт, не спуская глаз с очертаний женской фигуры, которую по-прежнему различал отчетливо, — все может быть,

но скажи: неужели ты никого не видишь в комнате, кроме меня?

— Никого, — повторил Эдуард, приподнимаясь и опираясь на локоть. — Дорогой брат мой, убери подалее свой меч, прочитай молитву и постарайся заснуть.

Во время этой речи Белая дама смотрела на Хэлберта с презрительной улыбкой; бледность ее щек стала сливаться с бледным светом луны, а потом исчезла и улыбка, так что Хэлберт потерял из виду призрачную гостью, к которой так неотступно стремился привлечь внимание брата.

— Господи, спаси и сохрани мой разум, — прошептал он, отложил в сторону меч и бросился на кровать.

— Аминь, любимый брат мой, — промолвил Эдуард. — Не забывай: нам не должно в беспечные минуты докучать небесам, памятуя, что к ним мы обращаемся в нашей скорби. Не сердись на то, что я сейчас скажу, дорогой брат. С недавних пор ты стал чуждаться меня, не знаю почему. Правда, я не отличаюсь ни атлетической силой, ни резвостью и отвагой, которыми ты отличался с детства, но ведь до последнего времени ты не гнушался моего общества. Поверь, что втайне я не раз плакал, не решаясь, однако, нарушить твое уединение. Было время, когда ты дорожил мною; пусть я не умею гнаться за дичью с таким жаром и убивать ее так метко как ты, но ты всегда с удовольствием внимал мне, когда, завтракая с тобой на привале у какого-нибудь живописного ручейка, я пересказывал тебе увлекательные легенды из далекого прошлого, слышанные от кого-нибудь или прочитанные в книгах. Теперь же, не знаю почему, я потерял твои расположение и привязанность. Послушай, успокойся, не размахивай руками, это все от дурных снов, — продолжал Эдуард. — Боюсь, не лихорадит ли тебя. Позволь мне лучше закутать тебя плащом.

— Не надо, — ответил Хэлберт, — не волнуйся попусту, твоё беспокойство и слезы обо мне напрасны.

— Нет, послушай, брат, — настаивал Эдуард, — твои слова во сне и теперешний бред наяву показы-

вают, что ум твой занят существом, не принадлежащим роду человеческому. Наш добрый отец Евстафий разъяснял, что хотя не подобает прислушиваться ко всем вздорным рассказам о духах и привидениях, но в священном писании сказано, что в местах пустынных и уединенных гнезятся злые бесы, и те, кто посещает подобные пустоши в одиночку, становятся добычей или потехой разных блуждающих демонов... И потому прошу тебя, братец мой, разреши мне сопровождать тебя, когда ты в следующий раз пойдешь вверх по ущелью; там, как тебе известно, есть места с дурной славой. Ты не нуждаешься в моей охране, но знай, Хэлберт, подобные опасности успешнее побеждаются рассудком, чем отвагой. Хотя я не смею хвалиться собственной премудростью, зато имею знания, почерпнутые из мудрых книг прошедших поколений.

Слушая брата, Хэлберт едва не поддался искушению открыться Эдуарду — поведать ему о том, что тяжелым камнем лежало у него на сердце. Но когда Эдуард напомнил ему, что завтра большой церковный праздник и Хэлберту следовало бы, отложив в сторону все прочие обязанности или удовольствия, пойти в монастырь и покаяться в грехах отцу Евстафию, который весь день будет принимать кающихся в исповедальне, в юноше заговорила гордость и положила конец его колебаниям.

«Нет, — решил он, — не буду признаваться! Выслушав мой удивительный рассказ, меня могут счесть обманщиком или еще того хуже. Не буду я увиливать от встречи с этим англичанином — его рука и оружие, может быть, не сильнее моих. Ведь предки мои сражались с людьми и почище его, даже если он дерется так же ловко, как произносит цветистые речи».

Гордость, как известно, часто спасает мужчин, да и женщин от нравственного падения, но когда в душе человека к голосу гордости присоединяется голос страсти, эти два чувства почти всегда торжествуют над совестью и разумом. Приняв окончательное, хоть и не самое правильное решение, Хэлберт наконец крепко заснул и проснулся только с рассветом.

Глава XXI

Он, правда, хладнокровен, но зато
В подобном ремесле совсем не мастер.
Но кровь пустить фехтующему франту
Способен иногда простолюдин.

Старинная пьеса

Едва занялась заря, Хэлберт Глендининг вскочил, наскоро оделся, опоясался мечом и взял свой самострел, как будто собираясь на обычную охоту. Ощупью спустился он по темной винтовой лестнице и почти бесшумно отворил внутреннюю дверь и калитку железной ограды. Очутившись наконец во дворе, он обернулся, чтобы взглянуть на башню, и увидел, что кто-то махнул ему платком из окна. Не сомневаясь, что этот знак подает ему сэр Пирси, он остановился, чтобы подождать его. Но то была Мэри Эвенел, которая, как призрак, выскользнула из массивных и низких ворот.

Хэлберта удивило ее появление, и он почувствовал себя, сам не зная почему, человеком, пойманным на месте преступления. Общество Мэри Эвенел никогда еще не было ему в тягость вплоть до этой минуты, когда ему показалось, что она неспроста с грустью и осуждением в упор спросила его, что он сейчас собирается делать.

Он указал на самострел и хотел было отговориться, сославшись на охоту, но Мэри перебила его:

— Не надо, Хэлберт, такие уловки недостойны человека, который всегда говорил правду. Не оленя идешь ты убивать... Рука и сердце твои устремлены к другой цели. Ты ищешь бранной встречи с этим приезжим.

— Для чего это мне враждовать с нашим гостем? — возразил Хэлберт, густо покраснев.

— Действительно, многое должно было бы удерживать тебя от этого шага, — сказала Мэри. — Нет никакой разумной причины для вашей ссоры, а между тем ты к ней стремишься.

— Почему ты так думаешь, Мэри? — спросил Хэлберт, стараясь скрыть свои истинные намерения. —

Этот англичанин — гость моей матери, ему покровительствуют аббат и вся монастырская братия, а от них мы все зависим. Притом он знатного рода. Почему же ты решила, что я захочу, что я осмелюсь мстить ему за какое-то опрометчивое слово, которое вырвалось у него против меня скорее по легкомыслию, чем со зла?

— Увы, — ответила девушка, — ты спрашиваешь меня об одном, а на уме у тебя совсем другое. С самого детства ты был смельчаком, искал опасности, вместо того чтобы ее избегать, горел страстью к приключениям, требующим мужества. Страх тебя и теперь не удержит. Так пусть тебя остановит жалость! Жалость, Хэлберт, к твоей престарелой матери, которую и смерть и победа твоя равно лишат утешения и поддержки в старости.

— У нее остается мой брат Эдуард, — воскликнул Хэлберт, отвернувшись от Мэри.

— Да, в этом ты прав, — ответила она. — Спокойный, великодушный, заботливый Эдуард, обладающий твоим мужеством, Хэлберт, но без твоей запальчивости, гордый, как ты, но более благоразумный. Он не допустил бы, чтобы мать и названная сестра тщетно умоляли его не губить свою жизнь, он не растоптал бы их надежды на счастье и на защиту.

При этом упреке сердце Хэлберта переполнилось горечью.

— К чему этот разговор? У вас есть защитник куда лучше, чем я, разумнее, осмотрительнее, даже храбрее, как оказывается; вы не беспомощны, и я вам не нужен.

И он снова повернулся, чтобы уйти, но тут Мэри Эвенел коснулась его руки, и так нежно, что, едва ощутив это легкое прикосновение, Хэлберт почувствовал себя прикованным к месту. Так и застыл он, выставив одну ногу вперед, словно собирался бежать, но внезапно утратил решимость и способность шевельнуться, подобно страннику, который по мановению руки чародея окаменел на бегу.

Молодая девушка воспользовалась его минутным смятением.

— Послушай меня, — сказала она, — послушай меня, Хэлберт! Я сирота, а мольбам сирот внимает даже небо... Мы с тобой друзья с детства, и если даже ты не хочешь выслушать меня, так кто окажет Мэри Эвенел это жалкое снисхождение?!

— Я слушаю тебя, дорогая Мэри, — сказал Хэлберт, — но говори короче, ты неправильно толкуешь мои намерения. Летнее утро зовет нас на охоту.

— Не надо, — прервала его девушка, — не надо так со мной говорить. Ты можешь обмануть других, но меня не обманешь. Еще когда я была ребенком, что-то внутри меня отгоняло ложь и коварство, нечестные люди избегали меня. Не знаю, для чего судьба так распорядилась: хотя я выросла в этой уединенной долине и образования мне не дали, мои глаза слишком часто видят то, что люди хотели бы скрыть. Я вижу черные замыслы, даже если они прячутся под приятной улыбкой. Один мимолетный взгляд человека открывает мне больше, чем клятвы и уверения открывают другим.

— Если ты умеешь читать в сердцах человеческих, — молвил Хэлберт, — скажи, дорогая Мэри, что ты видишь в моем? Скажи прямо, что ты видишь? То, что ты прочла там, в моей груди, не оскорбляет тебя? Скажи только это, и я отныне и впредь стану глиной в руках твоих, и ты будешь направлять мои поступки, и я последую за тобой, куда ты укажешь, пусть ждет меня честь или бесчестье!

Лицо Мэри, сначала вспыхнувшее румянцем, покрылось мертвенной бледностью. Хэлберт замолчал, подошел к ней и взял ее за руку. Она кротко отстранилась и сказала:

— Нет, Хэлберт, не умею я читать в сердцах, и нет у меня желания узнать о твоём сердце больше, чем приличествует нам обоим... Я умею толковать только внешние приметы, слова и поступки — их я понимаю вернее, чем люди, которые меня окружают. Ты и сам знаешь, что мои глаза замечали то, чего не видели другие.

— Так пусть твои глаза хорошенько вглядятся в человека, которого больше никогда не увидят! —

воскликнул Хэлберт и выбежал за ограду, даже не оглянувшись.

Из груди Мэри Эвенел вырвался легкий стон, и она судорожно закрыла лицо руками. С минуту простояла она так и вдруг услышала за собой чей-то приветливый голос:

— Поистине великодушно поступаете вы, моя всемилостивейшая Скромность, что скрываете блистательные глаза свои от не в пример более тусклых лучей, ныне начинающих золотить восточный небосклон. Страшно подумать, что превзойденный в блеске Феб мог бы в великом смущении обратить колесницу свою вспять и погрузить вселенную в полнейший мрак, лишь бы избежать неминуемого позора от подобной встречи. Поверьте, пленительная Скромность...

Но как только сэр Пирси Шафтон (читатель без труда распознал, кто автор сих цветов красноречия) попытался прижать к своему сердцу руку Мэри Эвенел, чтобы продолжать речь в том же духе, она стремительно отняла руку, метнула на него взгляд, полный волнения и ужаса, и убежала к себе.

Рыцарь посмотрел ей вслед — лицо его выражало обиду и презрение.

— Клянусь моим рыцарским званием, — вскричал он, — напрасно расточал я перед сей неотесанной деревенской Фиделией слова, которые самая горделивая красавица при дворе Фелицианы (так называю я Элизиум, откуда меня изгнали) сочла бы утренным приветом самого Купидона. Да, жестока и неумолима судьба, сославшая тебя сюда, о Пирси Шафтон, где изящество ума попусту растрачивается на бесчувственных поселянок, а доблесть твоя — на деревенских наглецов! Нанесенное мне оскорбление, сей дерзостный афронт... Как бы ни был ничтожен обидчик, он должен умереть от моей руки, ибо чудовищность преступления заставляет забыть низкое звание того, кто его совершил. Надеюсь, что найду этого хвастливого мужлана и что он будет драться так же охотно, как придумывал разные издевательства.

Рассуждая сам с собой таким образом, сэр Пирси Шафтон быстро приближался к березовой роще, где

была назначена встреча Он отвесил противнику учтивый поклон, сопроводив его следующим пояснением:

— Прошу заметить, что я, снимая шляпу перед вами, нисколько не роняю своего достоинства, несмотря на неизмеримое превосходство моего звания над вашим, в силу того, что, сделав вам честь и приняв ваш вызов, я (по мнению лучших знатоков дуэли) тем самым на определенное время возвышаю вас до своего уровня. Эту честь вы можете и должны считать большим счастьем для себя, даже заплатив за нее жизнью, если таков будет исход нашего поединка.

— Не видать бы мне такой милости, — заметил Хэлберт, — если бы не иголочка, которую я преподнес вам.

Рыцарь переменялся в лице и яростно заскрежетал зубами.

— Обнажай меч! — крикнул он Глендинингу.

— Только не здесь, — ответил юноша. — Нам могут помешать. Пойдемте, я проведу вас в такой уголок, куда никто не заглядывает.

Он направился вверх по ущелью, так как решил, что поединок должен состояться у входа в Корри-нан-Шиан. По слухам, здесь водились духи, и дурная слава отгоняла путешественников; кроме того, Хэлберт считал, что его судьба каким-то таинственным образом связана с этим ущельем и потому оно должно стать свидетелем его гибели или торжества.

Некоторое время они шли молча, как благородные противники, не имеющие тем для дружелюбной беседы и не желающие вступать в перебранку. Однако молчание всегда тяготило сэра Пирси; к тому же характер у него был вспыльчивый и гнев — скоропроходящий. Утвердившись в привычной для него снисходительной любезности к сопернику, он не видел более причины принуждать себя к томительному безмолвию и начал с того, что похвалил Хэлберта за ловкость и проворство, с каким тот преодолевал кручи и преграды на их пути.

— Верь мне, достойный поселянин, — заговорил он, — даже на наших придворных празднествах я не

встречал более легкого и твердого шага. Если наряжать тебя в атласные панталоны да обучить плавности телодвижений, твои ноги могли бы вызывать восхищение и в паване и в гальярде. И я нисколько не сомневаюсь, — присовокупил он, — что ты здесь воспользовался каким-нибудь случаем для изучения фехтовального искусства, которое имеет более близкое отношение к цели нашей встречи, нежели умение танцевать.

— В фехтовании я знаю только то, — сказал Хэлберт, — чему выучил меня один из наших старых пастухов, Мартин, и еще мне случилось взять несколько уроков у Кристи из Клинт-хилла. Впрочем, я больше всего полагаюсь на добрый меч, крепкую руку и стойкое сердце.

— Клянусь, я рад этому, юная Смелость! (Пока между нами существует сие искусственное равенство, я буду называть тебя моей Смелостью, а тебе разрешаю именовать меня твоей Снисходительностью.) Да, я от души рад твоей неопытности. Мы, любимцы Марса, имеем обыкновение соразмерять наказания, налагаемые на наших противников, со временем, которое мы тратим на то, чтобы проучить их, и с риском, которому при этом подвергаемся. Ну, а раз уж ты в этом новичок, я могу считать тебя достаточно наказанным за дерзословие и заносчивость, если лишу тебя одного уха, одного глаза, на худой конец — одного пальца, с добавлением в виде раны, которая глубиной и серьезностью будет соответствовать степени твоей вины. А будь ты более способен к самозащите, заглаживать свою дерзость тебе пришлось бы смертью, никак не меньше.

— Нет, это уж слишком! — воскликнул Хэлберт, будучи не в силах сдержать свое негодование. — Клянусь богом и пресвятой девой, ты сам сверх меры дерзок, когда столь высокомерно говоришь об исходе боя, который еще и не начинался... Разве ты божество, имеющее власть заранее распорядиться моей жизнью и моим телом? Или ты судья, сидишь за судейским столом и, не торопясь, безбоязненно решаешь, куда девать голову, руки и ноги четвертованного преступника?

— Ты ошибаешься, о юноша, которому я разрешил именоваться моей Смелостью! Я, твоя Снисходительность, вовсе не выдаю себя за божество, предрешающее исход поединка еще до начала боя, я не являюсь и судьей, определяющим по своей воле и без всякого риска для себя, как поступить с телом и головой осужденного преступника. Зато я порядочный знаток фехтовального искусства, будучи лучшим учеником лучшего мастера в лучшей школе фехтования, учрежденной в английском королевстве. И сей вышеупомянутый мастер есть не кто иной, как высокоблагородный и неподражаемо искусный Винченцо Савиола, сообщивший мне устойчивость поступи, быстроту глаза и меткость руки; и тебе, моя неотесанная Смелость, будет дано вкусить от плодов моего учения, как только мы найдем подходящее место для указанных упражнений.

Тем временем противники дошли до входа в ложину. Хэлберт вначале хотел остановиться именно здесь, но, присмотревшись, решил, что слишком трудно было бы ему на стиснутой скалами площадке возместить одним проворством недостаточность своих навыков в так называемой науке фехтования. Тщетно искал он подходящего места, пока они не добрались до известного нам источника. Здесь, прямо перед скалой, из которой вытекал источник, находилась возвышенная, покрытая дерном площадка в виде амфитеатра, правда не слишком обширная, по сравнению с громадной высотой утесов, окружавших ее с трех сторон, но достаточно просторная для цели, которую они себе ставили.

Очутившись в уединенной суровой местности, словно созданной для тайной схватки не на жизнь, а на смерть, они оба с изумлением увидели у самого подножия скалы могилу, вырытую весьма старательно и аккуратно; с одной стороны могилы лежал нарезанный зеленый дерн, а с другой — куча вырытой земли. Тут же были заступ и лопата.

Сэр Пирси Шафтон, нахмутив брови, с не свойственной ему серьезностью пристально посмотрел на Глендининга и сурово спросил:

— Вы замыслили предательство, молодой человек? Вы намеренно завели меня сюда в ловушку или засаду?

— Клянусь небом, у меня этого и в мыслях не было, — ответил юноша, — я никому не сообщал о нашем намерении, и, предложи мне в вознаграждение трон Шотландии, я не стану заманивать человека в ловушку.

— Полагаю, что тебе можно верить, моя Смелость, — ответил рыцарь, снова впадая в жеманство, ставшее у него второй натурой, — но тем не менее я должен тебе заметить, что углубление это вырыто великолепно и может по праву считаться образцовой работой мастера по последним пристанищам, то есть могильщика. Итак, возблагодарим случай или неизвестного друга, уготовившего для одного из нас благопристойное погребение, и приступим к решению вопроса, кому же из нас суждено наслаждаться в этой могиле безмятежным покоем.

С этими словами он сбросил плащ и камзол, бережно свернул их и положил на большой камень. Хэлберт, волнуясь, последовал его примеру. То, что они находились по соседству с любимым местопребыванием Белой дамы, внушило ему догадку, что могила является делом ее рук. «Она предвидела роковой исход поединка и заранее сделала необходимые приготовления, — думал он. — Я уйду отсюда убийцей или усну здесь вечным сном».

Об отступлении думать было уже нечего, и надежда выйти из этого дела с честью, не лишая жизни ни себя, ни противника (такая надежда питает слабеющее мужество многих, выходящих к барьеру), казалось, тоже исчезла безвозвратно. Но после минутного размышления Хэлберт почувствовал, что именно отчаянность положения, оставляющая ему только две возможности — победу или смерть, пробудила в нем новую отвагу и новую стойкость.

— У нас, — объявил сэр Пирси, — отсутствуют друзья и секунданты, поэтому следовало бы вам ощупать мою грудь, а мне — вашу. Я не подозреваю вас в том, что вы защитили себя тайной кольчугой, но

желал бы соблюсти древний и похвальный обычай, применявшийся во всех подобных случаях.

В то время как Хэлберт, повинувшись желанию противника, совершал требуемую церемонию, сэр Пирси не отказал себе в удовольствии обратить внимание юноши на красоту и тонкость своей расшитой рубашки.

— В этой самой рубашке, о моя Смелость, — объявил он, — в этом самом наряде, в котором я сейчас собираюсь скрестить оружие с таким шотландским мужланом, как ты, мне выпала завидная честь возглавить победившую сторону в изумительной игре в мяч, затеянной между божественным Астрофелом (нашим неотразимым Сиднеем) и достопочтеннейшим и достойнейшим лордом Оксфордом. Все красавицы Фелиции (этим прозвищем почтил я нашу возлюбленную Англию) теснились в галерее, размахивая платочками при каждом метком ударе, меняющем счет игры, и награждая победителей рукоплесканиями. Вслед за этой благородной забавой нас потчевали роскошным ужином, за которым благородная Урания (то есть несравненная графиня Пемброк) соизволила предложить мне свой собственный веер, дабы охладить мое быть может излишне пылающее лицо. Приняв благодарность за сию любезность, я с меланхолической улыбкой произнес: «О божественная Урания, возвращаю тебе губительный дар твой, который отнюдь не освежает меня, как подобало бы зефиру, но, подобно дыханию сирокко, разжигает то, что уже стало добычей пламени». После чего она взглянула на меня как будто с презрительной усмешкой, но каждый знаток этикета усмотрел бы в ее глазах проблеск нежного поощрения.

Тут нить воспоминаний рыцаря оказалась прерванной вмешательством Хэлберта, который заставил себя терпеливо слушать, пока не понял, что конца сей повести не видать, поскольку сэр Пирси весьма склонен к многословию.

— Сэр рыцарь, — сказал юноша, — если то, что вы говорите, не имеет прямого отношения к нашему делу, то, если вам угодно, приступим к предмету нашей встречи. При такой охоте тратить время на пу-

стые разговоры вам следовало бы оставаться в Англии — мы здесь к этому не привыкли.

— Умоляю вас о прощении, моя неотесанная Смелость, — ответил сэр Пирси. — Я действительно забываю обо всем на свете, когда в моей ослабевшей памяти возникает рой воспоминаний о божественном дворе Фелицианы. В такие минуты я уподобляюсь святому, мысленно созерцающему неземное видение. Ах, счастливая Фелициана, нежная воспитательница всего прекрасного, избранное обиталище всего мудрого, месторождение и колыбель благородства, храм изящества, чертог блистательного рыцарства. Ах, райский дворец, или, вернее, дворцовый рай, оживляемый балами, убаюкиваемый гармонией и пробуждающийся для скачек и турниров, разукрашенный шелком и парчой, сверкающий золотом и самоцветами, горящими на бархате, атласе и тафте!

— Вспомните иголку, сэр рыцарь, иголочку! — вскричал Хэлберт Глендининг.

Выведенный из терпения нескончаемым словоизвержением сэра Пирси, он напомнил ему причину ссоры, чтобы заставить его перейти к делу, ради которого они встретились.

Он не ошибся. Услышав эти слова, англичанин воскликнул:

— Настал твой смертный час! К оружию! *Via!*¹

Мечи обнажились, и поединок начался. Хэлберт сразу убедился в справедливости своего предположения — в искусстве владеть оружием он был гораздо слабее своего противника. Сэр Пирси говорил чистой правду, называя себя отличным фехтовальщиком, и Глендининг вскоре убедился, что ему нелегко будет уберечь и жизнь и честь свою от такого соперника. Английский кавалер в совершенстве владел всеми тайнами *stoccata*, *imbrossata*, *punto-reverso*, *incartata* и т. д.,² которые, с легкой руки итальянских учителей фехтования, получили ныне широкое рас-

¹ Дорогу! (лат.)

² Фехтовальные приемы в терминологии итальянской фехтовальной школы,

пространение. Однако и Глендининг тоже не был совершенным новичком. Он умел сражаться на старинный шотландский лад и обладал основными достоинствами бойца — упорством и выдержкой. Сначала, стремясь испытать искусство противника и присмотреться к его приемам, он ограничивался самозащитой, и, соразмеряя малейшее движение рук, ног и всего тела, держал меч накоротке и направлял его острие прямо в лицо врага, из-за чего сэра Пирси был вынужден держаться в рамках обычной атаки, не прибегая к ложным выпадам, на которые он был большим мастер; все эти удары Хэлберт отражал быстрой переменной позиции или ответными ударами. Когда сэра Пирси убедился, что юноше удалось отбить все его резкие атаки или ловко уклониться от них, он сам перешел к обороне из боязни истощить свои силы непрерывным нападением. Но Хэлберт был слишком благоразумен, чтобы очертя голову броситься на противника, боевой задор которого уже не раз угрожал ему смертью, — так что он избежал этой участи только благодаря повышенной настороженности и проворству.

Соперники сделали по одному — по два ложных выпада, и вдруг оба, словно сговорившись, опустили мечи и безмолвно взглянули друг на друга. В эту минуту тревога за семью в душе Хэлберта заговорила громче, чем раньше, когда он воочию не представлял себе силу своего противника и, с другой стороны, не успел доказать сэру Пирси меру своего бесстрашия; не удержавшись, юноша воскликнул:

— Сэр рыцарь, неужто причина нашей ссоры так смертельна, что тело одного из нас непременно должно занять эту могильную яму? Не лучше ли нам теперь, с честью доказав друг другу свое мужество, убраться мечи и разойтись друзьями?

— О доблестная и неотесанная Смелость! — воскликнул английский кавалер. — Вы не могли бы избрать во всем мире человека достойнее меня для суждения о кодексе чести. Сделаем небольшую паузу, пока я не изложу вам свое мнение по этому поводу; нет сомнения в том, что отважным людям не приличествует кидаться в пасть смерти, очертя голову,

подобно тупым и разъяренным диким зверям, — нет, убивать своего ближнего человек должен невозмутимо, вежливо и по всем правилам. Поэтому, если мы хладнокровно обсудим предмет нашего спора, мы сможем доскональнее разобраться, действительно ли три сестрицы обрекли одного из нас испустить своей кровью... Ты меня, надеюсь, понимаешь?

— Да, отец Евстафий как-то рассказывал, — ответил Хэлберт после минутного раздумья, — о трех фуриях с их нитями и ножницами.

— Замолчи, довольно! — завопил сэр Пирси, вспыхивая от нового приступа ярости. — Оборвалась нить твоей жизни!

И он с такой стремительностью и свирепостью напал на молодого шотландца, что тот едва успел стать в оборонительную позицию. Но, как это часто случается, безудержное неистовство атакующего не привело к желаемому результату. Хэлберт Глендининг уклонился от грозного удара, и, прежде чем рыцарь успел подготовиться к защите, меч молодого шотландца сокрушительным *stoccata* (пользуясь выражением самого рыцаря) пронзил грудь сэра Пирси, и тот замертво упал на землю.

Глава XXII

Да, жизнь ушла! И каждый проблеск мысли,
Любой порыв, привязанность, любовь,
Способность чутя зло, таить печаль —
Все в бледном трупе сразу исчезает.
И я виной, что тот, кто молвил, мыслил,
Шагал, страдал и полон жизни был,
Теперь лежит кровавой грудой праха
И вскоре станет пищей для червей.

Старинная пьеса

Я полагаю, что далеко не каждый из тех, для кого дуэль счастливо окончилась (если выражение «счастливо» применимо к столь роковой удаче), может равнодушно глядеть на распростертого у его ног

противника, не испытывая желания отдать ему собственную кровь вместо той, которую суждено было пролить. Подобного равнодушия, во всяком случае, не мог проявить молодой Хэлберт Глендининг, никогда не видевший человеческой крови, пораженный горем и ужасом при виде сэра Пирси Шафтона, распростертого перед ним на зеленой мураве, на которую непрерывно капала кровь из рта раненого. Отшвырнув окровавленный меч, он бросился на колени и стал приподнимать рыцаря, стараясь одновременно остановить кровотечение, которое, казалось, было более внутренним, нежели внешним.

Временами приходя в себя, бедный кавалер старался что-то сказать, и эти едва внятные слова по-прежнему выражали его вздорный, чванный, но не лишенный благородства характер.

— О, юноша из захолустья! — проговорил он. — Твое счастье пересилило рыцарское искусство, и Смелость взяла верх над Снисходительностью, подобно коршуну, которому иной раз удается вцепиться в благородного сокола и швырнуть его оземь. Беги, спасайся! Возьми мой кошелек... он в нижнем кармане моих панталон телесного цвета... простому парню не стоит от него отказываться. Позаботься доставить мои сундуки с платьем в обитель святой Марии (тут голос его стал слабеть, а сознание затуманиваться). Завещаю мой короткий бархатный камзол с узенькими панталонами того же цвета на... ох... на помин моей души.

— Не отчаивайтесь, сэр, вы поправитесь, я уверен, — успокаивал его Хэлберт, полный сострадания и мучимый угрызениями совести. — О, если бы найти лекаря!

— Если бы ты нашел даже двадцать врачей, о великодушнейшая Смелость, а это было бы внушительное зрелище... они не спасли бы меня... жизнь моя угасает... Привет от меня сельской нимфе, которую назвал я моей Скромностью. О Кларидиана, истинная владычица этого истекающего кровью сердца, ныне истекающего по-настоящему, как ни печально! Уложи меня поудобнее, мой неотесанный победитель,

рожденный, чтобы угасить блистательнейшее светило счастливейшего двора Фелицианы... О, святые и ангелы, рыцари и дамы, празднества и театры, затейливые эмблемы, драгоценности и вышивки, любовь, честь и красота!

Последние слова он ронял как бы в забытии, еще созерцая угасающим взором блеск английского двора; затем доблестный сэр Пирси Шафтон вытянулся, глубоко вздохнул, закрыл глаза и застыл в неподвижности.

Победитель в отчаянии рвал на себе волосы, вглядываясь в бледное лицо своей жертвы. Ему казалось, что в этом теле еще теплится жизнь; но как отдалить смерть, не имея под руками никакой помощи?

— О, зачем, — восклицал он в тщетном раскаянии, — зачем вызвал я его на этот гибельный поединок? Клянусь богом, лучше бы мне стерпеть самое тяжкое оскорбление, какое мужчина способен нанести мужчине, но только не оказаться кровавым орудием, совершившим это кровавое злодеяние. Будь дважды проклято это окаянное место, которое я выбрал для боя, хотя знал, что тут водится ведьма или сам дьявол. В любом другом месте помощь нашлась бы, я бы бросился за ней, стал бы кричать. Но здесь кого я найду, кроме злой колдуньи, виновницы этого бедствия? Теперь не ее час, но что ж такое! Попробую вызвать ее заклинанием, и, если она может мне помочь, она *должна* мне помочь, иначе я покажу ей, на что способен человек, доведенный до безумия. Он страшен даже для нечистой силы!

Хэлберт сбросил забрызганный кровью башмак и повторил обряд заклинания, уже известный читателю, но ответа не последовало. Тогда в горячности отчаяния, с мужественной решительностью — основной чертой его характера, он оглушительно закричал:

— Чародейка! Колдунья! Ведьма! Ты что, глуха, когда тебя зовут на помощь? Как быстро ты являешься, чтоб сделать людям зло! Явись и отвечай, не то я сейчас же засыплю твой фонтан, вырву с корнем твой остролист — все здесь погублю и опустошу,

как ты опустошила мою душу и погубила мой покой!

Эти яростные, неистовые крики были внезапно прерваны отдаленным звуком, похожим на человеческий голос, который несся от входа в ущелье.

— Хвала святой Марии! — воскликнул юноша, поспешно надевая башмак. — Там живой человек, и в этом страшном несчастье он может дать мне совет и оказать помощь.

Надев башмак, Хэлберт пустился бежать вниз по дикому ущелью, временами издавая пронзительные возгласы; он мчался с быстротой преследуемого оленя, так, как будто впереди его ждал рай, а позади оставался ад со всеми его фуриями, как будто спасение или гибель его души зависели от скорости, на какую он был способен. Только шотландский горец под влиянием глубокого, страстного порыва мог с такой невероятной быстротой добежать до выхода из ущелья, где маленький ручеек, протекающий по Корри-нан-Шиану, впадает в речку, орошающую Глендеаргскую долину.

Здесь он остановился и огляделся, но ни наверху, в скалах, ни внизу, в долине, не увидел человека, на голос которого примчался. Сердце у него так и замерло. Правда, извилины узкого ущелья не давали ему окинуть взглядом большое пространство, и этот человек мог быть где-нибудь близко, за одним из поворотов. Рядом, из расселины высокого утеса, выдавался вперед могучий дуб, ветви которого представлялись ему удобными ступенями, чтобы взобраться наверх и оглядеть окрестности, — затея, которая по силам далеко не каждому, а только человеку стойкому, смелому и уверенному в себе. Одним прыжком предприимчивый юноша ухватился за нижнюю ветвь, вторым — взобрался на дерево и еще через минуту достиг вершины скалы, с которой сразу увидел фигуру путешественника, спускавшегося в долину. Повидимому, это был не пастух и не охотник, никто из тех, кто обычно странствует здесь по безлюдной глуши, и самым удивительным было то, что человек этот шел с севера, где, как читатель, вероятно, по-

мнит, находилась большая и опасная трясина, откуда брал начало ручеек.

Но Хэлберт Глендининг не стал и раздумывать о том, кто этот путник и что его сюда привело. В ту минуту с него было достаточно, что он воочию видел живого человека и в безысходности отчаяния сразу поверил, что сможет воспользоваться советом и помощью этого посланца рода человеческого. Он соскочил с верхушки скалы на сук старого дуба, верхние ветви которого покачивались высоко над землей, а корни, подобно якорю, гнездились в глубокой расщелине. Ухватившись за ближайшую ветку, он смело спустился с большой высоты на землю; благодаря своей ловкости и силе он не расшибся и спрыгнул так легко, как слетает сокол, утомившись кружиться в воздухе.

Через минуту Хэлберт уже несли во всю прыть вверх по ущелью, но поворот за поворотом оставались позади, а путника все не было, так что он уже начинал опасаться, не растаял ли в воздухе этот путешественник, не был ли он призраком, которого создало его воображение, или шуткой злых духов, обитающих, по народному поверью, в этой долине.

Но, к его невыразимой радости, обогнув стоящую особняком высокую скалу, он увидел недалеко перед собой человека, в котором уже с первого взгляда по одежде можно было угадать пилигрима.

Это был человек преклонных лет, с длинной бородой, в широкополой шляпе без какой-либо ленты или пряжки, надвинутой на самые глаза. Его одежда состояла из черного саржевого плаща, в просторечии называемого гусарским, с длинным капюшоном, который покрывал плечи и спускался ниже пояса. Его снаряжение дополняли небольшая котомка с фляжкой за спиной и толстый посох в руке. Шел он с трудом, как человек, изнемогающий от долгого странствия.

— Спаси и помилуй вас, отец мой! — воскликнул юноша. — Бог и пресвятая дева послали вас ко мне на помощь.

— Чем же может помочь тебе столь неможное создание, как я? — ответил старик, немало озадаченный неожиданным появлением красивого юноши, встревоженное лицо которого пылало от быстрого бега, а руки и одежда пестрели кровавыми пятнами.

— Здесь, в долине, в двух шагах отсюда человек истекает кровью. Пойдемте со мной! Пойдемте со мной! В ваши годы... У вас есть опыт. Вы по крайней мере в полном уме, а я совсем растерялся.

— Человек, истекающий кровью... здесь, в столь пустынном месте? — удивился старик.

— Сейчас не время расспрашивать, отец мой, — торопил его юноша, — спешите спасти его. Следуйте за мной! За мной, не теряя ни минуты.

— Не горячись, сын мой, — возразил старик, — не так легко следуем мы за первым встречным посреди дикой пустыни. Раньше чем я пойду за тобой, объясни мне, кто ты такой, что имеешь в мыслях и что произошло.

— Объяснять некогда, — воскликнул Хэлберт. — Говорю тебе: дело идет о жизни человека, и ты пойдешь со мной, иначе я потащу тебя силой!

— Напрасно! Зачем прибегать к силе? — сказал путник. — Если ты говоришь правду, я последую за тобой по доброй воле. Притом я немного разбираюсь во врачевании, и в котомке моей найдется, чем помочь твоему другу. Но только замедли шаг, прошу тебя, я изнемогаю от усталости.

С трудом сдерживая нетерпение, как пылкий скакун, вынужденный по воле всадника идти в паре с медлительной клячей, Хэлберт шагал в ногу со стариком, стараясь скрыть от него свое мучительное беспокойство, чтобы не вселять гревогу в душу человека, который, по-видимому, относился к нему с большой опаской. Когда они подошли к повороту, за которым ущелье суживалось и начиналась теснина Корри-нан-Шиан, странник остановился в нерешительности, как бы не желая сворачивать на еще более узкую и мрачную дорогу.

— Молодой человек, — сказал он, — если то, что ты замыслил, угрожает моим седидам, твоя жесто-

кость принесет тебе мало пользы — нет при мне земных сокровищ, соблазнительных для грабителя или убийцы.

— Я не грабитель и не убийца, — ответил Хэлберт, — и все же, господи помилуй, могу оказаться убийцей, если вы вовремя не окажете помощь этому несчастному.

— Вот как! — удивился странник. — Неужели людские страсти врываються даже сюда, нарушая глубочайшее уединение природы? Впрочем, стоит ли удивляться: где царство мрака, там совершаются мрачные дела. По плодам судим мы о дереве. Веди меня, нстерпеливый юноша. Я следую за тобой.

И незнакомец зашагал с новым рвением, напрягая все свои силы и пренебрегая усталостью, чтобы не отставать от нетерпеливого провожатого.

Каково же было изумление Хэлберта, когда, придя к роковому месту, он не нашел тела сэра Пирси Шэфтона. Правда, других следов кровавого столкновения было достаточно. Вместе с телом рыцаря исчез и его плащ, но куртка осталась там, куда он положил ее перед поединком, и на траве, где лежал сэр Пирси, сгустками темнела запекшаяся кровь.

Оглядевшись кругом в ужасе и недоумении, Хэлберт бросил взгляд на могилу, которая так недавно, казалось, разинула свою пасть в ожидании жертвы. Сейчас могила была засыпана, как будто поглотив уготованную ей добычу. Там, где совсем недавно зияла черная яма, теперь возвышался обычный могильный холмик, так тщательно обложенный зеленым дерном, как будто тут потрудились рука опытного могильщика. Хэлберт был ошеломлен. Одна мысль неотвязно сверлила его мозг: «Вот кучка земли перед моими глазами прикрывает собою то, что еще так недавно было живым, деятельным, жизнерадостным человеком, которого я из-за сущего пустяка злодейски превратил в прах, холодный и бесчувственный, как земля, где этот человек сейчас покоится. Рука, вырывшая могилу, теперь завершила начатое дело. Чья же это рука, если не того таинственного и злокозненного существа, которое я без-

рассудно вызвал из потустороннего мира и которому позволил вмешаться в свою судьбу?»

Сжав кулаки и отвернувшись от могилы, Хэлберт стал горько проклинать свою горячность. Его отвлек от горестных размышлений голос незнакомца, подозрения которого возникли с новой силой, когда он на месте поединка увидел вовсе не то, что описал ему Хэлберт.

— Молодой человек, — промолвил он, — значит, ты лживой речью своей заманил меня сюда и хочешь укоротить жизнь, дни которой, может быть, сочтены самой природой; стоит ли преступлением пресекать земное странствие мое, которое скоро кончится и без вины с твоей стороны?

— Клянусь благостным небом и пречистой богородицей!.. — вскричал Хэлберт.

— Не божись, — перебил его старик, — и не клянись небом — престолом господа бога, ни землей — подножием его, ни тварями, которых он сотворил, потому что они не более чем пыль и прах, как и мы с тобой. Пусть твое «да» будет — да! и твое «нет» будет — нет! А теперь скажи мне, да покорооче, ради чего ты сочинил свою сказку и увел заблудившегося путника еще дальше в сторону?

— Говорю тебе так же истинно, как то, что я христианин, — ответил юноша, — я оставил здесь человека, истекающего кровью, а сейчас его нигде не видно, и я подозреваю, что эта могила, которую ты видишь, сокрыла в себе его бездыханное тело.

— А кто же он, о чьей судьбе ты так печалишься? — спросил незнакомец. — И как могло случиться, что раненый был отсюда похищен или здесь похоронен, когда эта местность совершенно безлюдна?

— Его зовут, — сказал Хэлберт после минутного колебания, — Пирси Шафтон. Здесь, на этом самом месте я оставил его — он был весь в крови, а каким образом он потом исчез, я знаю не лучше тебя.

— Пирси Шафтон? — повторил незнакомец. — Сэр Пирси Шафтон из Уилвертона, родственник, как говорят, великого Пирси, графа Нортумберлендского? Если ты убил его, возвращаться во владения само-

властного аббата обители святой Марии — все равно что самому надеть себе петлю на шею. Этот Пирси Шафтон хорошо известен как слепое орудие в руках заговорщиков поумнее. Опрометчиво продав свою совесть приверженцам папы римского, он был пешкой, обреченной на гибель; интриганы, которым он служил, зло творить умеют, а отвагой не отличаются. Ступай за мной, юноша, и ты спасешься от гибельных последствий своего поступка. Веди меня в Эвенелский замок, и в награду ты обретишь там защиту и безопасность.

Хэлберт задумался — вопрос был сложный и требовал всестороннего обсуждения. Не приходилось сомневаться в том, что аббат жестоко отомстит за убийство Шафтона, своего сторонника, друга и некоторым образом гостя. Размышляя перед поединком обо всех возможных последствиях, Хэлберт почему-то не подумал, как ему быть, если сэр Пирси падет от его руки. Раз уж так случилось, то его возвращение в Глендеарг неминуемо навлечет гнев аббата и общины на всю семью, включая Мэри Эвенел; если же он предпочтет бегство, то, возможно, будет считаться единственным виновником смерти рыцаря и негодование монахов не обрушится на остальных обитателей отцовской башни. Хэлберт вспомнил также о дружеских чувствах отца Евстафия ко всей семье Элспет, и в особенности к Эдуарду; выслушав чистосердечное признание Хэлберта, покинувшего Глендеарг, почтенный монах, наверное, окажет свое могущественное покровительство тем, кто остался в башне.

Все эти мысли пронеслись в сознании юноши, и он решил бежать. Общество незнакомца и обещанное им покровительство тоже говорили в пользу этого решения, однако то, что молодой Глендининг слышал о Джулиане, нынешнем узурпаторе Эвенелского замка, как-то плохо вязалось с дружеским приемом, который, по словам старика, будет ему там оказан.

— Добрый отец мой, — сказал Хэлберт, — боюсь, что вы ошибаетесь в человеке, которого считаете способным дать мне приют. Ведь это Эвенел помог

Шафтону пробраться в Шотландию, а его подручный, Кристи из Клинт-хилла, доставил его в Глендеарг.

— Все это мне известно, — возразил старик, — однако, если ты доверишься мне, как я доверился тебе, ты найдешь у Джулиана Эвенела радушное гостеприимство или по крайней мере безопасное убежище.

— Отец мой, — промолвил Хэлберт, — хотя твои слова идут вразрез с поступками Джулиана Эвенела, но судьба такого заблудшего человека, как я, меня мало тревожит; к тому же твоя речь звучит честно и правдиво, и, наконец, ты сам доверчиво пошел за мной — вот почему я, отвечая таким же доверием, провожу тебя в замок Эвенелов ближайшей дорогой, которую ты без меня никогда бы не нашел.

С этими словами он пошел вперед, а старик молча последовал за ним.

Глава XXIII

Когда на холоде застынет рана,
Почует воин боль. Когда утихнет
В душе разбушевавшееся пламя,
То совесть мучить грешника начнет.

Старинная пьеса.

Угрызения совести после этого прискорбного поединка не давали покоя Хэлберту, невзирая на то, что в ту эпоху и в описываемой нами стране человеческая жизнь ценилась крайне дешево. Раскаяние юноши было бы еще горше, если б его душой управляло более возвышенное религиозное учение и если б он был более сведущ в законах общества; как бы то ни было, он жестоко укорял себя, и горе об убитом иногда заглушало в его сердце горе разлуки с Мэри Эвенел и отчим домом.

Старик, шагая рядом с ним, некоторое время хранил молчание, а затем обратился к нему с такими словами:

— Сын мой, недаром говорится, что горе просятся наружу. Чем ты так угнетен? Поведай мне свои

несчастья; может статься, моя седая голова вразумит добрым советом неопытного юношу.

— Увы, можно ли удивляться, что я впал в отчаяние? — ответил Хэлберт. — Кто я сейчас? — жалкий скиталец, бежавший из родительского дома, от матери и друзей! Я запятнан кровью человека, оскорбившего меня только вздорными словами, за которые я отплатил смертельным ударом. Сердце мое твердит, что я совершил тяжкое зло. Оно было бы суровее этих скал, если бы не страдало от мысли, что я отправил этого человека на суд всевышнего, не дав ему исповедаться и причаститься.

— Остановись, сын мой, — перебил его путник. — То, что ты поднял руку на образ и подобие божие в лице ближнего твоего, что ты, повинувшись суетной злобе или еще более суетной гордыне, отнял у человека жизнь и превратил его в прах, — это тяжкий грех. То, что ты грешнику перед кончиной не дал времени покаяться, хотя небо могло бы ему в этой милости не отказать, есть смертный грех. Но для всего этого есть бальзам в Галааде.

— Я не понимаю вас, отец мой, — проговорил Хэлберт, смущенный торжественностью, зазвучавшей в голосе его спутника.

Старик продолжал:

— Ты убил своего врага — какое жестокое деяние; ты пресек его жизнь, не дав ему замолить грехи, — это отягощает твое преступление. Последуй же моему совету и взамен одной человеческой души, которую ты, может быть, вверг в царство сатаны, убереги от его когтей другую душу.

— Понимаю, — сказал Хэлберт, — ты хочешь, отец мой, чтобы я искупил свою вину заботами о душе моего противника. Но как это сделать? У меня нет денег, чтобы заказывать заупокойные мессы. Чтобы освободить его душу из чистилища, я с радостью пошел бы в обетованную землю босиком, но...

— Сын мой, — прервал его старик, — грешник, которого ты должен спасти от адского пламени, не мертвец, а живой человек. Я призываю тебя молиться не о душе твоего врага: судья в равной степени

милосердный и справедливый уже вынес ей свой окончательный приговор; отлетевшей душе ты ничем не поможешь, даже если превратишь эту скалу в гору золотых дукатов и за каждую мессу будешь платить по дукату. Где дерево упало, там ему и лежать. Но молодой побег имеет гибкость и жизненный сок, его можно изогнуть так, чтобы дать ему нужное направление.

— Скажи, отец мой, ты священник? — спросил молодой человек. — Чью волю исполняешь ты, говоря о таких возвышенных предметах?

— Волю всемогущего моего владыки, знамени которого я присягнул как воин, — ответил путник.

Осведомленность Хэлберта в вопросах религии не шла далее того, что можно извлечь из катехизиса, составленного архиепископом Сент-Эндрю, и брошюры под заглавием «Вера за два пенни» — оба эти издания усердно распространялись и расхваливались монахами обители святой Марии. Но, при всем равнодушном и поверхностном отношении Хэлберта к богословию, он стал подозревать, что очутился в обществе одного из тех проповедников евангелия, или еретиков, учение которых расшатывало самые устои древней религии. Воспитанный, как это легко понять, в священном ужасе перед этими отъявленными раскольниками, юноша не мог сдерживать негодования, которое должно было обуять каждого преданного и верующего вассала римской церкви.

— Старик, — воскликнул он, — будь ты достаточно силен, чтобы в рукопашном бою постоять за слова, которые твой язык произнес против нашей святой матери церкви, мы тут же, на этом болоте, проверили бы, которое из наших вероучений имеет лучшего защитника.

— Нет, сын мой, — сказал странник, — если ты ничем не отличаешься от прочих воинов Рима, ты не остановишься в своем намерении, а воспользуешься тем, что и по летам и по физической силе преимущество на твоей стороне. Выслушай меня. Я указал тебе, как примириться с небом, но ты мое предложение отверг. Теперь я укажу тебе, как умилоствовать

земных правителей. Отдели мою седую голову от хилого тела, которое она венчает, и отнеси ее к аббату Бонифацию, гордо сидящему в своем кресле. Признаться ему в убийстве Пирси Шафтона, а когда гнев его воспламенится, брось к его ногам голову Генри Уордена, и он вместо кары осыплет тебя похвалами.

Хэлберт Глендининг в изумлении отступил от него и воскликнул:

— Как, вы — тот прославленный еретиками Генри Уорден, чье имя у них почти в такой же чести, как имя Нокса? Неужели это ты, и как хватает у тебя дерзости бродить по соседству с обителью святой Марии?

— Можешь не сомневаться, что Генри Уорден — это я, — сказал старик, — и, хотя я недостойн стоять в одном ряду с Ноксом, я всегда готов претерпеть любые невзгоды ради служения моему господу.

— Выслушай теперь меня, — промолвил Хэлберт. — Убить тебя мне не позволяет совесть; повести тебя как пленника в монастырь — значило бы тоже быть виновником твоей смерти; бросить тебя здесь, в глуши, без провожатого — немногим лучше. Я приведу тебя целым и невредимым, как обещал, в замок Эвенелов, но, пока мы в пути, не произноси ни единого слова против учения святой церкви — я ее недостойный, невежественный, но все же ревностный сын. А когда ты прибудешь в замок, будь настороже — за твою голову назначена награда, а Джулиан Эвенел любит блеск золотых шапок.¹

— Однако ты не утверждаешь, — возразил протестантский проповедник (ибо он таковым был в действительности), — что барон Эвенел способен из корысти продать кровь своего гостя?

— Если ты прибыл по его приглашению и вверился его чести, он этого не сделает, — заявил юноша. — При всей своей низости, Джулиан не осмелится нарушить обычай гостеприимства; с остальными

¹ Золотая монета Иакова V. Самая красивая из всех шотландских монет. На ней король был изображен в шапке, (Прим. автора.)

заповедями старины мы, жители болот, мало считаемся, но уважение к гостю доходит у нас до идолопоклонства. Самые близкие родичи Джулиана сочли бы своим долгом смыть его кровью бесчестье, которое постигло бы их имя и род, соверши он подобное предательство. Но если ты идешь к нему без зова, без могущественного покровителя, предупреждаю тебя — берегись!

— Я в руках божьих, — ответил проповедник. — Посланный господом, прохожу я по этой глуши среди многих и всяческих опасностей, и, пока я моему владыке полезен, они не одолеют меня, а когда, подобно бесплодной смоковнице, я перестану приносить плоды, — не все ли равно, когда и кто первый нанесет удар топором по стволу?

— Ваша отвага и благочестие достойны лучшего дела! — воскликнул Глендининг.

— Этого быть не может, — отрезал Уорден, — мое дело лучшее из лучших!

Дальше они шли молча. Все внимание юноши было направлено на то, чтобы выбраться из лабиринта теряющихся тропинок и опасных трясин среди холмов, отделявших монастырские земли от владений барона Эвенела. Временами ему приходилось останавливаться, чтобы помочь старику перебираться через чернеющую топь, то и дело попадающуюся на пути.

— Смелее, старина, — подбодрил Хэлберт своего спутника, изнемогавшего от усталости, — скоро мы вступим на твердую землю. А здесь, хоть под ногами зыбкое болото, я не раз видел веселых охотников, несущихся с быстротой лани за убегающим зверем.

— Справедливо говоришь ты, сын мой, — ответил Уорден, — я все-таки продолжаю так называть тебя, хотя ты больше не именуешь меня отцом. Да, так мчится ветреная юность по суетному пути своих забав, пренебрегая тряпинами и опасностями, которыми этот путь усеян.

— Я уже сказал тебе, — сурово ответил Хэлберт, Глендининг, — что не стану слушать ничего похожего на проповедь.

— Однако, сын мой, — возразил старик, — даже твой духовный отец не стал бы оспаривать истинность слов, которые я сейчас сказал тебе в назидание.

Глендининг строптиво ответил:

— Об этом я судить не берусь, но зато мне хорошо известно, что ваша братия ловит рыбку, насаживая на крючок душеспасительные речи; вы выдаете себя за ангелов света, чтобы расширить царство мрака.

— Прости господи тех, кто подобным образом отзывается о твоих слугах, — сказал проповедник. — Я не хочу обидеть тебя, сын мой, несвоевременной настойчивостью. Ты повторяешь только то, чему тебя учили, но я глубоко верую, что столь славный юноша будет спасен, подобно полену, вовремя выхваченному из пламени.

Тем временем они дошли до края плоскогорья, и сейчас им предстоял спуск. Издали тропинка, по которой они должны были идти, казалась узкой зеленоющей полоской — она резко выделялась на фоне темно-бурого вереска, который пересекала, но для того, кто шел по ней, различие становилось неуловимым.¹ Теперь дорога уже не так утомляла старика; не желая, чтобы его молодой попутчик стал снова рьяно защищать святость римской церкви, он переменил предмет разговора. Речь его была по-прежнему серьезна, высоконравственна и поучительна. Он много путешествовал, знал языки и нравы других народов, и это, естественно, возбуждало живой интерес Хэлберта, подумывавшего о том, не придется ли ему из-за преступления, которое он совершил, бежать за пределы Шотландии. Мало-помалу занимательность беседы пересилила у юноши боязнь заразиться ересью, и он не раз назвал старика отцом, прежде чем перед

¹ Тропинка, которая бросается в глаза издали, но для идущего по ней пешехода сливается с окружающим болотом или степью, называется у жителей границы выразительным именем «слепая дорожка». (Прим. автора.)

ними вдалеке обрисовались очертания замка Эвенелов.

Местоположение этой древней крепости было примечательно. Она высилась на небольшом скалистом острове посреди горного озера, окружность которого равнялась примерно одной миле. Со всех сторон вокруг озера теснились высокие холмы, скалистые или покрытые вереском, а лощины между холмами заросли кустарником или были завалены буреломом. Для каждого путешественника всего удивительнее было найти здесь, высоко над уровнем моря, затерявшуюся среди высоких скал водную гладь, окрестности которой казались не столь поэтичными и величавыми, как попросту дикими, и все же имели свою прелесть. Летом, под палящими лучами солнца, чистая лазурь зеркальной поверхности озера ласкала глаз и создавала блаженное ощущение уединения и покоя. А зимой, когда на окружающие утесы ложился снег, ослепительно белые массы, громоздясь на вершинах гор, превращали их в снеговых великанов, у подножия которых, как потемневшее, растрескавшееся зеркало, лежало защищенное ими озеро, в котором уже не отражались ни мрачный скалистый островок, ни венчающие его стены серого замка.

Занимая своим главным зданием, пристройками и наружными стенами всю надводную поверхность скалистого островка, замок, подобно гнезду дикого лебедя, казался опоясанным водой. Только узкая полоса земли соединяла замок с берегом. Издали крепость представлялась гораздо большей, чем была на самом деле; многие из ее строений разрушились и стали необитаемыми. Там, где во времена великолетия рода Эвенелов размещался многолюдный гарнизон из приверженцев и наемников, теперь большей частью было пусто, и сам Джулиан Эвенел ныне, может быть, выбрал бы для жилья резиденцию, более соответствующую его расстроеному состоянию, если бы его не привлекало местоположение старого замка, который был почти неприступен и этим удобен для человека, ведущего столь беспокойную и опасную

жизнь. Действительно, трудно было бы подыскать более удачное обиталище, ибо этот замок, по желанию его владельца, можно было сделать совершенно недостижимым для непрошенных гостей. Расстояние между островом и берегом было невелико, оно не превышало и сотни ярдов, но зато соединяющая их дамба была очень узка и прорезывалась двумя рвами. Первый был на полпути от берега к острову, второй — у наружных ворот замка. Эти рвы представляли значительное, почти непреодолимое препятствие для всякого вражеского вторжения. Каждый из них был защищен подъемным мостом, причем мост, что был ближе к замку, не спускался даже днем, а ночью всегда поднимались оба.¹

Такие меры предосторожности были необходимы для безопасности Джулиана Эвенела, враждовавшего с многими баронами и принимавшего участие почти во всех темных и неблагоприятных проделках, которых было немало в этой дикой местности у самой границы. Опасности, угрожавшие барону Эвенелу, усиливались из-за его двуличной и коварной политики: он служил попеременно обеим враждующим партиям в королевстве, примыкая то к одной, то к другой, в зависимости от того, что в данную минуту было выгоднее. Вот почему у него не было ни постоянных союзников и покровителей, ни заклятых врагов. Всю жизнь он только и делал, что уклонялся от подстерегающих его бедствий и придумывал хитроумные уловки для достижения своих целей, но ему часто случалось запутаться, перемудрить и потерять то, что далось бы ему в руки, иди он более прямой дорогой.

¹ Тщетно было бы искать около Мелроза такой замок. Его не увидишь ни среди озер у истоков Ярроу, ни среди тех, которые расположены у истоков Эйла. Но на Йетхолм-лохе (живописном озере среди так называемого сухого болота) сохранились развалины крепости Лохсайд-тауэр, которая, подобно вымышленному замку Эвенелов, была построена на острове и сообщалась с берегом посредством дамбы. Лохсайдская крепость меньше замка Эвенелов — она состоит только из одной полуразрушенной башни. (*Прим. автора.*)

Глава XXIV

Пойду я, крадучись, утроив зоркость,
С бесстрашьем в сердце и с мечом
в руках,
Как тот, кто входит в логово ко льву.

Старинная пьеса

Когда путники вышли из ущелья, примыкавшего к самому озеру, и увидели перед собой древний замок Эвенелов, старик остановился, оперся на посох и стал задумчиво рассматривать открывшуюся его взору картину. Замок, как мы уже говорили, был во многих местах разрушен; об этом можно было судить даже на расстоянии по неправильным, рваным очертаниям его стен и башен. Некоторые части замка, казалось, сохранились в целости, и черный столб дыма, который поднимался из трубы на главной башне и тянул свой длинный траурный вымпел по светлому небу, показывал, что замок обитаем. Но на берегу озера не было возделанных полей и зеленых пастбищ, которые обычно составляют неотъемлемую принадлежность усадеб не только богатых, но даже малоземельных баронов, указывая на заботу жителей о насущном хлебе и домашнем уюте. Тут не было домишек с лоскутками обработанной земли, с фермой и фруктовым садом, окаймленным густыми смоковницами; среди долины не высилась церковь с незатейливой колокольней; ни овечьего стада на холмах, ни рогатого скота в низинах. Ничто здесь не говорило о процветании великих искусств — мира и сельского труда. Не могло быть сомнения в том, что люди, живущие в замке — много ли их было или мало, — представляют собой гарнизон крепости, скрываются за ее неприступными стенами и далеко не мирным путем добывают средства к существованию.

Очевидно, к этому убеждению пришел и старик, который, разглядывая замок, пробормотал про себя: «*Lapis offensionis et petra scandal!*!»,¹ а затем, повернувшись к Хэлберту Глендинingu, прибавил:

¹ Камень преткновения (лат.).

— Мы можем обратиться к этой твердыне слова, сказанные королем Иаковом о другой крепости неподалеку, — что тот, кто ее построил, был в глубине души настоящим разбойником.¹

— О нет, вовсе не так, — возразил Глендининг, — этот замок построен прежним поколением лордов Эвенелов, которые пользовались любовью в мирное время и уважением во время войны. Они стеной стояли на границе против чужеземцев и защищали шотландский народ от произвола местных властей. А тот, кто сейчас завладел замком Эвенелов и их титулом, похож на них не больше, чем ночной хищник, филин, — на сокола, даже если тот и другой выют гнезда на одной скале.

— Значит, большой любви и уважения у своих соседей этот Джулиан Эвенел не заслужил? — спросил Уорден.

— Настолько не заслужил, — ответил Хэлберт, — что, кроме «джеков» и рейтаров, которых он набрал целую шайку, мало кто добровольно водит с ним компанию. Уже не раз то Англия, то Шотландия объявляли его вне закона, назначали награду за его голову и отбирали в казну его имения. Но в наше смутное время у такого головореза, как Джулиан Эвенел, всегда находятся друзья, готовые спасти его от законной кары в обмен на тайные услуги с его стороны.

— Из ваших слов видно, что он человек опасный, — заключил Уорден.

— Вы испытаете это на себе, — ответил юноша, — если только не сумеете его перехитрить. Впрочем, могло случиться, что за это время он тоже изменил истинной церкви и пошел блуждать по тропе ереси.

— То, что ты в слепоте своей называешь тропой ереси, — возразил проповедник, — это единственная прямая и узкая стезя. Идущий по ней не свернет в сторону ни ради мирских сокровищ, ни ради мирских страстей. Дай бог, чтобы хозяином этого замка

¹ Это замечание Иакова VI относилось к Лохвуду, наследственной крепости Джонстонов из Эннедейла, укрепленному замку, расположенному среди топи. (Прим. автора)

руководили побуждения не иные и не худшие, чем те, которые одушевляют мои убогие силы, когда я проповедую слово божье. Барона Эвенела я лично не знаю, он не принадлежит к нашей конгрегации, но его просят за меня лица, которых он если не уважает, то должен опасаться, и, надеясь на это заступничество, я смело иду под его кров... Сейчас мы можем продолжать путь — я достаточно отдохнул.

— Выслушайте мои предостережения, они вам пригодятся, — сказал Хэлберт. — Поверьте, что я хорошо знаю здешние обычаи и жителей этого края. Если у вас есть другое пристанище, лучше не входите в замок Эвенелов; если же вы решаетесь идти туда, постарайтесь получить от барона охранный лист, но смотрите — он должен освятить его клятвой над черным распятием! И вот еще что: следите за тем, сядет ли он вместе с вами за стол, отопьет ли из приветственного кубка раньше, чем передаст его вам. Если он не проявит этих знаков искреннего радушия, значит, таит против вас злой умысел.

— Увы, — сказал проповедник, — сейчас я не вижу для себя другого земного убежища, чем эти хмурые башни, но, идучи сюда, полагаюсь на помощь свыше. А тебе, добрый мой юноша, стоит ли забираться в эту опасную берлогу?

— Для меня там не опасно, — ответил Хэлберт. — Меня хорошо знает Кристи из Клинт-хилла, оруженосец этого барона, но еще лучшей охраной служит то, что во мне нет ничего такого, что могло бы вызвать их озлобление или соблазнить на грабеж.

Услышав, что конский топот, гулко раздававшийся по каменистому берегу озера, становится все громче, путники обернулись и увидели, что к ним во весь опор мчится всадник; его стальной шлем и острие длинного копья сверкали в лучах заходящего солнца.

Хэлберт Глендининг тотчас узнал Кристи из Клинт-хилла и сказал своему спутнику, что это скачет оруженосец барона.

— Эй, мальчуган! — крикнул Кристи Хэлберту, поравнявшись с ним. — Значит, мои слова наконец сбылись и ты идешь записаться в рекруты к моему бла-

городному господину — так, что ли? Ты всегда найдешь во мне доброго друга! И прежде чем наступит день святого Варнавы, ты, брат, изучишь все тропки между равниной Милберн и Незерби так, как будто родился на свет в боевом колете и с копьем в руке. А что это за старый сыч рядом с тобой? Он как будто не из вашей монастырской братии, не черноризец?

— Это дорожный человек, — ответил Хэлберт, — у него есть дело к Джулиану Эвенелу. Что до меня, то я направляюсь в Эдинбург, хочу посмотреть на королеву и ее двор, а потом, когда ворочусь, мы потолкуем о твоём предложении. Пока что — ты ведь не раз приглашал меня в замок — я прошу приюта на эту ночь для меня и для моего спутника.

— Для тебя, мой юный приятель, и спору нет, — сказал Кристи, — но богомольцев и тех, кто на них смахивает, мы к себе не пускаем.

— Позволь сказать тебе, — заговорил Уорден, — что мне дал рекомендательное письмо к твоему господину один из его надежных друзей, для которого барон способен и на большую услугу, чем предоставление мне кратковременного приюта. И знай, я вовсе не богомолец: я сам отвергаю все их обряды и суеверия.

Он показал свои бумаги всаднику, но тот лишь покачал головой.

— Это дело моего господина, — сказал он, — и хорошо, если он сам сумеет прочесть, что тут написано, а мне вот меч и копье заменяют книгу и псалтырь, и это с двенадцатилетнего возраста. Но я доставлю вас в замок, и пусть барон сам разбирается, кто и зачем вас послал.

К этому времени они подошли к дамбе, и Кристи пустился по ней рысью, оповещая стражу в замке о своём прибытии резким, ему одному присущим свистом. По этому сигналу второй мост был тотчас опущен. Всадник проехал по нему и скрылся под мрачными сводами, ведущими в замок.

Глендининг и его спутник, замедлив шаг, пошли по немощеной дамбе к замку и остановились перед

воротами, над которыми из темно-красного известняка был высечен старинный герб Эвенелов, изображавший женскую фигуру, наглухо закутанную в покрывало. Происхождение странной эмблемы никому не было известно, но, по преданию, эта женская фигура, занимающая все поле герба Эвенелов, олицетворяла таинственное существо, известное под именем Белой дамы, покровительницы их рода.¹ При взгляде на осыпающийся от времени щит с гербом у Хэлберта в памяти воскресли загадочные обстоятельства, соединившие его жизнь с судьбой Мэри Эвенел, и вмешательство потустороннего существа, преданного ее семье, чье изображение здесь, на стене замка, живо напомнило ему силуэт закутанной женщины на перстне Уолтера Эвенела, — этот перстень в числе других золотых безделушек уцелел от грабежа и был привезен в Глендеаргскую башню после того, как мать Мэри, Элис Эвенел, изгнали из этого фамильного замка.

— Ты вздыхаешь, сын мой, — сказал старик, заметив тревожное выражение на лице Хэлберта, но не догадываясь об истинной причине его тревоги. — Если ты боишься сюда войти, мы еще можем вернуться.

— Не так-то просто, — воскликнул Кристи, выходя в эту минуту из боковой двери, скрытой в пролете арки, — взгляните и выбирайте, что вам больше по вкусу — напрямик по воде, как дикие утки, или напрямик по воздуху, как птицы небесные.

Они оглянулись и увидели, что подъемный мост, по которому они только что прошли, был снова поднят и его высокий пролет загородил от них заходящее солнце, сгущая мрак у подножия замка. Кристи расхохотался и велел гостям следовать за ним, а по дороге, желая ободрить Хэлберта, прошептал ему на ухо:

— О чем бы барон ни спрашивал, отвечай смело и без запинки. Не подыскивай слов, а главное — не

¹ Насколько я знаю, существует старинный английский род, на гербе которого изображен — или был изображен — летящий дух или призрак — черная фигура на серебряном поле. Это имеет иносказательное значение. (*Прим. автора.*)

показывай страха. Не так страшен черт, как его ма-
люют.

С этими словами он ввел их в обширную залу с
каменными стенами, в верхнем конце которой, в ка-
мине, как костер, пылали большие поленья. Длинный
дубовый стол, стоявший по обычаю в середине покоя,
был незатейливо накрыт для вечерней трапезы ба-
рона и ближайших его приспешников; пять или шесть
из них, все рослые, сильные, свирепые молодцы,
расхаживали взад и вперед по каменному полу, ко-
торый гулко откликался на лязг их длинных палашей,
звякавших при каждом движении, и на тяжелую по-
ступь их ботфорт на высоких каблуках. Кто был в
железной кольчуге, кто в колете из буйволовоy кожи,
а головным убором служили стальные каски или
широкополые шляпы с опущенными полями и свисаю-
щими, по испанской моде, перьями.

Барон Эвенел был один из тех высоких, мускули-
стых, воинственных людей, которых любил изобра-
жать Сальватор Роза. Он был в плаще, когда-то бо-
гато расшитом, но в течение многих лет вышивка
полиняла от дурной погоды. Из-под плаща, небреж-
но брошенного на внушительную фигуру барона,
виднелся короткий камзол из буйволовоy кожи, на-
детый на тонкую кольчугу, которую называли «сек-
рет», потому что она, заменяя наружные, более за-
метные латы, защищала от предательского убийства.
К ременному поясу был с одной стороны прикреп-
лен большой тяжелый меч, а с другой — нарядный
кинжал, когда-то называвший своим хозяином сэра
Пирси Шафтона; насечки кинжала и его позолота
уже сильно потускнели, то ли от нынешней бур-
ной деятельности, то ли от небрежности нового вла-
дельца.

Несмотря на простую одежду Джулиана Эвенела,
в его осанке и манерах было несравненно больше до-
стоинства, чем у его приближенных. Ему могло быть
лет пятьдесят и даже больше, судя по седине, виднев-
шейся в его темных волосах, но годы не укротили его
огненного взгляда и не умилили пылкости нрава. Ко-
гда-то он был красив — привлекательные черты лица

переходили в семье Эвенелов из поколения в поколение, но от жизненных передряг и превратностей погоды его лицо огрубело, а сильные страсти, которым он привык предаваться, оставили на его чертах отпечаток жестокости.

Погруженный в глубокие и мрачные размышления, он шагал из угла в угол в противоположном конце залы, вдали от своих ратников, иногда останавливаясь, чтобы покормить и приласкать соколиную самку, сидевшую на его руке, лапки которой были связаны кожаными постромками. Птица не оставалась равнодушной к хозяйской ласке и в ответ взъерошивала перья и играючи поклевывала его палец. В такие минуты барон улыбался, но тотчас снова впадал в свою отчужденную, мрачную задумчивость. Ни разу не удостоил он вниманием существо, мимо которого немногие могли бы пройти столько раз, не скользнув по нему даже мимолетным взглядом.

Это была женщина редкой красоты, сидевшая на низенькой табуретке у громадного камина и одетая скорее ярко, нежели богато. Судя по золотым браслетам и ожерельям, по яркому зеленому платью, веером лежавшему на полу, по желтой шелковой шапочке, из-под которой выбивались густые темные волосы, наконец, по расшитому серебром поясу со связкой ключей на серебряной цепочке — горделивый символ домовитой хозяйки, — но, пуще всего, судя по обстоятельствам, так деликатно затронутым в старинной балладе, где говорилось: «Ей пояс очень узким стал» и «платье слишком коротко» — эта красавица могла быть только супругой хозяина замка. Но ее скромная скамеечка и отпечаток глубокой грусти на лице, которое озарялось робкой улыбкой, чуть ей казалось, что Джулиан Эвенел вот-вот посмотрит на нее, немая горечь и внезапные слезы, сменявшие эту деланную улыбку, когда она убеждалась в его равнодушии, — все это были приметы не жены, а униженной и удрученной женщины, которая расточила свою любовь, не сделавшись супругой по закону, перед богом и людьми.

Джулиан Эвенел, как мы уже сказали, продолжал шагать по комнате, не утруждая себя даже мимолетным молчаливым вниманием, которое оказывается почти каждой женщине либо из чувства привязанности, либо из любезности. Он даже, казалось, не замечал ни ее, ни своих приспешников, всецело предавшись мрачным думам, от которых отвлекался, только играя со своей птицей. Зато молодая женщина внимательно следила за этой забавой, по-видимому стараясь улучшить удобный случай, чтобы заговорить с бароном или найти сокровенный смысл в словах, обращенных к его любимице. У новоприбывших было достаточно времени, чтобы все это заметить; как только они вошли в залу, их путеводитель Кристи из Клинт-хилла, обменявшись многозначительными взглядами с прислужниками и телохранителями, стоявшими в нижнем конце залы, сделал Хэлберту и его спутнику знак оставаться у двери, а сам подошел ближе к столу и остановился в таком месте, чтобы обратить на себя внимание барона, когда тому заблагорассудится окинуть взглядом комнату, не решаясь, однако, навязываться ему. В присутствии барона этого смелого, порывистого и дерзкого человека нельзя было узнать — точъ-в-точъ потерявший весь свой задор пес-забияка, который получил основательную трепку от хозяина или юлит перед более могучим противником из своей же собачьей породы.

Несмотря на неопределенность положения и тягостное чувство, щемившее его душу, Хэлберт почувствовал живой интерес к женщине, сидевшей у камина, никем не замечаемой и никому не нужной. Он наблюдал, с какой неотступной, трепетной заботливостью вслушивалась она в отрывистые возгласы Джулиана, как украдкой бросала на него взгляд, готовая мгновенно уйти в себя, чуть ему покажется, что она за ним следит.

Между тем Джулиан продолжал забавляться со своей пернатой любимицей, то кормя ее, то отдергивая лакомые кусочки. Ему нравилось и дразнить птицу и потакать ее жадности.

— Как? Ты еще захотела? Ах, негодная хищница, тебе все мало. Удели тебе немножко, захочешь все целиком! Да, да! Приглаживай перышки, плутовка, прихорашивайся, многого этим не добьешься. Думаешь, я тебя не понимаю, думаешь, не вижу, что охорашиваешься ты и перышки выщипываешь не в угоду хозяину, а чтобы выклянчить побольше, ты, ненасытная тварь!.. Ну что ж, бери, радуйся, за маленькую подачку ты на все готова, ведь ты тоже женщина. Что ж, тем лучше!

Он отвернулся от птицы и вновь прошелся по зале. И вдруг снова, подойдя к подносу с нарезанным сырым мясом, взял оттуда кусочек и принялся так долго искушать и дразнить птицу, что та совсем рассвирепела.

— Ах, вот как! Дратся хочешь, налететь на меня, вцепиться когтями и клювом? Вот как! Хорохоришься! Улетела бы от меня? Шалишь, лапки твои опутаны ремнями, дурочка. Полетишь, когда я захочу! И не кричи! Смотри, сверну я тебе шею не сегодня-завтра! А сейчас бери, ешь на здоровье. Эй, Дженкин! — К нему подошел один из его приближенных. — Возьми эту дрянь в клетку, или подожди, не надо, но присмотри, чтобы ее выкупали, завтра мы дадим ей полетать. А, Кристи, ты уже здесь?

Подойдя к своему повелителю, Кристи стал рассказывать о своей поездке, изъясняясь, как полицейский, делающий доклад начальнику, — то есть словами, вперемежку с жестами.

— Мой благородный господин, — вымолвил достойный сподвижник барона, — лэрд из... — он не назвал местности, но показал пальцем в сторону юго-запада, — не сможет быть вам попутчиком в тот день, когда обещал, потому что лорд-наместник пригрозил ему, что...

Тут последовала еще одна пауза, которую оратор заполнил весьма выразительным жестом — прикоснулся указательным пальцем левой руки к своей шее и слегка склонил голову набок.

— Презренный трус! — вскричал Джулиан. — Клянусь богом, весь мир дошел до такого ничтожества, что

настоящему человеку и жить не стоит... Скажи хоть целые сутки подряд, разве увидишь перо на шлеме, разве заслышишь боевую поступь коня? Угас благородный пыл наших предков, нет его у нас! Животные — и те переродились. Скот, что мы пригоняем сюда с опасностью для собственной жизни, — жалкая дохлятина, наши соколы потеряли хватку, наши собаки вертят хвостом на кухне, наши мужчины обабились, а наши женщины...

При этом он в первый раз бросил взгляд на молодую женщину и сразу умолк, не закончив того, что хотел сказать, но во взгляде, брошенном на нее, светилося такое пренебрежение, которое яснее слов говорило: «Наши женщины не лучше, чем эта...»

Вслух он этого не произнес, но она, желая любым путем, ценой любого риска привлечь его внимание, встала и подошла к нему, тщетно стараясь скрыть свою робость под напускной веселостью:

— Наши женщины, Джулиан... Что ты хотел сказать о женщинах?

— Да ничего, — ответил Джулиан Эвенел, — разве только, что они такие же милосердные создания, как ты, Кейт.

Она густо покраснела и вернулась на свое место.

— А что это за люди, которых ты привел с собой, Кристи, те, что стоят там, как две каменных статуи? — спросил барон.

— Того, что повыше, зовут Хэлберт Глендининг, ваша милость, — ответил Кристи, — он старший сын старухи Элспет из Глендеарга.

— Зачем пожаловал? — продолжал барон. — Может быть, с поручением от Мэри Эвенел?

— Как будто нет, — сказал Кристи, — он просто шатается от нечего делать. — Всегда любил бродяжничать. Я-то знал его, когда он был не выше моего меча.

— Он на что-нибудь годен? — продолжал барон.

— Умеет все на свете, — стал перечислять его припешник: — подстрелить оленя, выследить дичь, спустить сокола, натаскать собаку, бьет без промаха из лука и самострела, копьём и мечом владеет почти

как я. Наездник тоже лихой. Не знаю, что еще требуется от мужчины в нашем деле?

— А жалкий старикашка рядом с ним, это кто? — спросил Эвенел.

— Как будто из духовного звания; говорит, что должен передать вам какие-то письма.

— Пусть подойдут, — приказал барон, и когда путники подошли к нему поближе, мужественная осанка Глендининга так привлекла его, что он обратился к юноше со следующими словами:

— Я слышал, молодой удалец, что вы странствуете по свету в поисках счастья. Вы найдете его на службе у Джулиана Эвенела — незачем идти дальше.

— С вашего разрешения, — ответил Глендининг, — одна неприятность вынуждает меня покинуть здешние места. Я направляюсь в Эдинбург.

— Ах, вот как! Бьюсь об заклад, что ты укокошил парочку королевских оленей или уменьшил монастырское стадо на две-три коровы, а может быть, какой-нибудь лунной ночью взял да перемахнул через границу?

— Нет, сэр, — сказал Хэлберт, — у меня дело иного рода.

— Ну тогда, — решил барон, — надо думать, что ты спровадил на тот свет приятеля, подравшись с ним из-за девчонки. Видно, что ты способен по такому поводу затеять ссору!

До нельзя возмущенный тоном Джулиана и его манерой говорить, Хэлберт Глендининг хранил молчание, спрашивая себя, что сказал бы Джулиан Эвенел, если бы узнал, что столкновение, о котором он сейчас говорил с таким пренебрежением, произошло из-за дочери его родного брата?

— Впрочем, оставим в стороне причину твоего бегства, — продолжал Джулиан. — Неужели ты думаешь, что закон и его лазутчики могут настигнуть тебя на этом острове, наложить на тебя лапу, если над тобой реет знамя Эвенелов? Взгляни, призадумайся над глубиной озера, длиной дамбы, толщиной стен моего замка. Взгляни на моих ратников. Таковы ли они, чтобы дать в обиду боевого товарища? А я,

их господин, разве похож на человека, способного бросить на произвол судьбы верного слугу, будь он прав или виноват? Поверь, стоит тебе только прийтись к своей шапке мой значок, и между тобой и правосудием — так, кажется, эта штука у них называется? — наступит вечное и нерушимое перемирие. Ты будешь ездить мимо носа лорда-наместника так же спокойно, как мимо старой рыночной торговки, и ни один пес из его свиты не посмеет тебя облаять.

— Очень признателен вам, благородный сэръ, за такое предложение, — ответил Хэлберт, — но скажу напрямик, что не могу им воспользоваться. Моя судьба мне остановиться не велит.

— Ты самонадеянный глупец, пеняй на себя! — воскликнул Джулиан. Отвернувшись от него, барон знаком подозвал к себе Кристи, которому шепнул на ухо: — Из этого молодца получился бы толк, Кристи, нам нужны такие крепкие парни. А ты все вербуешь тощих уродов, отбросы человеческого рода, жаль стрелы, чтобы их прикончить... Этот юнец сложен как сам святой Георгий. Угости его хорошенько вином и всем прочим, пусть наши красотки опутают его своими косами, как паутиной, — смекнул?

Кристи ответил выразительным кивком и удалился на почтительное расстояние от своего повелителя.

— Ну, а ты, старик? — обратился барон к старшему из прищельцев. — Ты тоже странствуешь по свету в поисках счастья? Видать, ты с ним еще не встречался.

— Не во гнев вам будь сказано, — ответил Уорден, — я заслуживал бы большего сожаления, чем сейчас, если бы встретился с тем счастьем, за которым гонялся в юности, подобно другим молодым людям...

— Послушай меня, приятель, — перебил его барон, — если ты вполне доволен своим клеенчатым халатом и длинной палкой, то я тоже очень рад, что ты так нищ и убог, как это полезно для твоей души и тела. Мне только надо узнать у тебя одно: зачем ты забрался в мой замок, куда такие вороны, как ты, предпочитают не залетать. Сдается мне, что ты ски-

тающийся монах из упраздненного монастыря и на старости лет расплачиваешься за молодые годы, проведенные в роскоши и лени. Или ты богомолец с кучей лживых рассказней про святого Иакова Компостельского и божью мать из Лорето; или, наконец, ты торгуешь индульгенциями папы римского, отпускаешь грехи по одному пенни за дюжину и по пенни, сверх того, за болтовню. Вот теперь понятно, почему ты прицепился к этому юноше! Что тут сомневаться! Тебе было удобно пристать к такому крепкому парню и взвалить на него котомку, сняв ее со своих ленивых плеч. Но, клянусь, этому не бывать! Солнцем и луной клянусь, что не позволю морочить голову такому приятному парню. Зачем ему шататься по белу свету с каким-то старым пройдохой, как Симми и его брат.¹ Вон отсюда! — закричал он со все возрастающим гневом, не давая старику возможности ответить, стремясь запугать его и заставить бежать без оглядки. — Убирайся со своей рясой, котомкой и фляжкой, или, клянусь дворянским родом Эвенелов, я велю спустить на тебя свору псов!

Уорден с величайшей невозмутимостью ждал и слушал, пока наконец барон умолк, удивленный тем, что поток его брани и угроз не произвел желаемого впечатления на пришельца.

— Что же ты, черт возьми, мне не отвечаешь? — спросил он старика уже менее повелительным тоном.

— Даю вам высказаться, — по-прежнему степенно сказал Уорден, — времени впереди много, я успею вам ответить.

— Говори, черт бы тебя побрал, но берегись, не начинай клянчить: ни корки от сыра, ни объедков после крыс, ни остатков из собачьей миски, ни крупинки муки, ни самой мелкой монетки не брошу я притворщику в длинном балахоне!

— Может быть, вы меньше презирали бы мой плащ, если бы лучше знали, кого он покрывает, —

¹ Два нищенствующих монаха. Их одеяние и проделки высмеиваются в старинной шотландской сатирической поэме. (Прим. автора.)

ответил Уорден. — Я не принадлежу ни к монашествующим, ни к нищенствующим и даже был бы рад послушать, как ты обличаешь лживых слуг церкви и самозванных пророков, если бы слова твои были одушевлены христианским милосердием.

— Но кто же ты и чего ищешь на самой границе, если ты не монах, не воин и не бродяга? — спросил Эвенел.

— Я смиренный проповедник святой истины, — ответил Уорден. — Это письмо от именитого лица объяснит, для чего я пришел сюда в данное время.

Он вручил свой пакет барону, который, бросив недоверчивый взгляд на сургучную печать, стал вглядываться в письмо, показавшееся ему еще более удивительным. Пристально смотря на чужеземца, он угрожающим тоном сказал:

— Полагаю, что ты не дерзнешь обманывать меня и не замышляешь предательства?

— На это я неспособен, — кратко ответил старик.

Джулиан Эвенел отошел с письмом к окну, где прочел его, вернее — пытался прочесть, много раз отводя взгляд от бумаги и пристально всматриваясь в незнакомца, вручившего письмо, как бы надеясь найти ключ к посланию в выражении лица посланца.

— Кэтрин, — наконец позвал он молодую женщину, — пошевелись-ка и неси сюда поскорее письмо, которое я велел тебе держать наготове в твоей шкапулке, так как более надежного места у меня нет.

Кэтрин повиновалась с готовностью, радуясь случаю быть полезной; поспешная походка сделала еще заметнее ее состояние, требующее более просторного платья, более широкого пояса и вместе с тем удвоенной заботливости со стороны мужчины. Она вскоре вернулась с нужной бумагой и в благодарность услышала равнодушные слова:

— Спасибо, любезная. Ты исправный секретарь.

Эту вторую бумагу он тоже сверял и пересчитывал несколько раз, бросая по временам зоркий и настороженный взгляд на Генри Уордена. Хотя и хозяин замка и самый замок внушали опасения, проповедник выдержал и первое и второе испытание с невозмутим-

мой стойкостью. Орлиный, вернее ястребиный взор барона, казалось, так же мало смущал его, как если бы на него смотрел самый простой и миролюбивый крестьянин. Наконец Джулиан сложил оба письма, сунул их в карман плаща и, подойдя с менее хмурым лицом к своей подруге, сказал:

— Кэтрин, я несправедливо обошелся с этим добрым старцем, я принял его за одного из этих католических трутней. А он — проповедник, Кэтрин, проповедник, ну... этого... нового учения отцов церкви.

— Евангельского учения, — поправил старик. — Священного писания, очищенного от людских домыслов и толкований.

— Как ты сказал? — переспросил Джулиан Эвенел. — Впрочем, называй его как тебе вздумается. Мне это учение по сердцу, оно выкидывает на свалку все эти пьяные бредни о святых, ангелах и чертях, вышибает из седла ленивых монахов, что так долго ездили на нас верхом, да еще нещадно прищипывали при этом. Конец молебнам и отпеваниям, конец церковным десятинам и поборам, которые превращали людей в нищих, конец молитвам и псалмам, которые превращали людей в трусов, конец крестинам, духовным наказаниям, исповедям и венчаниям.

— Позвольте заметить, — возразил Генри Уорден, — мы искореняем извращения, а не основные догматы, и церковь мы стремимся обновить, а не уничтожить.

— Нельзя ли потише, приятель, — промолвил барон, — мы не церковники и не вникаем в ваши распри, лишь бы вы не мешкая избавили нас от тягот, которые портят жизнь. Шотландским горцам новое учение особенно по вкусу. Наше ремесло — ставить все вверх дном, и нам приятнее всего, когда низы берут верх.

Уорден хотел ответить, но барон стукнул по столу рукояткой кинжала и закричал:

— Эй вы, разгильдяи, мошенники! Живей несите ужинать! Не видите разве, что святой отец с голодухи совсем ослабел? Не знаете разве, что священника или проповедника надо кормить пять раз в день, не меньше!

Слуги забежали, засуетились и поспешно принесли несколько больших дымящихся блюд с полновесными кусками отварной и жареной говядины, без всякой приправы, без овощей и почти без хлеба; только перед хозяином замка в корзиночке лежало несколько овсяных лепешек. Джулиан Эвенел счел нужным заговорить с гостем в примирительном тоне:

— Вы прибыли к нам, сэр проповедник, если уж такова ваша профессия, по рекомендации лица, которое мы высоко почитаем.

— И я уверен, — сказал Уорден, — что благороднейший лорд...

— Поттише, приятель, — перебил его Эвенел, — к чему называть имена, когда мы понимаем друг друга. Я хотел только объяснить, что это лицо просит позаботиться о вашей безопасности и не скупиться на угощение. Что до безопасности — взгляните на стены и на озеро. Вот потчевать не так просто — своего хлеба у нас нет. Одно дело пригнать сюда скот, а другое — доставить с юга мучной амбар: его кнутом не подстегнешь. Но это еще не беда! Кубок вина ты получишь, и самого наилучшего. Сидеть будешь между Кэтрин и мною, на почетном месте. Ты, Кристи, получишь присмотри за нашим молодым кавалером, распорядись, чтобы из погреба дали бутылку самого заветного!

Барон занял свое обычное место во главе стола. Кэтрин тоже села к столу, любезно пригласив дорогого гостя занять предназначенное ему место. Но, пересиливая и голод и утомление, Генри Уорден продолжал стоять,

Глава XXV

Когда, любви предавшись, дева
Поймет, что он ей изменил..
.

Джулиан Эвенел с удивлением смотрел на почтенного чужестранца.

— Черт меня побери, — вскричал он, — эти ново-явленные священнослужители, оказывается, соблю-

дают посты, а вот прежние-то — те уступали сладость воздержания своей пастве.

— Мы не признаем поста, — сказал проповедник. — Мы полагаем, что вера заключается не в том, чтобы есть или не есть какую-то пищу в определенные дни; и, каясь, мы раздираем сердца наши, но отнюдь не одежды.

— Тем лучше. Тем лучше для вас и тем хуже для портновского сословия, — пошутил барон. — Но иди сюда и садись, а если тебе уж непременно нужно угостить нас образчиком твоего ремесла, так и быть, бормочи свои заклинания.

— Сэр барон, — ответил проповедник, — я нахожусь на чужой стороне, где и профессия моя и верование мало известны и, как видно, толкуются превратно. Потому долг обязывает меня вести себя так, чтобы в лице смиренного слуги господа уважалось достоинство владыки моего и чтобы грех, лишенный узды, не ликовал от безнаказанности.

— Постой! Ни слова больше! — остановил его барон. — Тебя прислали сюда, чтобы я спас твою шкуру, а вовсе не для того, надеюсь, чтобы ты читал мне проповеди или руководил мной. Чего ты, собственно, добиваешься, сэр проповедник? Помни, ты имеешь дело с человеком не особенно терпеливым, который любит, чтобы за его столом поменьше разговаривали и побольше выпивали.

— Короче говоря, — произнес Генри Уорден, — эта леди...

— Что это значит? — закричал барон. — Какое тебе дело до нее? Что ты хочешь от этой дамы?

— Кто она? Твоя хозяйка? — спросил проповедник после минутного молчания, в течение которого он, по-видимому, подыскивал самое приличное выражение для своей мысли. — Я спрашиваю: она твоя жена?

Несчастливая молодая женщина, желая спрятать свое лицо, закрыла его обеими руками, но яркая краска, залившая ее лоб и шею, показывала, что щеки ее тоже пылают, как в огне; а стекавшие по

тонким пальцам слезы свидетельствовали о глубине ее скорби и стыда.

— Клянусь прахом моего отца! — воскликнул барон, выскочив из-за стола и отшвырнув ножную скамеечку с такой силой, что она ударилась о противоположную стену. Но сейчас же, овладев собой, он пробормотал: — Не глупо ли лезть на рожон из-за болтовни какого-то дурака? — Он снова сел на место и продолжал холодно и язвительно: — Нет, сэр священник или сэр проповедник, Кэтрин мне не жена. Перестань хныкать, глупая плакса! Да, она мне не жена, но ее руки соединены с моими, и это дает ей право считаться честной женщиной.

— Соединены руки? — повторил Уорден.

— Разве тебе, святой человек, этот обычай неизвестен? — продолжал Эвенел тем же насмешливым тоном. — Изволь, объясню. Мы, жители границы, более осмотрительны, чем ваши простофили из внутренних областей, Файфа или Лотиана. Мы kota в мешке не покупаем. Прежде чем заклепать на себе цепи, мы любим проверить, приходится ли наручники по запястью; и жен мы берем, как лошадей, на предварительное испытание. Если мужчина и женщина соединили руки — значит, они муж и жена на один год и один день. Кончится этот срок — и каждый из них волен выбрать себе другого супруга, или, по обоюдному желанию, они могут призвать священника и соединиться на всю жизнь. Теперь, я думаю, тебе ясно, что значит соединение рук.¹

— В таком случае, — заявил проповедник, — братски радея о спасении твоей души, благородный барон, я тебе скажу, что обычай этот нечестивый, грубый и развратный; упорствующему в нем он опасен, даже губелен. Обычай этот связывает тебя со слабым существом — девицею, лишь доколе она внушает

¹ Этот обычай долго держался в горах Шотландии. Отчасти он возник оттого, что там было мало священников. Пока существовали монастыри, монахи регулярно объезжали отдаленные местности, чтобы соединять обрядом венчания тех, кто, согласно этому обычаю, жил в фактическом браке. Его придерживались и на острове Портленд. (Прим. автора.)

тебе страсть, а когда она внушает к себе великое сострадание, сей обычай освобождает тебя от заботы о ней, потакая лишь низменным чувствам и попирая великодушную и нежную привязанность. Истинно говорю тебе, что тот, кто замышляет разорвать подобный союз и бросить обманутую женщину с беспомощным младенцем, тот хуже хищника пернатого. Коршун и ястреб не покинут самки, доколе их детеныши не научатся летать. Но паче всего, говорю я, противоречит сей обычай чистому христианскому учению, которое того ради соединяет мужчину с женщиной, дабы она разделяла труды его, утешала в скорби, выручала в опасностях, опорой была в печали. Жена — это не игрушка суетных часов и не цветок, сорванный для того, чтобы бросить его, когда вздумается.

— Клянусь всеми святыми, весьма назидательная проповедь! — отпарировал барон. — Задумана хитро, произнесена с толком, и особенно хорош выбор слушателей. Теперь вы раскройте уши, сэр евангелист! Вы думаете, что имеете дело с дурачком? Думаете, я не знаю, как ваша секта окрепла при Гарри Тюдоре именно потому, что вы помогли ему спроводить его Кейт и завести новую? Так почему же мне нельзя с той же христианской свободой разойтись с моей? Знаешь, держи лучше язык за зубами, благослови добрую трапезу и не вмешивайся в чужие дела. Тебе не одурачить Джулиана Эвенела.

— Джулиан Эвенел самого себя одурачил и опозорил, — сказал проповедник, — даже если он ныне пожелает воздать толику справедливости этой бедняжке, разделившей с ним его домашние заботы и печали! Но разве в его силах теперь возвести эту женщину в высокий сан целомудренной и незапятнанной супруги? Разве в его силах избавить своего ребенка от позора незаконного рождения? Правда, он может дать обоим свой титул: ее сделать законной женой, а его — законным сыном, но в общем мнении их имена все равно будут запятнаны клеймом, которого не сотрут его запоздалые усилия. Хоть время и ушло, барон Эвенел, поступи справедливо с этой

женщиной. Прикажи мне соединить вас навсегда и ознаменуйте день вашего бракосочетания не пиршеством и попойкой, а раскаянием в былом грехе и решением вести лучшую жизнь. И тогда я благословлю обстоятельства, открывшие мне доступ в этот замок, хотя меня привело сюда бедствие и я не знал своего пути, подобно древесному листу, северным ветром гонимому.

Некрасивые, даже грубые черты лица вдохновенного проповедника оживились и облагородились, выражая горячность и самозабвенность его порыва; и свирепый барон, вопреки необузданности и презрению к религиозным и нравственным законам, ощутил, может быть в первый раз в жизни, что он подавлен умом и волей другого человека и не знает, как ему быть. Предавшись размышлениям, колеблясь между стыдом и гневом, он сидел молча, присмирив под тяжестью справедливого порицания, столь смело брошенного ему в лицо.

Грустная молодая женщина, ободренная молчанием своего властелина и его очевидной нерешительностью, забыла страх и смущение в робкой надежде, что Джулиан смягчится; не спуская с него встревоженного и умоляющего взгляда, она потихоньку приблизилась к нему и наконец положив дрожащую руку на его плечо, осмелилась прошептать:

— О благородный Джулиан, прислушайся к словам этого доброго человека! — Прикосновение Кейт и ее речь оказались несвоевременными и произвели на гордого и самовластного Эвенела действие, противоположное ее надеждам.

Разъяренный барон сорвался с места и грозно закричал:

— Безмозглая девка! Ты еще поддакиваешь этому бродяге, который при тебе оскорбил меня в моем собственном доме? Прочь отсюда и знай, я не поддамся ни лицемерам, ни лицемеркам!

Пораженная громовым окриком барона и яростью в его взоре, Кейт отшатнулась и, смертельно побледнев, попыталась выполнить его приказание; повернувшись к двери, она сделала несколько шагов,

но у нее подкосились ноги, и она упала на каменный пол, да так неловко, что в ее положении это могло привести к роковой развязке. Кровь заструилась по ее лицу. При виде такой жестокой сцены Хэлберт Глендининг не мог сдержаться: у него вырвалось глухое проклятие, и, вскочив с места, он схватился за меч, готовый немедленно расправиться с жестокосердным негодяем. Но Кристи из Клинт-хилла, угадав его замысел, успел крепко схватить юношу обеими руками и не дал ему шевельнуться.

Однако гневный порыв Глендининга длился лишь мгновение, так как оказалось, что сам Эвенел, встревоженный последствиями своей жестокой выходки, старался приподнять и на свой лад утешить перепуганную Кэтрин.

— Успокойся, — говорил он, — перестань ты, глупенькая! Успокойся, Кейт! Знаешь, хоть я и не слушаю этого бродягу проповедника, но не известно, что может случиться, если ты родишь мне крепкого мальчугана. Ну, ну, не надо! Утри слезы, позови своих служанок. Эй, вы! Да куда же запропастились эти дряни! Кристи! Роули! Хатчен! Тащите их сюда за волосы!

Вслед за тем в комнату стремительно вбежали встревоженные, растрепанные служанки. Они вшестером унесли на руках свою госпожу, которую, впрочем, с одинаковым правом можно было назвать и их подругой. Кейт казалась чуть живой от страха; она прижимала руки к сердцу и тихонько стонала.

Как только бедняжку унесли, барон, подойдя к столу, налил себе и выпил вместительный кубок вина, затем, видимо стараясь овладеть собой, обратился к проповеднику, которого недавняя сцена преисполнила ужасом.

— Вы отнеслись к нам чересчур сурово, сэр проповедник, но вы представили мне такие рекомендации, что я не сомневаюсь в ваших добрых намерениях. Мы народ более горячий, чем вы там, в Файфе и Лотиане. Примите мой совет: не прищипывайте необъезженного коня, не забирайтесь плугом слишком глубоко в целину, проповедуйте нам духовную сво-

боду, и мы будем вас слушать, но духовного ярма не потерпим. А теперь садитесь, выпейте старого хереса за мое здоровье, и поговорим о чем-нибудь другом.

— Именно от духовного рабства я и явился освободить вас, — тем же укоризненным тоном сказал проповедник. — От рабства более страшного, чем самые тяжкие земные оковы, — от ваших собственных низменных страстей.

— Садитесь, — гневно приказал ему Эвенел. — Садись, пока цел! Иначе, клянусь шлемом моего отца и честью моей матери...

— Знаешь, — шепнул Хэлберту Кристи из Клинтхилла, — если он откажется сесть, я и ломаного гроша не дам за его голову.

— Лорд барон, — произнес Уорден, — ты думаешь, что устрасил меня до крайности. Но если встанет вопрос: схоронить ли свет евангельского учения, которое мне велено нести в мир, или загасить огонек моей жизни — мой выбор сделан. И я говорю тебе, как Иоанн Креститель говорил Ироду: не должно тебе иметь эту женщину, и пусть разверзнется предо мной темница, грозящая смертью, молчать я не буду, почитая прежде всего не жизнь мою, а долг проповедника.

Взбешенный стойкостью старика, Джулиан Эвенел правой рукой с силой отшвырнул от себя кубок, из которого собирался выпить за здоровье гостя, а с левой согнал птицу, и она стала неистово кружить по комнате. Первым движением барон схватился за кинжал, но, передумав, воскликнул:

— В темницу дерзкого бродягу! И не смей за него заступаться! Лови сокола, Кристи, остолоп! Если только он улетит, я всех вас пошлю его ловить! И чтоб я больше не видел этого двуличного святошу! Силой тащите его, если будет упираться.

Оба приказания были немедленно выполнены. Кристи успел поймать сокола, наступив ногой на постромки, а Генри Уорден, не проявив ни малейших признаков испуга, был уведен двумя стражниками. Джулиан Эвенел еще некоторое время прохаживался по зале в мрачном молчании, потом отрядил куда-то

одного из своих телохранителей, шепотом приказав ему, вероятно, справиться о здоровье бедняжки Кэтрин, — а вслух сказал:

— До чего дерзки эти церковники, клянусь небом! Суются не в свои дела... Без них мы были бы куда лучше!

Тут он получил от своего посланца ответ, несколько умиротворивший его раздражение, и сел за стол, приказав своей свите последовать его примеру. Все уселись и молча принялись за еду.

За ужином Кристи тщетно старался подпоить своего юного гостя или по крайней мере вызвать его на откровенность. Отговариваясь усталостью, Хэлберт не отведал крепкого вина и пил только настойку на вереске — обычный напиток за домашним столом в те времена. Ни одна искорка веселости не оживляла общего хмурого настроения, пока наконец барон, выведенный из терпения гробовым молчанием своей свиты, не стукнул кулаком по столу, закричав:

— Это еще что такое! Господа стражники-кавалеристы, что вы сидите над тарелками, точно сборище монахов или нищенствующих? Если уж говорить неохота, пусть кто-нибудь песню затянет, что ли! К жаркому полагается музыка и веселье, иначе оно плохо переваривается. Луис, — обратился он к одному из самых молодых своих приспешников, — ты всегда рад петь, и просить тебя не нужно.

Луис взглянул на своего господина, потом на сводчатый потолок комнаты, залпом осушил стоявший около него рог с вином или брагой и грубоватым, но приятным голосом запел новую песню на старинный мотив «Голубые береты пограничной стражи»:

I

— Вперед, и Этрик и Тевинтдейл!

Пора, черт возьми, вам в строй становиться!

Вперед, вперед, Эскдейл и Лидсдейл!

Голубые береты — все на границу!

Яростный вихрь знамен

Веет со всех сторон,

Шлемы героев — направо, налево!
Все на коней, как один,
Дети гор и долин,
В бой за Шотландию, за королеву!

II

Скорее с холмов, где козы гуляют,
Скорей из долин, где оленей мы бьем,
Скорее к скале, где огонь пылает,
Скорее с луком, щитом и копьем!
Трубы трубят,
Кони храпят,
Пора брать оружие и в строй становиться!
В Англии вспомнят не раз
Битвы кровавой час
С голубыми беретами здесь, на границе!

Эта удалая песня дышала воинственностью, которая в любое другое время нашла бы отзвук в душе Хэлберта, но сейчас чары поэзии не имели власти над ним. Он попросил у Кристи разрешения удалиться на отдых. Эту просьбу достойный начальник «джеков» решил уважить, видя, что, при теперешнем настроянии Хэлберта, нет смысла уговаривать его поступить на службу к барону. Но ни один вербовщик рекрутов, включая сержанта Кайта, не мог бы лучше, чем Кристи из Клинт-хилла, проследить, чтобы его добыча не ускользнула. Он сам проводил Глендининга в выходящую на озеро маленькую каморку с выдвижными нарами в стене и, прежде чем уйти, тщательно осмотрел целостность железных перекладин с наружной стороны окна, а выйдя, не преминул запереть дверь двойным поворотом ключа. Это убедило молодого Глендининга в том, что он не должен рассчитывать выбраться из замка Эвенелов, когда ему вздумается. Как ни тревожны были все эти предзнаменования, он счел благоразумным не размышлять о них.

Оставшись в совершенном одиночестве, Хэлберт стал перебирать в памяти все события истекшего

дня и, к своему удивлению, обнаружил, что и его собственное незавидное положение и даже смерть Пирси Шафтона взволновали его меньше, чем решительное и бесстрашное поведение его спутника, Генри Уордена. Провидение, всегда умеющее находить для своих целей надлежащих людей, воспитало в Шотландии для дела Реформации целый сонм проповедников, отличавшихся не столько образованностью, сколько неукротимой волей, смелостью духа и стойкостью в вере; пренебрегая всем, что преграждало им дорогу, эти люди добивались преуспевания великого дела, которому служили, пусть самым тягостным путем, лишь бы он был кратчайшим. Иву колеблет дыхание нежного ветерка, а дубовый сук вздрагивает только от могучего голоса бури. В менее жестокий век, у более кротких слушателей эти вдохновенные проповедники не имели бы успеха, но велико было их воздействие на суровых людей того времени.

По этим же причинам Хэлберт Глендининг отнесся к увещаниям проповедника недоверчиво и строптиво, а его стойкостью в столкновении с Джулианом Эвенелом был поражен до глубины души. Речь Уордена, возможно, была неучтива и, безусловно, неосторожна — разве в таком месте и в таком окружении приличествовало укорять в прегрешениях феодала, которому и воспитание и положение обеспечивали независимость и власть? Но все поведение старика — благородное, непреклонное, мужественное — было обусловлено глубочайшей убежденностью в том, что он правильно понимает обязанности, налагаемые на него долгом проповедника и собственной совестью. И чем больше отвращения вызывало у Глендининга поведение Эвенела, тем более восхищался он отвагой Уордена, который сознательно подвергал опасности свою жизнь, чтобы заклеить порок. Высшую степень доблести у человека, посвятившего себя религии, он сравнивал с воинской доблестью, требующей подавления всех эгоистических помыслов и приложения всех сил и способностей для исполнения долга, диктуемого высокой целью.

Хэлберт был в том юном возрасте, когда сердце человека радостно приемлет великодушные чувства и умеет по достоинству ценить их в других людях: он, пожалуй, сам не мог бы объяснить, почему жизнь этого старика, католик он или еретик, вдруг стала ему так дорога. К этому чувству примешивалось и любопытство; он с изумлением спрашивал себя, в чем же заключается сущность этого учения, которое заглушает в своих сторонниках всякое себялюбие, а своих проповедников обрекает на оковы и казнь. Он не раз слышал о святых и мучениках древности, которые, не отступая от догматов своей веры, бросали вызов палачам и самой смерти. Но пламень их религиозного подвижничества угас в лени и праздности многих следующих поколений церковников, и подвиги первых ревнителей веры, подобно похождениям странствующих рыцарей, рассказывались больше для развлечения, чем для назидания. Чтобы снова разжечь яркое пламя религиозного усердия, нужна была новая сила, и теперь она была устремлена на защиту более чистого учения, с вдохновенным глашатаем которого сейчас впервые встретился молодой Глендининг.

Мысль о том, что он сам всецело во власти свирепого барона, нисколько не расхолаживала горячего сочувствия Хэлберта к товарищу по несчастью: он решил, что, по примеру проповедника, тоже проявит твердость духа и что ни угрозы, ни пытки не принудят его поступить на службу к Джулиану. Затем он задумался о побеге и принялся, хоть и без большой надежды, внимательно разглядывать окно своей каморки. Эта каморка была в первом этаже, и под ее окном находился один из выступов скалы, служившей основанием замку, так что смелый и предприимчивый человек мог бы даже без посторонней помощи спуститься из окна на скалу, а затем соскользнуть или спрыгнуть в озеро, лежавшее перед ним, — такое серебристое и голубое в безмятежном свете яркой летней луны. «Только бы мне очутиться на том выступе, — подумал Глендининг, — и Эвенелу вместе с Кристи не видать бы меня как своих ушей!» Ширина

окна благоприветствовала побегу, но железная решетка представляла, по-видимому, непреодолимое препятствие.

Как прикованный стоял Хэлберт у окна; волевой нрав и решимость не поддаваться обстоятельствам поддерживали в нем страстную надежду. Внезапно он услышал какие-то звуки, доносившиеся снизу. Прислушавшись более внимательно, он различил голос проповедника, в уединении творившего молитву. Юноша немедленно решил дать ему знать о себе — сначала чуть слышными восклицаниями, но когда на них не последовало ответа, Хэлберт решился заговорить громче и услышал:

— Это ты, сын мой?

Голос узника теперь звучал гораздо отчетливее, потому что Уорден подошел к маленькому отверстию в толстой крепостной стене, которое заменяло окно и пропускало немного света в этот каменный мешок, находившийся под самым окном Хэлберта. Так близко были они друг к другу, что могли разговаривать вполголоса, и юноша сразу же сообщил проповеднику о своем намерении бежать, добавив, что этому препятствуют только железные перекладыны оконной решетки.

— Испытай свою силу во имя господне, сын мой, — ответил Уорден.

Движимый скорее отчаянием, нежели надеждой, Хэлберт повиновался, и, к его величайшему изумлению, даже к некоторому ужасу, вертикальный брус сразу отделился у нижнего конца, а верхний, который удалось отогнуть наружу, оказался не припаянным и легко выпал из гнезда прямо в руку Хэлберта, который тотчас громким шепотом сказал проповеднику:

— Клянусь небом, брус в моих руках!

— Благодарю небо, а не клянись им, сын мой, — ответил Уорден из подземелья.

Протиснувшись без особого труда в окно, которое столь удивительным способом открылось, Хэлберт Глендининг употребил вместо веревки свой кожаный пояс и благополучно спустился на выступ скалы ря-

дом с оконцем проповедника. Но пролезть через это отверстие было невозможно — оно было не больше, чем бойница, и с этой целью, вероятно, и было пробито.

— Не могу ли я помочь вам бежать, отец мой? — спросил Хэлберт.

— Нет, сын мой, — ответил проповедник, — но ты можешь сохранить мне жизнь, если захочешь.

— Я сделаю все, что смогу, — сказал юноша.

— Возьми для передачи письмо, которое я сейчас напишу. В моей котомке есть все, что нужно для письма, и огниво. Поспешь в Эдинбург! По дороге ты встретишь отряд всадников, направляющийся на юг. Отдай мое письмо начальнику отряда и объясни, в каком положении ты меня оставил. Может быть, твоя услуга и тебе самому принесет пользу.

Минуты через две в окошке блеснул слабый свет, и вскоре проповедник с помощью посоха просунул в отверстие записку.

— Да благословит тебя бог, сын мой, — проговорил старик, — и да завершит он начатое им чудо.

— Аминь! — торжественно произнес Хэлберт, всецело отдавшись мыслям о предстоящем бегстве.

С минуту он был в нерешительности, взвешивая, не лучше ли спуститься к подножию скалы, прыгая с выступа на выступ, но крутизна утесов, даже в лунную ночь, внушала слишком большие опасения. Сложив руки над головой, он смело бросился с кручи, стараясь попасть в воду как можно дальше от берега, чтобы не удариться о подводные камни. Нырнул он так глубоко, что на поверхность выплыл только через минуту. Однако благодаря выносливости, глубокому дыханию и привычке к подобным упражнениям юноша, несмотря на мешавший ему меч, то нырял, то снова появлялся на поверхности воды, как водоплавающая птица, быстро пересекая озером в северном направлении. Выйдя на берег и оглянувшись на замок, он понял, что там началась тревога: в окнах мелькали огни факелов, со скрежетом опускался подъемный мост, гулко раздавалось цоканье конских

копыт. Но, нисколько не встревоженный погоней в темную ночь, Хэлберт выжал мокрую одежду и зашагал через болото к северо-востоку, определяя свой путь по Полярной звезде.

Глава XXVI

Да, это все необычайно странно!
Вы не из кубка ли Цирцеи пили?
Куда посажен — там и должен быть!
Будь он безумцем, разве мог бы он
Здесь защищать себя так хладнокровно?

«Комедия ошибок»

Покинув на время Хэлберта Глендининга и поручив заботу о нем его собственной храбрости и удаче, наше повествование возвращается в Глендеаргскую башню, где произошли события, о которых следует уведомить читателя.

Наступал полдень, и шли приготовления к обеду. Элспет и Тибб, пользуясь припасами, доставленными из монастыря, отдавали стряпне все свое рвение. Между делом они перекидывались оживленными замечаниями, обычными между госпожой и служанкой, но иногда их разговор напоминал беседу двух кумушек примерно одного круга.

— Присмотри за рубленным мясом, Тибб, — сказала Элспет, — а ты, Симми, разиня ты этакий, поворачивай вертел, да как следует! Ты что, ворон считаешь, мальчик мой? Да, Тибб, с тех пор как сюда принесло этого сэра Пирси, мы с тобой совсем с ног сбились, и кто знает, сколько он еще тут проторчит.

— Что правда, то правда, — отвечала верная служанка, — ихняя порода нашей милой Шотландии сроду добра не приносила. И расплодилось же на нашу голову таких, что мало милости, а больше лихости! Сколько жен и детей до сих пор плачут из-за безобразий этих разных Пирси на границе. Чего один Хотспер стоит и все его отродье, что похозяйничали

у нас еще со времени Малколма, как говорит Мартин.

— Лучше бы Мартину попридержать свой шершавый язык и не позорить семью нашего гостя, — оборвала ее Элспет. — Помни, что святые отцы нашей обители очень уважают сэра Пирси Шафтона, и если нам будет какой убыток от него, они отблагодарят нас добрым словом или добрым делом, я уверена. Лорд-аббат — очень заботливый господин.

— Пуховая подушка под зад — вот что ему всего милей! — возразила Тибб. — Я не раз видела, что благородные бароны сиживали на деревянной скамье и не жаловались. Но если вы довольны, мистрис, я тоже довольна.

— А вот и наша Мизи-мельничиха. Очень кстати. Где же ты была, милая девушка? Все валится из рук, когда тебя нет! — воскликнула Элспет.

— Я ходила поглядеть на речку, — сказала Мизи. — Нашей молодой леди нездоровится — она лежит в постели. Пришлось мне идти одной.

— А я ручаюсь, что ты бегала поглядеть, не идут ли с охоты наши молодые люди, — улыбнулась Элспет. — Вот, Тибб, как поступают с нами молодые девушки. Думают только о забавах, а работу взваливают на нас.

— Вот и не угадали, госпожа Элспет, — ответила Мизи-мельничиха, засучивая рукава и обнажая свои круглые красивые руки. — Я подумала, что и вам захочется узнать, идут ли они домой, чтобы с обедом не запоздать, — прибавила она, весело и добродушно оглядывая кухню, чтобы найти себе работу.

— И ты их увидела? — спросила Элспет.

— Даже самой малюсенькой точки не увидела, — вздохнула Мизи, — хоть я взобралась на вершину холма, а прекрасное, такое белоснежное перо английского кавалера виднелось бы над всеми кустарниками в долине.

— Белоснежное перо кавалера, — повторила госпожа Глендининг, — ах ты, глупышка! Всегда раньше увидишь голову моего высокого Хэлберта, чем это перышко, как бы оно ни белелось!

Мизи ничего не ответила и принялась усердно месить тесто для сладкого пирога, заметив, что сэр Пирси накануне отведал его и похвалил. Чтобы поставить на плиту сковородку, на которой должен был печься пирог, она слегка сдвинула кастрюльку, в которой варилось другое кушанье, поставленное Тибб. Старая служанка проворчала сквозь зубы:

— Дожили, нечего сказать! Бульон для моей больной Мэри отодвигают, чтобы испечь лакомый пирог для этого английского франта. Вот было благословенное время при Уоллесе или при славном короле Роберте, когда мы английские пудинги месили палкой и обмазывали кровью. Но мы еще посмотрим, чем все это кончится.

Элспет не сочла нужным обратить внимание на воркотню Тибб, хотя неудовольствие старой служанки запало ей в душу: в вопросах войны и политики Тибб, когда-то служившая камеристкой в замке Эвенелов, была авторитетом для мирных обитателей Глендеарга. Вслух Элспет только выразила изумление, что охотников так долго нет.

— Тем хуже для них, если они не скоро вернутся, — заявила Тибб. — Жаркое пережарится и станет как уголь. И посмотрите на бедняжку Симми: он больше не в силах ворочать вертел. Мальчонка тает, как льдинка в теплой воде! Поди, дитя мое, хлебни свежего воздуха, я тут поверчу вертел, пока ты вернешься.

— Взберись на вышку, мальчуган, — приказала госпожа Глендининг, — там воздух посвежее, и приходи нам сказать, когда увидишь в долине нашего Хэлберта и того джентльмена.

Мальчик отсутствовал так долго, что Тибб, заменяя его, не на шутку утомилась от собственного великодушия и от маленькой табуретки у самого огня. Наконец мальчик вернулся с известием, что ничего не видно.

Если бы речь шла тут только о Хэлберте Глендининге, то не было бы ничего удивительного, ибо лишения, связанные с продолжительной охотой, его не пугали и он часто оставался в глуши до поздних

сумерек. Но сэру Пирси Шафтону никто не приписывал подобную страсть к охоте, да и сама мысль, что англичанин может из-за охоты пропустить обед, совершенно противоречила общему представлению о национальных свойствах англичан. Так, за разными догадками и предположениями, миновало обычное время обеда, и завсегдатаи башни, наскоро закусив чем попало, оставили более изысканные блюда на вечер, к возвращению молодых людей, которые, очевидно, либо забрели слишком далеко, либо затеяли охоту, задержавшую их дольше, чем они предполагали.

Около четырех часов пополудни вместо долгожданных охотников появился неожиданный гость — помощник приора монастыря святой Марии. События предшествовавшего дня не изгладились из памяти отца Евстафия, человека с живым и проницательным умом, который любил разбираться в тайнах и загадках. По своей доброте он лично с большим сочувствием относился к семье Глендинингов, которую знал в течение многих лет, но и помимо того вся монастырская братия желала мира между сэром Пирси Шафтоном и молодым хозяином Глендеарга, потому что любой шум вокруг имени английского кавалера мог бы пагубно отозваться на обители, которой и без того угрожала немилость правительства. Отец Евстафий нашел семью в сборе, кроме Мэри Эвенел, и узнал, что Хэлберт, сопровождая сэра Пирси на охоту, ушел на рассвете и еще не вернулся. Так случилось и раньше. Чего не бывало! Разве молодость и охотничья удаль так уж придерживаются установленных часов! И отец Евстафий несколько не встревожился.

Он заговорил с Эдуардом о его занятиях, которыми продолжал руководить, как вдруг их испугал пронзительный крик, донесшийся из комнаты Мэри Эвенел, и все мгновенно бросились туда. Мэри лежала без чувств на руках у старого Мартина, который горько укорял себя в том, что убил ее. Бледные черты и сомкнутые веки девушки казались безжизненными, как у покойницы. Всю семью охватило

смятение. Обуреваемый тревогой и нежностью, Эдуард бережно взял бесчувственную Мэри из рук Мартина и перенес к окну, в надежде на благотворное действие свежего воздуха; отец Евстафий, обладавший, подобно большинству монахов, некоторыми познаниями в медицине, поспешил предписать несколько простейших средств, чтобы привести больную в чувство, а испуганные женщины, наперебой ухаживая за ней, скорее мешали, чем помогали друг другу.

— Ей опять что-нибудь почудилось, — уверяла госпожа Глендининг.

— Точь-в-точь такой же припадок, какие бывали у ее покойной матери, — подхватила Тибб.

— Не получила ли она дурных известий? — предположила Мизи.

Они курили жжеными перьями, обрызгивали бесчувственную девушку холодной водой, пробовали все остальные средства, применяемые при обмороках, — но все безуспешно.

Наконец еще один лекарь, незаметно присоединившийся к общей группе, предложил свою помощь в следующих выражениях:

— Что же это с вами, моя прелестнейшая Скромность? Какая причина заставила алый источник жизни возвратиться в цитадель сердца, обесцветив тем самым черты лица, в которых сей источник мог бы, висясь в тончайших жилочках, красоваться вечно? Позвольте же мне приблизиться к ней, — промолвил он, — с этой великолепнейшей эссенцией, изготовленной прекрасными руками божественной Урании, который имеет силу возвращать отлетающую жизнь уже на рубеже небытия...

Говоря таким образом, сэр Пирси Шафтон опустился на колени и грациозным жестом поднес к ноздрям бездыханной Мэри Эвенел серебряный, восхитительно гравированный флакон с губкой, пропитанной столь восхваляемой им эссенцией. Да, любезный читатель, это был сэр Пирси Шафтон собственной персоной, столь неожиданно предложивший свои услуги! Его щеки, правда, были очень бледны, одежда кое-где запятнана кровью, но в остальном он был,

пожалуй, такой же, как всегда. К всеобщему изумлению, когда Мэри Эвенел открыла глаза и увидала перед собой услужливого кавалера, она сильно испугалась и закричала:

— Задержите убийцу!

Этот возглас ошеломил присутствующих, а пуще всего самого эвфуиста, услышавшего столь внезапное и необъяснимое обвинение от больной, которую он только что привел в чувство. Теперь она с отвращением отвергала его дальнейшие заботы.

— Уведите его! — восклицала она. — Прочь! Уведите убийцу!

— Клянусь моей рыцарской честью, — отвечивал сэр Пирси, — очаровательные достоинства вашего ума и тела, о моя прелестнейшая Скромность, затуманены неким странным заблуждением. Или глаза ваши не распознают во мне, стоящем перед вами, Пирси Шафтона — вашу наипреданнейшую Приверженность? Или, если глаза ваши не ошибаются, то виноват рассудок, ошибочным образом заключивший, что я повинен в преступлении или насилии, которому чужда моя рука. О разгневанная Скромность, сегодня не было совершено убийственного кровопролития, кроме того злодейства, каковое в сей миг творят ваши грозные взоры, пронзающие вашего наипокорнейшего слугу...

Эту речь прервал отец Евстафий, который тем временем, отойдя в сторону, переговорил с Мартином и узнал от него о событиях, вызвавших обморок Мэри Эвенел.

— Сэр рыцарь, — начал отец Евстафий сурово, но с некоторой нерешительностью в голосе, — нам были сообщены подробности настолько необычайные, что, при всем нежелании призвать к ответу гостя нашей обители, я вынужден потребовать у вас объяснения. Вы сегодня рано утром вышли отсюда вместе с молодым человеком, Хэлбертом Глендинингом, старшим сыном хозяйки этого дома, и возвратились сюда без него. Где и в котором часу вы с ним расстались?

После минутного размышления английский рыцарь ответил:

— Удивляюсь торжественному тону, в котором ваше преподобие предлагает мне столь простой вопрос. С поселянином, которого вы называете Хэлбертом Глендинингом, я расстался через час или два после восхода солнца.

— А где именно, позвольте узнать? — продолжал монах.

— В глубоком ущелье, где горный ключ водопадом низвергается с огромного утеса, который, подобно титану, рожденному землей, подымлет ввысь седую главу и подобно...

— Избавьте нас от дальнейших описаний! — остановил его помощник приора. — Мы знаем это место. Но юношу с тех пор никто не видел, и вам придется объяснить, что с ним произошло.

— Мой мальчик! Мой мальчик! — восклицала госпожа Глендининг. — Святой отец, заставьте этого негодяя сказать, где мой мальчик!

— Клянусь вам, добрая женщина, хлебом и водой, первоосновой нашего существования...

— Клянись тогда вином и сладкими пирогами, первоосновой твоей жизни, жадный ты англичанин, — не унималась госпожа Глендининг. — Негодяй, чревоугодник, мы тебя откармливали как на убой, а ты нас в благодарность убиваешь.

— Говорю тебе, женщина, — возразил сэр Пирси, — что я пошел с твоим сыном на охоту, больше ничего.

— Охота, где наш бедный мальчик нашел свою смерть, — вмешалась Тибб. — Я наперед знала это и предсказывала, как увидела твою хитрую английскую харю. Уж когда сэры Пирси начинают охотиться — добра не жди, начиная с погони в Чеви и по сейчас.

— Замолчи, женщина, — остановил ее помощник приора. — Перестань оскорблять английского рыцаря, — против него нет улик, одни только подозрения.

— Нет, пусть прольется его кровь! — крикнула госпожа Глендининг, кинувшись вместе со своей верной Тибб на несчастного эвфуиста с такой яростью и так неожиданно, что ему пришлось бы худо, если бы

отец Евстафий и Мизи Хэппер не заслонили его от неистовой атаки.

Эдуард, который в начале перепалки вышел из комнаты, теперь возвратился с мечом в руке и в сопровождении Мартина и Джаспера; у одного в руках было охотничье копьё, у другого — арбалет.

— Караульте дверь, — сказал своим спутникам Эдуард, — если он попытается бежать, стреляйте или колите его без пощады. Клянусь небом, если он тронется с места, он умрет!

— Что я слышу, Эдуард? — заговорил отец Евстафий. — Ты забываешься и переходишь всякие границы. Как смеешь ты угрожать насилем нашему гостю, да еще в моем присутствии! Разве не я представляю здесь лорда-аббата, которому ты обязан повиноваться?

Эдуард выступил вперед с обнаженным мечом в руке.

— Простите меня, преподобный отец, — заявил он, — но в этом деле голос крови говорит громче и настоятельнее вашего голоса. Я устремляю острие своего меча против этого чванливого человека и требую ответа за кровь моего брата, за кровь сына моего отца, наследника нашего имени. И если он вздумает уклониться от правдивого ответа, ему не уклониться от моей мести.

Несмотря на все свое замешательство, сэр Пирси Шафтон не струсил.

— Убери свой меч, юнец, — сказал он. — Не пристало Пирси Шафтону в один и тот же день меряться силами с двумя мужланами.

— Вы слышите, святой отец! — вскричал Эдуард. — Он сознается в преступлении!

— Терпение, сын мой, — промолвил помощник приора, стремясь утихомирить чувства, которые другим путем он обуздать не мог. — Терпение! Вверься мне, и ты добьешься справедливости скорее, чем грубостью и угрозами. — Вы, женщины, тоже не вмешивайтесь. Тибб, уведи свою хозяйку и Мэри Эвенел.

Пока Тибб и все женщины башни переносили убитую горем мать и Мэри Эвенел в другую комнату,

Эдуард поспешил стать с мечом в руке у двери, чтобы отнять у сэра Пирси возможность ускользнуть, а отец Евстафий продолжал неотступно выпытывать у растерянного кавалера все подробности его встречи с Хэлбертом Глендинингом. Тут английский рыцарь очутился в более чем затруднительном положении — об исходе своего поединка с Хэлбертом он мог бы рассказать, ничем не рискуя, но то, что произошло, было унижительно для его самолюбия, и описывать это, да еще во всех подробностях, он был не в состоянии; а о дальнейшей судьбе Хэлберта рыцарь, как известно читателю, и сам ничего не знал.

Отец Евстафий тем временем всячески усовещивал и вразумлял кавалера, доказывая, что он чрезвычайно повредит самому себе, если не расскажет самым точным и обстоятельным образом о событиях истекшего дня.

— Вы не можете отрицать, — сказал он, — что вчера крайне разгневались на этого несчастного юношу, и свою горячность столь мгновенно обуздали, что это всех нас изумило. И вчера же вечером вы предложили ему вместе пойти на охоту и на рассвете куда-то вдвоем ушли. Вы сказали, что разошлись с ним у источника через час или два после восхода солнца, но, не правда ли, перед тем, как вам расстаться, между вами произошла ссора?

— Я этого не сказал, — возразил рыцарь, — и потом не слишком ли много шума из-за исчезновения какого-то поселянина, вассала, который сбежал (да и сбежал ли еще?), дабы присоединиться к какой-нибудь разбойничьей, мародерской шайке. И от меня, рыцаря из рода Пирси, вы требуете отчета о столь ничтожной особе! Отвечаю: скажите, во что ценится его голова, и я заплачу сколько требуется вашему монастырскому казначею.

— Так вы сознаетесь, что убили моего брата! — вскричал Эдуард, снова вмешиваясь в разговор. — Сейчас я вам покажу, как мы, шотландцы, дорожим жизнью наших родичей.

— Успокойся, Эдуард, успокойся. Заклинаю тебя, приказываю тебе! — остановил его помощник приора. — А вы, сэр рыцарь, видно плохо нас знаете, если думаете, что можете пролить шотландскую кровь и расплатиться за нее, как за вино, пролитое на хмельном пиру. Этот юноша был не раб и не крепостной, и ты отлично знаешь, что в своей собственной стране ты не осмелился бы зарубить даже самого ничтожного английского подданного, не ответив за убийство перед судом. Не тешьте себя надеждой, что здесь вас помилуют, вы горько ошибетесь.

— Вы выводите меня из терпения! Подобно загнанному быку, я близок к бешенству! — горячился сэр Пирси. — Что могу я сообщить вам о молодчике, которого не видел с самого утра?

— Объясните, при каких обстоятельствах вы с ним расстались, — настаивал монах.

— Какие обстоятельства вам нужны, черт возьми! — вскричал рыцарь. — Говорите толком! Хотя я протестую против вашего недостойного насилия и негостеприимного поведения, но хочу миролюбиво кончить этот допрос — если его можно кончить словами...

— Что не под силу словам — решат мечи. Мой только того и ждет! — воскликнул Эдуард.

— Тише, неугомонный юноша! — прикрикнул отец Евстафий. — А вы, сэр Пирси Шафтон, благоволите разъяснить мне, почему в Корри-нан-Шиане, близ источника, где, по вашему собственному признанию, вы расстались с Хэлбертом Глендинингом, земля залита кровью?

Решив по мере возможности не признаваться в поражении, кавалер высокомерно ответил, что вполне естественно увидеть кровь там, где охотники убили оленя, — так ему по крайней мере кажется.

— На этот раз, убив оленя, вы почему-то решили похоронить его — так, что ли? — в упор спросил монах. — Ответьте нам, сэр Пирси, кто лежит в могиле, в свежевырытой могиле рядом с источником, где по соседству трава густо забрызгана кровью? Теперь ты видишь, что не так просто меня одурачить, и потому Расскажи нам чистосердечно, что же произошло

с несчастным юношей, тело которого, без сомнения, покоится под окровавленным дерном.

— Если это так, значит его зарыли живым, потому что, клянусь тебе, преподобный отец, этот юный поселанин, покидая меня, был здоровехонек. Прикажете разрыть могилу и, если там окажется его тело, поступайте со мной как вам заблагорассудится.

— Решить твою участь, сэр рыцарь, надлежит не мне, а лорду-аббату и нашему высокоочтимому капитулу. Моя обязанность заключается в том, чтобы собрать правдивые сведения, дабы мудрые отцы досконально знали, что произошло.

— Могу ли я отважиться спросить, преподобный отец, — обратился к нему рыцарь, — хотелось бы мне знать, чье свидетельство породило против меня все эти необоснованные подозрения?

— Это сразу можно сказать, — ответил помощник приора, — и я не хочу утаить от вас то, что может послужить вашей защите. Эта девушка, Мэри Эвенел, догадываясь, что вы под маской дружелюбия таите злобу против ее названного брата, благоразумно послала старика Мартина Тэкетта вслед за вами, чтобы предотвратить возможную беду. Однако пагубные страсти, овладевшие вами, победили предосторожность, продиктованную дружбой, ибо, дойдя по вашим следам на утренней росе до источника, Мартин нашел только залитую кровью траву и свежую могилу; сколько ни блуждал он потом по лесу, он не разыскал ни Хэлберта, ни вас и воротился с печальной вестью к своей молодой хозяйке.

— Скажите, не попался ли ему на глаза мой камзол? — воскликнул сэр Пирси. — Когда я пришел в себя, на мне, поверх рубашки, был только плащ, а камзол, как ваше преподобие можете сами удостовериться, исчез!

С этими словами он распахнул свой плащ, не подумав, со свойственной ему опрометчивостью, что показывает рубашку, забрызганную кровью.

— Ах ты, жестокий человек, — воскликнул монах, воочию увидев, что его догадки подтверждаются. — Неужели ты будешь отрицать свое злодейство и те-

перь, когда на твоей одежде вопиет пролитая тобой кровь! Неужели и впредь будешь ты отрицать, что это твоя преступная рука отняла у матери сына, у аббатства — вассала, у шотландской королевы — надежного защитника? Чего можешь ты теперь ожидать от нас? Еще хорошо, если мы только лишим тебя нашего покровительства и передадим английским властям!

— Клянусь всеми святыми! — вскричал доведенный до отчаяния кавалер. — Если сия кровь свидетельствует против меня, то это весьма бунтарская кровь, принимая во внимание, что еще сегодня утром она текла в моих собственных жилах.

— Как это может быть, сэр Пирси, — возразил отец Евстафий, — когда я не вижу раны, откуда могла вытечь эта кровь?

— В этом, — понизил голос рыцарь, — и заключается самое непостижимое. Взгляните сюда!

С этими словами он расстегнул ворот рубашки, обнажил грудь и показал место, куда вонзился меч Хэлберта. Рана была видна, но зарубцевалась и казалась зажившей.

— Тут уж и моему долготерпению пришел конец! — вспылil помощник приора. — Сэр рыцарь, свое кровопролитное злодейство вы завершаете наглостью. Неужто вы считаете меня ребенком или глупцом, которому можно втолковать, что совсем свежая кровь на вашей рубашке есть кровь, пролившаяся из этой раны, которая зажила уже несколько недель или месяцев тому назад? Злосчастный шут, напрасно надеешься ты обмануть нас. Уже слишком ясно для всех, что эти пятна — кровь жертвы, загубленной тобою в неравном смертельном бою.

Сер Пирси ненадолго задумался и затем сказал:

— Извольте, я буду откровенен с вами, отец мой, только велите этим людям отойти, чтобы нас никто не мог услышать, и я расскажу вам все, что мне известно об этом таинственном происшествии. Однако ж не удивляйся, добрый отец мой, если многого не сможешь уразуметь. Сие оказалось, признаюсь, слишком темно и для моего ума.

Отец Евстафий приказал Эдуарду и двум слугам уйти из комнаты; уверив молодого Глендининга, что его беседа наедине с пленником будет непродолжительной, он разрешил Эдуарду стоять на часах за дверью — без этой уступки было бы, вероятно, нелегко убедить его удалиться. Выйдя из трапезной, Эдуард сразу отправил гонцов к нескольким знакомым семьям, жившим на монастырских землях, с вестью о том, что Хэлберт Глендининг пал от руки англичанина, и с просьбой к сыновьям этих семейств немедленно приехать в Глендеарг. Долг отмщения в подобных случаях почитался священным, и Эдуард не сомневался, что они безотлагательно приедут в сопровождении достаточного числа помощников, чтобы держать пленника под стражей. Затем он запер на замок внутренние и внешние двери башни, а также ворота во дворе. Приняв все эти меры предосторожности, он поспешил на женскую половину, чтобы по мере сил утешить мать и названую сестру и уверить их, что убийца его брата не уйдет от наказания.

Глава XXVII

Ну, божьей матерью клянусь, шериф,
Неладно ведь, что я, вельможа знатный,
Задержан за случайное убийство
Бродяги, у которого всего лишь
И есть добра, что бронзовая пряжка
На поясе, где заткнут острый нож.

Старинная пьеса

Пока Эдуард, охваченный страстной жаждой мести — чувством, которое у него до сих пор никогда не проявлялось, — принимал меры к тому, чтобы держать под присмотром и покарать предполагаемого убийцу своего брата, сэр Пирси Шафтон вел беседу с помощником приора. Отец Евстафий очень внимательно слушал его, тем более что повествование рыцаря было весьма запутанным — самолюбие заставляло его скрывать или сокращать подробности,

а без них никак нельзя было понять, что в действительности произошло.

— Вы должны знать, преподобный отец, — говорил кавалер, — что сей деревенский неуч осмелился — в присутствии вашего почтенного владыки, при вас и при других высокопоставленных и уважаемых персонах, не говоря уже о благородной девице Мэри Эвенел, которую я из самых лучших побуждений именую своей Скромностью, — нанести мне грубое оскорбление, нестерпимое для моей чести, особенно ввиду места и времени сей обиды, после чего мой справедливый гнев превозмог рассудительность, и я оказал ему высокую честь, вызвав его на поединок, как равного.

— Но, сэр рыцарь, — возразил помощник приора, — вы намеренно оставляете в тени два обстоятельства. Во-первых, отчего безделка, которую вам показал Хэлберт, так глубоко оскорбила вас, как мы были тому свидетелями? И затем объясните, как мог юноша, видевший вас если не в первый, то во второй раз в жизни, так хорошо разузнать ваше прошлое, чтобы столь болезненно задеть вас?

На лице кавалера вспыхнул румянец.

— С вашего разрешения, преподобный отец, мы оставим первый вопрос пока в стороне ввиду того, что он к существу дела отношения не имеет; а что касается второго вопроса, то я во всеуслышание заявляю, что знаю сам не больше вас и склоняюсь к убеждению, что противнику моему помогал не иначе, как сам сатана, о чем еще будет речь впереди. Итак, сэр... Вчера вечером мое безмятежное лицо ничем не выдавало нашего уговора о поединке, согласно обычаю, принятому у нас, потомков Марса, кои сообщают своим чертам вызывающе-воинственное выражение лишь тогда, когда их рука ополчится губительным мечом.

Я забавлял прелестную Скромность романсами и разными пустяками, восхитительными для ее неискушенного слуха. Встав на заре, я встретился с моим противником, который, надо сказать по справедливости, будучи неискушенным поселянином, держал

себя так стойко, как я только мог желать... Теперь о самом поединке, высокочтимый сэр; он начался с того, что я, испытывая, какова выдержка моего соперника, обрушил на него с десятков классических ударов, из которых каждый мог бы проткнуть его насквозь; но, гнушаясь пользоваться моим роковым для него превосходством, я обуздал милосердием свое справедливое негодование и стал присматриваться, как бы причинить ему ранение, не опасное для жизни. Но тут, дорогой сэр, он, подстрекаемый, как я думаю, самым дьяволом, снова уязвил мою честь, нанеся мне оскорбление, подобное первому. Тогда, горя желанием проучить его, я пустил в ход эстрамазоне, но в эту минуту поскользнулся... что следует считать не оплошностью с моей стороны, никак не его превосходством в искусстве дуэли, а, как я уже сказал, вмешательством сатаны и скользкой травой!.. Короче говоря, прежде чем я встал в должную позицию, его меч очутился у моей незащищенной груди, так что, мне кажется, я был известным образом проткнут насквозь. Тогда мой мальчуган, безмерно перепуганный неожиданной и незаслуженной удачей в сем удивительном столкновении, пускается в бегство, бросив меня одного, и я от потери крови, растраченной мною столь безрассудно, погружаюсь в глубокий обморок, а когда прихожу в себя, проснувшись как после глубокого сна, я убеждаюсь, что лежу, закутанный в плащ, у одной из берез, растущих неподалеку от места нашей схватки. Ощупываю свои руки, ноги — и боли почти не чувствую, только жестокую слабость. Прикасаюсь рукой к ране — она затянулась и зажила совершенно, как вы ее сейчас видели. И вот я встаю и являюсь сюда. Теперь вы знаете все, что со мной сегодня произошло.

— Выслушав столь необычайный рассказ, я мог ответить только одно, — сказал монах, — вряд ли сам сэр Пирси Шафтон ожидает, что я ему поверю. Много тут непостижимого: что это за ссора, причину которой вы скрываете, что за рана, полученная утром, которая к заходу солнца бесследно заживает, засы-

панная могила, в которой никто не похоронен, уцелевший побежденный в добром здравии и пропавший без вести победитель. Подобную несуразицу, сэр рыцарь, я отказываюсь считать евангельской истиной.

— Преподобный отец, — возразил сэр Пирси, — прежде всего прошу вас заметить, что если я мирно и любезно излагаю вам свои объяснения, за правдивость которых поручился заранее, то делаю сие единственно из благоговения перед саном вашим и облачением. Заявляю, что лишь духовному лицу, даме и законному государю моему склонен я что-либо доказывать повторными уверениями, — остальных, кто сомневается, удостоиваю я убеждать не иначе как острием доброго меча моего. Сделав сие введение, могу прибавить: ручаюсь честью своей как дворянин и совестью своей как правоверный католик, что все события нынешнего дня произошли со мной в точности, как я их вам описал.

— Это звучит убедительно, сэр рыцарь, — ответил помощник приора, — но посудите сами: разве одних заверений достаточно, чтобы заставить людей поверить в то, что противно разуму? Позвольте спросить вас, была ли могила, которую видели у места вашей встречи, уже зарыта, когда начался поединок?

— Преподобный отец, — воскликнул рыцарь, — я не утаю от вас решительно ничего, открою вам сокровенные тайники моей души, и, подобно тому, как кристальные струи ручья позволяют увидеть мельчайшие камешки на песчаном дне, подобно тому...

— Ради самого неба, отвечайте напрямик, — перебил его отец Евстафий, — эта напыщенная болтовня в серьезном деле только мешает. Когда вы скрестили оружие, могила была открыта?

— Да, отец мой, — ответил кавалер, — я это удостоверяю. Подобно тому, кто удостоверил, что...

— Довольно, сын мой, воздержитесь от иносказаний и выслушайте меня. Еще вчера вечером на том месте никакой могилы не было. Старый Мартин случайно забрел туда в поисках пропавшей овцы. Между

тем на рассвете, как вы утверждаете, могила была уже готова. Около нее произошел поединок, и вот появляется только один из противников. Он залит кровью, но, судя по всему, не ранен. — Тут сэр Пирси не удержался от негодующего жеста. — Подождите, сын мой, еще минуту внимания! Сейчас могила засыпана и покрыта дерном. Можно сделать только один вывод: там покоится окровавленное тело побежденного.

— Быть не может, клянусь небом! — воскликнул рыцарь. — Разве что сей молодчик сам себя зарезал и сам себя закопал в могилу, дабы меня почтили его убийцей.

— Не позже, чем к завтрашнему утру, могила будет разрыта, — сказал монах. — Я сам буду при этом присутствовать.

— А я заранее протестую против всех улик, которые могут быть обращены против меня в результате раскопок, — заявил англичанин. — Настаиваю, что содержимое сей могилы, каково бы оно ни было, не имеет ко мне отношения. Дьявольское наваждение меня так неотступно преследует, что почем знать: сам сатана может принять образ этого поселенина, дабы ввергнуть меня в дальнейшие злоключения. Заявляю вам, святой отец, я неколебимо убежден, что все терзания, коим я подвергаюсь, являются проделками нечистой силы. Стоило мне попасть в эту северную страну, где, как говорят, всюду гнездится колдовство, как я стал встречать вместо благоговейного уважения, к которому при дворе Фелицианы привык даже со стороны высочайших особ, — насмешки и дерзости деревенского олуха! Меня, которого Винченцо Савиола называл проворнейшим и искуснейшим из всех его учеников, превзошел какой-то пастух, смыслящий в фехтовании не больше любого деревенского драчуна. При этом, как я понимаю, меня, с помощью весьма внушительного стокката проткнули насквозь, так что я сразу потерял сознание, а опомнившись, не обнаружил на себе ни свежей раны, ни кровоподтека, а одежду — всю в целости, за исключением персикового камзола,

подбитого атласом, который я попросил бы разыскать, если только дьявол, перетаскивая меня, не обронил его в лесной глуши, что было бы крайне обидно, поскольку этот редкостный по своей причудливости камзол я в первый раз надел на придворный праздник в Саутуорке.

— Сэр рыцарь, — возразил отец Евстафий, — вы опять отклоняетесь от сути вопроса. То, о чем я вас спрашиваю, имеет значение для жизни человека и может быть важно для вашей собственной участи, а вы мне отвечаете какой-то побасенкой о поношенном камзоле.

— Поношенном! — возмутился рыцарь. — Однако! Клянусь всеми богами и всеми святыми, поищите при британском дворе кавалера более изысканно деликатного и более деликатно изысканного, более чарующе своеобразного и более своеобразно чарующего, меняющего принадлежности своих шегольских нарядов столь непрерывно, как сие приличествует общепризнанному светилу высшего света, и если таковой найдется, я разрешу вам именовать меня холопом и лжецом.

Отец Евстафий ничего не сказал, но подумал, что имеет основания сомневаться в правдивости кавалера, рассказавшего ему столь неправдоподобную историю. Вспомнив, однако, свое собственное загадочное приключение и то, что случилось с отцом Филиппом, он решил воздержаться от выводов. Ограничившись вследствие этого замечанием, что все сие, без сомнения, весьма странно, монах попросил сэра Пирси припомнить, были ли у него еще какие-либо причины подозревать, что существует особый к нему интерес со стороны нечистой силы и всякой чертовщины.

— Благочестивый сэр, — отвечал англичанин, — я еще не поведал вам об одном необычайном обстоятельстве, каковое оставляет в тени все прочие: если бы я даже не был осмеян в споре, побежден в бою, ранен и исцелен в течение нескольких часов, все равно, — *это* обстоятельство само по себе и без связи с чем-либо уже убедило бы меня в том, что я стал

игрушкой в руках злокозненных демонов. Благородный сэр, рассказы о любви и любовных похождениях не для вашего слуха, да и не таков сэр Пирси Шафтон, чтобы кому бы то ни было хвастать своими успехами у самых избранных и изящных красавиц при дворе, тем более что одна леди из блистательного созвездия чести, веселья и красоты, имени которой я не открою, удостоила назвать меня своей Молчаливостью. И все же истина должна быть провозглашена. Согласно суждениям при дворе и толкам в больших и малых городах, сэр Пирси Шафтон признан первым кавалером своего времени, как непревзойденный в находчивости при знакомстве, в нежном и внимательном ухаживании, в скромности после одержанной победы, наконец — в благородстве при расставании. До такой степени сумел он расположить к себе первых красавиц при дворе, что, затмив собою и царедворцев в шелковых панталонах и украшенных перьями победителей в турнирах, он стал высшим образцом для всех знатных и щедрых юношей. И после всего этого, преподобный сэр, встретив в этом заброшенном краю некую особу, заслуживающую по крови и рождению титула леди, я, не желая терять навыков в науке нежной страсти и проявляя преданность всему женскому полу, согласно данной когда-то клятве, осыпал стрелами комплиментов эту Мэри Эвенел, называя ее моей Скромностью, и не щадил других изящных и ловко придуманных любезностей, руководствуясь при этом более своей снисходительностью, нежели достоинствами сей девицы, подобно малолетнему охотнику, который, при отсутствии стоящей дичи, будет стрелять и в ворону и в сороку.

— Мэри Эвенел, без сомнения, ценит ваше внимание, — сказал монах, — но с какой целью распространяетесь вы о своём легкомысленном поведении в прошлом и ныне?

— Ах, для того, — воскликнул рыцарь, — чтобы с очевидностью доказать вам, что кого-то из нас околдовали: или мою Скромность, или меня! Подумайте,

вместо того чтобы отвечать на мое приветствие вежливым поклоном, на мой многозначительный взгляд — сдержанной улыбкой, на мой уход — затаенным вздохом, чем, клянусь, вознаграждали мое скромное поклонение самые знаменитые танцовщицы и надменнейшие красавицы при дворе Фелицианы, Мэри Эвенел обращается со мной так небрежно и так холодно, как будто перед ней какой-то неуклюжий простофиля с этих мрачных гор. Даже сегодня, когда я опустился у ее ног на колени, чтобы привести ее в чувство крепчайшей эссенцией, изготовленной самыми очаровательными руками при дворе Фелицианы, она отстранила меня взглядом, в котором ясно сквозило отвращение, и, кажется, вдобавок оттолкнула ногой, дабы я поскорее убирался прочь. Согласитесь, преподобный отец, что такие происшествия странны, противостественны и даже зловещи; они противоречат обычному течению жизни и объясняются лишь колдовством и наваждением. А теперь, представив вашему преподобию полное, правдивое и безыскусственное изложение всего, что мне известно, оставляю вашей мудрости разрешить то, что в сей загадке разрешимо, сам же я намереваюсь с первым лучом рассвета направиться в Эдинбург.

— Сожалею, что должен воспрепятствовать вашим намерениям, сэръ рыцарь, — возразил монах. — Это желание ваше едва ли осуществимо.

— Как так, преподобный отец! — воскликнул рыцарь в изумлении — Если ваше замечание относится к моему отъезду, извольте знать, что он должен состояться, потому что я так решил.

— Сэръ рыцарь, — повторил помощник приора, — я должен еще раз указать вам, что это невозможно без соизволения лорда-аббата

— Уважаемый сэръ, — горделиво отчеканил рыцарь, — я выражаю лорду-аббату свою сердечную и благодарную признательность, но позволю себе заметить, что для решения данного вопроса не требуется ничьего соизволения, кроме моего собственного.

— Извините меня, — сказал отец Евстафий, — именно в этом вопросе лорд-аббат имеет решающий голос.

Щеки кавалера зарделись.

— Меня изумляют речи вашего преподобия, — промолвил он. — Неужели из-за предполагаемой смерти ничтожного буяна-грубияна вы решитесь посягнуть на свободу дворянина из рода Пирси?

— Сэр рыцарь, — вежливо возразил помощник приора, — ваша знаменитая родословная и ваш пламенный гнев равно бессильны помочь вам в этом деле. Не должно искать убежища на шотландской земле, а получив его, лить шотландскую кровь, как воду.

— Повторяю вам еще раз, — воскликнул кавалер, — что тут была пролита только моя собственная кровь!

— Это надо еще доказать, — ответил монах. — Мы, члены общины святой Марии в Кеннаквейре, не имеем обыкновения принимать волшебные сказки в обмен на жизнь наших вассалов.

— А мы, члены рода Пирси, — воскликнул Шафтон, — не терпим ни угроз, ни насилия. Заявляю, что завтра я еду, будь что будет.

— А я, — с той же решительностью произнес отец Евстафий, — заявляю, что не позволю вам уехать, а там будь что будет.

— А кто воспротивится мне, если я проложу себе путь силой? — воскликнул кавалер.

— Благоразумие подскажет вам воздержаться от подобного шага, — спокойно ответил монах. — В монастырских владениях достаточно людей, которые встанут на защиту обители и ее прав, попираемых пришельцами.

— Мой двоюродный брат, граф Нортумберленд, сумеет отомстить за обиду, причиненную его любимому и близкому родственнику, — сказал англичанин.

— А лорд-аббат сумеет защитить свои территориальные права и светским и духовным мечом, — возразил отец Евстафий. — Притом рассудите сами: если мы завтра препроводим вас к вашему родствен-

нику в Элввик или Уоркуорт, разве он не будет вынужден заковать вас в кандалы и отправить к английской королеве? Поймите, сэр рыцарь, вы стоите на зыбкой почве, и разумнее всего будет, если вы останетесь здесь пленником, пока лорд-аббат не скажет своего слова. У нас достаточно вооруженных людей, чтобы помешать вашему побегу. Пусть кротость и терпение будут вашими советниками и внушат вам необходимую покорность.

С этими словами он хлопнул в ладоши и позвал стражу. Вошел Эдуард в сопровождении двух хорошо вооруженных молодых людей, которые успели прибыть в Глендеарг по его призыву.

— Эдуард, — сказал помощник приора, — позаботься о том, чтобы английскому рыцарю приготовили все, что нужно для ужина и ночлега в этой комнате, и обращай с ним так любезно, как будто между вами ничего не произошло. Но у дверей поставь надежную стражу, чтобы он не учинил побега. Если пленник захочет пробиться силой, не щади его жизни — в противном случае даже волосу не дай упасть с его головы, ибо ты за это в ответе.

— Преподобный сэр, — возразил Эдуард Глендининг, — чтобы выполнить ваши приказания, мне лучше больше не видеться с этим человеком, потому что я навлеку на себя позор, если нарушу мир в монастырских владениях, и не меньший позор, если оставлю смерть моего брата неотмщенной.

Юноша так волновался, что кровь отхлынула от его лица и губы мертвенно побледнели. Он хотел уйти, но отец Евстафий подозвал его и заговорил медлительно и веско:

— Эдуард, я знаю тебя с самого детства. Я старался сделать для тебя все, что было в моих силах. Сейчас я не напоминаю тебе о том, что являюсь представителем твоего духовного владыки... не напоминаю о покорности, которую ты, как вассал, обязан оказывать помощнику приора. Но отец Евстафий надеется на ученика, которого он взрастил, надеется, что Эдуард Глендининг не совершит никакого насильственного деяния, хотя бы оно оправдывалось

в его собственных глазах обидой, которую он претерпел. Эдуард не нарушит уважения к правосудию и покажет себя достойным доверия, которое ему оказывается.

— Не опасайтесь, высокочтимый отец (вы сто-крат заслужили, чтобы я вас так называл), — сказал молодой человек. — Не опасайтесь, что я погрешу против уважения к общине, которая издавна покровительствовала нашей семье, и еще менее способен я на поступок, противоречащий моему безграничному уважению к вам. Но кровь моего брата не должна тщетно взывать о мщении, а вы знаете исконные обы-чай нашей пограничной стороны.

— «Мне отмщение, и аз воздам», говорит гос-подь, — возразил монах. — Между тем в нашей стра-не господствует языческий обычай кровной мести, который обязывает каждого собственноручно мстить за смерть родственника или друга, и земля Шотлан-дии обогрена потоками шотландской крови, проли-той руками соотечественников — сынов одной родины. Невозможно исчислить пагубные последствия этого обычая. На восточной границе род Хоумов враж-дует с Суинтонами и Кокбернами, в средней части страны сёмьи Скоттов и Керри, воюя между собой из-за ничтожных распрей, которых ни те, ни другие не смогли простить и забыть, пролили столько доб-лестной крови, сколько нужно было бы для реши-тельного сражения с Англией. На западе Джонстоны на ножах с Максуэллами, а Джардины поклялись в смертельной вражде к Беллам. Цвет нашего юноше-ства, которое призвано грудью защищать нас от внешнего врага — от Англии, гибнет в кровавых рас-правах и стычках, что приводит к опустошению род-ной страны, и без того раздираемой внутренними не-согласиями. Не давай этому кровавому предрассудку овладеть твоей душой, дорогой сын мой Эдуард. Я не могу просить тебя хладнокровнее относиться к пред-полагаемому преступлению, так, как будто кровь Хэл-берта тебе не очень дорога. Увы, я знаю, что это невозможно. Но я призываю тебя, во имя любви к тому, кого мы, может быть, потеряли (ибо до сих пор

ничего достоверного мы не знаем), помнить, что для признания подозреваемого лица преступником нужны несомненные доказательства. Я сейчас говорил с этим человеком, и столь невероятен его рассказ, что я, не колеблясь ни минуты, объявил бы его нелепостью, если бы не вспомнил происшествия, которое случилось со мной в той же самой долине. Но об этом в другой раз. Сейчас достаточно сказать, что, руководствуясь своим личным опытом, несмотря на всю неправдоподобность слов сэра Пирси Шафтона, я не могу утверждать, что он лжет от начала до конца.

— Отец мой, — промолвил Эдуард Глендининг, когда его наставник умолк, по-видимому не желая пояснить, почему он одновременно верил и не верил неправдоподобному повествованию сэра Пирси Шафтона, — отцом вы мне были всегда и во всем. Вы знаете, что моя рука охотнее тянулась к книге, чем к мечу, и что я даже в малой степени не обладал удалью и горячностью, которыми отличался... — Тут речь его прервалась, и он на мгновение остановился, но сразу же заговорил быстро и решительно: — Я хочу сказать, что не мог бы состязаться с Хэлбертом в отваге духовной и телесной, но Хэлберта уже нет, и на мою долю выпало быть его представителем, преемником моего отца, старшим в роде (тут в его глазах сверкнул огонь). Я обязан помышлять и действовать, как он бы помышлял и действовал, и я стал другим человеком: с новыми правами и требованиями в меня влилось новое мужество. Высокочитимый отец мой, с должной почтительностью, но откровенно и твердо объявляю вам, что за кровь моего брата, если только она пролита его рукой, этот человек поплатится жизнью. Хэлберт не будет забыт в своей уединенной могиле, как будто с ним навеки угас боевой дух моего отца. Его кровь струится в моих жилах, и она не даст мне покоя, пока не свершится возмездие за кровь брата. Моя бедность и низкое звание не спасут знатного убийцу. Мой тихий нрав и миролюбивые наклонности не оградят его. Не поможет ему и моя покорность вам, святой отец,

которую я еще раз подтверждаю. Я терпеливо ожидаю приговора лорда-аббата и капитула над убийцей их вассала, принадлежащего к одному из древнейших дворянских родов. Хорошо, если они воздадут должное памяти моего брата. Но если правосудие будет нарушено, знайте, отец мой, несмотря на мое отвращение к насилию, сердце младшего Глендининга и его рука исправят эту ошибку. Преемник моего брата должен отомстить за его смерть.

Отец Евстафий с удивлением отметил, что в душе Эдуарда, наряду с основными чертами его характера — прилежанием, скромностью и неверием в свои силы, — бушевали те же неукротимые страсти, которым подчинялись его предки и все, кто его окружал. Он трепетал, глаза его сверкали, и жажда мести, оживлявшая его лицо, придавала ему выражение нетерпеливой радости.

— Да поможет нам бог, — проговорил отец Евстафий. — Мы, слабые создания, бываем не в силах одолеть внезапные и сильные искушения. Эдуард, я полагаюсь на твое слово. Ты сказал, что ничего опрометчивого не совершишь.

— Нет, лучший из отцов, нет! — воскликнул Эдуард. — Ничего опрометчивого я не совершу! Но кровь брата, слезы матери... и... и... и Мэри Эвенел будут отомщены. Я не стану обманывать вас, отец мой: если этот Пирси Шафтон лишил жизни моего брата, он умрет, хотя бы вся кровь всего рода Пирси текла в его жилах.

В голосе Эдуарда Глендининга звучала страстная убежденность, свидетельствующая о том, что его решение глубоко продумано и непоколебимо. Помощник приора тяжело вздохнул и предпочел в данную минуту больше не настаивать. Приказав подать огня, он принялся молча расхаживать по комнате.

Тысячи мыслей и противоречивых суждений рождались и сталкивались в его сознании. Рассказ англичанина о поединке и обо всем, что за ним последовало, казался ему весьма сомнительным. Но удивительные и сверхъестественные события, происшедшие в этой же самой долине с ним самим и с отцом

ризничим, не позволяли ему начисто отвергать рассказ сэра Гирси о сказочном исцелении его раны, не позволяли ему объявить невозможным то, что было только неправдоподобно. Затем его мучил вопрос, как утихомирить горячность Эдуарда, по отношению к которому он чувствовал себя как укротитель, вырастивший львенка или тигренка, который ему всецело подчинялся, а возмужав, внезапно разъярился, ошетинился, оскалил зубы, выпустил когти и, повинаясь инстинкту хищника, готовится растерзать и своего укротителя и всех на свете.

Как обуздать и смягчить ярость кровной мести, требующей смерти за смерть, к которой призывают обычаи старины и повсеместные примеры, — вот что тревожило отца Евстафия. Вместе с тем он понимал, что, оставив неотмщенным убийство одного из своих вассалов, община покрывала бы себя бесчестьем и позором. Одного такого случая в эти трудные времена было достаточно, чтобы среди ненадежных вассалов вспыхнул бунт против аббатства, которое их не защищает. С другой стороны, обитель могла бы навлечь на себя неминуемую беду, поступив круто с английским подданным — человеком знатного рода, состоявшим в родстве с графом Нортумберлендом и другими аристократическими семьями северной Англии, которые, таким образом, получили бы удобный предлог, чтобы в отместку разгромить владения монастыря святой Марии в Кеннаквейре, чего они, разумеется, желали и для чего имели достаточно средств.

Отец Евстафий хорошо понимал, что как только представится какой-нибудь, даже мнимый, предлог к войне, восстанию или набегу, уладить дело полюбовно будет уже поздно. Взвесив неизбежные последствия, грозящие обигели в том и другом случае, он пришел к выводу, что как ни изворачивайся, а беды не миновать, — и в душе возроптал. Не только как монах, но и по-человечески возмущался он предполагаемым убийством молодого Глендининга, монастырского вассала, гораздо менее искусного в пользовании оружием, чем английский рыцарь. Скорбя и негодуя о гибели юноши, которого он знал с его раннего

детства, отец Евстафий все яснее ощущал, что, оставив это оскорбительное злодеяние неотмщенным, все члены обители покроют себя несмываемым позором. А дальше возникало серьезное опасение — как посмотрят на это влиятельные лица при нынешнем потрясенном бурями шотландском дворе, которые сочувствовали Реформации и были связаны с английской королевой общей религией и общими интересами? Отцу Евстафию было хорошо известно, что эти высшие сановники (говоря обычным языком служителей церкви) алчно зарятся на монастырские доходы. С какой радостью уцепятся они, для захвата владений монастыря святой Марии, за такой удобный предлог для набега, как безнаказанное убийство исконного шотландца, совершенное католиком, англичанином, участником заговора против королевы Елизаветы!

Не так просто было решиться на то, чтобы выдать преступника английским или, что почти то же самое, шотландским властям: ведь это был английский дворянин, связанный с домом Пирси и родством и участием в тайном заговоре; это был верный слуга католической церкви и гость обители, явившийся искать здесь убежища. Отдать такого человека в руки его врагов значило, по убеждению отца Евстафия, совершить деяние недостойное, заслуживающее небесного проклятия и сулящее, кроме того, неприятности в земной юдоли. Хотя правительство Шотландии было почти целиком в руках протестантов, королева оставалась католичкой, и, при внезапных переворотах, волновавших эту мятежную страну, нельзя было предугадать, не окажется ли королева вдруг носительницей неограниченной власти, могучей защитницей своих единоверцев. Затем, хотя английская королева и ее двор были ревнителями протестантства, северные графства Англии — дружба или неприязнь которых имела для обители святой Марии первостепенное значение — насчитывали множество католических семейств, достаточно влиятельных и воинственных, чтобы отомстить за любую обиду, нанесенную сэру Пирси.

Как ни вдумывался в будущее отец Евстафий, стремясь по совести и чувству долга оградить от опасностей свою обитель, он со всех сторон видел всевозможные беды — бесчестье, набеги, конфискацию земель. Ему оставалось только одно — уподобиться мужественному кормчему, занять место у руля, прозорливо предугадывать всевозможные случайности, обходить каждый риф и каждую мель, а остальное уж предоставить воле неба и заступничеству святой Марии.

Когда помощник приора выходил из комнаты, английский кавалер остановил его и попросил распорядиться, чтобы сюда, в трапезную, перенесли сундуки с его платьем. Сэру Пирси было ясно, что до утра отсюда не выйти, а между тем ему хотелось внести некоторые изменения в свой наряд.

— Да, да, — бормотал монах, взбираясь по винтовой лестнице, — прислать его тряпье, да поскорей! Подумать только! Человек, который мог бы вдохновиться высокими целями, будет забавляться, как шут гороховый, кружевами, галунами и шапкой с колокольчиками! А мне предстоит скорбная задача — утешать сердце, не поддающееся утешению, сердце матери, оплакивающей своего первенца.

Тихонько постучав в дверь, он вошел на женскую половину. Мэри Эвенел совсем расхворалась и была уже в постели, а вдова Глендининг и Тибб сидели у догоравшего камина, поверяя друг другу свою печаль при свете маленькой железной лампы. Бедняжка Элспет, накрыв голову передником, безутешно рыдала и причитала:

— Такой красавец, такой смельчак, вылитый муж мой, покойничек Саймон, опора моей вдовьей жизни, надежда моей старости...

Преданная Тибб вторила плачу своей хозяйки, но к ее шумным жалобам примешивались угрозы отплатить злодею Пирси, которому не миновать кары, «покуда в Шотландии хоть один мужчина умеет натянуть лук, хоть одна женщина умеет свить тетиву». Когда вошел помощник приора, она притихла. Отец Евстафий сел рядом с несчастной матерью, сияясь дово-

дами веры и разума направить ее мысли в другое русло, но это ему не удалось. Правда, Элспет стала внимательнее слушать, когда он упомянул о том, что употребит все свое влияние на аббата, чтобы община впредь оказывала особое покровительство семье, потерявшей старшего в роде по вине гостя, принятого в дом согласно приказанию его высокопреподобия; и чтобы поместье, принадлежавшее Саймону Глендинингу, с прирезанными угодьями и дополнительными привилегиями было закреплено за Эдуардом. Но лишь на несколько мгновений затихли рыдания матери и, казалось, смягчилась ее скорбь. Элспет сразу же стала упрекать себя в том, что у нее мелькнула мысль о мирских благах, в то время как ее бедный Хэлберт, весь окровавленный, лежит в сырой земле. Отцу Евстафию не удалось успокоить ее обещанием, что тело Хэлберта будет погребено в освященной земле и что братия будет молиться за упокой его души. У скорби свои пути, и голос утешителя был бессилен.

Глава XXVIII

Он на свободе, я его спасла!

Ежели за это

Закон меня приговорит, то девы
Мне песню погребальную споют.
Узнает мир, что умерла достойно,
Почти как мученица я.

«Два знатных родича»

Выйдя из трапезной, где делались необходимые приготовления для ночлега сэра Пирси Шафтона, поскольку это помещение было самым надежным для содержания пленника под стражей, помощник приора оставил в горестном смятении не только самого сэра Пирси, но и еще одно существо. Рядом с трапезной, в выступе наружной стены, помещалась небольшая каморка, не имевшая самостоятельного выхода; в обычное время она служила спальней Мэри Эвенел, но из-за большого стечения гостей, приехавших в

Глендеарг накануне, сюда поместили и Мизи Хэппер, дочку мельника. Как в старину, так и в наши времена жилище шотландца неизбежно оказывается слишком тесным и не под стать широкому гостеприимству хозяина, так что при каждом событии, сопряженном с приходом гостей, для их удобного размещения домашним приходится потесниться.

Роковая весть о смерти Хэлберта Глендининга опрокинула весь установленный ранее распорядок. Захворавшую Мэри Эвенел, которая нуждалась в самом внимательном уходе, перенесли в комнату братьев Глендинингов, так как Эдуард намеревался простоять на карауле всю ночь, чтобы не дать англичанину улизнуть. Никто не вспомнил о бедной Мизи, и она, как и следовало ожидать, уединилась в своей комнатке, не подозревая о том, что трапезная, через которую ей надо проходить, будет превращена в опочивальню сэра Пирси Шафтона. Решение поместить рыцаря именно там было принято так внезапно, что Мизи узнала о нем только после того, как из трапезной, по приказанию отца Евстафия, были удалены другие женщины, а пропустив удобный случай уйти вместе с ними, она, по своей застенчивости и глубокому уважению к монашескому сану, не решилась обнаружить свое присутствие и показаться на глаза отцу Евстафию, который в это время беседовал наедине с англичанином. Ей волей-неволей пришлось подождать, а так как дверь была тонкая и притворялась неплотно, Мизи услышала от слова до слова все, что они говорили.

Таким образом, случилось, что, без всякой навязчивости с ее стороны, молодая девушка оказалась посвященной во все подробности переговоров между отцом Евстафием и английским рыцарем, и, кроме того, из окна своей каморки она видела, как один за другим прибывали в башню молодые люди, которых вызвал Эдуард. Все это внушило ей печальную уверенность в том, что жизни сэра Пирси угрожает страшная и неминуемая опасность.

Сердце женщины от природы склонно к милосердию и тем более не скупится на него, когда человек,

возбудивший сострадание к себе, молод и хорош собой. На благородную и возвышенную душу Мэри Эвенел красивая наружность, изысканная одежда и изысканная речь сэра Пирси не произвели никакого впечатления, но бедную дочь мельника совокупность этих достоинств совершенно очаровала и покорила. Кавалер это заметил и, польщенный тем, что его совершенства нашли наконец надлежащую оценку, стал расточать ей не в пример больше любезностей, чем, по его собственному мнению, заслуживала столь незначительная особа. Тут благосклонность рыцаря не пропала даром: Мизи принимала знаки его внимания со смиренной признательностью, а когда к благоговению перед рыцарем примешался страх за его жизнь, в ее молодом и нежном сердце забушевали пылкие чувства.

«Спору нет, очень нехорошо он поступил, что убил Хэлберта Глендининга (рассуждала она сама с собой), но он, что ни говори, прирожденный джентльмен и человек военный, да притом такой ласковый и вежливый, что ссору наверняка затеял сам молодой Глендининг. Всем известно, что оба брата врезались по уши в эту Мэри Эвенел, даже не замечают ни одной девушки во всей нашей монастырской округе, как будто мы из другого теста выпечены. И одежда у Хэлберта самая что ни на есть мужицкая, а заносчивости-то сколько! Как не повезло этому бедному молодому джентльмену (одетому как настоящий принц). Сначала он попал в немилость на родине, потом его втянул в ссору наш забияка-грубиян, а теперь его преследуют, и похоже на то, что убьют родственники и друзья этих Глендинингов».

При этой мысли Мизи горько заплакала, сокрушаясь, что теснят и сживают со света беззащитного изгнанника, который одевается так красиво и говорит так приятно; она стала раздумывать, не может ли протянуть ему руку помощи в эту тяжелую минуту.

Течение ее мыслей сейчас пошло совсем по другому пути. Сначала она тревожилась только о том, как бы ей самой незаметно выбраться из своего уголка, а теперь решила, что само провидение позаботилось оставить ее тут, чтобы поддержать и спасти

гонимого чужестранца. В характере Мизи простодушие и сердечность уживались с бойкостью и предприимчивостью; при этом она отличалась большей физической силой и большим мужеством, чем это свойственно женщинам, что не мешало ей приходить в такой восторг от нарядного костюма и сладких речей кавалера, как на это уповают в своих видах изящные щеголи всех времен и народов.

«Я спасу его, — думала она. — Это главное, а потом посмотрим, что он скажет бедной дочери мельника, которая сделала для него то, на что не отважились бы все модницы-раскрасавицы из Лондона или Холируда».

Рисуя себе одно опасное приключение за другим, Мизи как будто услышала рядом с собой шепот благоразумия, которое подсказывало ей не искать горячей благодарности сэра Пирси, так как именно такая благодарность может оказаться опасной для его благодетельницы. Увы, бедное благоразумие, ты можешь сказать вместе с нашим духовным наставником:

Всегда я проповедую напрасно!

И пока ты, благоразумие, стучишься в девичье сердце, Мизи при свете маленького фонаря смотрится в зеркальце, в котором отражаются ее искрящиеся глаза и миловидное лицо, сейчас облагороженное огнем дерзания, как у человека, замыслившего и готового осуществить самоотверженный поступок.

«Неужели это лицо, эти глаза и в придачу услуга, которую я окажу сэру Пирси Шафтону, не уничтожат преграды, стоящей между ним и дочерью мельника?»

С этим вопросом девичье тщеславие обратилось к фантазии, но так как даже девичья фантазия не могла ничего обещать наверняка, было принято половинчатое решение:

Дай вызволю сначала храбреца,
А там судьбе доверимся...

Итак, отбросив все личные соображения, опрометчивая, но великодушная девушка собрала всю свою изобретательность для выполнения задуманного плана.

Препятствий на пути у нее было много, и каждое из них представлялось значительным. Непременной чертой характера шотландца является готовность мстить за убийство родича, и даже Эдуард, несмотря на свое добросердечие, во имя любви к брату был готов отомстить за него со всей жестокостью, на которую ему давал право древний обычай. Чтобы освободить рыцаря, надо было распахнуть перед ним дверь его комнаты, первые и вторые ворота башни и ворота наружной ограды; мало того — беглецу были необходимы средства передвижения и проводник, иначе как спастись от преследования? Но если женщина собрала всю свою волю для того, чтобы довести до конца задуманное дело, ей часто удается восторжествовать над самыми непреодолимыми препятствиями.

Прошло немного времени после ухода помощника приора, а у Мизи уже сложился план побега — правда, весьма дерзкий, но при известной ловкости он мог бы увенчаться успехом. Прежде всего ей надо было тихо сидеть у себя, пока не отойдут ко сну все обитатели башни, за исключением тех, кому надлежало стоять в карауле. Этот промежуток времени она посвятила наблюдению за человеком, которому отныне собиралась самоотверженно служить.

Она слышала, как сэр Пирси Шафтон расхаживал по своей комнате, без сомнения раздумывая о превратностях судьбы и ненадежности своего положения. Вскоре до нее донесся шорох одежды. Вероятно, стремясь отвлечься от мрачных мыслей, рыцарь рассматривал и перекладывал содержимое сундуков, доставленных ему по приказанию отца Евстафия. Обзор гардероба, по-видимому, вернул ему спокойствие и жизнерадостность: он снова начал расхаживать по комнате, то порывался декламировать сонет, то принимался насвистывать гальярду, то напевал сарабанду. Наконец Мизи могла догадаться, что он, наскоро пробормотав молитву, растянулся на своем временном ложе, и вскоре заключила, что, должно быть, он крепко заснул.

Непрестанно проверяя с разных точек зрения свой рискованный план, она заранее приняла в рассмотре-

ние все его опасные стороны и надежно подготовилась, чтобы не быть застигнутой врасплох. Чувство любви и великодушное сострадание способны порознь окрылить женское сердце, а в данном случае они сплелись воедино, наделив Мизи всепобеждающим мужеством.

Был уже час ночи. Все обитатели башни спали глубоким сном, за исключением часовых, стороживших английского кавалера, а если печаль и сострадание отгоняли сон от изголовья госпожи Глендининг и ее приемной дочери, они были слишком поглощены своим горем, чтобы прислушиваться к звукам извне. Найдя в своей каморке все необходимое, чтобы зажечь свет, Мизи засветила маленький фонарь. Дрожа от волнения, с трепещущим сердцем отворила она дверь, отделявшую ее спальню от покоя, отведенного рыцарю, но, очутившись в одной комнате со спящим пленником, едва не поколебалась в своей решимости. Не смея поднять на него глаза, отвернувшись, она тихонько дернула за плащ, в который он закутался, ложась на свой соломенный тюфяк; но это движение было настолько нерешительным, что не разбудило его. Он не шевельнулся. Ей пришлось повторить свою попытку, и только после третьего раза он открыл глаза и чуть не вскрикнул от изумления.

Мизи испугалась так, что забыла свою застенчивость. Она приложила палец к губам в знак того, что надо соблюдать строжайшую тишину, и указала на дверь, давая понять, что по ту сторону стоит часовой.

Тем временем сэр Пирси уже совершенно пришел в себя, приподнялся на своем ложе и с изумлением смотрел на миловидную девушку, стоявшую перед ним. Тусклый свет фонаря, который она держала в руке, придавал новое очарование ее девичьей фигуре, распущенным волосам и приятным чертам лица. Романтическое воображение привычного дамского угодника уже подсказывало ему подходящий случаю комплимент, но Мизи заговорила первая.

— Я пришла, — прошептала она, — спасти вам жизнь. Вы в большой опасности. Отвечайте как можно тише — у ваших дверей вооруженная стража.

— Прелестнейшая мукомолочка, — ответил сэр Пирси, усевшись поудобнее на своем ложе, — не опасайтесь за мою жизнь. Верьте мне, я не пролил багрово-мутную водичку (каковую здешние поселяне именуют кровью) неотесаннейшего родственника здешних хозяев, так что последствия сего насилия надо мной меня нимало не тревожат и никакого вреда не сулят. Все же приношу тебе, о пленительнейшая дочь мельника, благодарность, которую твое любезное участие вправе от меня ожидать.

— Нет, сэр кавалер, — ответила девушка еле слышным, прерывистым шепотом, — я заслужу вашу благодарность, только если уговорю вас послушаться меня. Эдуард Глендининг вызвал сюда Дэна из Хаулетхэрста и молодого Эди из Эйкеншоу, и с ними прибыли еще каких-то трое с копьями, мечами и само-стрелами, и я слышала, как они между собой говорили во дворе, когда слезали с коней... Они говорили, что отомстят за смерть Хэлберта, а там будь что будет! Теперь вассалы ужас как своевольничают, сам аббат им не перечит — боится, что они объявят себя еретиками и перестанут платить ему подати.

— Это действительно большое искушение, — согласился сэр Пирси, — и еще может статься, что монахи, стремясь избавиться от хлопот и передряг, передадут меня через болото английской пограничной страже — сэру Джону Фостеру или лорду Хансдону и таким способом, пожертвовав мной, одновременно помирятся со своими вассалами и с Англией. Да, обольстительнейшая мукомолка, отныне я подчиняюсь тебе во всем, и если ты вызволишь меня из сей гнусной конуры, я так прослаблю чары твоего ума и красоты, что булочница Рафаэля из Урбино прослышет цыганкой по сравнению с Молинойрой.¹

— Умоляю вас, тише, — прошептала Мизи, — если они услышат ваш голос — все пропало. Только по милости неба и пресвятой девы нас еще не подслушали и не поймали.

¹ Molinara — мельничиха (итал.).

— Я нем, как беззвездная ночь, — шепнул в ответ англичанин, — но еще только одно слово: если твой замысел может причинить тебе малейшую беду, о столь же прелестная, сколь и великодушная девица, то недостойно Пирси Шафтона принять от тебя сию жертву.

— Не тревожьтесь обо мне, — торопливым шепотом ответила Мизи, — меня никто не тронет. Я успею позаботиться о себе, когда помогу вам выбраться из этого места, где вы окружены опасностями. Если вы хотите взять с собой что-нибудь из вещей, не теряйте времени.

Но сэр Пирси потерял немало времени, прежде чем окончательно решил, что из гардероба взять с собой и что оставить; каждая вещь была ему дорога по воспоминаниям о балах и празднествах, когда она красовалась на его особе. Мизи оставила его на несколько минут одного, чтобы не мешать ему и самой собраться в дорогу. Но, вернувшись с небольшим узелком в руке и застав его все в той же нерешительности, она напрямик сказала ему, что надо или поторопиться со сборами, или отказаться от побега. Делать было нечего, безутешный рыцарь наскоро собрал несколько своих нарядов, бросил на сундуки прощальный взгляд немой печали и объявил, что совершенно готов следовать за своей великодушной путеводительницей.

Тщательно затушив свой фонарь, Мизи сделала знак рыцарю следовать за ней и, подойдя к двери, тихонько постучала раз, другой, третий, пока не отошел Эдуард Глендининг, спрашивая, кто стучит и в чем дело.

— Говорите потише, — сказала Мизи, — не то вы разбудите английского рыцаря. Это я, Мизи Хэппер. Выпустите меня. Вы меня заперли, и мне пришлось ждать, пока он заснет.

— Вы там заперты? — удивился Эдуард.

— Ну да, — ответила девушка, — вы же меня и заперли, я была в комнатке Мэри Эвенел.

— А не можете ли вы остаться там до утра, раз уж так случилось? — предложил Эдуард.

— Что вы! — воскликнула Мизи тоном оскорбленной невинности. — Да я не останусь здесь ни на секунду. — Мне надо выскочить незамеченной. За все сокровища обители я не останусь больше ни минуты рядом с комнатой, где спит мужчина. За кого или за что вы меня принимаете? Вам, видно, надо напомнить, что дочь моего отца не так воспитана, чтобы рисковать своим честным именем!

— Хорошо, выходите и без шума отправляйтесь к себе, — сказал Эдуард.

Он отодвинул засов. На лестнице была кромешная тьма, в этом Мизи убедилась заранее. Переступив порог, она ухватила за руку Эдуарда, как бы желая опереться на нее, и, таким образом, заслонила собой сэра Пири Шафтона, который крадучись шел за ней. Сняв обувь и ступая на цыпочках, кавалер проскользнул незамеченным, пока Мизи жаловалась Эдуарду на темноту и говорила, что ей нужен свет.

— Я не могу принести вам свечку, — сказал он, — так как не имею права отлучиться с поста, но я знаю, что внизу горит огонь.

— Придется просидеть внизу до утра, — ответила молодая мельничиха.

Спускаясь с лестницы, она слышала, с какой заботливостью Эдуард запирает на задвижку и на засов дверь опустевшей комнаты.

У нижней ступеньки лестницы ее дальнейших указаний дожидался человек, ставший предметом ее забот. Мизи указала ему на необходимость хранить строжайшее молчание, и в первый раз в жизни он, казалось, решил беспрекословно подчиниться этому требованию. С большими предосторожностями, точно ступая по ломкому льду, проводила она его в чулан, где хранились дрова, и велела спрятаться за вязанками хвороста. Добыв огня из кухонной печи, девушка вновь зажгла свой фонарь и, не желая, чтобы ее застали без дела, на случай, если кто-нибудь войдет, взяла прялку и веретено. Время от времени она на цыпочках подкрадывалась к окну, ожидая первого проблеска рассвета, чтобы продолжить столь отважно начатое дело. Наконец, увидев, к своей великой ра-

дости, что тучи, затянувшие все небо, прорезал первый луч утренней зари, она молитвенно сложила руки и возблагодарила божью мать за помощь, умоляя о покровительстве, пока беглецам будет угрожать опасность. Не успела она кончить молитву, как вздрогнула, почувствовав, что на ее плечо легла чья-то тяжелая рука и грубый голос произнес над самым ухом:

— Вот как! Прелестная дочь мельника уже за молитвой! Хвала прекрасным глазкам, что открываются вместе с зарей! Сорву-ка я поцелуй в честь наступающего дня!

Этим ретивым сердцеедом был Дэн из Хаулет-хэрста. Когда он, после столь лестной речи, вздумал от слов перейти к делу, то получил в виде обычного вознаграждения за деревенский способ ухаживания звонкую затрещину, которую принял так же кротко, как светский кавалер принимает удар веера по пальцам, хотя крепкая ручка молодой мельничихи, без сомнения, обескуражила бы не столь дюжего любезника.

— Куда это годится, — поддразнила его Мизи. — Вместо того чтобы сторожить английского рыцаря, вы пугаете порядочных девушек своими лошадиными нежностями!

— Понапрасну нападаете на меня, красotka Мизи, — возразил Дэн. — Я только еще иду сменить Эдуарда. Совестно заставлять его торчать там лишнее время, а то я, клянусь, охотно остался бы с вами еще часика на два.

— Разве мало времени у вас впереди, чтобы побыть со мной? — ответила Мизи. — А теперь вам надо подумать о несчастье, которое свалилось на эту семью, и дать Эдуарду-поспать — ведь он целую ночь простоял в карауле.

— Все это так, — ответил Дэн, — но сначала я хочу еще один поцелуй.

Однако теперь Мизи была настороже и, помня о дровяном чулане по соседству, оказала такое доблестное сопротивление, что рьяный поклонник, весьма неделикатно и раскатисто обругав несговорчивое настроение прелестницы, отступил и отправился наверх,

чтобы сменить Эдуарда на посту. Подкравшись к двери, она подслушала те несколько слов, которыми обменялись молодые люди, после чего Эдуард удалился, а на его место встал Дэн.

Некоторое время она не мешала ему степенно прохаживаться перед дверью трапезной, а когда совсем рассвело, Мизи, решив, что Дэн уже успел забыть оплеуху, как ни в чем не бывало появилась перед бдительным стражем и потребовала у него ключи от наружных дверей башни и от ворот в ограде.

— Это еще зачем? — спросил часовой.

— Чтобы подоить коров и выгнать их на пастбище, — объяснила Мизи. — Неужели вы хотите, чтобы бедные животные оставались в хлеву все утро? Тут целая семья в таком горе, и некому позаботиться о чем-нибудь, кроме меня и скотницы.

— А где эта скотница? — спросил Дэн.

— Сидит со мной на кухне, на случай, если этим несчастным людям что-нибудь понадобится.

— Ладно, вот вам ключи, злючка вы, Мизи! — сказал часовой.

— Тысячу благодарностей, никудашный ты Дэн, — ответила молодая мельничиха — и в мгновение ока очутилась внизу.

Еще минута — и она успела вбежать в чулан и нарядить английского рыцаря в заранее захваченные юбку и кофту. Потом она открыла наружную дверь башни и направилась к хлеву в углу двора. Сэр Пирси Шафтон принялся возражать, указывая на опасность подобного промедления.

— Обольстительная и великодушная Молинара, — сказал он, — не лучше ли нам отпереть ворота и, не теряя времени, улететь отсюда, подобно двум морским чайкам, которые уносятся в свое убежище посреди скал, спасаясь от грозной бури?

— Сперва надо выгнать коров на пастбище, — ответила Мизи, — грешно было бы мучить скот бедной госпожи Глендининг — жалко хозяйку, да и животных жалко; мне кажется, что сейчас никто не собирается за нами гнаться. А главное, нужна ваша лошадь — иначе нам не убежать.

С этими словами она накрепко заперла внутреннюю и наружную двери башни, вошла в хлев, вывела оттуда скот и, передав сэру Пирси поводья его коня, намеревалась еще вернуться за своей собственной лошадкой. Но шум во дворе привлек настороженное внимание Эдуарда, и он, выглянув из окна, спросил, что там внизу происходит.

Мизи с большой готовностью ответила, что она выгоняет на пастбище коров, а то они совсем зачахнут в хлеву.

— Спасибо тебе, добрая душа,— сказал Эдуард,— но вот что,— прибавил он после минутной паузы,— кто эта девушка рядом с тобой?

Мизи хотела было ответить, но сэр Пирси Шафтон, видимо не желая, чтобы великое дело его освобождения осуществилось без его собственного талантливого вмешательства, громогласно воскликнул:

— О идилический юноша, ты лицезришь ту, что охраняет млеконосных матрон твоего стада.

— Провались я в преисподнюю! — завопил Эдуард в порыве бешенства и изумления. — Да это же Пирси Шафтон! Держите! Измена! Измена! Эй вы там! Дэн, Джаспер, Мартин, держите злодея!

— На коня! — скомандовала Мизи, мгновенно вскочив на лошадь и усаживаясь позади рыцаря, уже успевшего вскочить в седло.

Схватив первый попавшийся лук, Эдуард выпустил стрелу, просвистевшую над самым ухом Мизи.

— Гоните что есть духу, сэр кавалер! Следующая попадет в нас. Будь Хэлберт на месте Эдуарда, мы бы уже отдали богу душу.

Рыцарь погнал коня во весь опор, и тот вихрем пронесся мимо стада коров, вниз с холма, на котором высилась башня. Несмотря на двойную ношу, благородный скакун вскоре доставил беглецов в долину, куда не доносились шум и суматоха, поднявшиеся в Глендеаргской башне из-за исчезновения англичанина.

По странной игре случая, двое людей одновременно бежали в разных направлениях, и каждый из них обвинялся в убийстве другого.

Глава XXIX

...Нет, поступить так низко
Не может он, покинув здесь меня.
Ведь если так, то девушки мужчинам
Не будут больше верить.

«Два знатных родича»

Продолжая путь со всей скоростью, на какую был способен их конь, беглецы миновали Глендеаргское ущелье и добрались до широкой долины реки Твид, величественно катившей кристально чистые воды свои, за которыми на противоположном берегу возвышалось огромное серое здание монастыря святой Марии, с башнями и зубцами, еще не заблестевшими от лучей рассвета, — так высоки были горы, теснившиеся у здания монастыря с южной стороны.

Повернув налево, рыцарь продолжал путь по северному берегу реки, пока они не прибыли к запруде или дамбе, где отец Филипп завершил свой удивительный плавающий рейс.

Сэр Пирси Шафтон, в уме которого редко умещалось больше одной мысли зараз, до сих пор несясь вперед, не отдавая себе ясного отчета, куда он, собственно говоря, держит путь. Однако при виде монастыря он вспомнил, что все еще находится на опасной территории и необходимо составить себе какой-нибудь определенный план бегства. Тут невольно возник вопрос о судьбе его спутницы или спасительницы — черствость и неблагодарность ему не были свойственны. В эту минуту ему послышалось всхлипывание, и он обнаружил, что молодая девушка горько плачет, припав головой к его плечу.

— О чем ты горюешь, моя великодушная мукомолочка? — спросил он. — Может ли Пирси Шафтон хоть чем-нибудь на свете выразить признательность своей освободительнице?

Мизи указала пальцем на противоположный берег реки, но взглянуть в ту сторону не осмелилась.

— Нет, прошу тебя, изъяснись понятнее, наивеликодушнейшая девица, — недоумевал кавалер, не будучи в силах разгадать значение ее жеста, подобно

тому как слушатели часто бывали озадачены его выспренной речью. — Клянусь, что не разумею сего движения прелестного перста твоего.

— Там дом моего отца, — проговорила Мизи голосом, прерывающимся от внезапной вспышки отчаяния.

— А я безжалостно увлекал тебя прочь от родного крова? — воскликнул рыцарь, вообразив, что сумел отгадать причину ее скорби. — Горе тому часу, когда Пирси Шафтону вздумалось бы ради собственной безопасности пренебречь покоем женщины, да еще тем более — покоем своей самоотверженной спасительницы. Сходи же с коня, прелестная Молинара, или стоит тебе сказать одно только слово, и я домчу тебя до самого жилища твоего мукомольного родителя, невзирая на все опасности, могущие возникнуть для моей личности со стороны монаха или мельника.

Мизи подавила рыдания и, с трудом подбирая слова, объяснила, что предпочитает слезть с коня и действовать самостоятельно. Как истинный дамский угодник, сэр Пирси считал себя обязанным оказывать некоторое внимание каждой женщине, даже самого низкого сословия, а Мизи, и в самом деле, имела право на его признательность. Немедленно соскочив с коня, он принял в объятия бедную девушку, рыдавшую так горько, что, ступив на землю, она едва могла стоять на ногах и, по-видимому, бессознательно продолжала клониться к нему. Рыцарь привел ее к плакучей иве у живописной извилины дороги, усадил на траву и стал успокаивать. Постепенно его природная доброта взяла верх над напускным жеманством.

— Верьте мне, великодушнейшая из девиц, Пирси Шафтон сочтет, что эта услуга куплена слишком дорогой ценой, если она стоит таких слез и рыданий. Откройте мне причину своего горя, и, если я в силах вас утешить, поверьте, я сделаю все. Вы приобрели право приказывать, и ваши желания для меня священны, как воля самой королевы. Говорите же, прелестная Молинара, распоряжайтесь тем, кто одновременно стал вашим должником и вашим рыцарем. Что вы мне приказываете?

— Бежать, думать только о своем спасении, — сказала Мизи, собрав все силы, чтобы выговорить эти слова.

— Но я не могу покинуть вас, не оставив вам чего-нибудь на память, — промолвил кавалер. Если бы слезы не мешали Мизи говорить, она сказала бы, что в этом нет никакой нужды, и это было бы чистейшей правдой. — Пирси Шафтон не богат, — продолжал он, — но пусть эта цепочка свидетельствует о его признательности.

Сняв с себя драгоценную цепь с медальоном, о которой мы упоминали ранее, он положил ее в бессильно опущенную руку заплаканной девушки, которая и не отвергла и не приняла подарка, ибо была поглощена более сильными чувствами и, казалось, совсем не сознавала того, что сделал рыцарь.

— Мы непременно встретимся, — обещал сэр Пирси, — по крайней мере я надеюсь, что так будет. А теперь перестань плакать, прелестная Молинара, если любишь меня.

Последние слова он произнес, как общепринятую в те времена светскую любезность, но бедняжка Мизи наделила их более сокровенным смыслом. Девушка вытерла слезы, и когда кавалер, в порыве добросердечной рыцарственности, наклонился, чтобы на прощание обнять ее, она смиренно приподнялась, с кротостью и благодарностью принимая честь, которую ей оказывал сэр Пирси. Затем он вскочил на коня и поехал, но любопытство, а может быть, более сильное чувство вскоре побудило его обернуться, и он увидел, что Мизи по-прежнему стоит под деревом, где он ее оставил, и смотрит ему вслед, а цепь с медальоном, как ненужная побрякушка, свешивается с ее руки.

Только в эту минуту в сознании кавалера мелькнула догадка об истинных чувствах Мизи и о причине, побудившей девушку спасти его. Светские щеголи того времени, при всем своем фатовстве, отличались бескорыстием, возвышенным образом мыслей и великодушием; они чуждались низменных, постыдных похождений, которые обычно именуются легкими ин-

трижками. Они не «охотились за деревенскими красотками» и не унижали своего достоинства, лишая сельских девушек покоя и чести. Тогда успех у женщин этого сословия не ласкал тщеславия джентльменов, и они таких побед не считали, не замечали, не пользовались (как сказал бы человек нашего времени) тем, что, как в данном случае, само падало в руки. Ближайший друг Астрофела, победитель в турнирах при дворе Фелицианы так же мало помышлял о том, что его остроумие и изящество могут завоевать любовь Мизи Хэппер, как любая красавица, сидя в своей ложе, не задумывается над сердечной раной, которую ее чары нанесли какому-нибудь восторженному судейскому писцу на галерке. При обычных обстоятельствах сознание своего превосходства и сословная гордость, вероятно, побудили бы сэра Пирси отнестись к влюбленной поселянке с тем же высокомерием, с каким непревзойденный денди Филдинг изрек, обращаясь ко всем представительницам прекрасного пола в целом: «Пусть любят и умирают!» Но признательность обязывала сэра Пирси по-рыцарски, в полном смысле этого слова, поступить с влюбленной девушкой, хотя она была всего лишь дочерью мельника, и потому он, польщенный ее чувствами и скрывая свое смущение, вернулся к Мизи, чтобы попытаться ее утешить.

Несмотря на врожденную скромность, бедняжка Мизи при возвращении рыцаря не могла скрыть своего восторга. Яснее всяких слов говорили ее засверкавшие глаза и ласковое движение, когда она робко обвила шею коня, который возвратил ей дорогого всадника.

— Чем еще я могу быть вам полезен, прекрасная Молинара?—спросил сэр Пирси, сам смущаясь и краснея. К чести нравов века королевы Бесс, надо сказать, что придворные того времени имели стальную грудь, но не медный лоб, и, при всей спесивости, оставались верны той угасающей рыцарственности, которая вдохновляла деликатнейшего героя Чосера, что

в величии был скромн, как девица.

Мизи зарделась, потупив глаза, а сэр Пирси так же смущенно и участливо продолжал:

— Не боитесь ли вы вернуться домой одна, нежная моя Молинара? Если вам угодно, я провожу вас.

— Увы, — вздохнула Мизи, внезапно побледнев, и, взглянув на рыцаря, промолвила: — У меня больше нет дома!

— Как это — нет дома? — повторил Шафтон. — Моя великодушная Молинара говорит, что у нее нет дома, между тем как дом ее отца виднеется отсюда, находясь по ту сторону сего кристального ручья?

— Ах, ни дома у меня больше нет, ни отца! — воскликнула Мизи. — Он — верный слуга аббатства, а я оскорбила аббата. Если я вернусь домой, отец убьет меня.

— Он не посмеет обидеть тебя, клянусь небом! — вскричал кавалер. — Своей честью и рыцарским званием я заверяю тебя, что если хоть один волосок упадет с твоей головы, войска моего двоюродного брата графа Нортумберленда разрушат это аббатство до основания — так, что даже конь не споткнется о его развалины. Будь же беззаботна и весела, нежная Мизинда, и знай, что ты оказала услугу человеку, который не только готов, но и в силах отомстить за самую ничтожную обиду, причиненную тебе.

Воспламененный собственным красноречием, он соскочил с коня и крепко сжал послушную руку Мизи (или Мизинды, как он теперь окрестил ее). Он видел перед собой прекрасные черные глаза, устремленные на него с выражением, в котором, наряду с девичьей застенчивостью, светилось что-то, в чем ошибиться было невозможно. Перед ним были ее щечки, которым луч надежды возвращал их обычную окраску, ее полуоткрытые в ожидании уста, подобные розовым бутонам, с белеющей в них нитью чистого жемчуга. Созерцать все это было крайне опасно, и сэр Пирси, повторяя все менее настойчиво свое предложение отвезти прекрасную Мизинду в отчий дом, кончил тем, что попросил ее сопровождать его в дальнейшем странствии.

— По крайней мере, — пояснил он, — пока я не найду для вас надежного убежища.

Мизи Хэппер ничего не ответила, но, алея от радости и смущения, без слов изъяснила свое согласие сопровождать английского рыцаря — поплотнее стянула свой узелок и поближе подошла к коню, чтобы вскочить в седло.

— А как вы прикажете мне поступить с этим? — спросила она, показывая рыцарю золотую цепь, по-видимому только сейчас заметив ее в своей руке.

— Сохрани эту вещицу на память обо мне, прелестнейшая Мизинда, — сказал рыцарь.

— Нет, сэр, — с важностью возразила Мизи, — девушки моей страны не принимают таких подарков от знатных господ. Сегодняшнее утро я и так буду вспоминать, без всякой цепочки.

Рыцарь продолжал учтиво и настойчиво упрашивать ее принять этот знак признательности, но Мизи была неумолима. Она, видимо, опасалась, что, взяв на память ценную вещь, она низведет порыв, подсказанный ей сердцем, до уровня услуги, оказанной в корыстных целях. Однако, признав, что сэра Пирси могут по этой цепочке узнать, она согласилась оставить ее у себя, пока его жизни угрожает опасность.

Вскочив на коня, они продолжали путь. Мизи, в характере которой простодушие и чувствительность сочетались со смелостью и сообразительностью, осведомилась о том, куда сэр Пирси намерен отправиться, и, узнав, что он хочет добраться до Эдинбурга, где надеется найти друзей и покровителей, взяла на себя роль путеводительницы. Она воспользовалась своим знанием местности, чтобы поскорее перебраться из владений монастыря святой Марии на земли одного из баронов, который, по слухам, склонялся к реформатскому учению. Здесь, по ее мнению, преследователи не посмеют поднять на них руку. Впрочем, она не слишком страшилась погони, полагая, что обитателям Глендеарга будет нелегко взломать свои собственные замки и засовы, которые она тщательно заперла снаружи в последнюю минуту перед бегством.

Они продолжали свое путешествие без всяких волнений, и сэр Пирси коротал время, чередуя разные высокопарно-цветистые рассуждения с пересказом длинных придворных анекдотов. Хотя Мизи не понимала и половины из того, что говорил ее спутник, она слушала с величайшим вниманием, ловила каждое слово и восхищалась на веру, подобно тому как люди умные снисходительно относятся к разговору со своей очаровательной, но глупенькой любовницей. А сэр Пирси блаженствовал, чувствуя внимание и восторг своей слушательницы; он извергал целые потоки эвфуизмов необыкновенной туманности и длины. Так прошло утро, а к полудню путники очутились у извилистого ручья, на берегу которого возвышался старинный баронский замок, окруженный раскидистыми деревьями. Невдалеке виднелся поселок с разбросанными там и сям домиками и деревенской церковью в центре.

— В этом селе два постоянных двора, — сказала Мизи, — и тот, что похуже, для нас более удобен: он стоит в стороне и я хорошо знаю хозяина, так как он покупает солод у моего отца.

Этот *causa scientiae*,¹ говоря языком законников, был приведен совершенно некстати, потому что сэр Пирси, опьянив себя фимиамом собственного красноречия, чем дольше ораторствовал, тем больше проникался уважением к своей спутнице. Умиленный тем, что она чистосердечно восхищалась его талантом рассказчика, рыцарь почти совсем забыл, что его дама не принадлежит к тем знатым красавицам, о которых он сейчас злословил, — и тут ее неудачное замечание сразу напомнило ему нелестные обстоятельства, относящиеся к родословному древу его Мизинды. Однако он промолчал. Да и что мог бы он сказать? Совершенно естественно, что дочь мельника зналась с трактирщиками, покупавшими солод у ее отца. Удивляться надо было другому — тому стечению обстоятельств, в силу которых такая особа, как дочь мельника, стала спутницей и руководительницей сэра Пирси Шэфтона из Уилвертона, родственника самого графа Нор-

¹ Источник сведений (лат.),

тумберленда, которого благодаря крови Пирси, текущей в его жилах, называли своим кузенном принцы и даже государи.¹ Он почувствовал, как унижительно для него странствовать по Шотландии верхом с дочерью мельника за спиной, и оказался настолько неблагодарным, что, остановив коня у ворот постоянного двора, ощутил нечто похожее на стыд за свою спутницу.

Но проворство и сообразительность Мизи Хэппер избавили его от тягостной неловкости. Она мгновенно прыгнула с коня и сумела совершенно заговорить трактирщика, вышедшего с разинутым ртом навстречу такому постояльцу, как английский рыцарь. В ее вымышленном рассказе разные происшествия были сплетены так ловко, что сэр Пирси Шафтон, сам далеко не отличавшийся находчивостью, был положительно озадачен. Она сообщила хозяину, что приезжий — весьма знатный английский кавалер, который, согласно обету, побывал в аббатстве святой Марии, а теперь направляется ко двору шотландской королевы, и что ей, Мизи Хэппер, поручено проводить высокого гостя до Кирктауна, но Шарик, ее пони, по дороге свалился в изнеможении, потому что измучился, когда перевозил муку в Лэнгхоуп, и пришлось оставить его пастись в Таскеровой роще, близ Крипплкрасса, иначе от усталости он отказывался сдвинуться с места, ну, совсем как жена Лота... А после этого рыцарь великодушно настоял на том, чтобы она вскочила на его коня, на что она согласилась, лишь бы доставить его в гостиницу своего доброго друга, а не то он мог бы попасть в трактир гордеца Питера Педди, который покупает солод на мельнице в Меллерстейне, а теперь хозяин должен потчевать рыцаря всем, что есть лучшего в доме, и при этом быстрее пошевеливаться, и сама она готова пойти помогать на кухню.

Бойкая, без единой запинки речь Мизи, не внушила хозяину никакого подозрения. Лошадь нового

¹ Фруассар где-то упоминает (читатели романтических произведений не требуют документальной точности), что французский король вследствие их общего родства с Нортумберлендами называл одного из членов рода Пирси своим двоюродным братом. (Прим. автора.)

постояльца отвели в конюшню, а его самого проводили в чистую комнатку в гостинице и вкатили туда самое лучшее кресло. Мизи, всегда проворная и услужливая, принялась за стирку, попутно накрывая на стол и стараясь, в меру своей опытности, предупредить малейшее желание своего спутника. Нельзя сказать, чтобы эти хлопоты были ему по душе. Хотя заботливость и распорядительность девушки невольно внушали благодарность, ему было невыразимо больно видеть, что его Мизинда поглощена грубой кухонной работой, с которой она, вдобавок, справлялась легко, как с самым привычным делом. И все же это щемящее чувство постепенно смягчилось, а может быть, и вовсе исчезло при виде изящных движений ее ловких рук, которые, выполняя, казалось бы, малопривлекательные обязанности, на глазах превращали жалкий уголок дрянного постоялого двора в сказочный грот, где влюбленная фея или, на худой конец, аркадская пастушка тщетно окутывает заботливой нежностью рыцаря, стремясь завоевать сердце того, кто предназначен судьбой для более возвышенных стремлений и для более блистательного союза.

Пусть грациозность и легкость движений Мизи, когда она накрывала круглый столик белоснежной скатертью и подавала наскоро зажаренную индейку в сопровождении бутылочки бордо, были не более чем плебейскими добродетелями, но, лаская глаз, они рождали самые отрадные ощущения. Стройность девушки, подвижность и изящество, белоснежные руки, милый румянец на улыбающемся лице, глаза, устремленные на кавалера, когда он этого не замечал, и тотчас опускавшиеся при встрече с его взглядом, — все это придавало ей неотразимую прелесть. Предупредительность и скромность ее поведения сейчас, в сочетании со смелостью и находчивостью, проявленными раньше, возвеличивали в глазах сэра Пирси ее услуги, и ему казалось, что

.. Грация, нежна, мила,
Для путешествия одета,
Прислуживает у стола.

Но вместе с тем возникала оскорбительная мысль, что не любовь научила ее этому обхождению, подсказывая, как лучше угодить избраннику сердца; нет, все эти хлопоты были привычным делом для дочери мельника, которая, без сомнения, всегда хозяйничает подобным образом, оказывая ласковый прием каждому из мужиков побогаче, кто приезжал к ее отцу. Эта мысль заглушила в сознании рыцаря и тщеславие и любовь, взлелеянную тщеславием, еще быстрее, чем это сделал бы целый куль муки, опрокинутый ему на голову.

Охваченный противоречивыми чувствами, сэр Пирси Шафтон не забыл пригласить виновницу своих переживаний к столу, чтобы разделить с ней вкусную еду, которую она заботливо приготовила и подала. Он представлял себе, что его приглашение будет принято с должным смущением, но, конечно, с величайшей благодарностью; когда же Мизи почтительно, но наотрез отказалась сесть к столу, рыцарь был и польщен и в то же время обижен этим отказом. А она тотчас же скрылась, предоставив эвфуисту полную волю — досадовать на ее исчезновение или радоваться ему.

Разобраться в этом вопросе было бы, пожалуй, нелегко. Но так как никакой настоятельности в принятии какого-либо решения не предвиделось, сэр Пирси выпил несколько бокалов красного вина и пропел (для собственного удовольствия) несколько строф из канцонетт божественного Астрофела. Но и вино и сэр Филипп Сидней вместе взятые не могли вытеснить из его сознания размышлений о настоящих и будущих взаимоотношениях с пленительной мельничихой, или Мизиндой, как ему было угодно именовать Мизи Хэппер. Нравы того времени (как мы уже указывали), к счастью, находились в полном соответствии с врожденной порядочностью сэра Пирси, которая, скажем прямо, доходила почти до чудачества; он считал бы, что совершает три смертных греха — против своей чести, против рыцарства и против нравственности, если бы в ответ на самоотверженность девушки злоупотребил ее доверчивостью. И, надо отдать

справедливость сэру Пирси, у него никогда не возникало подобной мысли, и со всяким, кто вздумал бы подстрекать его на подобный низменный и неблагодарный поступок, он расправился бы, пустив в ход все таинства *imbrocata*, *stoccata* или *punto reverso*, которым научил его Винченцо Савиола. Вместе с тем, как человек взрослый, он понимал, что их совместное путешествие в столь тесном соседстве может вызвать разные нелестные толки и явиться для него ловушкой. А как светский кавалер и придворный щеголь, он чувствовал, что смешно и унизительно разъезжать по Шотландии верхом на коне с какой-то дочерью мельника за спиной и давать повод к подозрениям, обидным для обоих, и насмешкам, оскорбительным лично для него.

— Хорошо бы, — произнес он почти вслух, — если бы мне удалось мирно и безмятежно расстаться с нею, не обидев ее, не повредив репутации сей весьма честолюбивой и чересчур достойной мельничихи, и чтобы каждый из нас впредь пошел своей дорогой, подобно тому как величественный корабль, предназначенный для дальних плаваний, расправляет паруса и уносится вдаль, а скромная лодочка возвращает к домашнему очагу милых подружек, которые с израненным сердцем и заплаканными глазами проводили на дерзновенные подвиги команду гордого фрегата.

Едва успел он выговорить свое желание, как оно исполнилось: вошедший хозяин доложил ему, что, согласно приказанию, лошадь его светлости оседлана и готова в путь. А на вопрос сэра Пирси о молодой девушке, которая... словом, о той девице...

— Мизи Хэппер, — ответил хозяин, — отправилась домой и просила передать вашей милости, что вы теперь уже по пути в Эдинбург не заблудитесь: тут не так далеко и развилок больше не будет.

Не часто случается, что наши желания исполняются в ту самую минуту, когда мы их выражаем: может быть, мудрое провидение заведомо не спешит, потому что по опыту знает людскую неблагодарность. Именно так было с сэром Пирси. Когда трактирщик сообщил ему, что Мизи повернула восояси, он едва не закры-

чал от изумления и досады, забрасывая хозяина вопросами, куда она уехала и когда уехала. Благоразумие удержало его от восклицания — он ограничился вопросами.

— Куда она делась? — переспросил хозяин, с удивлением глядя на рыцаря. — Домой, к отцу, а то куда же? Уехала сразу, как только распорядилась насчет лошадки вашей светлости, да еще присмотрела, как ее накормили (могла бы, кажется, довериться мне, но мельники и вся их порода думают, что все кругом такие же воры, как они сами). Теперь она, думаю, уж мили три отмахала, не меньше.

— Значит, уехала! — бормотал сэр Пирси, шагая из угла в угол по узкой комнатке. — Неужели уехала? Ну что ж, пусть будет так. От моего общества могла пострадать ее репутация, а от ее соседства мне мало чести. А я-то думал, что отделаться от нее мне будет нелегко! Уверен, что она уже сейчас любезничает с первым встречным деревенским олухом, и моя увесистая цепь окажется недурным приданым. А в сущности, разве это не справедливо? Разве она не заслуживает в десять раз более ценной награды? Пирси Шафтон! Пирси Шафтон! Неужели ты жалеешь о подарке, который твоя спасительница получила столь дорогой ценой? Безжалостный ветер этой северной стороны забрался к тебе в душу и заморозил цветы твоего великодушия, подобно тому как он, говорят, губит цветы тутового дерева... И все-таки, — продолжал он после некоторого раздумья, — я никак не ожидал, что она так легко и добровольно расстанется со мной. Но думать об этом бесполезно. Дайте мне счет, любезный хозяин, и велите конюху подвести моего коня.

Честный хозяин, по-видимому, тоже решал в этот момент какой-то важный вопрос, потому что ответил не сразу — возможно, он размышлял о том, позволит ли ему совесть потребовать деньги по уже оплаченному счету. Надо полагать, что совесть после некоторого колебания дала отрицательный ответ, ибо трактирщик наконец сказал:

— Не буду врать, ваша милость, по счету я получил сполна. Но если вашему благородному рыцарству угодно что-нибудь прибавить за хлопоты...

— Как это сполна? — перебил кавалер. — Кто же уплатил по моему счету?

— Да все она же, Мизи Хэппер, если говорить начистоту; я уж толковал об этом, — ответил честный трактирщик, который, решив в данном случае говорить правду, испытывал жестокие муки, более естественные, казалось бы, у лжеца. — Уплатила она из тех денег, что лорд-аббат отпустил на дорожные расходы вашей милости, так она мне сама сказала. И я никогда не позволю себе обирать джентльмена, который переступил мой порог. — Но тут же, не выдержав, он прибавил — в убеждении, что прямота равносильна честности: — Если же благородный джентльмен по собственному желанию... за дополнительные хлопоты...

Кавалер прервал его красноречие, бросив на стол целый нобль, который, при ценах в Шотландии, вероятно, вдвое превысил поданный счет, хотя в «Трех журавлях» или в «Вэнтри» пришлось бы заплатить вдвое больше. Щедрость гостя привела трактирщика в такой восторг, что он поспешил нацедить отъезжающему прощальный кубок (по традиции — бесплатно), выбрав, однако, для этого бочонок с вином попроще, чем то, которым он поил рыцаря за обедом. Сэр Пирси степенно подошел к своему коню, отведал предложенного вина, поблагодарил хозяина со снисходительным высокомерием настоящего елизаветинского вельможи, вскочил в седло и поехал на север по дороге, ведущей в Эдинбург. Как ни мало походила эта дорога на современное шоссе, но от проселочных и пешеходных дорог она отличалась настолько, что сбиться с нее было невозможно.

«Я, кажется, смогу обойтись без ее указаний, — рассуждал сам с собой рыцарь, не подгоняя медленно трусившего коня, — и в этом разгадка ее внезапного отъезда, которого я никак не мог ожидать. Что ж, хорошо; по крайней мере я развязался с нею. Разве мы не просим в молитвах избавить нас от искушения?

Непростительно только, что она позволила себе уплатить по моему счету в гостинице — неужели она забыла, кто она и кто я? Хотелось бы повидать ее еще хоть раз, чтобы объяснить ей, какую грубую ошибку она совершила по своей неопытности. Впрочем, боюсь, — продолжал он, выехав из редкого леса и глядя на теснящиеся кругом холмы, подножия которых утопали в болоте, — боюсь, что скоро мне придется плохо — без путеводной нити моей Ариадны как выберусь я из тайников сего горного лабиринта?»

Размышления кавалера были прерваны конским топотом, и по одной из лесистых дорожек на так называемое шиссе выехал мальчуган небольшого роста на сером шотландском пони.

Мальчик был одет по-деревенски, но опрятно и с некоторым щегольством. На нем была серая суконная куртка со шнурами, черные суконные штаны и сапожки из оленьей кожи с изящными серебряными шпорами. Капюшон пунцового плаща, накинутого на плечи, скрывал нижнюю часть его лица, и черная бархатная шапочка с перьями была надвинута на самые брови.

Сэр Пирси Шафтон любил общество. Довольный тем, что подвернулся попутчик, видимо знающий дорогу, да еще такой привлекательный, рыцарь не замедлил спросить его, откуда он едет и куда держит путь. Мальчик, глядя в сторону, ответил, что едет в Эдинбург, чтобы «наняться в услужение к какому-нибудь благородному господину».

— А мне кажется, что ты убежал от своего хозяина, — сказал сэр Пирси, — и потому, отвечая на мой вопрос, боишься смотреть мне в глаза.

— О нет, сэр, уверяю вас, — застенчиво проговорил мальчик, как бы прстив воли взглянув на сэра Пирси и снова отворачиваясь. Но этого мгновения было достаточно, чтобы восторжествовала истина. Ошибки быть не могло — он узнал большие темные глаза молодой дочери мельника, ее простодушную улыбку, проглядывавшую сквозь видимое смущение, ее девичью фигуру в этом мужском наряде.

Неожиданная встреча так развеселила сэра Пирси, он был так обрадован возвращением своей спутницы, что сразу забыл все превосходные доводы, которыми утешал себя, когда она исчезла.

На вопрос, откуда она достала этот костюм, девушка ответила, что получила его от одной своей знакомой в Кирктауне, — это был праздничный наряд ее сына, который сейчас был призван под знамена своего ленного лорда, одного из местных баронов. Костюм Мизи взяла под предлогом, что она собирается участвовать в сельском маскараде, и взамен оставила всю свою одежду, которая стоит не меньше десяти крон, в то время как за костюм мальчика не получить и четырех.

— А лошадка, моя изобретательная Мизинда, — продолжал сэр Пирси, — откуда взялась лошадка?

— Я взяла ее в долг у нашего трактирщика, у хозяина «Коршунова гнезда», — ответила она, с трудом сдерживая смех, — а он взамен послал за нашим Шариком, которого я оставила в Таскеровой роще у Крипплкрасса. Вот будет чудо, если он его там найдет!

— Но в таком случае, хитроумнейшая Мизинда, бедняга лишится лошадки, — сказал сэр Пирси. В его английские понятия о собственности не укладывался подобный способ приобретения чужого имущества, может быть, не пугающий дочку мельника (к тому же жительницу пограничного района), но уж вовсе не присущий знатному англичанину.

— Если он даже и лишится этого пони, — смеясь возразила Мизи, — то ведь в наших пограничных местах не с ним первым и не с ним последним приключается такая неприятность. Но он не останется в накладе. Ручаюсь, что он вычтет полную стоимость лошадки из тех денег, что давно уже должен моему отцу.

— В таком случае, убыток потерпит ваш отец, — с настойчивой прямолинейностью упорствовал сэр Пирси.

— К чему сейчас толковать о моем отце! — проговорила девушка с досадой, но сейчас же, дав волю

более глубоким чувствам, прибавила: — Сегодня мой отец потерял то, что ему дороже всего имущества.

Грусть и раскаяние, прозвучавшие в этих немногих словах его спутницы, так поразили английского рыцаря, что он счел себя обязанным по чести и совести в самых решительных выражениях разъяснить Мизи, какому риску она подвергает свое честное имя и как благоразумно поступит, если вернется к отцу. Наставления его, несмотря на излишнюю цветистость речи, делали честь его уму и сердцу.

Молодая девушка слушала плавно льющиеся рассуждения рыцаря, опустив голову на грудь, как человек, погруженный в глубокое раздумье и еще более глубокую печаль. Когда он умолк, Мизи подняла голову, в упор посмотрела ему в лицо и с твердостью заявила:

— Если мое общество вам наскучило, сэр Пирси Шафтон, скажите одно словечко — и дочь мельника исчезнет с ваших глаз. Но не думайте, что я буду вам в тягость, если мы вместе поедem в Эдинбург. У меня хватает здравого смысла и самолюбия — обузой я никогда не буду. Но если вы сейчас решите ехать со мной и не боитесь, что я вас стесню впоследствии, не говорите мне о возвращении домой. Все, что вы можете по этому поводу сказать, я не раз говорила самой себе. Если я здесь, значит всякие рассуждения бесполезны. Не будем больше никогда об этом говорить. Я уже оказала вам небольшую услугу, а в дальнейшем могу еще больше пригодиться. Вы сейчас не в Англии, — там, говорят, закон одинаково справедливо относится и к большим и к маленьким людям, там судью нельзя задобрить или запугать, а у нас законом является сила, и защищаться надо смелостью и находчивостью. И, поверьте, я лучше знаю опасности, которые могут вам угрожать.

Сэр Пирси Шафтон был несколько задет тем, что юная Мизи собиралась не только указывать ему дорогу, но и заботиться о его безопасности, и, отвечая, намекнул, что почитает излишним всякое покровительство, полагаясь только на собственную руку и добрый

меч. Мизи ответила очень кротко, что никогда не сомневалась в его отваге, но именно отвага скорее всего вовлекает в беду. Английский рыцарь, никогда не отличавшийся последовательностью мышления, не стал больше спорить, решив про себя, что девушка говорит все это, стремясь скрыть настоящую причину своих поступков, то есть свою влюбленность в него, в Пирси Шафтона. Романтическая сторона путешествия льстила его тщеславию и окрыляла воображение; он приравнивал себя к романтическим героям литературных произведений, где нередко совершаются подобные переодевания.

Искоса поглядывая на своего паж, рыцарь убедился в том, что деревенские навыки и привычка к верховой езде оказались весьма кстати для роли, которую Мизи взяла на себя. Она правила маленькой лошадкой умело и даже грациозно, ничем не обнаруживая своего перевоплощения; заподозрить обман можно было, только проследив, как смущается паж, чувствуя на себе пристальный взгляд своего спутника; но это смущение только увеличивало привлекательность девушки.

Довольные собой и друг другом, они продолжали путь и только к вечеру остановились на ночлег в деревне, где все постояльцы маленькой гостиницы, мужчины и женщины, стали наперебой превозносить благородную внешность и изысканные манеры английского кавалера и необычайную миловидность юного паж.

Тут Мизи Хэппер в первый раз дала понять сэру Пирси Шафтону, какой сдержанности в отношениях она от него потребует. Объявив его своим господином, она прислуживала ему с почитательностью и усердием настоящего слуги, не допуская, однако, никакой вольности с его стороны, хотя краткость обращения была свойственна кавалеру и не свидетельствовала о каких-либо дурных намерениях. Так, например, будучи, как мы знаем, большим знатоком красивой одежды, сэр Пирси стал рассказывать Мизи, что собирается сразу после прибытия в Эдинбург одеть ее

в свои цвета — розовый и телесный, заказав для нее соответствующий костюм, который будет ей гораздо больше к лицу, чем нынешний. Пока рыцарь благоговейно распространялся об оторочках, кружевах, разрезах и вышивках, Мизи слушала с большим увлечением, но случилось так, что он, в порыве вдохновения, доказывая преимущество гладкого воротничка перед испанскими брыжами, дотронулся до камзола своего пажа. Девушка мгновенно отошла от него и сурово напомнила, что она одинока и считает себя в безопасности под его покровительством.

— Вы знаете, почему я оказалась здесь, — продолжала она. — Стоит вам хоть чуточку вольнее повести себя со мной, чем вы держались бы с принцессой, которую окружает весь ее двор, — и вы больше меня не увидите. Дочь мельника исчезнет, как улетает с гумна соломинка, когда подует западный ветер.

— Вы меня не поняли, прекрасная Молинара, — начал сэр Пирси Шафтон, но прекрасная Молинара исчезла, не дослушав его возражений.

«Очень странная особа, — подумал он, — и, клянусь моей правой рукой, она скромна в такой же мере, как прекрасна. Конечно, непростительно было бы ее обидеть или оскорбить ее честь! Но когда она украшает свою речь сравнениями, видно, какого она сословия. Если бы она прочла «Эвфуэса» и предала забвению эту проклятую мельницу вместе с гумном, я убежден, она научилась бы вплетать в свою речь такие же перлы остроумия и любезности, какими пересыпают свои слова самые искусные в риторике дамы при дворе Фелицианы. Надеюсь все же, что она вернется и проведет со мной этот вечер?»

Но это не входило в планы благоразумной Мизи. Уже наступали сумерки, и рыцарь увидел своего пажу только на следующее утро, когда их лошади были поданы к крыльцу и надо было продолжать путешествие.

Но здесь мы вынуждены прервать течение нашего рассказа и проститься с английским рыцарем и его слугой, чтобы перенестись в башню Глендеарг.

Глава XXX

Злым духом называете? Возможно!
Но знаю я: средь ангелов отпавших
Он первый, кто помочь стремился
людям
Познать добро, отвергнутое им.

Старинная пьеса

Наше повествование возобновляется с того дня, когда Мэри Эвенел перенесли в комнату братьев Глендининг. Преданная служанка Тибб не отходила от постели больной, тщетно стараясь ободрить и утешить ее. Отец Евстафий доброжелательно и усердно применял все обычные увещания и доводы, которыми дружба стремится смягчить страдание, хотя они редко достигают цели. Наконец все ушли, и Мэри вволю предалась отчаянью. Она испытывала безмерное горе, охватывающее человека, который в первый раз в жизни полюбил и сразу же потерял любимое существо; ни зрелый возраст, ни повторные удары судьбы еще не могли научить девушку тому, что все утраты так или иначе забываются и раны заживают.

Тяжко предаваться скорби, но описывать ее и во все невозможно — это памятно каждому, кто страдал. В силу особых условий, в которых она выросла, Мэри Эвенел привыкла считать себя игрушкой в руках судьбы; грусть и задумчивость придавали ее тяжелым переживаниям особую глубину. Она не переставала думать о могиле, окровавленной могиле, где покоем юноша, которого она втайне пламенно любила; мужество и горячность Хэлберта находили странный отклик в ее душе, способной на большие порывы. Скорбь молодой девушки не изливалась в столах и слезах. Чуть только миновала первая вспышка отчаяния, она принялась, как несостоятельный должник, горестно и сосредоточенно размышлять о громадности своей потери. Казалось, больше ничто не связывает ее с окружающим миром. До сих пор она не признавалась даже самой себе, что мечтает соединить свою судьбу с Хэлбертом, а с его гибелью как будто не стало единственного дерева, которое могло защитить

ее от бури. В младшем Глендининге она ценила уступчивость, мягкость и более миролюбивые наклонности, но от ее внимания не ускользнуло (это никогда не ускользает от женщины в подобных случаях), что Эдуард в силу этих качеств считал себя более достойным ее любви, между тем как она, отпрыск гордого и воинственного рода, преклонялась именно перед мужественностью погибшего. Более всего несправедлива женщина к отвергнутому поклоннику, когда она только что потеряла возлюбленного и сравнивает дорогой ее сердцу образ покойного с соперником, оставшимся в живых.

Материнская, хоть и грубоватая ласковость госпожи Глендининг и безграничная преданность старой служанки казались теперь единственными добрыми чувствами, которыми она могла располагать, — но как мало значили они по сравнению с глубокой привязанностью чистого душой юноши, который слушался каждого ее взгляда, подобно тому как самый порывистый скакун покоряется поводьям всадника. Погрузившись в эти безрадостные думы, Мэри Эвенел ощутила душевную пустоту — неизбежное следствие невежества и суеверий, в которых римская церковь воспитывала свою паству. Верующие видели в католичестве только обрядовую сторону, их молитвы сводились к бормотанию заученных непонятных слов, которые приносили мало утешения людям, по привычке повторяющим их в тяжелые минуты. Не умея молиться и не зная, как вознестись духом к верховному существу, она с тоской воскликнула:

— Некому помочь мне на земле, а как просить помощи у неба, я не знаю!

Чуть вырвались у нее эти горестные слова, как посредине комнаты, освещенной лунным светом, она увидела Белую даму, всегда оберегающую судьбы рода Эвенелов. Читатель знает, что этот призрак уже не раз являлся ей; играла ли тут роль врожденная смелость девушки или странность ее характера, но она без страха глядела на привидение. Сейчас, однако, Белая дама была так хорошо видна и находилась так близко, что Мэри охватил ужас. Первым ее желанием

было заговорить с призраком, но старинное предание утверждало, что только посторонние люди могли безнаказанно задавать Белой даме вопросы и получать от нее ответы; если же к ней отваживались обращаться потомки рода Эвенелов, их вскоре постигала смерть. В ответ на пристальный взгляд приподнявшейся в постели девушки видение знаком предложило ей хранить молчание и внимательно слушать.

Казалось, Белая дама многозначительно нажимает ногой на одну из досок в полу, тихо напевая своим грустным мелодичным голосом:

— Тебя жалеют Мертвецы Живые,
Но ждет в грядущем Мертвый, но Живой!
Внимай же, дева! Здесь найдешь впервые
Закон и Слово под моей ногой
И Путь, который ищешь ты напрасно...
О, если б духи слезы лить могли,
Оплакала б я жребий свой несчастный:
Мне загражден навеки путь земли!
Удел мой — вечный сон и тьма забвенья,
Но ты в юдоли не грусти земной:
Здесь обрешь от бед и зол спасенье,
Его еще не ведал род людской.
Возьми, владей! Ведь он не мой, а твой!

С последними словами неземная посетительница нагнулась, словно желая дотронуться рукой до половицы, на которой стояла. Но тут ее облик стал постепенно редеть и расплываться, как тает перистое облачко, проносящееся мимо яркой луны, и вскоре все исчезло.

Еще никогда не испытывала Мэри такого гнетущего страха: ей казалось, что она теряет сознание. Сделав над собой усилие, она поборола смятение и, как предписывает в таких случаях католическая церковь, обратилась с молитвой к святым и ангелам. Вконец измученная, она погрузилась в тревожный прерывистый сон, а на рассвете ее разбудили крики: «Измена! Предательство! Держите их! В погоню!» Эта суматоха поднялась в башне, когда стало известно, что сэру Пирси Шафтону удалось бежать.

Предчувствуя новое несчастье, Мэри Эвенел, на- скоро оправив на себе платье, которого на ночь не снимала, отважилась выйти из своей комнаты и тот- час столкнулась с растрепанной, как седая сивилла, старой Тибб, которая носилась из комнаты в комнату, причитая, что подлый англичанин, смертоубийца, сбежал, а бедный ребенок Хэлберт Глендининг, неот- мщенный, вовек не найдет покоя в своей кровавой могиле. Снизу раздавались громовые возгласы моло- дых людей. Убедившись в том, что из-за предосторож- ности хитроумной Мизи Хэппер они очутились вза- перти в башне и не имеют возможности пуститься в погоню за беглецами, они изливали свое бешенство в проклятиях и угрозах. Вскоре раздался повелитель- ный голос отца Евстафия, потребовавшего прекратить шум. Мэри Эвенел почувствовала, что ей тяжело быть на людях и участвовать в обсуждении происшедших событий, и снова удалилась в свою уединенную ком- нату.

Остальные члены семьи собрались на совет в тра- пезной. Эдуард был вне себя от бешенства, а отец Евстрафий в не меньшей степени возмущался дер- зостью, с какой Мизи составила план бегства, сме- лостью и ловкостью, с которыми она привела его в исполнение. Но удивление и гнев были равно бес- сильны. Железные перекладыны на окнах, установлен- ные для того, чтобы не допустить вторжения извне, теперь оказались тюремными решетками, не выпу- скающими никого изнутри. Были, правда, открыты верхние бойницы башни, но без лестницы или веревки, необходимых всем бескрылым существам, спуститься с такой вышины на землю было невозможно. Шум и крики, доносившиеся из башни, быстро привлекли к ограде Глендеарга жителей близлежащих домов; но мужчины явились в башню еще накануне, для кара- ульной службы в течение ночи, а женщины и дети, кроме бесполезных возгласов удивления, никакой по- мощи оказать не могли; ближайшие же соседи на- ходились на расстоянии нескольких миль. Госпожа Элспет заливалась слезами, но сохранила достаточ- ное присутствие духа, чтобы докричаться до стоявших

за оградой женщин и детей, приказывая им «сейчас же перестать скулить, а вместо этого присмотреть за коровами! Мало того, что на душе горько, так дрянная девчонка заперла всю семью в их собственной башне, да так крепко, точно в джеддартской тюрьме».

Между тем мужчины, не придумав ничего лучшего, единодушно решили ломать двери, пустив в ход ломы и те инструменты, какие были в доме. Все эти орудия мало подходили для данной цели, а двери в свое время были сделаны на совесть. Внутренняя, дубовая дверь в течение трех убийственно медленных часов сопротивлялась их натиску, а следующая, железная, сулила отнять у них в лучшем случае двойное количество труда и времени.

Пока мужчины были заняты этой неблагодарной работой, Мэри Эвенел с гораздо меньшими усилиями доискалась до истинного смысла таинственных заклинаний Белой дамы. Разглядывая место, на которое указывало привидение, она заметила отстающую половицу — приподнять ее не стоило никакого труда. Вынув эту доску, Мэри, к своему изумлению, обнаружила черную книгу, ту самую, которую постоянно читала ее покойная мать; завладев дорогой находкой, она почувствовала самую большую радость, доступную ее сердцу в минуты столь глубокой скорби.

Почти не зная ее содержания, Мэри с детства, повинаясь матери, с благоговением относилась к этой книге. Покойная супруга сэра Уолтера Эвенела, вероятно, потому не торопилась посвящать свою дочь в тайны священного писания, чтобы девушка со временем лучше поняла и его наставления и опасность, грозившую в ту эпоху всем, кто его изучал. Смерть унесла леди Эвенел раньше, чем прекратилось преследование реформатства, и дочь ее еще не настолько выросла, чтобы оценить всю важность нового религиозного учения. Любящая мать, однако, позаботилась о воспитании Мэри в духе реформатства, что ей было дороже всего на свете. В черную книгу были вложены рукописные листки, в которых подробно пояснялись и сопоставлялись различные места из священного писания, указывавшие на заблуждения и

человеческие домыслы, которыми римская церковь искажила здание христианства, воздвигнутое божественным зодчим. Эти сопоставления были изложены спокойно, в духе христианской терпимости, так что могли бы служить примером для богословов той эпохи; они были понятны, убедительны, справедливы и подкреплены необходимыми ссылками и доказательствами. Кроме того, там было несколько записей, не имевших отношения к полемике между вероучениями: их можно было бы определить как сокровенную беседу набожного человека с самим собой. На одном из листков, который, судя по его ветхости, бывал в ходу очень часто, мать Мэри начертала несколько проникновенных изречений, которые могли ободрить отчаявшегося человека и уверить его в благоволении и покровительстве свыше. В нынешнем подавленном настроении девушку привлекали именно эти записи, сделанные дорогой рукой, ниспосланные ей в минуту такого душевного смятения и столь удивительным образом. Мэри перечитывала задушевное обещание: «Я никогда не забуду и не покину тебя», и утешительный призыв: «Помяни меня в день скорби, и ты обрящешь спасение». Она шептала эти слова, и ее сердце соглашалось: воистину, это слово божье.

Есть люди, к которым религиозное чувство пришло среди бурь и тревог; у других оно проснулось в минуты разгула и мирской суеты; у некоторых первые слабые ростки его показались среди сельского досуга, в безмятежной тишине. Но, может быть, чаще всего религия в ореоле непогрешимости влечет к себе людей, подавленных великим горем, когда их слезы, подобно благодатному дождю, способствуют укоренению и произрастанию небесных семян в их сердце. Именно так случилось с Мэри Эвенел. Она как будто не слышала снизу ни дребезжания, ни скрежета, ни скрипа и лязга железных рычагов о железные решетки, к ней не доносились размеренные возгласы мужчин, с помощью которых они объединяли свои усилия, чтобы всем бить одновременно и с определенной скоростью; она оставалась глуха к проклятиям и угрозам по адресу беглецов, которые, скрывшись, обрекли

стольких людей на изнурительно тяжелый труд. Как ни резали слух дикие звуки, чуждые прощению, согласию и любви, ни этот грохот и ничто другое не могло бы отвлечь Мэри от нового направления мыслей, возникшего в связи с книгой, которая таким необычайным путем попала к ней в руки. «Безмятежность небесная надо мной, — говорила она себе, — а шум, что раздается вокруг, — это шум низменных земных страстей».

Уже миновал полдень, а железная дверь никак не поддавалась. Но тут узники Глендеарга получили подкрепление: у ворот башни неожиданно-негаданно появился Кристи из Клинт-хилла во главе маленького отряда из четырех всадников, у которых на шапках торчали ветки остролиста — эмблема барона Эвенела.

— Эй, хозяева! — крикнул Кристи. — Я вам привез в подарок одного человека.

— Подари нам лучше свободу, — ответил Дэн из Хаулетхэрста.

Кристи очень удивился, когда узнал, что тут произошло.

— Хоть повесьте меня, — крикнул он, — если у вас хватит совести повесить человека за такую малость, — но мне не удержаться от смеха! Интересно вы выглядите за вашими собственными решетками, ни дать ни взять — крысы в мышеловке! Там сзади у вас еще бородач какой-то, крысиный дед, что ли?

— Замолчи, грубиян, — оборвал его Эдуард, — это наш помощник приора. Тут тебе не время, не место и не компания для непристойных шуток!

— Го-го! Мой молодой господин не в духе? — воскликнул Кристи. — Вы упираете на то, что пол-Шотландии именует его своим духовным отцом; так будь он моим собственным родным отцом, я бы и то над ним посмеялся. А теперь довольно, вижу, вам без меня не обойтись. Сноровки нет у вас решетки высаживать; надо ломом у самого крюка ковырнуть — понимаешь, молодо-зелено? Просунь-ка мне сюда тот рычаг! Ах, хороша птичка, любые запоры откроет, и ищи ветра в поле. Да, частенько влетал я за тюремные решетки, у вас столько зубов во рту не набе-

рется... и выбирался оттуда, не задерживался, об этом хорошо знает комендант Лохмабенской крепости.

Кристи не зря похвалялся своим мастерством. Под руководством столь многоопытного механика узники Глендеарга сбили крюки и болты; не прошло и полчаса, как решетчатые ворота, так долго не уступавшие их усилиям, распахнулись настежь.

— А теперь на коней, друзья, — воскликнул Эдуард, — в погоню за Шафтоном!

— Стой! — вмешался Кристи из Клинт-хилла: — Что за погоня! Шафтон ваш гость, друг моего господина и мой собственный друг к тому же. Объясните в двух словах: какого дьявола вздумалось вам за ним гнаться?

— Прочь с дороги! — гневно крикнул Эдуард. — Меня никто не удержит. Этот негодяй убил моего брата!

— Что он толкует? — обратился Кристи к остальным молодым людям. — Убил? Кто убил? Кого убил?

— Англичанин, сэр Пирси Шафтон, — стал объяснять Дэн из Хаулетхэрста, — вчера утром убил молодого Хэлберта Глендининга; и вот мы все собрались, как полагается, отплатить за убийство.

— Что за сумасшествие! — воскликнул Кристи. — Во-первых, я застаю вас взаперти в вашей собственной башне; во-вторых, я еще должен удержать вас от мщения за убийство, которое вам приснилось.

— Говорю тебе, — вскипел Эдуард, — что вчера утром этот коварный англичанин зарезал и похоронил моего брата.

— А я говорю вам, — возразил Кристи, — что вчера вечером видел вашего брата живым и здоровым. Хотел бы я поучиться у него, как выбираться из могилы. Неспроста люди говорят, что зеленая травка держит крепче, чем толстая решетка.

Все затихли, глядя на Кристи с изумлением. Отец Евстафий, до сих пор избегавший разговора с начальником «джеков», сейчас подошел к нему и сурово спросил, действительно ли он уверен, что Хэлберт Глендининг жив.

— Отец мой, — ответил Кристи более почтительно, чем он привык разговаривать со всеми, кроме своего господина, — признаюсь, я иногда подшучиваю над вашей братией долгополыми, но только не над вами, потому что, если вспомните, один разок вы мне спасли жизнь. Так вот, если правда, что днем светит солнце, а ночью луна, то правда, что вчера в замке моего господина барона Эвенела ужинал Хэлберт Глендининг, а пришел он к нам вместе с одним стариком, о котором будет речь впереди.

— А где он сейчас?

— На это пусть уж вам дьявол ответит, — проворчал Кристи, — потому что дьявол, как видно, завладел всей семьей. Взбалмошный этот Хэлберт, испугался, что ли, обычной выходки нашего барона (а у того настроение бывает разное), чего-то ради бросился в озеро и не хуже дикой утки переплыл его. Робин из Редкасла загнал хорошую лошадку, когда гнался за ним на рассвете.

— А зачем за ним гнались? — спросил помощник приора. — Что дурного он совершил?

— Ничего дурного за ним я не знаю, — сказал Кристи, — но таков был приказ барона, который чего-то взбеленился. Я ведь уже говорил, что там все поголовно с ума спятели.

— А ты куда спешишь, Эдуард? — спросил монах.

— В Корри-нан-Шиан, отец мой, — ответил юноша. — Мартин и Дэн, берите заступы и мотыги, следуйте за мной, если не боитесь!

— Это дельно, — одобрил отец Евстафий. — И сейчас же дай нам знать, что вы там найдете.

— Эй, Эдуард! — крикнул ему вслед Кристи. — Если вы найдете там такую дичину, как Хэлберт Глендининг, я обязуюсь съесть ее даже без соли. А здорово зашагал этот юнец Эдуард, приятно посмотреть. Пока мальчишку не проверишь на серьезном деле, не знаешь, что у него на сердце. Хэлберт — тот всегда носился, как дикий козел, а этот вечно торчал в уголку у камина с книжкой или с другой ерундой. Так бывает и с заряженным ружьем — стоит себе в углу, как старый костыль, а нажмешь курок, и оттуда валом

и огонь и дым. А вот и мой пленник! Преподобный сэр, давайте отложим все прочие дела в сторону: мне надо сказать вам несколько слов про него. Я для того и приехал пораньше, но помешала вся эта канитель.

В это время во дворе башни Глендеарг появились еще два всадника с эмблемой барона Эвенела на шапках, и между ними на лошади со связанными руками ехал реформатский проповедник Генри Уорден.

Глава XXXI

Товарищ школьный мой, юнец смысленный,
Задумчивый и замкнутый с друзьями...
Трудясь, он забывал еду и отдых,
Терзая тело, чтоб возвысить ум.

Старинная пьеса

По просьбе начальника «джеков» отец Евстафий вернулся в башню вместе с ним. Закрыв за собой дверь, Кристи приблизился к помощнику приора и весьма самоуверенно и развязно приступил к изложению своего дела.

— Мой господин, — сказал он, — шлет вам через меня свои лучшие пожелания, преподобный сэр. Вам — больше, чем всей братии и даже самому аббату; хотя он всюду именуется лордом и прочее, всему свету известно, что козырный туз в колоде — это вы.

— Если у вас есть надобность поговорить со мной о делах обители, — сказал помощник приора, — хорошо бы это сделать незамедлительно. Время дорого, и участь Хэлберта Глендининга не дает мне покоя.

— Ручаюсь за его целостность своей головой, руками и ногами, — воскликнул Кристи, — повторяю вам, он жив-здоров не хуже меня.

— Не следует ли мне передать эту радостную весть его несчастной матери? — сказал отец Евстафий. — Впрочем, лучше подождем, пока раскопают могилу. Итак, сэр «джек», что велел передать мне твой господин?

— Моему лорду и повелителю стало известно, — начал Кристи, — что аббатство святой Марии поверило в рассказы некоторых приговорных друзей (барон в свободную минуту еще отблагодарит их!) и будто у вас считают, что Джулиан Эвенел отдаляется от святой церкви, связывается с еретиками и с их покровителями и зарится на богатства обители.

— Покороче, любезный нарочный, — перебил его помощник приора. — Дьявол всего опаснее, когда он опутывает своими назиданиями.

— Короче? Можно! Мой господин желает жить с вами в дружбе, и, чтобы посрамить клеветников, он посылает вашему аббату того самого Генри Уордена, который своими проповедями взбудоражил весь мир. Можете поступить с ним так, как велит святая церковь и как будет угодно господину аббату.

При этом известии глаза отца Евстафия так и засверкали. Уже давно считалось, что очень важно захватить этого проповедника, рвение которого находило такой отклик в сердцах, что он, пожалуй, был не менее любим народом и не менее страшен для римской церкви, чем сам Джон Нокс.

Научившись весьма искусно приспособлять свои доктрины применительно к потребностям и вкусам варварской эпохи, римская церковь позднее, с изобретением книгопечатания и развитием науки, уподобилась огромному Левиафану, в тело которого, колеблемое волнами, вонзали свои гарпуны десятки тысяч реформатских рыбаков. В Шотландии римская церковь уже дышала на ладан, но, повинувшись инстинкту самосохранения, она, истекая кровью, напрягала все усилия, чтобы отразить удары врагов, нападающих на ее владения и на ее авторитет. Во многих больших городах монастыри были сметены с лица земли народной яростью, кое-где дворяне, примкнувшие к новой церкви, захватывали монастырские земли, однако католическое духовенство оставалось под защитой государства и сохраняло свои богатства и привилегии повсюду, где оно опиралось на силу и заставляло себя уважать. Именно в таком положении находилось аббатство святой Марии в Кеннаквейре. Ни террито-

рия обители, ни ее влияние не были ущемлены; соседние крупные землевладельцы воздерживались от расхищения монастырского имущества — отчасти потому, что партия, к которой они принадлежали, по-прежнему поддерживала старую религию, отчасти потому, что каждый из баронов зарился на всю добычу целиком и опасался, что при дележе ему мало достанется. Сверх того, было известно, что аббатство святой Марии находится под покровительством могущественных графов Нортумберленда и Уэстморленда, ревностных сторонников католичества, впоследствии ставших во главе восстания в десятый год правления Елизаветы.

Приверженцы отживающей римской церкви считали, что пример неустрашимости со стороны монастыря, сохранившего свои привилегии и право суда над еретиками, может сдерживать распространение новых веяний; при поддержке законов, никем не отмененных, при покровительстве королевы, монашество, оставаясь на должной высоте, сохранит за Римом владения шотландских монастырей и, может быть, даже вернет в лоно церкви утраченные ею поместья.

Католики северной Шотландии деятельно обсуждали этот вопрос между собой и со своими единоверцами на юге страны. Отец Евстафий, связанный с католичеством и монашеским обетом и внутренними убеждениями, тоже загорелся пламенем нетерпимости и потребовал со всей суровостью покарать за ересь первого реформатского проповедника, или, проще говоря, первого видного еретика, который осмелится ступить на монастырскую землю. Человек от природы добрый и отзывчивый, он, как это нередко бывает, оказался на ложном пути, увлекаемый собственным благородством. Никогда отец Евстафий не стал бы страстным деятелем инквизиции в Испании, где инквизиторы были всемогущи, — их приговоры приводились в исполнение, а судьи не подвергались никакой опасности. В таком положении его суровость наверняка смягчалась бы в пользу преступника, которого он мог бы по собственной прихоти казнить или миловать. Но в Шотландии в эту переломную эпоху дело обстояло совсем не так. Тут надо было решить, отважится ли

кто-нибудь из духовенства, рискуя жизнью, выступить в защиту прав церкви? Найдется ли человек, который решится испепелить грешника церковным громом? Или у церкви не больше власти, чем у намалеванного Юпитера, чьи громы вызывают одни только насмешки? Сплетение многих противоречивых обстоятельств не переставало терзать отца Евстафия — ему предстояло решить, хватит ли у него присутствия духа, сознавая грозящую ему опасность, со стоической суровостью совершить расправу, которая, по общему мнению, была выгодна для церкви, а по древнему закону и его собственному убеждению — заслуживала не только оправдания, но даже похвалы.

В то самое время, когда католики лелеяли эти планы, случай послал им в объятия искомую жертву. Пылкий и прямодушный, как все восторженные реформаторы этого века, Генри Уорден так далеко перешагнул границы того, о чем его секте было дозволено рассуждать, что теперь, как выяснилось, личное достоинство шотландской королевы требовало предания его суду. Уорден бежал из Эдинбурга, заручившись рекомендательными письмами от лорда Джеймса Стюарта (впоследствии прославленного графа Мерри) к некоторым из малоземельных баронов, владения которых граничили с Англией. В этих письмах лорд Джеймс негласно просил помочь проповеднику благополучно переправиться через границу; одно из них было адресовано Джулиану Эвенелу, которого лорд считал одним из самых подходящих людей для подобного поручения. И в эти годы и долгое время спустя лорд Джеймс предпочитал полагаться на второстепенных деятелей, а не на влиятельных магнатов, державших большое войско. Джулиан Эвенел без всяких угрызений совести втирался в доверие к обеим партиям, но, при всей своей низости, никогда не причинил бы зла гостю, прибывшему с письмом от имени того лорда Джеймса, если бы проповедник не стал назойливо вмешиваться в его семейную жизнь. Решив, что он заставит старика раскаться в своих оскорбительных нравоучениях и в безобразном переполохе,

который он учинил в его доме, Джулиан, со своей обычной изворотливостью, придумал способ одновременно жестоко отомстить и хорошо нажиться, и вместо того, чтобы примерно наказать Генри Уордена в своем собственном замке, распорядился препроводить его в обитель святой Марии; отдавая своего обидчика монахам на растерзание, он получал право требовать от монастыря награду деньгами или земельными угодьями по низкой цене — в последнее время продажа земли из-под палки, за гроши, стала весьма распространенной формой, под прикрытием которой дворяне грабили духовенство.

Вот каким образом случилось, что стойкий, деятельный и неутомимый противник римской церкви очутился во власти помощника приора обители святой Марии, и тому теперь предстояло осуществить обещание, которое он дал своим единоверцам, и потопить ересь в крови одного из самых рьяных ее проповедников.

К чести отца Евстафия, доброта которого иногда шла вразрез с логикой, надо сказать, что известие о поимке Генри Уордена огорчило его больше, нежели обрадовало; правда, вскоре сердце его возвеселилось.

«Печально, — говорил он самому себе, — причинять человеку мучения и жестоко проливать кровь своего ближнего, но судья, которому доверены меч апостола Павла и ключ апостола Петра, не должен уклоняться от своего долга. Наше оружие обратится против нашей собственной груди, если мы не napravим его неутомимой и безжалостной рукой против непримиримых врагов святой церкви. *Pereat iste!*¹ Человек этот сам навлек на себя гибель, и пусть хоть все еретики Шотландии с оружием в руках встанут на его защиту, приговор над ним будет произнесен и, если возможно, приведен в исполнение».

— Введите этого еретика, — приказал он громко и властно.

Проповедника ввели. На ногах у него оков не было, а руки стискивала веревка.

¹ Да погибнет он! (лат.)

— Пусть уйдут все, — распорядился отец Евстафий, — кроме необходимой стражи.

Из всего патруля остался один Кристи из Клинтхилла, который, отослав своих дружинников, обнажил меч и стал у двери, показывая этим, что взял на себя обязанность часового.

Судья и подсудимый очутились лицом к лицу, и в чертах каждого светилось благородное убеждение в своей правоте. Монах собирался, невзирая на опасность, которой он подвергал себя и всю общину, выполнить до конца то, что он в своем невежестве считал священным долгом католика. Проповедник, столь же усердный и пламенный, черпая вдохновение из более просвещенного источника, был готов хоть сейчас принять муку во славу божью и укрепить собственной кровью свою миссию проповедника. Живя в более позднее время, мы можем вернее оценить правоту убеждений каждого из них, и нас бы не затруднил вопрос, чью веру считать истинной. Но страстность отца Евстафия была так же чиста и чужда личной корысти и себялюбия, как если бы она была направлена на защиту более достойного дела.

Они подошли друг к другу, и каждый был вооружен и подготовлен для духовного поединка; их пронзительные взгляды скрещивались, как будто каждый из них выискивал какой-нибудь изъян в доспехах противника. Под этим пристальным взглядом в сердце каждого стали пробуждаться старые воспоминания, всегда возникающие при виде лиц, давно не виденных, сильно изменившихся, но не забытых. Постепенно разгладились суровые повелительные складки на челе отца Евстафия, и мало-помалу растаяло выражение предвзятого угрюмого вызова в глазах Генри Уордена; мрачная скованность на мгновение покинула обоих. Когда-то, в молодости, их связывала тесная студенческая дружба, они учились за границей в одном университете, но потом надолго потеряли друг друга из вида. Оба переменили имя: проповедник — в целях безопасности, а отец Евстафий — повинаясь монастырскому уставу; вот почему каждый из них не подозревал, какую враждебную роль играл его быв-

ший друг в великой религиозной и политической драме того времени. Но сейчас помощник приора воскликнул: «Генри Уэлвуд!» Проповедник тотчас же отозвался: «Уильям Аллан!» Растроганные ушедшими в прошлое старыми именами и неизгладимыми воспоминаниями об университетской дружбе и университетских занятиях, они соединили руки в дружеском пожатии.

— Развяжи его, — приказал отец Евстафий и стал собственноручно помогать Кристи снять веревки, стягивавшие руки старика, хотя пленник несколько противился, восторженно повторяя, что бесчестие, которое он претерпевал, только укрепляло его веру. Но, когда его руки были освобождены, Уорден проявил свою признательность, ласково взглянув на отца Евстафия и вторично пожав ему руку.

Взаимные привествия, сейчас сблизившие их, были чистосердечны и доброжелательны, но дружеская встреча эта все же напоминала рукопожатие противников, которые, враждуя, повинуются голосу чести, а не ненависти.

Тотчас почувствовав гнет того нового, что ныне разделяло их, они разъединили руки, отодвинулись друг от друга и застыли в неподвижности, выражая всем своим видом горестное спокойствие. Первым заговорил отец Евстафий:

— Так вот к чему привела эта неутомимая пытливость ума, эта пылкая и неутолимая жажда истины, которая толкала на взятие последних рубежей познания и, кажется, готовилась захватить приступом само небо? Вот как завершается жизненный путь Генри Уэлвуда? Как же случилось, что мы, зная и любя друг друга в самые светлые молодые годы, в старости встречаемся как судья и преступник?

— Нет, не как судья и преступник, — воскликнул Генри Уорден (во избежание недоразумений, мы будем называть его этим именем, ибо оно получило большую известность), — не как судья и преступник встречаемся мы, а как ослепленный угнетатель и его бесстрашная, обреченная жертва. Я тоже могу спросить, какой же урожай дали радостные надежды, которые

возлагались на Уильяма Аллана с его классическим образованием, острым логическим мышлением и разнообразными познаниями? Неужто он опустил до положения одинокого, засевшего в своей ячейке трутня, на которого, в отличие от остального роя, возложена высокая миссия — по указке Рима беспощадно расправляться со всеми, кто противостоит его беззаконию.

— Будь уверен, — провозгласил монах, — что ни тебе и ни кому из смертных не намерен я отдавать отчет во власти, какую меня облекла святая церковь. Эта власть была мне вручена, чтобы я усердствовал в служении церкви, и усердствовать я буду, невзирая на опасности, никого не страшась и никому не покровительствуя.

— Ничего другого я и не ожидал от вашего ложно направленного рвения, — ответил проповедник. — Во мне вы встретили человека, над которым можете безбоязненно чинить свой суд, зная, что он останется силен, по крайней мере духом, подобно тому, как снег Монблана, которым мы вместе любовались, не тает под лучами самого палящего летнего солнца.

— Верю тебе, — сказал помощник приора. — Верю, что твой дух выкован из металла, который силой не согнешь. Пусть же он уступит доводам. Обсудим наши расхождения — ведь некогда нам поручали вести схоластические диспуты, и мы часами, даже целыми днями, состязались в знаниях и способностях наших. Может случиться, что ты еще внешне слышишь голосу пастыря и вернешься в общее стадо.

— Нет, Аллан, — ответил проповедник, — нас разделяют не праздные вопросы, придуманные хитроумными школярами, которые так долго вострят о них свои мозги, пока от мозгов ничего не остается. Заблуждения, против которых я восстаю, подобны бесам — их можно изгнать только постом и молитвой. Увы, мало кто из мудрых и ученых наследует царствие небесное! В наши дни хижины и деревушки дадут больше избранных, чем католические школы и их ученики. Твоя собственная мудрость не что иное, как безумие. Побуждаемый безумием, ты, подобно

древним грекам, называешь безумием то, что является единственной, подлинной мудростью.

— Вот он, язык невежества, — сурово произнес помощник приора, — которое в своей запальчивости отвергает знания и авторитеты, восстает против светоча истины, дарованного нам богом в постановлениях вселенских соборов и в учениях отцов церкви. Вы дерзаете заменить светоч сей опрометчивым, своеправным, произвольным толкованием священного писания по усмотрению каждого лжемудрствующего еретика.

— Не приличествует мне отвечать на подобное обвинение, — возразил Уорден. — Основное расхождение между твоей церковью и моей заключается в том, должно ли нас судить согласно священному писанию или согласно взглядам и решениям людей, так же склонных заблуждаться, как мы сами. Ваши пастыри исказили святое учение суетными измышлениями, воздвигли идолов из камня и дерева по образу и подобию усопших, которые при жизни были самыми обыкновенными грешниками, — а ныне их идолам вы заставляете воздавать поклонение, коим мы обязаны только творцу. Это ваши пастыри учредили счетную контору между небом и адом, этакое доходное чистилище, ключи от которого в руках у папы римского, так что он, подобно лихоимствующему судье, за взятки смягчает наказания и...

— Замолчи, богохульник, — сурово перебил его помощник приора, — не то я прикажу кляпом унять твое крикливое злоречие.

— Вот, — ответил Уорден, — таково оно, право христианина свободно высказываться на диспутах, куда нас любезно приглашают римские священники. Кляп... дыба... топор — вот *ratio ultima Romae*.¹ Но знай, друг моей юности, что характер твоего старого приятеля с годами мало изменился, и он все так же дерзостно готов претерпеть во славу истины все муки, каковым дерзнет подвергнуть его твоя обуянная гордыней церковь.

¹ Последний довод Рима (лат.).

— В этом я нисколько не сомневаюсь, — сказал монах, — ты по-прежнему лев, готовый метнуться на копье охотника, а не олень, трепещущий при звуке охотничьего рога. — Он молча сделал несколько шагов по комнате. — Уэлвуд, — произнес он наконец, — мы больше не можем быть друзьями. Наше вероучение, наша надежда, наш якорь спасения — все разделяет нас.

— Глубоко скорблю, что ты сейчас сказал истинную правду. Видит бог, — отвечал проповедник, — я отдал бы последнюю каплю крови, чтобы обратить тебя на путь истинный.

— То же самое и с бóльшим основанием я говорю тебе, — сказал помощник приора. — Такой человек, как ты, должен бы защищать твердыню церкви, а ты пробиваешь тараном брешь в ее устоях и открываешь дорогу, по которой в наш век нововведений устремляется для разрушения и наживы все низменное, все подлое, все шаткое и сумасбродное. Но если судьба препятствует нам сражаться бок о бок как друзьям, будем по крайней мере биться как благородные противники. Вы не могли забыть:

О, пыл и доблесть древних паладинов!

Они сражались в битвах бесконечных!

— Впрочем, — продолжал он, прерывая цитату, — ваша новая вера, может быть, запрещает вам хранить в памяти стихи великих поэтов, воспевающие религиозную доблесть и возвышенные чувства.

— Вера Джорджа Бьюкэнана, — возразил проповедник, — вера Бьюкэнана и Безы не может быть враждебна литературе. Но стихи поэта, которые вы вспомнили, больше подходят для беспутного королевского двора, чем для монастыря.

— Я бы мог в связи с этим сообщить кое-что о вашем Теодоре Безе, — с улыбкой заметил отец Евстафий, — но мне противны суждения, напоминающие мух, которые пролетают мимо свежего мяса и садятся на гниль. Но обратимся к делу. Если я отведу или отошлю тебя как пленника в наше аббатство, то сегодня вечером ты попадешь в каземат, а завтра —

на виселицу. Если бы я возвратил тебе свободу, то причинил бы этим вред святой церкви и нарушил бы свой торжественный обет. Между тем в столице могут прийти к другому решению; есть надежда, что в скором времени наступят лучшие времена. Согласен ли ты остаться нашим пленником под честное слово? Если тебя придут освобождать, ты не спрячешься от нас в кусты, как говорят воины нашей страны? Согласен ли ты поклясться мне, что по первому требованию явишься на суд аббата и капитула, что не отдалиться от этого дома дальше, чем на четверть мили? Согласен ли ты, повторяю я, дать мне в этом свое честное слово? И столь неколебимо доверяю я твоей совести, что ты останешься здесь без стражи и надзора, пленником на свободе, повинным лишь предстать перед нашим судом, когда тебя позовут.

Проповедник задумался.

— Мне не по душе самому ограничивать себе свободу какими-либо добровольными обязательствами. Но я в вашей власти, и вы можете принудить меня к ответу. Значит, давая слово, что я не удалюсь за определенную черту и явлюсь, когда меня позовут, я не отказываюсь от свободы, которой располагаю и пользуюсь. Наоборот, находясь в оковах и в вашей власти, я благодаря этому соглашению приобрету свободу, которой пока не имею. Поэтому я принимаю твое предложение, ибо все, что с твоей стороны предлагается с учтивостью, может быть мною принято с честью.

— Постой, я упустил одно важное условие нашего договора, — спохватился помощник приора. — Ты еще должен обещать, что, будучи оставлен на свободе, не будешь ни прямо, ни косвенно распространять или проповедовать свою тлетворную ересь, которая в наши дни совратила столько душ, переманив их из царства света в царство тьмы.

— Если так, я отказываюсь от нашего договора, — с твердостью объявил Уорден. — Горе мне, если я перестану проповедовать евангелие!

Лицо отца Евстафия омрачилось, и он снова зашагал по комнате, бормоча: — Провалиться бы тебе

на месте, упрямый дурак! — Затем, круто остановившись, стал снова убеждать пленника:

— Опомнись, Генри, вспомни свои собственные доводы! Твой отказ — бессмысленное упрямство. В моей власти заточить тебя в такое место, где ничье ухо не услышит твоей проповеди. Таким образом, обещая мне воздержаться от своей деятельности, ты соглашаешься только на то, чего сам не в силах изменить.

— Этого я не знаю, — ответил Генри Уорден. — Ты действительно можешь бросить меня в подземелье, но может случиться, что творец приготовил для меня поле деятельности даже в том мрачном заточении. Цепи, наложенные на великомучеников, не раз служили им орудием против сатанинских сетей. Находясь в темнице, апостол Павел обратил в истинную веру своего тюремщика и всю его семью.

— Ну, знаешь ли! — гневно и презрительно воскликнул отец Евстафий. — Если ты считаешь себя под стать святому апостолу, нам больше не о чем толковать. Готовься изведать все, что ты заслужил и ересью своей и своим упорством. Вяжи его, стражник!

С гордостью покоряясь своей участи и глядя на помощника приора с чуть заметной улыбкой, в которой угадывалось снисходительное сознание своего превосходства, проповедник сам протянул руки, чтобы их было удобнее связать.

— Вяжи крепче, не щади меня, — сказал он Кристи, потому что даже этот грубиян не решался стянуть веревку потуже.

Тем временем отец Евстафий, пристально следя за пленником, натянул свой кlobук почти на самые глаза, как бы желая скрыть свое волнение. Такое чувство испытывает охотник при близкой встрече с благородным оленем, рога и осанка которого столь величественны, что у охотника не хватает духа в него прицелиться. Такое чувство охватывает стрелка, который поднял ружье на могучего орла и не решается спустить курок, видя, что царственная птица продолжает парить в вышине и гордо презирает грозящую опасность. Сердце помощника приора (при всем его фанатизме) смягчилось, и он усомнился, окупит ли

ревностное исполнение долга, как он его понимал, угрызения совести, которые будут его мучить, если он предаст смерти человека с такой благородной и независимой душой, да еще друга самых счастливых лет, когда они состязались в успешном овладении знаниями, а часы досуга посвящали труду более легкому — изучению античной и новой литературы.

Затенив рукой лицо, наполовину прикрытое клобуком, отец Евстафий потупил взор, словно скрывая борьбу чувств в своей душе и побеждающее милосердие.

«Если бы мне только уберечь Эдуарда от этой разительной ереси! — думал он. — Не будь здесь Эдуарда, такого пылко и восприимчивого ко всему новому, что его может увлечь видимость науки, я бы спокойно оставил этого упряма с женщинами, должным образом предупредив их, как опасно и грешно прислушиваться к его бредням»

Продолжая раздумывать над участью пленника, но не отваживаясь произнести окончательный приговор, монах вдруг услышал шум, который отвлек его внимание, и в комнату, запыхавшись, пылая решимостью и отвагой, вбежал Эдуард Глендининг.

Глава XXXII

Под серым, сумрачным плащом
Пойду один тропинкой горной
Вперед, уверенным путем,
Туда, к святыне чудотворной.

Там, в монастырской тишине,
Обиды, беды — все простится.
И хоть сурова ты ко мне,
Там буду за тебя молиться

«Жестокая леди с гор»

Эдуард воскликнул:

— Мой брат жив, преподобный отец! Жив, слава создателю, он не погиб! Во всем Корри-нан-Шиане нет никакой могилы — даже признаков могилы.

Земля вокруг источника не взрыта ни заступом, ни лопатой, ни киркой, наверное, с самого всемирного потопа. Хэлберт жив!

Горячность юноши, его стремительность, упругая походка, размашистые движения и сверкающие глаза напомнили Уордену его недавнего спутника. Братья были действительно очень похожи между собой, хотя каждому бросалось в глаза, что Хэлберт выше ростом, лучше сложен, более мускулист и подвижен, а у Эдуарда самым примечательным было одухотворенное и вдумчивое выражение лица. Слова юноши взволновали проповедника не меньше, чем отца Евстафия.

— О ком вы говорите, сын мой? — спросил он так участливо, как будто его собственная судьба в эту минуту не трепетала на чаше весов, как будто не перед ним сейчас маячила темница и смерть. — Я хочу знать, о ком ты говоришь? О юноше немного постарше тебя? У него темные волосы и мужественное лицо? Кажется, он несколько шире и выше ростом, но сильно напоминает тебя чертами лица и голосом. Если таков брат, которого ты ищешь, то, может быть, я могу подать тебе весть о нем.

— Говори же, ради бога! — воскликнул Эдуард. — Что у тебя на языке, жизнь или смерть?

Отец Евстафий присоединился к этой просьбе, и проповедник, не дожидаясь дальнейших уговоров, обстоятельно рассказал о своей встрече со старшим Глендинингом и так подробно описал его наружность, что у его собеседников исчезли все сомнения. Когда старик упомянул о том, что юноша привел его в долину, где они увидели на траве пятна крови и рядом — свежую могилу, у которой Хэлберт каялся, обвиняя себя в убийстве сэра Пирси, отец Евстафий с удивлением посмотрел на Эдуарда:

— Не говорил ли ты только что, — спросил он, — что вы там не обнаружили никаких следов могилы?

— Там нет ни малейших следов того, что кто-нибудь рыл землю, — ответил Эдуард. — Дерн нетронут, как будто по нему со времен Адама не ступала нога

человеческая. Правда, у самого источника трава помята и забрызгана кровью.

— Это дьявольское наваждение, — произнес помощник приора, осеняя себя крестом. — Каждому христианину это должно быть ясно.

— Если так, — возразил Уорден, — то каждому христианину лучше бы ограждать себя орудием молитвы, а не бессмысленным каббалистическим знаком.

— Негоже так называть символ нашего спасения, — сурово сказал помощник приора. — Знамение креста обезоруживает всех злых духов.

— Верно! — воскликнул Генри Уорден, готовый к пылкому спору, — но его надо носить в сердце, а не чертить пальцами в воздухе. Разве бесчувственный воздух, по которому скользит ваша рука, сохраняет отпечаток символа? Точно так же бесцельны все телодвижения ханжествующих святош, суетные коленопреклонения и целования креста, которыми они заменяют истинную, глубокую веру и добрые дела.

— Мне жаль тебя, — ответил помощник приора, тоже готовясь к пылкой полемике. — Мне жаль тебя, Генри, и потому я не отвечаю. Как бессилён ты, сколько бы ни старался, вычерпать решетом океан, так же не способен ты измерить силу священных слов, знаков и подвигов ошибочной мерой своего рассудка.

— Не моим рассудком руковожусь я, — сказал Уорден, — а словом божьим, этим неугасимым и непреложным светочем на нашем пути, рядом с которым человеческий разум — не более чем дрожащий, мерцающий и догорающий огарок, а ваше хваленое учение — обманчивый огонек на болоте. Укажи мне место в священном писании, где говорится о святости показных движений и знаков!

— Я предлагал тебе честное поле для поединка, — сказал монах, — но ты его отверг. Теперь я не хочу возвращаться к нашим разногласиям.

— Будь мои слова последними перед смертью, — провозгласил реформатский проповедник, — будь я уже на костре, полузадушенный дымом, среди пыла-

ющего хвороста, я в самую последнюю минуту проклинал бы суеверия и ханжество римской церкви.

Отец Евстафий с трудом подавил вспылчивый ответ, готовый сорваться с его уст, и, обращаясь к Эдуарду Глендинingu, сказал:

— Теперь уже, без всякого сомнения, надо известить твою мать, что ее сын жив.

— Я сказал это целых два часа назад, — вмешался Кристи из Клинт-хилла, — и вы могли бы мне поверить. Но, как видно, вы охотнее слушаете старого, седовласого проходимца, который всю жизнь бормотал разную ересь, чем мои слова, хотя я еще никогда не отправлялся на разбой, не прочитав, как полагается, «Отче наш».

— Ступай же, — обратился отец Евстафий к Эдуарду, — и возвести своей страждущей матери, что сын ее восстал из могилы, как некогда вернулся ребенок к сарептской вдовице. Вернется по заступничеству, — прибавил он, глядя на Генри Уордена, — праведного святого, которому я воссылал молитвы о Хэлберте.

— Обманывая себя, ты обманываешь других, — немедленно отозвался проповедник. — Не к мертвецу, не к созданию из праха зывал праведный фесфитянин, когда, уязвленный укорами сунамитянки, молился, чтобы душа ее сына вернулась в безжизненное тело.

— Но помогло все-таки его заступничество, — повторил помощник приора, — ибо что мы читаем в «Вульгате»? Сказано: *Et exaudivit Dominus vocem Helie; et reversa est anima pueri intra eum, et revixit.*¹ И неужели ты думаешь, что заступничество прославленного святого менее значительно для господя, нежели молитва этого святого в течение его жизни, когда он ступал по земле в своем брэнном образе и взирал на все лишь плотскими очами?

В продолжение этого диспута Эдуард Глендининг не находил себе места от нетерпения; однако

¹ И услышал господь голос Илии, и душа мальчика вернулась в него, и он ожил (лат.).

по выражению его лица нельзя было определить, какое чувство его так сильно волнует — радость, горе или надежда. Наконец он решился на небывалую вольность и прервал речь отца Евстафия, который, вопреки своему решению не вступать в богословский спор, зажегся полемическим азартом и прекратил диспут только тогда, когда Эдуард попросил его уделить ему несколько минут для разговора наедине.

— Уведи пленника, — приказал помощник приора, обращаясь к Кристи. — Усердно следи, дабы он не скрылся, но ежели оскорбишь его, заплатишься жизнью. Идите!

Когда это приказание было исполнено, монах, оставшись с глазу на глаз с Эдуардом, заговорил с ним так:

— Что это на тебя нашло, Эдуард? Почему в глазах твоих вспыхивает непонятный огонь, а щеки покрываются то румянцем, то бледностью? Для чего ты так торопливо и опрометчиво вмешался в отповедь, которой я сокрушал помыслы этого еретика? И отчего ты до сих пор не известил свою мать, что к ней возвратится ее сын, который, как вещает нам святая церковь, остался в живых благодаря молению святого Бенедикта, покровителя нашего ордена? Ибо никогда еще не молился я ему с таким усердием, как для блага твоей семьи, и ты собственными глазами видишь действенность этих молитв. Иди же и объяви радостную весть своей матери.

— Тогда я должен объявить ей, — сказал Эдуард, — что если она обретает одного сына, то второй для нее потерян навсегда.

— Что у тебя на уме, Эдуард? Что это за слова? — удивился отец Евстафий.

— Отец мой, — прошептал юноша, опускаясь перед ним на колени, — тебе я открою мой позор и мой грех, и ты будешь свидетелем моего покаяния.

— Твои слова мне непонятны, — ответил помощник приора. — Что мог ты совершить, чтобы столь жестоко себя обвинять? Или в твои уши уже проник демон ереси, — продолжал он, нахмурившись, —

опаснейший искушитель именно для тех, кто, подобно этому горемычному старцу, одержим страстью к познанию?

— В этом я неповинен, — ответил Глендининг. — Никогда бы я не осмелился отойти от веры, которую ты, мой добрый отец, внушил мне; я всегда буду послушен святой церкви.

— Что же, в таком случае, так томит твою совесть, сын мой? — ласково продолжал отец Евстафий. — Откройся мне, дабы я мог утешить тебя, ибо велико милосердие церкви к ее послушным сынам, не дерзающим усомниться в ее могуществе.

— Моя исповедь покажет, как я нуждаюсь в милосердии, отец мой, — сказал Эдуард. — Мой брат Хэлберт — такой добрый, неустрашимый, чуткий. В его словах, мыслях, поступках было столько любви ко мне, его рука выручала меня из всех затруднений, его глаза следили за мной, подобно тому как орлы наблюдают за орлятами, впервые вылетающими из гнезда. Таким был мой добрый, великодушный, любящий брат. И вот я услышал о его внезапной кровавой, насильственной смерти — и обрадовался, услышал о его неожиданном воскресении — и опечалился.

— Эдуард, — произнес его духовный отец, — с тобой происходит что-то неладное! Что за причина столь презренной неблагодарности? В горячке и волнении ты ошибся в своих собственных смятенных чувствах. Поди, сын мой, и найди успокоение в молитве. Мы побеседуем в другой раз.

— Нет, отец мой, нет! — пылко запротестовал юноша. — Теперь или никогда! Я найду средство усмирить мятежное сердце в моей груди или вырву его прочь! Ошибся в своих чувствах? Нет, отец мой, скорбь с радостью не перепутаешь. Все вокруг меня плакали, все предавались отчаянию: мать, слуги, она сама, виновница моего преступления, — все рыдали, а я... я делал вид, что пылаю жаждой мести, а сам с трудом скрывал жестокую и безумную радость. «Брат мой, — думал я, — не могу я дать тебе моих слез, но я дам тебе кровь». Да, отец мой, стоя на карауле у дверей этого английского пленника, я от-

считывал час за часом и говорил себе: «Вот я еще на целый час ближе к надежде и счастью...»

— Не понимаю тебя, Эдуард, — перебил его монах. — Не могу постичь, отчего известие о смерти брата могло вызвать у тебя столь неестественную радость? Неужели низменное желание завладеть его небольшим имуществом...

— Пусть бы пропал весь его жалкий скарб! — взволнованно воскликнул Эдуард. — Нет, отец мой, соперничество, жгучая ревность, любовь к Мэри Эвенел — вот что сделало меня безнравственным чудовищем, и в этом я приношу покаяние.

— К Мэри Эвенел! — повторил священнослужитель. — К молодой особе, которая настолько выше вас по происхождению и по положению в свете? Как осмелился Хэлберт, как осмелился ты взирать на нее иначе, чем с уважением и преданностью, как это добавляет каждому, взирающему на особу высшего сословия?

— Разве любовь зависит от геральдики? — возразил Эдуард. — Да и чем Мэри, приемная дочь и воспитанница нашей матушки, отличалась от нас, выросших вместе с нсю? Длинным рядом давно умерших предков? Словом, мы полюбили ее. Оба полюбили! Но его страстная любовь встретила взаимность. Он не знал, не замечал этого, а я был зорче его. Что с того, что она иногда меня больше хвалила? Его-то она больше любила! Когда мы вместе готовили уроки, она сидела рядом со мной безмятежно и равнодушно, как сестра, а с Хэлбертом она была сама не своя. Менялась и лице, трепетала, когда он подходил к ней, а стоило ему уйти — грустила, задумывалась и тосковала. Я все терпел. Видел, как растет ее любовь к нему, к моему сопернику, и терпел все это, отец мой, и не стал его ненавидеть — не мог его ненавидеть.

— Хвалю тебя за это, — отозвался отец Евстафий. — При всем неистовстве и сумасбродстве, могли ты возненавидеть родного брата за то, что он оказался таким же безумцем, как ты?

— Отец мой, — ответил Эдуард, — общеизвестно, что ты мудрый наставник и хорошо знаешь жизнь и

людей; но твой вопрос показывает, что ты никогда не испытывал страстной любви. Только усилие воли спасло меня от ненависти к чуткому и нежному брату, который не подозревал во мне соперника, всегда был ласков и добр. У меня бывало настроение, когда я мог восторженно и горячо ответить на его доброту. В последнюю ночь перед разлукой я чувствовал это сильнее чем когда-либо. Но вопреки всему я обрадовался, когда его не стало на моем пути, и не мог подавить в себе горя оттого, что он снова преградил мне дорогу.

— Да хранит тебя небо, сын мой! — сказал монах. — Тяжко и мрачно у тебя на душе. В таких же сумерках духа поднял руку на своего брата первый убийца, оттого что жертвоприношение Авеля было более угодно господу.

— Я буду бороться с демоном, который преследует меня, отец мой, — твердо заявил юноша. — Я буду бороться с ним и одолею его. Но сначала я должен удалиться отсюда, чтобы не быть свидетелем того, что здесь произойдет. Меня страшит, что я увижу, как засияют глаза Мэри Эвенел, когда к ней вернется ее возлюбленный. Как знать, не превращусь ли я тогда в Каина? Тревожная, неистовая, шальная радость в моей душе сменилась жадной преступлением, и как знать, на что толкнет меня бешенство отчаяния?

— Безумец! — воскликнул помощник приора. — К какому ужасному преступлению влечет тебя греховное неистовство!

— Моя участь решена, отец мой, — с твердостью проговорил Эдуард. — Я посвящаю себя религии, как вы мне часто советовали. У меня сейчас одна цель — вернуться с вами в обитель святой Марии и там, с благословения пресвятой девы и святого Бенедикта, просить лорда-аббата принять мой обет.

— Не теперь, сын мой, — остановил его отец Евстафий. — Ты чересчур возбужден и расстроен. Человек мудрый и добрый никогда не принимает даров, расточаемых сгоряча, о которых дающий может впоследствии пожалеть. Так подобает ли нам приносить

дары высшей премудрости и благости, когда нами не руководят обдуманность и благочестие, необходимые, дабы наше подношение было приемлемо для обыкновенных людей в сей юдоли мрака и печали? Говорю тебе все это, сын мой, не с целью отвлечь тебя от избранной доброй стези, но чтобы ты уверился в правильности твоего выбора и призвания.

— Есть такие решения, отец мой, которые не терпят отсрочек, — возразил Эдуард, — и это одно из них. Я должен действовать *сейчас* — или никогда. Разрешите мне следовать за вами! Разрешите не видеть возвращения Хэлберта под эту кровлю. Стыд и сознание моей вины перед ним, слившись воедино со страстной любовью к ней, могут довести меня до самого худшего. Повторяю, разрешите поехать с вами!

— Взять тебя с собой я, конечно, согласен, сын мой, — сказал монах, — но наш устав, благоразумие и установленный порядок требуют, чтобы ты провел известное время с нами в качестве послушника на искусе, прежде чем ты произнесешь окончательный обет, в силу которого навсегда отречешься от мирской суеты и посвятишь себя служению господню.

— А когда мы поедем, отец мой? — спросил юноша с таким нетерпением, как будто предстоящее путешествие сулило ему безмятежные удовольствия летнего отдыха.

— Хоть сейчас, если хочешь, — ответил отец Евстафий, уступая его порыву. — Вели приготовить все, что необходимо для нашего отъезда. Впрочем, повремени, — сказал он, видя, с какой несвойственной ему горячностью Эдуард бросился к двери. — Подойди ко мне, сын мой, и преклони колена.

Эдуард повиновался и опустился перед ним на колени. Не обладая внушительной фигурой и величественными чертами лица, помощник приора благодаря властному голосу и строгости в осанке умел внушать и кающимся и ученикам своим подлинное чувство благоговения. Каждую из своих обязанностей он выполнял с глубоким религиозным чувством,

а духовный пастырь, сам твердо убежденный в важности своей деятельности, почти всегда сообщает эту убежденность своим слушателям. В такие минуты, как сейчас, его тщедушное тело, казалось, приобретало могучую осанку, изможденное лицо освещалось смелым, вдохновенным и повелительным выражением; его всегда благозвучный голос трепетал, как бы повинуюсь доносящимся к нему божественным указаниям, — из обыкновенного смертного он преображался в символ церкви, наделенный ее властью снимать с кающихся грешников бремя греховности.

— Возлюбленный сын мой, — произнес он, — правдиво ли ты изложил мне все обстоятельства, столь внезапно побудившие тебя вступить в иноческое братство?

— В грехах моих я покался чистосердечно, отец мой, — ответил Эдуард, — но еще не сказал об одном странном видении, которое повлияло на меня и, я полагаю, укрепило мою решимость.

— Говори, — приказал помощник приора, — твой долг не скрывать от меня ничего, дабы я мог судить об искушениях, кои тебя одолевают.

— Не хотелось бы мне рассказывать об этом, — сказал Эдуард. — Бог свидетель, я не лгу, но хотя мои собственные уста говорят чистейшую правду, мои собственные уши отказываются верить.

— Ничего не утаивай, не бойся, — ободрил его отец Евстафий. — Знай, что у меня есть основания считать истиной то, что другие объявили бы вздорной небылицей.

— Так знайте же, отец мой, — проникновенно начал Эдуард, — что в ущелье Корри-нан-Шиан я помчался, гонимый отчаянием и надеждой. Великий боже, что за надежда — найти изувеченное тело моего брата, доброго, нежного, отважного брата, наскоро зарытое в окровавленную землю, которую попирала нога надменного победителя... Но, как вам уже известно, преподобный отец, мы не нашли его могилы, которую, вопреки лучшим сторонам души, жаждали мои низменные желания. Ни малейшего

следа вскопанной земли не было в том уединенном месте, где вчера утром Мартин видел роковой холмик. Вы знаете жителей наших долин, отец мой. Ущелье пользуется дурной славой. Исчезновение могилы испугало моих спутников, и они бросились бежать, словно их застигли на месте преступления. Надежды мои рушились, мысли перемешались, я уже не боялся ни живых, ни мертвых. Совсем медленно стал я спускаться в долину, часто оглядываясь и даже радуясь трусости моих спутников, которые удрали из темного ущелья и оставили меня наедине с моими мрачными и тревожными думами. Когда они, затерявшись в извилистых оврагах, скрылись из виду, я оглянулся и увидел у источника фигуру женщины...

— Как ты сказал, возлюбленный сын мой? — перебил его помощник приора. — Смотри не шути в такую серьезную минуту.

— Я не шучу, отец мой, — возразил молодой человек. — Кажется, я потерял охоту к шуткам навсегда или, во всяком случае, надолго. Так вот, я увидел фигуру женщины в белом одеянии, похожую на призрак, который, по преданию, охраняет дом Эвенолов. Поверьте мне, отец мой, клянусь небом и землей, я говорю только то, что видел своими глазами!

— Я верю тебе, сын мой, — сказал монах, — продолжай свое удивительное повествование.

— Призрачная женщина запела, — продолжал Эдуард, — и я могу, как ни странно это вам покажется, повторить ее песню. Слова так запечатлелись у меня в памяти, как будто я запомнил их еще в детстве:

«Ты, кто пришел к волнам потока,
С надеждой, с мыслью столь жестокой,
Чье сердце радостно стучит,
Хоть часто сумрачен твой вид, —
Прочь, прочь! Ведь здесь, в глуши унылой,
Нет гроба, трупа и могилы.
Мертвец Живой ушел, и сам
Иди к Живым ты Мертвецам!

Живые Мертвецы! В них тоже
Есть мысль, она с твоею схожа...
Не излечились до конца
От бурной страсти их сердца:
В них под личиною смиренья
Пылают дико вожделенья!
О келье тихой думай ты,
Где ждут молитвы и посты,
На серый цвет смени зеленый
И в монастырь уйди, спасенный!»

— Странная это песня, — сказал отец Евстафий, — и боюсь, что пропета она была не с добрыми намерениями. Но мы обладаем властью обратить козни сатаны против него самого. Ты отправишься со мной, Эдуард, как тебе это желательно. Изведаешь жизнь, для которой, по моему давнему убеждению, ты лучше всего подходишь. Ты pomoжешь моей дрожащей руке, сын мой, поддерживать святой ковчег, который стремятся схватить и осквернить дерзновенные святотатцы. А с матерью ты не хочешь повидаться перед отъездом?

— Я не хочу видаться ни с кем! — торопливо воскликнул Эдуард. — Мольбы матери могут поколебать веление моего сердца. О моем новом призвании они услышат из обители. Пусть все о нем узнают: моя мать, Мэри Эвенел, мой воскресший и счастливый брат. Пусть все узнают, что Эдуард умер для света и не будет помехой их счастью. Мэри больше не придется, из-за того, что я нахожусь поблизости, придавать своему лицу и своим словам нарочитую холодность. Она сможет...

— Сын мой, — прервал его отец Евстафий, — готовясь принять духовный сан, не следует оглядываться назад, на суетность мирской жизни и на сопряженные с нею тревожнения. Поди вели седлать лошадей, и дорогой я открою тебе истины, с помощью которых наши предки и древние мудрецы овладели чудесной алхимией, позволяющей превращать страдания в счастье.

Глава XXXIII

Все здесь запуталось, скажу по чести,
Как нитки у вязальщицы уснувшей,
Когда котенок возится с клубком,
Покуда дремлет у огня старушка..
Распутать узел — надобно уменье!

Старинная пьеса

Торопясь, как человек, сомневающийся в неизбежности своего собственного решения, Эдуард отправился седлать лошадей, попутно поблагодарив соседей, прибывших к нему на выручку, и простившись с ними. Внезапный отъезд Эдуарда и неожиданный оборот всего дела их немало удивил.

— Довольно прохладное гостеприимство, — заметил Дэн из Хаулетхэрста, обращаясь к своим товарищам. — В дальнейшем пускай Глендининги во всем мире умирают и воскресают сколько им угодно: они не дождутся, чтобы я снова ради них занес ногу в стремя.

Желая умиротворить их, Мартин предложил им подкрепиться и выпить вина. Обед прошел как-то хмуро, и все они разъехались по домам в дурном настроении.

Радостная весть, что Хэлберт жив, мгновенно облетела весь дом. Элспет то плакала, то благодарила небеса, но вскоре в ней проснулась привычная рассудительность хозяйки, и она заворчала:

— Не так просто починить ворота. Как прикажете жить, когда все двери настежь, каждая собака забежать может!

У Тибб было свое мнение: она-де всегда знала, что Хэлберт не ударит лицом в грязь и так легко не даст себя убить какому-то там сэру Пирси. Пусть про англичан говорят что угодно, но, когда дело доходит до рукопашной, им не устоять против нашего шотландца — не та сила и кулак не тот.

Переживания Мэри Эвенел были несравненно глубже. Она только недавно научилась молиться, и у нее создалось впечатление, что небо тотчас ответило на ее молитвы, Милосердие, о котором она

молила, повторяя слова священного писания, снизошло на нее как некое чудо. Вняв ее горестным жалобам, провидение раскрыло могилу и вернуло ей усопшего. Опасная восторженность стала овладевать ее чувствами, хотя проистекала она из искреннего благочестия.

Найдя между немногими ценными вещами своего гардероба шелковое вышитое покрывало, Мэри вернула в него, спрятав от всех, священную книгу, которую впредь решила беречь, как самое заветное сокровище, и сокрушалась о том, что без сведущего толкователя многое в текстах окажется для нее «книгой за семью печатями». Она не подозревала, что произвольное или ложное толкование наиболее ясных с первого взгляда изречений таит в себе гораздо большую опасность. Но небеса уберегли ее от этих искаженных толкований.

Пока Эдуард седлал лошадей, Кристи из Клинтхилла снова спросил, каковы будут приказания относительно реформатского проповедника Генри Уордена, и достойный монах снова оказался в затруднении, не зная, как примирить свой долг по отношению к церкви с состраданием и уважением, которые ему, помимо его воли, внушал его бывший единоведец и друг. Однако благодаря неожиданному отъезду Эдуарда отпадало главное возражение против пребывания Уордена в Глендеарге.

«Если я отправлю этого Уэлвуда или Уордена в наше аббатство, — размышлял отец Евстафий, — он умрет, умрет в ереси, загубив душу и тело. Такое наказание когда-то считалось целесообразным для устрашения еретиков, но в настоящее время их число так неудержимо растет, что казнь одного вызовет у всех остальных ярость и жажду мести. Правда, он отказывается дать зарок и больше не сеять своих плевел среди доброй пшеницы, но на здешней почве его семена не взойдут. Я не боюсь его влияния на этих бедных женщин, подвластных церкви и воспитанных в должном повиновении ее заветам. Эдуард с его острой любознательностью, горячностью и смелостью мог бы воспламениться от пагубного огня,

но его здесь не будет, а больше гореть некому. Таким образом, Уэлвуд не сможет распространять свое губительное учение, но жизнь его сохранится, и, как знать, может быть удастся спасти его душу, как птицу, попавшую в тенета. Я буду сам состязаться с ним в споре — ведь в юношеских диспутах я ему не уступал, а теперь, если силы мои поубавились, меня поддержит само дело, за которое я ратую. Только бы этот грешник признал свои заблуждения — духовное возрождение отщепенца во сто крат полезнее для церкви, чем его телесная смерть.

После этих размышлений, внушенных добротой души, узостью кругозора, изрядным самомнением и немалым самообольщением, помощник приора велел ввести узника.

— Генри, — сказал он, — чего бы ни требовало от меня неумолимое чувство долга, давняя дружба наша и христианское милосердие не позволяют мне послать тебя на верную смерть. При всей своей суровости и непреклонности ты всегда умел широко мыслить. Пусть же преданность тому, что ты считаешь своим долгом, не заведет тебя слишком далеко — дальше, чем повиновение долгу увлекло меня. Помни, что за каждую овцу, которую ты уведешь из стада, тебе в надлежащее время придется держать ответ перед всевышним, который пока позволяет тебе творить подобное зло. Я не требую от тебя никаких обязательств, кроме того, что ты на честное слово останешься в этой башне и явишься, когда тебя позовут.

— Ты изобрел способ связать мне руки крепче, чем если бы их сковали самыми тяжелыми цепями в тюрьме твоего монастыря, — ответил проповедник. — Я не совершу опрометчивого шага, который мог бы навлечь на тебя гнев твоих злосчастных начальников, и буду тем более осмотрителен, что надеюсь: если нам представится возможность еще раз побеседовать — я вырву твою душу из когтей сатаны, подобно тому как из пламени выхватывают обгоревшую головню. Сорвав с тебя одеяние антихриста, торгующего людскими грехами и людскими душами, я смогу еще помочь тебе обрести скалу незыблемую.

Это увещание, которое почти в точности соответствовало собственным чувствам отца Евстафия, зажгло его тем же воинственным пылом, какой охватывает боевого петуха, когда он слышит задорный голос своего будущего противника и отвечает ему.

— Благодаря богу и пречистой деве, — сказал он, выпрямившись во весь рост, — моя вера бросила якорь у скалы, на которой основал свою церковь святой Петр.

— Это искажение текста, — резко возразил Уорден, — пустая игра словами, бессмысленная параномазия.

Спор чуть было не разгорелся снова и, весьма возможно, кончился бы отправкой проповедника в монастырский каземат (разве спорящие могут удержаться в границах благоразумия!), но, к счастью, Кристи из Клинт-хилла заметил, что становится поздно и ему не слишком желательно проезжать после захода солнца по ущелью, которое пользуется дурной славой. Ввиду этого помощник приора подавил в себе полемический азарт и, повторив проповеднику, чтолагается на его признательность и благородство, стал с ним прощаться.

— Будь уверен, мой старый друг, — сказал ему Уорден, — что намеренно я не причиню тебе неприятности. Но если владыка ниспошлет мне поручение, я должен подчиниться воле господа.

Обладая большими природными способностями и большим запасом накопленных знаний, эти два человека во многом напоминали друг друга, хотя каждый из них неохотно признался бы в этом. По существу, главное различие между ними состояло в том, что католик, отстаивая религию, которая оскорбляла чувства своей жестокостью, руководствовался более рассудком, чем сердцем, и был дальновиден, осторожен и хитер, между тем как протестант, действуя под сильным влиянием недавно обретенного убеждения и страстно уверовав в его правоту, восторженно, настойчиво и неудержимо стремился распространять новые идеи. Монах желал уберечь, проповедник жаждал завоевывать и действовал поэтому более круто

и решительно. Они не могли расстаться, не обменявшись повторным рукопожатием, и каждый из них, прощаясь со старым другом и глядя ему в лицо, выражал всем своим обликом сердечность, соболезнование и печаль.

Затем отец Евстафий в нескольких словах объяснил госпоже Глендининг, что приезжий будет в течение некоторого времени ее гостем, причем ей и всем домашним под страхом строжайших духовных наказаний возбраняется вести с ним какие-либо беседы на религиозные темы; во всем прочем, однако, ей надлежит окружить гостя большим вниманием.

— Да простит мне пресвятая дева, — сказала госпожа Глендининг, несколько смущенная этим известием, — но приходится все-таки сказать вам, преподобный отец, что когда гостей чересчур много, хозяину несдобровать. Вот увидите, погубят гости наш Глендеарг. Поначалу к нам приехала леди Эвенел (упокой господи ее душу!), она ничего дурного не желала, но с тех пор пошли у нас разные духи да оборотни — покоя от них нет! С той поры мы все живем как во сне. Потом свалился к нам этот английский рыцарь, с вашего позволения, и пусть он не убил моего сына, но из дому выгнал, и, может быть, много воды утечет, пока я его снова увижу, а о поломке ворот и внутренней двери лучше не вспоминать. После всего вы, ваше преподобие, оставляете моим заботам еретика, который, похоже на то, накличет на нас самого большущего черта с рогами. Этому, говорят, ни окон, ни дверей не надо, выломает и утащит целую стену старой башни — и поминай как звали. Во всяком случае, преподобный отец, как вы распорядитесь, так мы и сделаем.

— Начинай действовать, хозяйка, — приказал помощник приора. — Отправь кого-нибудь в поселок за плотниками. Счет за работу пусть представят в монастырь, я велю казначею расплатиться. Сверх того, при определении арендной платы и других налогов мы сделаем скидку за все хлопоты и издержки, выпавшие на твою долю. Я позабочусь также, чтобы немедленно разыскали твоего сына.

При каждом милостивом обещании вдова Глендинг низко кланялась и глубоко приседала, а когда отец Евстафий умолк, она выразила надежду, что помощник приора с ее слов расскажет мельнику о судьбе его дочери, непременно объяснив при этом, что она, Элспет, нисколько не виновата в том, что случилось.

— Мне что-то не верится, отец мой, — заключила она, — что Мизи в скором времени вернется домой на мельницу. Во всем виноват сам мельник — он позволял ей рыскать где попало, скакать верхом безо всякого седла, смотрел сквозь пальцы, что она никакой домашней работы не делает, лишь бы только она приготавлила обжоре отцу к обеду что-нибудь вкусенькое.

— Ты напоминаешь мне, хозяйшка, об одном срочном деле, — заметил отец Евстафий. — Одному господу известно, сколько их накопилось у меня. Необходимо разыскать английского рыцаря и сообщить ему обо всех этих странных событиях. Надо также найти неблагодарную девушку. Если сие горестное недоразумение повредит ее доброму имени, я буду считать себя отчасти виноватым. Но как найти беглецов, я не знаю.

— Если вам угодно, — вмешался Кристи из Клинтхилла, — я, пожалуй, возьмусь поохотиться за ними и доставлю их вам по добру или силком. Хоть вы всегда при встрече со мной хмуритесь, что черная ночь, но я-то не забыл, что кабы не вы, так моя шея уже давно бы узнала, сколько весят мои четыре лапы. Если есть на свете человек, кому по силам изловить эту парочку, так это только я — говорю открыто в лицо всем «джекам» Мерса, Тевинтдейла, да еще и всем лесничим вдобавок. Но сперва мне надо кой о чем переговорить с вами по поручению моего господина, если вы позволите мне вместе с вами проехать по ущелью.

— Однако, друг мой, — возразил отец Евстафий, — ты бы лучше вспомнил, что у меня есть основательные причины избегать твоего общества в столь уединенном месте.

— Ну, ну, не бойтесь! — воскликнул предводитель «джеков». — Передо мной уже маячила смерть, так неужели я опять возьмусь за эти проделки? А потом, разве я не говорил уже десять раз, что обязан вам жизнью? Если человек мне сделал добро или зло, я рано или поздно расплачусь по заслугам. Ко всему этому, черт меня побери, не хочу я ехать по этому ущелью один или даже с моими молодцами, хотя каждый из них такое же дьявольское отродье, как я сам. А вот если ваше преподобие (видите, я знаю, как выражаться) возьмете четки и псалтырь, и я буду рядом в панцире и с копьем, так от вас бесы взлетят в воздух, а от меня грабители полягут в землю.

Тут вошел Эдуард и доложил, что лошадь его преподобия готова. При этом глаза юноши встретились с глазами матери, и, предвидя прощальный разговор с нею, молодой Глендининг почувствовал, что его решимость слабеет. Помощник приора заметил его замешательство и поспешил ему на выручку.

— Хозяюшка, — сказал он, — я забыл предупредить вас, что Эдуард поедет со мной в монастырь и вернется только дня через два-три.

— Вы хотите помочь ему найти Хэлберта? Пусть все святые наградят вас за доброту!

Ответив благословением на ласковые слова, которых он в этом случае, честно говоря, не заслуживал, отец Евстафий отправился в путь в сопровождении Эдуарда. Вскоре к ним присоединился Кристи, который со своими дружинниками мчался за ними с большой быстротой — очевидно, его желание путешествовать по ущелью под охраной духовного воинства было вполне искренним. Имелась, впрочем, и другая причина, почему Кристи так спешил, — он должен был передать помощнику приора поручение от своего господина, Джулиана Эвенела, неспроста приславшего Генри Уордена в распоряжение аббатства. Уговорив отца Евстафия отъехать вместе с ним вперед, чтобы отделиться на несколько ярдов от Эдуарда и дружинников, Кристи начал излагать поручение своего господина, то и дело умолкая, — страх перед

сверхъестественными существами пересиливал в нем веру в святость его спутника.

— Мой господин, — сказал «джек», — думал вам очень угодить, прислав этого старого еретика, но вы так мало заботитесь о его целости, что, видно, подарок вас не слишком-то обрадовал.

— Твое суждение ошибочно, — ответил монах. — Наша община высоко ценит эту услугу и достойно вознаградит твоего господина. Но этот человек был когда-то моим другом, и я надеюсь вернуть его с гибельной стези на путь истинный.

— Вот как! — воскликнул телохранитель Джулиана. — Когда я уже поначалу увидел, как вы пожимаете ему руку, — ну, думаю, у них пойдет все тихо-благородно, безо всяких крайностей. Впрочем, моему господину до этого дела нет. Пресвятая Мария! Сэр монах, видите, что это такое?

— Ивовая ветка, что свешивается над дорогой и чернеет на светлом небе.

— Черт меня побери, точь-в-точь человеческая рука с мечом! — воскликнул Кристи... Да, так вернемся к моему господину. Как благоразумный человек, он в наше шальное время держится посерединке, пока ему не станет ясно, в какую сторону лучше податься. Большие барыши ему сулили лорды из конгрегации, которых вы зовете еретиками, и если говорить начистоту, так одно время он уже совсем было собрался пристать к ним — поверил, что лорд Джеймс¹ подвигается сюда со своими удалыми конниками, которых у него немало. Сам лорд Джеймс так понадеялся на моего господина, что прислал этого Уордена — или как там его зовут — под крылышко барона, как к своему верному другу, да еще с известием, что сам лорд уже в пути и будет здесь в скором времени во главе всех своих кавалеристов.

— Защити нас мать божия! — воскликнул монах.

¹ Лорд Джеймс Стюарт, впоследствии Мерри, регент Шотландии. (Прим. автора)

— Аминь! — отозвался Кристи с испугом. — Ваше преподобие увидели что-нибудь страшное?

— Ничего не увидел, — ответил монах. — Твой рассказ исторг у меня это восклицание.

— И не мудрено, — заметил молодчик из Клинтхилла, — явился только лорд Джеймс — и дым коромыслом пойдет от вашей обители. Но будьте покойны, поход кончился, не успев даже как следует начаться. Мой господин доподлинно узнал, что лорду Джеймсу пришлось, хошь не хошь, отправиться со своими весельчаками на запад, на подмогу к лорду Семплу, который сцепился там с Кассилисом и с Кеннеди. Провалиться мне на этом месте, если он не получит там здоровой трепки. Вы, конечно, знаете песенку:

Там, между Уигтоном и Эйром,
Между Портпатриком и Кри,
Нельзя шататься кавалерам,
Не дружным с кланом Кеннеди,

— Значит, — сказал помощник приора, — перемена маршрута лорда Джеймса — вот что было истинной причиной дурного приема, оказанного Генри Уордену в замке Эвенелов?

— Его встретили бы не так уж грубо, — пояснил «джек», — потому что мой господин был в ту пору в большом раздумье, не знал, как ему быть в такое беспокойное время, как наше. Он вряд ли посмел бы оскорбить человека, который прибыл от столь грозного вождя, как лорд Джеймс. Наверно, какой-то суетливый чертенок попутал тут старикашку Уордена вмешаться в сожительство моего господина с Кэтрин Ньюпорт, которое барон с христианской свободой называет браком через соединение рук. Вот что вызвало перепалку между ними, и теперь вы можете заполучить на свою сторону и моего господина и всех его людей, потому что лорд Джеймс еще никому не простил обиды, и если одолеет он, то не сносить головы Джулиану, хоть он и последний в семье, если не считать той девчонки в башне. Вот я вам столько

наговорил про дела моего господина, что он, пожалуй, не поблагодарил бы меня; но вы уже разок меня из беды выручили, и мне, может, еще понадобится ваша поддержка.

— Твоя откровенность, конечно, не останется без вознаграждения, — сказал монах. — В наше бурное время крайне важно, чтобы церковь знала, чем руководствуются ее соседи и что они намереваются предпринять. Но чего желает от нас твой господин в награду за свою преданность церкви? Мне он кажется одним из тех, кто и пальцем не пошевелит без выгоды для себя.

— На это ответить не хитро. Если барон будет верным союзником лорда Джеймса в этих местах, лорд обещал присоединить к поместью Эвенелов те земли Крэнбери-мура, которые врезаются в поместье моего господина. На такую же милость барон рассчитывает и с вашей стороны.

— Ну, а старик Гилберт, хозяин Крэнбери-мура, — возразил помощник приора, — как поступить с ним? Еретик лорд Джеймс уже заранее распоряжается, как ему вздумается, землями и всем достоянием монастыря: без защиты господа бога и вассалов, которые остались верны истинной церкви, он, конечно, по праву сильного, ограбит нас до нитки — вот почему, пока земельные владения принадлежат обители, мы не можем отнимать их у давнишних и преданных вассалов, чтобы насытить алчность людей, которые служат богу только в целях наживы.

— Клянусь алтарем, вы красно говорите, святой сэр! — воскликнул Кристи. — Но заметьте, что вслед за вашим Гилбертом пойдут два полуголодных трусливых неуча и одна-единственная старая, измученная кляча — для плуга она еще куда ни шло, а для воина-кавалериста уж никак не годится. Вот! А барон Эвенел выезжает со двора не иначе как с десятью, а чаще — с пятьюдесятью всадниками за спиной, и ратники эти снаряжены с головы до ног в такие доспехи, что им впору любое королевство завоевать! И скакуны под ними как слышат лязг сабли, так

пляшут, точно под музыку. Советую вам хорошенько подсчитать, что на одной стороне и что на другой, тогда вы догадаетесь, кто лучше послужит монастырю.

— Друг мой, — промолвил монах, — я бы охотно заплатил твоему господину за помощь столько, сколько он просит, ибо у нас нет выбора — нет лучшего способа уберечь аббатство от кошунственных грабежей, учиняемых еретиками. Но отнимать у бедняка клочок земли, полученный им от отца и деда...

— Вы лучше подумайте, — перебил его Кристи, — сладко ли будет спать этому бедняку, если мой господин узнает, что покой какого-то Гилберта для вас дороже, чем желания барона Эвенела. Мало ли у аббатства земли? Гилберта можно поселить в другом месте.

— Мы обсудим, как уладить это дело, — сказал монах, — и будем, в свою очередь, рассчитывать на самую деятельную поддержку твоего господина со всеми ратниками, которых он сможет набрать, для защиты святой обители против любого вражеского нашествия.

— Клянусь рукой воина и его железной перчаткой! — воскликнул начальник «джеков». — Ведь вот нас называют грабителями, ворами, по-всякому, но если мы кого взялись защищать, так уж в беде не бросим. Я буду рад-радехонек, когда мой господин наконец решит, куда примкнуть, а пока он бесится да выбирает, где больше дадут, жизнь у нас в замке — сущий ад (да простит мне пресвятая дева, что я здесь произношу такое слово!). Впрочем, мы, слава богу, выбрались из ущелья в открытую долину, и тут уж можно всласть выругаться, если надо будет.

— Друг мой, — заметил помощник приора, — не велика твоя заслуга, если ты воздерживаешься от клятв и богохульств только из страха перед злыми духами.

— Да ведь я не церковный вассал, — возразил начальник «джеков». — Если затянешь у жеребца

поводья, он непременно брыкаться начнет — так и я, трудно отстать от старой привычки.

Ночь была ясная, и они перешли реку вброд в том самом месте, где ризничий на свою беду встретился с призраком. Как только они подошли к монастырским воротам, брат привратник в тревоге воскликнул:

— Преподобный отец, лорд-аббат дожидается вас с большим нетерпением.

— Проводите этих приезжих в трапезную, — распорядился помощник приора, — и пусть брат келарь угостит их наилучшим образом, напоминая им, однако, о скромности и благопристойности, кои приличествуют гостям нашей обители.

— Идите, достойный брат мой, лорд-аббат требует вас к себе как можно скорее, — торопливо сообщил вбежавший отец Филипп. — В таком смятении и отчаянии я не видел его с самого сражения при Пинки.

— Иду, добрый брат мой, иду, — отозвался отец Евстафий. — Прошу тебя, добрый брат, проводи этого юношу, Эдуарда Глендининга, в покои, отведенные для послушников, под надзор их наставника. Господь коснулся юношеского сердца и надоумил Эдуарда оставить мирскую суету и вступить в число братьев нашего святого ордена. Если к его природным способностям присоединятся смирение и послушание, он может со временем стать украшением обители.

— Высокочитимый брат мой! — воскликнул старый отец Николай, который, ковыляя, подбежал к отцу Евстафию с третьим приглашением. — Умоляю тебя, поспеши к нашему доблестному лорду-аббату. Да осенит нас пресвятая заступница! Никогда еще не видел я настоятеля нашего аббатства в таком испуге, хотя я еще помню день, когда отец Ингельрам получил известие о Флодденском сражении.

— Иду, иду, высокочитимый брат мой, — ответил отец Евстафий и, воскликнув еще несколько раз: «Иду», наконец действительно направился к аббату.

Молитвами тут делу не поможешь:
Гром пушек заглушит колокола,
Каноном не спастись от канонады.
Свои кресты в монеты перелейте,
Все чаши и сосуды переплавьте...
Солдат голодных пригласив на пир,
Откупорьте заветные бочонки, —
Затем пошлите воинов на стены,
Они их будут защищать.

Старинная пьеса

Аббат встретил своего советника с трепетным нетерпением, которое показало отцу Евстафию, что его высокопреподобие чрезвычайно взволнован и крайне нуждается в добром совете. На столике, стоявшем вплотную у высокого кресла, не было ни еды, ни бокалов и лежали четки; по-видимому, стремясь успокоиться, аббат только что перебирал их. Рядом с четками находилась аббатская митра старинной формы, блестевшая драгоценными камнями, и к столику был прислонен посох, богато украшенный чеканной работой.

Вместе с помощником приора в покой аббата вошли отец ризничий и старый отец Николай: они, очевидно, надеялись узнать, что за важное дело сейчас будет обсуждаться здесь, и не ошиблись: когда, доложив о приходе отца Евстафия, они сделали вид, что собираются уйти, аббат знаком велел им остаться.

— Братья мои, — сказал он, — вам хорошо известно, с каким ревностным усердием управляли мы многотрудными делами обители, кои были вверены нашему недостойному разумению... Вы всегда получали насущный хлеб и не испытывали недостатка в воде. Я не расточал монастырских доходов на суетные развлечения, на охоту с собаками или соколами, на лишние и роскошные ризы и стихари, не пировал с праздными бардами и шутами, кроме тех, которые по старинному обычаю допускались в эти стены на рождество и на пасху. Никогда не одаривал я монастырскими богатствами ни родственников мне мужчин, ни посторонних женщин.

— Такого настоятеля, — сказал отец Николай, — у нас не было со времени аббата Ингельрама, который...

Услышав это зловещее начало, вслед за которым всегда следовало пространнейшее повествование, лорд-аббат прервал его:

— Упокой господи душу отца Ингельрама! Не о нем сейчас идет речь. Меня, братья мои, волнует вопрос: выполнял ли я, по вашему мнению, добросовестно и свято все обязанности, сопряженные с моим званием?

— У нас никогда не было оснований для жалоб, — ответил помощник приора.

Отец ризничий, куда более словоохотливый, принялся перечислять разные милости и поблажки, дарованные монастырской братии кротким аббатом Бонифацием — *indulgentiae*,¹ *gratias*,² *biberes*,³ еженедельное сладкое блюдо из вареного миндаля, расширение и переустройство трапезной, переоборудование кладовой, повышение монастырских доходов, отмена некоторых постов и лишений.

— Вы могли бы, брат мой, — сказал аббат, с грустью и умилением прислушиваясь к подробному перечню своих заслуг, — еще упомянуть, что это я распорядился построить замысловатую стену, которая защищает монастырские здания от северо-восточного ветра... Но все сие не существенно. *Capta est civitas per voluntatem Dei*,⁴ — читаем мы в истории Маккавеев. От меня потребовалось много забот и много дополнительного труда, чтобы всюду поддерживать порядок, который вы повсеместно наблюдали, чтобы амбары и закрома были полны, больница, спальни, покои для гостей и трапезная опрятно убраны... Чтобы шли своим чередом крестные ходы, выслушивались исповеди, приветливо встречались гости, по заслугам раздавались *veniae*,⁵ а недостойные чтоб их

¹ Отпущения (лат.).

² Милости (лат.).

³ Разрешения пить <вино> (лат.).

⁴ Государство захвачено согласно воле господа (лат.).

⁵ Привилегии (лат.).

не получали! И я могу поручиться, что когда каждый из братии уже мирно почивал в своей келье, ваш аббат еще долго не смыкал глаз, раздумывая, как с большей выгодой и толком распорядиться в том или другом случае.

— Разрешите спросить, высокочтимый лорд, — говорил отец Евстафий, — какая новая забота волнует вас в данную минуту, так как ваша речь, видимо, должна нас к чему-то подготовить.

— Воистину это так, — сказал аббат, — сейчас нам надлежит думать не о *biberes* или *caritas*, не о вареном миндале, но о разбойничьей шайке англичан, идущей на нас из Хексэма под предводительством сэра Джона Фостера; у нас речь пойдет не о том, как защититься от восточного ветра, но как избежать лорда Джеймса Стюарта с полчищами еретиков, у которых на уме только опустошения и грабежи.

— Я полагал, что этот поход не состоится из-за вражды между семействами Семплов и Кеннеди, — поспешно возразил отец Евстафий.

— Они, по обыкновению, столковались между собой за счет церкви, — сказал аббат, — за то, что графу Кассилису обещана церковная десятина с его земель, отошедших к дому Кросрагуэлов, — он ударил по рукам с лордом Стюартом, который стал именоваться графом Мерри. *Principes convenerunt unum adversus Dominum.*¹ Вот письма.

Аббат передал своему помощнику письма шотландского примаса, продолжавшего поддерживать расшатанное здание католической иерархии, которое в конце концов похоронило его под своими развалинами. Пока отец Евстафий, подойдя ближе к лампе, с глубоким интересом читал и перечитывал эти послания, отец ризничий и отец Николай глядели друг на друга с беспокойством обитателей птичьего двора, когда над ними парит ястреб. Аббат, казалось, согнулся под гнетом горестных опасений; он не спускал испуганных глаз со своего помощника, как бы стремясь прочесть на его лице, что еще не все поте-

¹ Военачальники соединились против господ (лат.).

ряно. Когда же он увидел, что отец Евстафий, вторично перечитав письма, хранит молчание и погружен в размышления, аббат не выдержал и тревожно спросил:

— Что же нам делать?

— Делать то, чего требует наш долг, — ответил отец Евстафий, — а остальное в руках божьих.

— Наш долг! Наш долг! — нетерпеливо повторял аббат. — Конечно, мы обязаны выполнять наш долг. Но в чем сейчас заключается этот долг? Будет ли нам от него польза? Сумеют ли колокол, молитвенник и свеча отогнать английских еретиков? Испугается ли Мерри псалмов и антифонов? Могу ли я, как некогда Иуда Маккавей, сражаться за обитель святой Марии против новых нечестивцев? Или послать нашего ризничего против нового Олоферна, дабы он принес мне его голову в корзине?

— Лорд-аббат, вы правы, — ответил помощник приора. — Обычным оружием воевать мы не можем — сие противоречит и нашему обыкновению и обету, но мы можем умереть за наш монастырь и за наш орден. Кроме того, мы вооружим всех, кто хочет и может сражаться. Англичан не так много: они, по-видимому, рассчитывали, что к ним присоединится Мерри, однако этого не случилось, он задержался в пути. Если Фостер со своими камберлендскими и хексэмскими разбойниками осмелится переступить границу Шотландии, чтобы предать нашу обитель огню и мечу, мы поднимем своих вассалов, и, полагаю, у нас хватит сил противоборствовать им на поле сражения.

— Пресвятая богоматерь, — вымолвил аббат, — неужто вы считаете меня Петром Пустынником, способным стать во главе войска?

— Нет, — возразил отец Евстафий, — пусть наше войско возглавит человек боевой, например Джулиан Эвенел: он испытанный военачальник.

— Да он безбожник, развратник и служитель Ваала! — воскликнул аббат.

— И все же, — сказал монах, — надо воспользоваться его помощью в том деле, в котором он может пригодиться. Мы щедро вознаградим его; я уже

знаю, чего он желает за свои услуги. Англичане, по слухам, скоро двинутся сюда — гостеприимство, которое мы оказали Пирси Шафтону, дало им удобный предлог с неслыханной наглостью вторгнуться в нашу страну.

— Вот как? — удивился аббат. — Впрочем, я всегда чувствовал, что его атласный камзол и мозги с плюмажем нам ничего хорошего не сулят.

— Однако необходимо заручиться его поддержкой, если это возможно, — заметил помощник приора. — Он может расположить в нашу пользу знаменитого Пирси Нортумберленда. Шафтон вечно хвастается своей дружбой с ним, а этот великодушный и благочестивый лорд может опрокинуть замыслы Фостера. Я сейчас же отправлю Кристи в погоню за сэром Пирси. Но главным образом я уповаю на воинственный дух жителей нашей страны, которые не допустят нарушения мира на границе. И поверьте мне, милорд, что нашу обитель будут грудью защищать и те из шотландцев, чьи сердца пошли на поводу у нового учения. Большим военачальникам и баронам станет стыдно, если одни только вассалы мирных монахов, без помощи с их стороны, вступят в бой против исконных врагов Шотландии.

— А может быть, — заметил аббат, — Фостер захочет дожидаться Мерри, который ненадолго задержался, но все же явится сюда.

— Клянусь распятием, он не станет ждать Мерри, — возразил отец Евстафий. — Мы знаем этого сэра Джона Фостера. Гнусный еретик, он давно жаждет разрушить монастырь. Как уроженец границы, он зарится на богатства нашей общины. Как начальник пограничной стражи, он спит и видит, как бы ворваться в Шотландию. На это у него много причин. Если он соединится с Мерри, то в лучшем случае урвет в свою пользу какую-то долю добычи, зато если его опередит, то может рассчитывать, что все награбленное целиком попадет ему в руки. Я слышал, что Джулиан Эвенел тоже затаил вражду против сэра Джона Фостера; значит, столкнувшись, они будут сражаться еще упорнее и злее., Ризничий, пошлите

за нашим управителем. Где список вассалов, несущих караульную службу по охране монастыря? Отправьте нарочного к барону Мейгалоту — он может дать нам шестьдесят конников, а может быть, и больше. Передайте ему, что, если он теперь покажет себя нашим другом, монастырь прекратит тяжбу и будет платить ему пошлину за проезд по его мосту. А теперь, милорд, попробуем сопоставить численность наших вассалов и численность неприятельских войск, дабы не проливать напрасно человеческой крови. Для этого надо подсчитать.

— У меня голова кругом идет от всех этих бедствий, — прервал его аббат. — Полагаю, что я не трусливее других, когда дело касается только меня самого, но не говорите со мной о военных походах, о формировании войск и подсчете солдат — тут я смыслю не больше, чем самая юная послушница женского монастыря. Но я уже принял решение. Братия, — провозгласил он, поднявшись и выступив вперед с достоинством, которое весьма удачно сочеталось с его представительной наружностью, — послушайте в последний раз голос вашего аббата Бонифация. Я сделал для вас все, что мог; если бы времена были спокойнее, я сделал бы, наверно, больше, потому что именно в поисках спокойного пристанища пришел я в ваш монастырь, который, однако, принес мне больше волнений и тревог, чем если бы я сидел за конторкой в должности таможенного чиновника или скакал на коне как предводитель вооруженного отряда. И дальше дела идут все хуже и хуже, а я старею, и мне с ними не справиться. Не приличествует мне занимать должность, сопряженную с обязанностями, которые — по моей ли вине или несчастному стечению обстоятельств — для меня чересчур тяжки. Вот почему я решил сложить с себя высокий сан и вручить бразды правления здесь присутствующему отцу Евстафиусу, нашему любимому помощнику; мне весьма отрадно, что его еще не успели с повышением, согласно его заслугам, перевести в другое аббатство. Ибо я надеюсь, что ему вручат митру и посох, от каковых я ныне намерен отказаться.

— Во имя божьей матери, не делайте ничего второгоя, милорд! — воскликнул отец Николай. — Я хорошо помню, как заболел и слег в постель достойный аббат Ингельрам, которому тогда шел уже девяностый год. На его памяти ведь произошло низложение Бенедикта Тринадцатого. И вот братия стала ему нашептывать, что лучше бы он отказался от своей должности. И что же ответил аббат Ингельрам, всегда любивший пошутить? Что пока он в состоянии согнуть мизинец, он будет крепко держаться за свой посох.

Ризничий тоже горячо восстал против решения духовного владыки, уверяя, что напрасно аббат ссылагается на свою мнимую неспособность руководить монастырем; только прирожденная скромность могла внушить ему подобную мысль. Его высокопреподобие слушал отца Филиппа, сохраняя грустное безмолвие, — даже лесть не могла его развлечь.

Отец Евстафий обратился к своему удрученному и поникшему пастырю с более проникновенной речью.

— Милорд аббат, — сказал он, — я еще никогда не говорил о достоинствах, кои вы обнаружили, управляя нашим монастырем, но не думайте, что я их не сознаю. Я уверен, что еще ни один человек, вознесенный столь высоко, не горел таким искренним желанием творить добро, как этого хотели вы. И если ваше правление не ознаменовалось громкими подвигами, на какие иногда отваживались ваши духовные предшественники, зато вам чужды недостатки, которыми отличались они.

— Я никак не предполагал, — заметил аббат, с некоторым изумлением взглянув на отца Евстафия, — что именно вы, отец мой, захотите воздать мне должное.

— В ваше отсутствие я воздавал вам должное с еще большей полнотой, — возразил отец Евстафий. — А сейчас не теряйте доброй славы, которая вам сопутствует, и не отказывайтесь от должности в такое время, когда ваша заботливость нам более всего необходима.

— Брат мой!— воскликнул аббат.— Мое место займет человек более умелый.

— Вовсе нет, милорд, — сказал отец Евстафий. — Разве вам нужно сложить с себя сан, чтобы я отдал общине опыт и некоторые способности, которые мне приписываются? Я достаточно давно в обители и знаю, что личные качества каждого из нас принадлежат не отдельному человеку, а составляют собственность всей общины и приносят пользу лишь в той мере, в какой служат общему благу. Если вам, милорд, не угодно лично распоряжаться нами в это тревожное время, умоляю вас, немедленно отправляйтесь в Эдинбург. Завоюйте там новых могущественных друзей для нашего аббатства и предоставьте мне как вашему помощнику исполнить свой долг, защищая монастырские владения. Если я добьюсь успеха, пусть честь и слава принадлежат мне, если потерплю неудачу — стыд и позор мне одному!

Аббат призадумался, а затем ответил:

— Нет, отец Евстафий, вы не сломите меня вашим великодушием. Во времена, подобные нынешним, монастырю нашему нужен более суровый кормчий, с рукою более твердою, чем моя. И тот, кто правит кораблем, должен главенствовать и над его командою. Стыдно было бы мне принимать почести за чужие труды; по слабому моему разумению, любая хвала, какая выпадает на долю человека, взявшего на себя столь тяжкую и опасную задачу, будет недостаточною наградою по сравнению с его заслугами. Горе тому, кто умалит его славу хоть на йоту! Сегодня же вечером беритесь за дело, брат Евстафий, и учините все распоряжения, какие сочтете необходимыми. Пусть завтра после обедни соберется капитул, и да исполнится все, что я сказал. *Venedicite*,¹ братья мои. Мир с вами! И пусть ваш будущий аббат спит в эту ночь так же крепко, как тот, кто готовится снять с себя митру.

Все разошлись по кельям, растроганные до слез. Добродушный аббат выказал тут такие свойства

¹ Восславьте господа (лат.).

души, каких никто у него ранее не замечал. Даже помощник приора до сих пор считал своего духовного отца человеком доброжелательным, но ленивым и избалованным, и находил, что главным его достоинством является отсутствие крупных недостатков. Решение аббата отречься от власти во имя долга перед общиной значительно возвысило его в глазах отца Евстафия, невзирая на то, что благородные побуждения духовного владыки были слегка замутнены более низменными чувствами — страхом и малодушием. Помощнику приора стало даже совестно при мысли, что он лично извлекает пользу из самоотречения аббата Бонифация, известным образом возвеличивается за счет его падения, но другие, более веские соображения побороли это чувство. Нельзя было отрицать, что при нынешнем бедственном положении Бонифаций совершенно не годился в руководители, а Евстафий, действуя только в качестве доверенного лица, не смог бы самостоятельно распоряжаться, принимая необходимые и крутые меры; таким образом, благо общины требовало возведения его в высший сан. Пусть в сознание отца Евстафия иногда вкрадывалось удовлетворенное честолюбие и вслед за ним — свойственный горделивым душам восторг от предвкушения опасностей, неизбежно сопутствующих высокому положению; эти суетные чувства, сливаясь воедино с бескорыстными побуждениями, так растворялись в них, что сам помощник приора не подозревал об их существовании, и мы, питая к нему уважение, не будем до них докапываться.

Отдавая приказания, вызванные той или другой настоятельной необходимостью, будущий лорд-аббат держался более внушительно, чем прежде, и все приближенные могли заметить необычный блеск в его соколиных очах и необычный румянец на бледном изможденном лице. Изъясняясь кратко и выразительно, он написал от руки и продиктовал ряд писем ко многим баронам, сообщая им о предстоящем нападении англичан и заклиная их подняться на защиту обители святой Марии как на общее святое дело. Он привлекал заманчивыми обещаниями тех,

кого считал менее отзывчивыми на голос чести, стараясь, однако, у всех, к кому он обращался, воспламенить любовь к родине и разжечь старинную вражду к англичанам. Были времена, когда в подобных увещаниях не было никакой нужды. Но Елизавета оказывала реформатам в Шотландии такую значительную поддержку, и их партия здесь почти повсеместно настолько окрепла, что многие бароны могли бы в настоящем конфликте совсем не браться за оружие или даже соединиться с англичанами против католиков Шотландии.

Просматривая список ближайших вассалов монастыря, которые должны были по закону встать на его защиту, отец Евстафий от души пожалел, что вынужден подчинить их буйному и развратному Джулиану Эвенелу.

«Если бы удалось отыскать этого пылкого юношу, Хэлберта Глендиннга! — печалился отец Евстафий. — Несмотря на его молодость, я решил бы послать войска в бой под его началом и тверже уповал бы на милость божью. Наш управитель уже совсем одряхлел, и я, кроме этого Джулиана, больше не знаю военачальника с именем, кому бы можно было поручить столь важное дело».

Он позвонил в колокольчик, стоявший на столе, и приказал привести Кристи из Клинт-хилла.

— Ты обязан мне жизнью, — сказал начальнику «джеков» отец Евстафий. — Если ты будешь правдив со мной, я и впредь могу оказать тебе покровительство.

Кристи только что осушил два бокала вина, которые в другое время пуше развязали бы его дерзкий язык. Но сейчас во внушительной осанке отца Евстафия было нечто такое, что умеряло излишнюю развязность. Все же ответы Кристи отличались обычной бесшабашной самоуверенностью. Он изъявил согласие ответить на все вопросы правдиво и без утайки.

— Дружит ли так называемый барон Эвенел с сэром Джоном Фостером, наместником пограничной области в Англии?

— Дружит, — как дикая кошка с гончей собакой, — ответил «джек».

— Вступит ли барон Эвенел с ним в бой при встрече?

— Так же охотно, как забияка петух на масле-ницу.

— А будет ли барон биться с Фостером, защищая монастырь и католическую веру?

— Будет драться за дело и без дела, — ответил Кристи.

— В таком случае мы ему напишем, что если он, при нападении Фостера, объединит свои силы с монастырским войском, мы назначим его нашим военачальником и вознаградим за труды сообразно его желаниям. И еще один вопрос. Ты говорил, что берешься разузнать, куда бежал сегодня английский рыцарь Пирси Шафтон.

— Берусь узнать и доставить его сюда, силой или добром, как больше нравится вашей милости.

— Силу применять нет надобности. Как скоро ты думаешь найти его?

— За тридцать часов, если он еще не перебрался через Лотиан-ферт. Чтобы вам угодить, я отправлюсь сейчас же и выслежу его, как ищейка — контрабандиста, — ответил Кристи.

— Так доставь его сюда, и мы хорошо тебя вознаградим. Я надеюсь, что скоро в наших руках будут для этого достаточные средства.

— Премного благодарен вам и отдаю себя в руки вашей милости. Мы люди военные, иной раз делаем не то, что полагается. Но человеку, даже если он очень плохой, надо жить, и ваше преподобие знает, что без плутовства не проживешь.

— Довольно, сэр «джек», готовься к отъезду. Мы дадим тебе письмо к сэру Пирси.

Кристи шагнул к двери, но обернулся и, запинаясь, как человек, у которого вертится на языке вольная шутка, но не хватает дерзости ее выпалить, спросил, как ему поступить с беспутной девчонкой Мизи Хэппер, которую английский рыцарь увез с собой.

— Прикажете привезти ее сюда, ваша милость?

— Сюда, нечестивый наглец! — воскликнул монах. — Ты забываешь, с кем говоришь!

— Ничего обидного у меня и в мыслях не было, — возразил Кристи, — но если здесь она не ко двору, я мог бы доставить ее в замок Эвенелов — там всегда найдется место для смазливой девчонки.

— Отвези эту несчастную девушку в отчий дом и непристойными шутками здесь не забавляйся, — оборвал его отец Евстафий. — Смотри, чтобы по пути ничто не угрожало ее безопасности и чести.

— Безопасности-то — конечно, — ответил Кристи, — а чести у нее, верно, поубавилось, так я отвечаю только за остаток. Желаю вашей милости счастливо оставаться; я хочу сесть на коня до первых петухов.

— Что? Темной ночью! Как ты узнаешь, куда ехать?

— Рыцарь доскакал почти до самого брода, я ясно видел следы его коня, когда мы с вами ехали сюда, — сказал Кристи, — а потом следы повернули на север. Готов поручиться, что он на пути в Эдинбург. Я к рассвету буду у него за спиной. Подковы у его коня заметные, работы старого Экки из Кэноби. Их видно по бороздке, меня-то не проведешь!

С этими словами Кристи удалился.

— Как тягостно, что приходится прибегать к помощи подобных людей, — сказал отец Евстафий, глядя ему вслед. — Но что делать, когда всевозможные напасти осаждают нас со всех сторон! А сейчас надо приступить к самому нужному делу.

И новый аббаг сел писать письма и сочинять приказы, самолично распоряжаясь всеми делами обреченной на гибель общины. Он действовал с прямодушием и преданностью коменданта осажденной крепости, который, исчерпав почти все средства защиты, обдумывает, как отсрочить роковой час победоносного штурма. Тем временем аббат Бонифаций, отме-

тив несколькими тяжелыми вздохами утрату своего многолетнего первенствующего положения среди монастырской братии, крепко уснул, предоставив все заботы и труды своему помощнику и преемнику.

Глава XXXV

До моста ветхого добрался,
И с луком он поплыл...
А до травы доплыв, помчался
Бегом, что было сил.

Гил Моррис

Мы возвращаемся к Хэлберту Глендинингу, который, как, вероятно, помнят наши читатели, шел по шоссе в Эдинбург. Его разговор с Генри Уорденом, от которого он, выйдя на волю, получил рекомендательное письмо, был так короток, что Хэлберт даже не запомнил имени своего будущего покровителя. Какое-то имя было вскользь произнесено, но он уловил и понял только то, что надо разыскать начальника какого-то отряда конников, следующих по дороге на юг. Рассвет застал Хэлберта в пути, а тревога его не рассеялась. Человек более ученый узнал бы то, что ему нужно, прочитав имя адресата, но Хэлберт на уроках отца Евстафия не научился столь многому, чтобы разобрать наспех написанное имя. Здравый смысл подсказывал ему, что в такие смутные времена не нужно обращаться с расспросами к первому встречному, и когда, после целого дня пути, он к ночи очутился возле какой-то деревушки, им овладели сомнение и тревога.

В бедной стране гостеприимство оказывается широко и просто, так что Хэлберт, попросившись к незнакомым людям на ночлег, никого этим не удивил и нисколько себя не унизил. Старушка, к которой он обратился, тем охотнее согласилась на его просьбу, что нашла некоторое сходство между Хэлбертом и своим сыном Сондерсом, убитым в одной из стычек, столь частых в те времена. Правда, Сондерс был

невысокий, коренастый парень с рыжими волосами и веснушчатым лицом, вдобавок чуть кривоногий, между тем как незнакомец был высокий и стройный юноша с гладким смуглым лицом. Матери все же казалось, что в их наружности много общего, и она радушно предложила молодому гостю отужинать вместе с ней. За столом оказался еще один приглашенный — странствующий торговец лет сорока, который горько жаловался на опасности своего ремесла во время мятежей и войн.

— Только и почету, что рыцарям да солдатам, — рассуждал он, — а наш брат разносчик, кого ноги кормят, сказать по правде, храбрее всех. Спросите меня, я-то знаю, чего стоит жизнь коробейника, храни его господь! Вот сейчас я прошел такую даль в надежде, что благочестивый граф Мерри, побывав у барона Эвенела, двинется мимо здешних мест к границе. А вместо этого, нá тебе, он, оказывается, повернул на запад из-за каких-то драк в Эйршире. И что мне теперь делать — ума не приложу. Если я подамся на юг без охранной грамоты — первый встречный рейтар взвалит мою кладь к себе на коня, и будь здоров, а то еще, чего доброго, меня вдобавок прикончит. Если же я пушусь напрямиком через болото, то и там могу угодить на тот свет раньше, чем разыщу графское войско.

Никто так не владел искусством ловить нужное слово на лету, как Хэлберт Глендининг. Он заявил, что сам тоже идет на запад. Разносчик посмотрел на него с большим недоверием, но старушка хозяйка, считая, может быть, что юный путешественник напоминает Сондерса не только наружностью, но и вороватыми руками, которыми, как видно, отличался покойный, подмигнула Хэлберту и стала уверять разносчика, что ему нечего опасаться, что ее родич заслуживает полного доверия.

— Родич? — повторил разносчик. — Вы как будто говорили, что никогда его не видели.

— Вы слышали, да не дослышали, — пояснила хозяйка. — Правда, что в лицо я его не видала, но он мне все-таки родня, тут и спорить нечего; да взгля-

ните, до чего он похож на Сондерса, бедного моего сыночка.

Убедился ли торговец в необоснованности своих подозрений или попросту предпочел не высказывать их вслух, но путешественники решили в дальнейшем не расставаться и пуститься в дорогу на рассвете, с тем чтобы торговец указывал Глендинингу путь, а юноша охранял торговца, пока они не встретятся с конным отрядом Мерри. Хозяйка, по-видимому, составила себе определенное мнение об исходе их совместного путешествия, потому что, отведя Хэлберта в сторону, со всей серьезностью поручила ему:

— Смотри, пожилого человека чересчур не обижай, но по-хорошему или по-плохому, а не забудь прихватить черной саржи своей хозяйшкe на новенькое платье.

Хэлберт расхохотался и простился с ней.

Разносчик не на шутку оробел, когда в безлюдной и мрачной степи Хэлберт сообщил ему, с каким напутствием снарядила его в дорогу сердобольная хозяйка. Но чистосердечность и дружелюбие юноши успокоили его, и весь свой гнев он обрушил на неблагодарную старую чертовку.

— Только вчера я подарил ей целый ярд этой черной саржи на чепец, но, видно, нет смысла показывать кошке, как залезть в маслoбойку.

Уверившись в порядочности своего спутника (в те счастливые времена каждый незнакомец внушал самые худшие опасения), разносчик повел его напрямик по холмам и долинам, через трясины и болота, чтобы поскорее выбраться на дорогу, по которой должен был следовать отряд Мерри. Наконец они взобрались на холм, откуда, сколько хватало глаз, виднелась дикая и пустынная равнина, болотистая и чахлая, где между каменистыми взгорьями и зеленой топьeю голубели большие лужи стоячей воды. Еле заметная дорога, как змея, вилась по этой пустоши, и разносчик, указывая на нее, сказал:

— Вот дорога из Эдинбурга в Глазго. Тут надо повременить, и если Мерри со своими людьми тут еще не прошел, то мы скоро этот отряд увидим,

разве что новые приказы изменили его направление. Такое у нас блажное времечко — уж на что близкий к трону человек, как граф Мерри, и тот, когда ложится спать сегодня, не знает, где ему придется ночевать завтра.

Они сделали привал; разносчик счел за благо усесться на короб, содержащий его сокровища, и, кроме того, предупредил Хэлберта, что под плащом у него на всякий случай прикреплен к поясу пистолет. Все же он любезно предложил Хэлберту подкрепиться, благо у него было с собой что поесть. В его припасах ничего лакомого не содержалось — овсяные лепешки, толокно, размешанное в холодной воде, да по луковице и куску копченой ветчины на каждого, — вот и все пиршество. Однако, при всей скромности этой еды, от нее не отказался бы ни один шотландец того времени, будь он куда знатнее, чем Глендининг, в особенности когда разносчик с таинственным видом снял рог, висевший у него за плечом, в котором оказалось для каждого из сотрапезников по полной раковинке превосходного асквибо; этого напитка Хэлберт доселе не знал, потому что в южную Шотландию водка привозилась только из Франции и была редкостью. Разносчик очень расхваливал свой напиток, рассказывая, что добыл его в Даунских горах, где торговал весьма успешно, пользуясь охранной грамотой лорда Бьюкэнана. Второй неожиданностью для Хэлберта было то, что он набожно осушил свою раковинку «за скорейшую гибель антихриста».

Едва успели они кончить дружескую трапезу, как на дороге, которая была им отлично видна, поднялось облако пыли, сквозь которую можно было различить человек десять всадников на полном скаку. Их каски сверкали и острия копий то и дело вспыхивали на ярком солнце.

— Это, должно быть, разведчики отряда Мерри, — сказал разносчик. — Скорей ложись, заберемся в яму, чтобы нас не заметили.

— А зачем? — удивился Хэлберт. — Не лучше ли нам спуститься и подать им знак?

— Боже упаси! — воскликнул разносчик. — Неужто ты так плохо-знаешь шотландские обычаи? Этими гарпунщиками, что там скачут во весь опор, наверняка командует головорез какой-нибудь из рода Мортонгов или другой такой же душегубец, что ни бога, ни черта не боится. Дело разведчиков известное: если на пути кого чужих повстречают — затеять ссору да прочь с дороги убрать, чтоб чисто было, а главному военачальнику и невдомек, что там, впереди, делается: он со своими ратниками, кто по-разумнее да поспокойнее, тащится где-то сзади, иногда за целую милю. Повстречайся с этими удалцами разведчиками — и твое письмо принесет тебе мало пользы, а мне мой короб — горькое горе. Сорвут с нас всю одежду, привяжут к ногам булыжник и швырнут в трясину голыми, как мы явились в этот грешный мир, и ни Мерри и никто другой об этом понятия иметь не будут. А если и узнают — какой от этого толк? Скажут: вышла ошибка, вот и весь плач. Уж поверь мне, молодой человек, когда большие люди в своей стране грозят друг другу острой сталью, им приходится смотреть сквозь пальцы на буйство своих подчиненных, потому как мечи простых людей составляют силу знатных.

Они дали промчаться группе всадников, которую можно было назвать авангардом, и вскоре с севера показалось новое облако пыли, гуще прежнего.

— Давай спускаться поживее! — воскликнул разносчик. — По правде сказать, — пояснил он, настойчиво подталкивая Хэлберта, — войско шотландского лэрда в походе похоже на змею — в пасти торчат зубы, а в хвосте жало: только к туловищу не страшно подойти поближе.

— Я от вас не отстану, идем, — сказал юноша, — но объясните, почему арьергард нашей армии так же опасен, как передовой отряд?

— Потому что в передовом отряде — самые отчаянные головорезы: они радуются насилию, не боятся божьей кары, презирают людей и убивают с дороги всякого, кто им не по нраву. А в арьергарде собираются все подонки, все лакеи и прихвостни: они

сами же и расхищают обоз, который должны охранять, а потом грабят странствующих торговцев и всех прочих, чтобы возместить то, что разворовали. Передний отряд — это люди пропащие, французы зовут их *enfants perdus*.¹ Так оно и есть, послушать только их непристойные и нечестивые песни — один грех и разврат. Затем в главной части войска слышны реформатские песни и псалмы, это поют дворяне, джентри и благочестивые проповедники, что идут вместе с армией. А в задних рядах — свора безбожных лакеев и конюхов: у них на уме только картежная игра, пьянство и разгул.

Пока разносчик все это рассказывал, они вышли на дорогу и увидели отряд Мерри — около трехсот верховых, едущих стройными рядами вплотную друг к другу. Некоторые из конников были одеты в цвета своих лордов, но таких было немного. У большинства одежда была весьма случайная, однако благодаря тому, что преобладали камзолы голубого сукна, кирасы с кольчужными рукавами и рукавицами, кольчужные штаны и высокие ботфорты, все это сборище верховых имело вид единого отряда. Многие военачальники были в броне с головы до ног, а остальные — в тех полувоенных костюмах, с которыми знатные люди в эти смутные времена предпочитали не расставаться.

Верховой, ехавший впереди, сразу же подскочил к путникам и спросил, кто они такие. Разносчик рассказал о себе, а молодой Глендининг предъявил письмо Генри Уордена, которое один из джентльменов тотчас отвез Мерри. Почти мгновенно по эскадрону пронеслась команда «Стой!» — и сразу же смолк тяжелый конский топот, казавшийся неотъемлемой принадлежностью отряда. Было объявлено, что людям и коням предоставляется один час на передышку. Разносчика уверили в полной неприкосновенности и снабдили обозной лошадью. Но вместе с тем его направили в арьергард; он неохотно повиновался и, прощаясь с Глендинингом, долго и грустно пожимал ему руку.

¹ Потерянные дети (*франц.*); здесь — обреченные на смерть.

Юного наследника Глендеарга тем временем повели к небольшой возвышенности, где было несколько суше, чем на остальной равнине. Здесь на земле вместо скатерти был разостлан ковер, и вокруг него сидели начальники отрядов, не брезгавшие едой, которая — если принять во внимание высокое положение собравшихся — была немногим лучше, чем недавняя трапеза молодого Глендининга. Когда юноша приблизился, Мерри встал и сделал несколько шагов ему навстречу.

Этот прославленный деятель и наружностью и многими душевными качествами напоминал своего выдающегося отца, Иакова V. Если бы напоминание о незаконном рождении не преследовало его всю жизнь, он занимал бы шотландский престол с таким же величием, как любой король из дома Стюартов. Но история, отдавая должное его большим дарованиям и царственной — нет, королевской — осанке, не может, однако, забыть, что честолюбие увлекало его за пределы чести и законности. Превосходя смелостью самых храбрых, очаровывая одной своей внешностью, умея выпутываться из самых затруднительных обстоятельств: склонять на свою сторону нерешительных, ошеломлять и опрокидывать внезапно натиска самых упорных противников, он вполне заслуженно достиг первенствующего положения в королевстве. Но когда неблагоприятие и несчастья его сестры, королевы Марии, показали ему удобным случаем для возвышения, он не устоял против сильного соблазна и насильственно захватил в свои руки власть, принадлежавшую его государыне и благодетельнице. История его жизни являет нам пример человека с противоречивым характером, который столь часто жертвовал честью во имя честолюбия, что мы должны презирать его как государственного деятеля, в то же время скорбя и печальась о нем как о человеке. Многие его поступки дают основание обвинять его в том, что он стремился к трону; во всяком случае, бесспорно, что при его поддержке совершалось враждебное и пагубное вмешательство Англии в шотландские дела. Его смерть можно считать своего рода

искуплением за неправомерные деяния и доказательством того, насколько безопаснее быть истинным патриотом своей страны, чем вожаком какой-то клики, который несет ответственность за поступки каждого, даже самого ничтожного из своих приверженцев.

Когда Мерри подошел ближе, величаяя осанка графа, как и следовало ожидать, ошеломила юношу из далекого захолустья. Повелительный облик, одухотворенное лицо, выражение которого говорило о глубоких и значительных мыслях, бросающееся в глаза сходство графа с длинным рядом шотландских королей, — все это, сливаясь, создавало образ, внушавший благоговение и трепет. Одеждой граф мало отличался от окружавших его знатных вельмож и баронов. Вместо кирасы на нем был кожаный колет, богато расшитый шелками, на шее висела массивная золотая цепь с медальоном, черный бархатный берет был украшен маленьким пером и нитью прекрасного крупного жемчуга; у пояса, как неразлучный спутник его правой руки, висел длинный тяжелый меч. Золоченые шпоры на сапогах как нельзя лучше дополняли его экипировку.

— Это письмо от почтенного проповедника божьего слова, Генри Уордена, не так ли, молодой человек? — спросил Мерри. Хэлберт подтвердил, что это именно так. — И он пишет нам, по-видимому находясь в бедственном положении, о котором вы можете сообщить некоторые подробности. Прошу вас, скажите нам, что с ним.

Хэлберт Глендининг в некотором смущении стал описывать обстоятельства, при которых проповедник был заключен в темницу. Когда он дошел до спора о «браке через соединение рук», Хэлберта поразило выражение гнева и досады на лице Мерри; не понимая причины, но чувствуя, что он говорит невпопад, юноша, вопреки благоразумию и этикету, просто-напросто замолчал.

— Что с этим дуралеем случилось? — воскликнул граф, насупив рыжеватые брови и сверкая разгневанным взором. — Ты, видно, не научился говорить правду без запинки.

— Прошу прощения, — ответил Хэлберт, найдя удачное объяснение, — мне еще никогда не случалось говорить в таком обществе.

— Кажется, он действительно скромный молодой человек, — сказал Мерри, обращаясь к ближайшему из своей свиты, — а в борьбе за правое дело, пожалуй, устоит и против друга и против врага. Продолжай, друг мой, выкладывай смело все подряд.

Хэлберт рассказал о ссоре Джулиана Эвенела с проповедником; Мерри, покусывая губы, заставил себя слушать его отчет с полнейшим равнодушием. Сначала он даже как будто стал на сторону барона.

— У Генри Уордена усердие не по разуму, — рассудил он, — и божеский и человеческий закон иногда покровительствует некоторым любовным связям, даже если формально они незаконны, и дети в таких случаях не лишаются права наследования.

Произнеся эту фразу с ударением, как некую декларацию, он внимательно всмотрелся в лица тех немногих приближенных, которые присутствовали при этой беседе. Почти все согласились, говоря, что «тут возражений быть не может», но один или двое молча потупили взоры. Затем Мерри снова повернулся к Глендинингу и велел ему продолжать рассказ, не пропуская никаких подробностей. Когда юноша упомянул о том, как сурово Джулиан оттолкнул свою любовницу, Мерри тяжело перевел дух, стиснул зубы и схватился за рукоять кинжала. Еще раз окинув взглядом всех окружающих, к которым присоединились два-три реформатских проповедника, он молча подавил свою ярость и снова приказал Хэлберту вернуться к повествованию. Когда он услышал, как Уордена тащили в каземат, граф, казалось, нашел возможность дать волю своему гневу, не сомневаясь в сочувствии и одобрении всех, кто его окружал.

— Вы, пэры и благородные джентльмены Шотландии, будьте судьями между мною и этим Джулианом Эвенелом, — воскликнул он. — Судите его за то, что он нарушил свое собственное слово и пренебрег моей охранной грамотой. Будьте судьями и вы, благочестивые братья: этот человек поднял руку на

проповедника евангелия и может продать его кровь почитателям антихриста.

— Да погибнет он смертью предателей, — решили бароны, — и пусть палач проткнет его язык раскаленным железом за клятвопреступление.

— Да подвергнется он участи жрецов Ваала, — закричали проповедники, — и пусть пепел его будет брошен в Тофет!

Улыбка, с которой Мерри слушал волю своих приближенных, показывала, что ему не терпится поскорее расправиться с ослушником; однако возможно, что мрачная усмешка, пробежавшая по его загорелому лицу и надменным губам, была отчасти вызвана жестокостью Джулиана по отношению к его подруге, судьба которой напоминала графу судьбу его матери. Когда Хэлберт кончил рассказывать, Мерри заговорил с ним очень милостиво.

— Какой смелый и привлекательный юноша, — сказал он окружающим. — Из такого теста должны быть люди в наше бурное время, — чтоб характер человека чувствовался сразу! Хочу узнать этого юношу поближе.

Он стал подробнее расспрашивать Хэлберта об укреплениях замка Эвенелов, о численности войск барона, о том, кто является ближайшим наследником Джулиана; тут Хэлберту пришлось рассказать грустную историю жизни Мэри Эвенел, и его невольное смущение не ускользнуло от Мерри.

— Вот ты какой, Джулиан Эвенел! — воскликнул граф. — Раззадориваешь мой гнев, вместо того чтобы умолять меня о снисхождении! Я знал Уолтера Эвенела, отца этой девушки, — это был настоящий шотландец и хороший солдат. Наша сестра, королева, должна восстановить его дочь в правах, и если ей вернуть отцовские владения, она будет подходящей невестой для какого-нибудь смельчака, который нам больше по сердцу, чем изменник Джулиан. — Затем, взглянув на юношу, он спросил: — А ты, молодой человек, благородного происхождения?

Неуверенным и прерывающимся голосом начал Хэлберт перечислять притязания Глендинингов на от-

даленное родство с древним родом Глендонуайнов из Гэллоуэя, но граф с улыбкой перебил его:

— Нет, нет, предоставим эти генеалогии бардам и герольдам. В наши дни судьбу человека решают не его предки, а его подвиги. Сияющий свет Реформации блистает одинаково и над принцем и над крестьянином, и крестьянин может прославиться наравне с принцем, доблестно сражаясь за новое вероучение. Увлекательно наше время: со стойким сердцем и сильной рукой каждый может невозбранно достичь высоких ступеней. Но скажи мне откровенно, отчего ты покинул родительский дом?

Хэлберт Глендининг без утайки рассказал о своем поединке с Пирси Шафтоном и о его предполагаемой смерти.

— Клянусь моей правой рукой, — воскликнул Мерри, — ты дерзкий ястребок, если, едва оперившись, уже стал мериться силами с таким коршуном, как Пирси Шафтон. Королева Елизавета подарила бы свою перчатку, набитую золотыми монетами, за известие о том, что этот щеголь-заговорщик засыпан землей. Не так ли, Мортон?

— Клянусь, что так, — ответил Мортон, — но прибавьте, что в глазах королевы ее перчатка дороже золота. Пограничные жители вроде этого молодца вряд ли с ней согласятся.

— А как нам поступить с этим юным убийцей? — спросил граф. — Что скажут наши проповедники!

— А вы напомните им про Моисея и Ванею, — ответил Мортон. — Одним египтянином стало меньше, вот и все.

— Пусть так, — согласился, смеясь, Мерри. — Зароем в песок этот рассказ, подобно тому как пророк засыпал песком тело убитого. Я не дам в обиду этого храбреца. Ты будешь в нашей свите, Глендининг, — так, кажется, тебя зовут? Назначаем тебя нашим оруженосцем. Начальник обоза даст тебе одежду и оружие.

В продолжение этого похода Мерри несколько раз испытывал отвагу и находчивость Глендининга и так уверовал в его мужественность, что все, знающие

графа, стали считать юношу любимцем фортуны. Ему оставалось сделать только один шаг, чтобы окончательно утвердиться в доверии и милости Мерри, — надо было отречься от католической религии. Проповедники Реформации, которые сопровождали Мерри и создавали ему доброе имя в народе, без труда обратили Хэлберта в свою веру, так как он с самого раннего детства не чувствовал большого влечения к католицизму и был готов прислушаться к более разумным религиозным взглядам. Став единоверцем своего начальника, Хэлберт приобрел его полное расположение и безотлучно находился при нем во время пребывания графа на западе Шотландии; из-за упорства противников Мерри этот поход затягивался со дня на день и из недели в неделю.

Глава XXXVI

Был в ущелье грохот битвы
Еле слышен нам вдали
Впереди — война и ужас,
Кровь и смерть за ними шли

Пенроуз

Была уже поздняя осень, когда граф Мортон однажды поутру, без зова, вошел в приемную Мерри, где дежурил Хэлберт Глендининг.

— Доложите обо мне графу, Хэлберт, — сказал Мортон, — у меня есть для него новости из Тевинотдейла, — для вас, впрочем, тоже, Глендининг... Новости, новости, милорд! — закричал он нетерпеливо у самой двери в спальню графа. — Выходите же поскорее!

Мерри вышел, поздоровался со своим соратником и с любопытством осведомился о новостях.

— Ко мне прибыл с юга надежный друг, — сказал Мортон. — Он заезжал в монастырь святой Марии и привез важные сведения.

— Что за сведения, — спросил Мерри, — и можно ли доверять этому человеку?

— За его преданность я ручаюсь головой, — ответил Мортон. — Желал бы всем, кто окружает вашу светлость, заслужить такой отзыв.

— Кого и в чем вы хотите упрекнуть? — поинтересовался Мерри.

— Хочу сказать, что египтянин, убитый шотландским Моисеем, вашим преданным Хэлбертом Глендинингом, оказывается, воскрес, процветает, как ни в чем не бывало, веселый и нарядный в этом тевиотдейлском Гошене, в Кеннаквайрской обители.

— Что это значит, милорд? — удивился Мерри.

— А то, что ваш новый оруженосец сочинил сказку. Пирси Шафтон цел и невредим, и вот вам доказательство — этого болтунишку, говорят, удерживает в аббатстве любовь к какой-то дочери мельника, которая в мужском наряде скиталась с ним по Шотландии.

— Глендининг, — обратился к нему граф, сурово нахмурившись, — неужели ты осмелился добиваться моего доверия заведомой ложью?

— Милорд, я неспособен на ложь, — сказал Хэлберт. — Я поперхнулся бы на первом лживом слове, я не солгал бы даже ради того, чтобы спасти свою жизнь. Смотрите, этот меч моего отца пронзил тело Пирси Шафтона. Острие меча вышло со спины, рукоять уперлась в грудь. Вот так же глубоко вонзится этот меч в грудь каждого, кто посмеет обвинять меня во лжи.

— Мальчишка! Ты возвышаешь голос, говоря с дворянином! — вскричал Мортон.

— Замолчи, Хэлберт! — приказал Мерри. — И вы, милорд Мортон, не торопитесь осуждать его. Он говорит правду — это написано на его лице.

— Желаю вам, чтобы содержание рукописи соответствовало заглавию, — возразил Мортон, мало кому веривший на слово. — Остерегайтесь, милорд! Из-за чрезмерной доверчивости вы когда-нибудь лишитесь жизни.

— А вы, Мортон, лишитесь ваших друзей из-за чрезмерной подозрительности, — ответил Мерри. — Довольно об этом. Еще какие новости?

— Сэр Джон Фостер, — сказал Мортон, — готовится послать в Шотландию отряд с приказанием опустошить обитель святой Марии...

— Как, в мое отсутствие, без моего разрешения? — воскликнул граф. — Неужто он обезумел, неужто вторгнется как враг во владения королевы?

— Фостер действует по именному приказу Елизаветы, — продолжал Мортон, — а с этими приказами, вы знаете, шутки плохи. Этот поход был, впрочем, задуман давно и несколько раз откладывался, пока мы с вами были здесь, но слух о нем произвел большой переполох в Кеннаквайре. Старый аббат Бонифаций отказался от должности, и как вы думаете, кого выбрали на его место?

— Уверен, что никого, — сказал Мерри, — они не посмеют избирать аббата, не узнав волю королевы и не посоветовавшись со мной.

Мортон пожал плечами.

— Выбрали ученика старого кардинала Битона, самого близкого друга нашего неугомонного сент-эндрюского примаса, коварного и решительного монаха. Из помощника приора в аббатстве Евстафий стал лордом-аббатом и, по примеру папы Юлия Второго, он набирает людей, обучает их военному делу и готовится дать отпор Фостеру, если тот нагрянет.

— Это побоище надо предотвратить, — поспешно перебил его Мерри. — Кто бы ни вышел победителем, для нас такая схватка может стать роковой. Кто командует войском аббата?

— Не кто иной, как наш преданный старый друг Джулиан Эвенел, — ответил Мортон.

— Глендининг, немедленно трубите поход! — приказал Мерри. — Все, кто нам предан, — в седло без промедления! Да, милорд, перед нами роковой выбор. Если мы присоединимся к нашим английским друзьям, вся Шотландия будет поносить нас. Даже дряхлые старухи накинутся со своими прялками и веретенами, самые камни мостовой поднимутся и не дадут нам проходу. Мы не можем примкнуть к столь позорному делу. Доверие сестры мне и без того трудно сохранить, а после такого поступка она совсем от

меня отвернется. С другой стороны, если мы окажем сопротивление начальнику английской пограничной стражи, Елизавета обвинит нас в покровительстве ее врагам и в других преступлениях и мы лишимся ее поддержки.

— Этот дракон в юбке — наш главный козырь в игре, — сказал Мортон. — И все-таки я не желал бы безучастно смотреть, как английские клинки вонзаются в шотландские тела. Может быть, нам замешкаться в пути, делать небольшие переходы, будто мы жалеем лошадей? И пусть там аббат и солдат насккивают друг на друга, как бешеная собака на быка. Кто нас осудит за то, что случилось, когда мы были бог знает как далеко?

— Все нас осудят, Джеймс Дуглас, — возразил Мерри, — мы наживем врагов и тут и там. Лучше как можно скорее примчаться на место и сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить мир. Как жаль, что Пирси Шафтон не сломал себе шею на самом высоком нортумберлендском утесе, прежде чем он появился в Шотландии на своей кобыле. Сколько суматохи из-за этого хлыща, и еще может вспыхнуть междоусобная война.

— Если бы нас уведомили вовремя, — сказал Дуглас, — мы подстерегли бы его на границе. Мало ли головорезов, которые навсегда избавили бы нас от него, взяв за труды только его шпоры. А теперь, Джеймс Стюарт, как говорится, ногу в стремя! Я слышу, труба зовет. Посмотрим, чей конь выносливее.

Человек триста хорошо вооруженных всадников сопровождали этих двух могущественных баронов, которые сначала направились в графство Дамфрис, а оттуда на восток, в Тевiotдейл. Из-за стремительной скачки значительная часть лошадей, как Мортон и предсказывал, выбыла из строя, так что отряд, приближаясь к месту назначения, насчитывал не более двухсот всадников, да и те в большинстве добирались на измученных конях.

В пути их то развлекали, то тревожили разноречивые слухи о продвижении английских войск и о сопротивлении, какое мог оказать аббат. Когда они

были уже в шести-семи милях от монастыря святой Марии, им навстречу примчался в сопровождении нескольких слуг один из местных лэрдов, которого вызвал Мерри, зная, что на его сведения можно положиться. «Их лица пылали от скачки и шпоры алели в крови».

По словам этого лэрда, сэр Джон Фостер много раз назначал и столько же раз откладывал нападение на монастырь, но известие, что Пирси Шафтон открыто пребывает в аббатстве, его так возмутило, что он решил незамедлительно выполнить приказ королевы, предписавшей ему во что бы то ни стало захватить мятежного эвфуиста. Благодаря своей неутомимой энергии аббат собрал войско, по численности почти равное английскому отряду, но гораздо менее опытное в военном деле. Этим войском командовал Джулиан Эвенел, и предполагалось, что бой произойдет на берегах речки, окаймляющей монастырские владения.

— Кто знает это место? — спросил Мерри.

— Я, милорд, — вызвался Глендининг.

— Хорошо, отбери человек двадцать, у кого кони покрепче, — приказал граф, — и скачите туда что есть силы. Объявите, что я следую за вами по пятам, веду сильное войско и беспощадно изрублю в куски того, кто первый начнет бой. Дэвидсон, — обратился он к лэрду, прискакавшему с известиями, — ты будешь моим проводником. За дело, Глендининг! Скажи Фостеру, что я его заклинаю: если он дорожит своим положением при дворе, пусть предоставит мне распутать это дело. Скажи аббату, что я сожгу монастырь вместе с ним самим, если он нанесет хоть один удар до моего прибытия. А этому псу, Джулиану Эвенелу, передай, что мы с ним еще не расквитались по одному счету; если же он вздумает открыть новый счет, я насажу его голову на верхушку самого высокого монастырского шпиля. Теперь живо! Шпор и лошадей не жалеть!

— Ваше приказание будет выполнено, милорд, — сказал Глендининг и, отобрав воинов, скакуны которых были в лучшем состоянии, пустился с ними в путь

со всей скоростью, на которую были способны кони. Холмы и овраги замелькали под копытами скакунов.

Всадники не проехали еще и полпути, как им начали попадаться беглецы с поля сражения, и стало ясно, что битва началась. Двое верховых поддерживали в седле третьего — это был их старший брат, раненный стрелой навывлет. Все они были вассалами монастыря, и Хэлберт, окликнув их по именам, стал расспрашивать о ходе боя, но в эту минуту, как ни старались братья удержать раненого в седле, он упал, и двое младших соскочили с лошадей, чтобы принять последний вздох старшего. Люди в таком состоянии не могут быть источником надежных сведений, и Глендининг со своим отрядом поспешил дальше; тревога его возрастала при виде мчавшихся враспынную всадников с крестом святого Андрея на шлемах и латах, — видимо, они без оглядки бежали с поля сражения. Большинство беглецов, завидя на дороге сплоченный отряд конников, сворачивали налево или направо, держась на таком расстоянии, что заговорить с ними было невозможно. Другие, совсем растерявшись от страха, продолжали скакать посреди дороги, неистово прищипывая лошадей; отвечая на окрики бессмысленным взглядом, они неслись, бросив поводья и не делая попытки остановиться. Хэлберт знал многих в лицо и, судя по их состоянию, больше не сомневался в том, что вассалы обители святой Марии наголову разбиты. Его охватила невыразимая тревога о судьбе Эдуарда, который, несомненно, должен был участвовать в битве. Прищипив своего коня, он помчался с такой быстротой, что только пять-шесть спутников могли за ним угнаться, и скоро добрался до холма, у подножия которого, в полукруглом изгибе речки, лежала равнина, ставшая полем брани.

Его глазам представилось печальное зрелище. Говоря словами поэта, война и ужас пронеслись над полем, оставив за собой только страдание и смерть. Бой велся с ожесточением, как это всегда бывает в стычках между пограничными отрядами, когда исконная вражда и взаимные обиды воодушевляют обоих

противников на упорную борьбу. Ближе к середине поля лежали тела воинов, павших в рукопашной схватке с неприятелем. Неумолимая ненависть, гнев и презрение застыли на их суровых лицах, окоченелые руки еще держались за рукояти сломанных мечей или тщетно порывались вытащить из раны смертоносную стрелу. Потеряв доблесть, только что проявленную в бою, некоторые раненые зывали о помощи, в отчаянии просили воды, а другие коснеющим языком лепетали слова полузабытой молитвы, в которую никогда не вдумывались, даже когда ее учили наизусть. Не уверенный в том, что ему надо сейчас делать по долгу службы, Хэлберт стал объезжать равнину, думая, не увидит ли он среди убитых и раненых своего брата Эдуарда. Англичане ему не препятствовали. Судя по облаку пыли, которое поднималось вдали, они продолжали преследовать одиночных беглецов; Хэлберт рассудил, что приблизиться к ним сейчас, когда каждый из победителей действует самоchinно, значило бы обречь себя и свой отряд на бессмысленную гибель, потому что англичане немедленно стали бы уничтожать их, как уцелевших сторонников шотландского войска. Правильнее всего, решил он, оставаться на месте, пока не прибудет Мерри со своим войском, тем более что уже слышались трубные сигналы, которыми английский военачальник возвещал о прекращении преследования беглецов и сборе всего отряда. Созвав своих людей, Хэлберт занял тот удобный для обороны пункт, который шотландцы занимали в начале боя и упорно отстаивали в течение всей схватки.

Вдруг до слуха Хэлберта донесся слабый женский голос, поразивший его в такую минуту, когда неприятельские войска еще находились тут и родственники павших воинов не могли приблизиться, чтобы отдать им последний долг. Тревожно поглядев по сторонам, он наконец увидел женщину, склонившуюся над телом рыцаря в богатых доспехах, шлем которого, хоть разбитый и в грязи, указывал на знатный род и высокий титул. Женщина была закутана в солдатский плащ и прижимала к груди сверток; вскоре Хэлберт

убедился, что в этом свертке — ребенок. Посмотрев в сторону английского войска, юноша увидел, что оно не двигается с места; повторные и длительные сигналы трубачей попеременно с возгласами начальников показывали, что их ряды еще не так скоро выстраются в должном порядке. Таким образом, можно было хоть на минуту подойти к несчастной женщине. Соскочив с коня и передав его одному из своих спутников, он бросился к несчастной и голосом, полным ласки и участия, спросил, не может ли он чем-нибудь помочь ей. Не отвечая на вопрос, она, тщетно стараясь дрожащей и непривычной рукой отстегнуть у раненого забрало от шлема, в отчаянии воскликнула:

— О, скорее дайте ему свежего воздуха, и он сейчас же очнется! Замок и золото, жизнь и честь отдала бы я, чтобы иметь силу сорвать с него это жестокое железо, что душит его!

Когда стремишься облегчить чужую скорбь, не надо доказывать несбыточность самых безумных надежд. Перед ними лежал мертвец, бездыханное тело, которому все земное отныне и навеки стало глубоко чуждым. Но Хэлберт Глендининг все же расстегнул панцирь на груди убитого, поднял забрало и, к своему изумлению, увидел перед собой застывшие черты Джулиана Эвенела. Отшумела его последняя битва, свирепая и мятежная душа его отлетела в разгаре боя, в котором он в течение многих лет находил высшее наслаждение.

— Увы, он скончался, — сказал Хэлберт молодой женщине, в которой теперь без труда узнал бедняжку Кэтрин.

— О нет, нет, нет, — повторяла она, — не говорите так. Он не умер. Он только в обмороке. Я сама как-то раз долго лежала без чувств, и его голос разбудил меня, когда он ласково сказал: «Кэтрин, ради меня, открой глаза!» Открой глаза, Джулиан, ради меня! — молила она, обращаясь к бездыханному телу. — Я знаю, ты только притворяешься, хочешь меня напугать; но видишь, — воскликнула она с истерическим смехом, — я не испугалась! — И мгновенно, уже

другим тоном, она стала заклинать его: — О, заговори со мной, как хочешь брани, проклинай за глупость. Твои слова, пусть самые жестокие, сейчас прозвучали бы как ласковые речи, которыми ты осыпал меня перед тем, как я отдала тебе свою душу и тело... Приподымите его, — обратилась она к Хэлберту. — Приподымите же его, ради господ бога! Или в вас нет жалости? Ведь он обещал обвенчаться со мной, если я подарю ему сына, а этот мальчик — вылитый Джулиан! Как же он сдержит свое обещание, если вы не поможете мне разбудить его? Кристи из Клинт-хилла, Роули, Хатчен! На пиру вы не отходили от него, а в беде бросили, бесстыжие предатели!

— Только не я, клянусь небом! — отозвался один из тяжелораненых, стараясь приподняться, опершись на локоть и поворачивая к Хэлберту лицо, — это был Кристи из Клинт-хилла. — Я не отступил ни на шаг, но человек может драться, пока дышит, а мне уж недолго осталось дышать. Э, молодчик, — продолжал он, посмотрев на Глендининга и заметив его военную одежду, — ты все-таки напялил на себя шлем. В этом колпаке приятнее жить, чем умирать. Лучше если бы судьба прислала сюда не тебя, а твоего брата. Он добрый, а ты дикарь и скоро будешь злодеем не лучше меня.

— Боже упаси! — вырвалось у Хэлберта.

— Черт с тобой и аминь, — пробормотал умирающий. — Там, куда я иду, и без тебя народу хватит. Благодарение богу, я к этой подлости не причастен, — прибавил он, взглянув на бедную Кэтрин. Затем он произнес еще несколько слов — не то молитву, не то проклятие, и душа Кристи из Клинт-хилла покинула сей мир.

Глубоко потрясенный этими горестными событиями, Глендининг на несколько мгновений совсем забыл о собственных делах и обязанностях. Он очнулся, услышав конский топот и возглас: «Святой Георгий за Англию!», издавна принятый в английской армии. Горсточка всадников, прискакавших с Хэлбертом, и уцелевшие монастырские вассалы, которые решили ждать прибытия Мерри, все, как один, застыли на

месте с поднятыми копьями; не получив приказа, они не знали — сложить оружие или сопротивляться.

— Вот наш капитан, — сказал один из них, ука-
зывая на Глендининга, когда многочисленный отряд
англичан, авангард фостеровской армии, вплотную
приблизился к ним.

— Вот так капитан! — воскликнул начальник от-
ряда. — Пешим с мечом в ножнах перед непри-
телем. Сразу видно, что за вояка. Эй, молодой чело-
век, вы кончили мечтать? Извольте ответить, что вам
милее — сражаться — или наутек?

— Ни то, ни другое, — невозмутимо ответил Глен-
дининг.

— Тогда бросай меч и сдавайся! — потребовал
англичанин.

— Добровольно не сдамся, — все так же реши-
тельно сказал Хэлберт.

— Сам по себе действуешь, друг, или кому слу-
жишь? — спросил английский капитан.

— Служу благородному графу Мерри.

— Значит, ты служишь самому бесчестному из
всех дворян на свете, — продолжал англичанин. —
Мерри — изменник в Англии и предатель в Шот-
ландии.

— Ты лжешь! — вскричал Глендининг, не заботясь
о последствиях своей дерзости.

— То-то разгорячился, а еще минуту назад был
так хладнокровен! Так, по-твоему, я лгу? Хочешь ре-
шить этот спор оружием один на один?

— Один на один! Один против двоих! Двое про-
тив пятерых! Как вам угодно, — сказал Хэлберт. —
Но драться честно!

— Можешь быть спокоен. Посторонитесь, друзья
мои, — распорядился отважный англичанин, — и если
я буду убит, пусть он идет на все четыре стороны со
своими людьми.

— Многие лета нашему храброму капитану! — за-
кричали солдаты, ожидая поединка с таким нетерпе-
нием, как будто им сейчас покажут бой быков.

— Ну, много лет он вряд ли проживет, — заметил
сержант. — Человеку уже стукнуло шестьдесят, а он

лезет в драку и с причиной и без причины с первым встречным-поперечным и, главное, с юнцом, который ему в сыновья годится. А вот и сам начальник — игру мечей посмотреть ему хочется.

Действительно, сэр Джон Фостер во главе значительного отряда кавалерии подъехал к ним как раз в ту минуту, когда капитан, оказавшись по возрасту слабее мужественного и порывистого Глендининга, лишился меча, который был выбит у него из рук.

— Изрядно опозорился ты, Стоуэарт Болтон, — бросил английский военачальник, — а ты, молодой человек, скажи, кто ты и откуда?

— Из свиты графа Мерри. Я прибыл с поручением от него к вашей милости, — ответил Глендининг, — но вот он сам едет сюда — на холмах уже виднеются его кавалеристы.

— Стройтесь, господа, живо! — скомандовал сэр Джон Фостер своим солдатам. — Кто сломал копье — обнажай меч! Мы не совсем готовы для второго боя, но если темная туча вон там, на холме, предвещает грозу, надо выдержать ее стойко, хоть плащи наши и продырявлены. Слушай, Стоуэарт, мы сцапали оленя, за которым охотились, — вот и Пирси Шафтон; славно скрутили его два наших воина.

— Кто, этот молокосос? — воскликнул Болтон. — Он такой же Пирси Шафтон, как я сам — Пирси Шафтон. Юнец нарядился в его яркий плащ — это верно, но настоящий Пирси на добрый десяток лет старше этого воришки. Я знал Пирси, когда он был еще мне по пояс. А вы разве не видели его на турнирах и празднествах?

— К дьяволу празднества! — вскричал сэр Джон Фостер. — Разве у меня когда-нибудь было время для забав и веселья? Всю жизнь меня держат на должности палача. Сегодня я гоняюсь за разбойниками, завтра — за изменниками, и всегда я в страхе за жизнь. Копье мое век не висит на стенке, нога не вылезает из стремени, конь не расстается с седлом. А теперь, когда я упустил человека, которого даже не знаю в лицо, мне достанется от Тайного совета как

собаке. Нет, лучше смерть, чем такое рабское, жалкое существование!

Жалобы Фостера были прерваны трубным сигналом, вслед за которым появился шотландский вестник. Он доложил, что «благородный граф Мерри желает, соблюдая взаимную честь и безопасность, встретиться для личной беседы с сэром Джоном Фостером на полдороге между двумя войсками, при свите в шесть человек с каждой стороны и с гарантией в том, что в течение десяти минут, кои необходимы на дороге, не будет никаких враждебных действий».

— Вот и новая напасть, — продолжал англичанин. — Я должен вступить в переговоры с этим вероломным шотландцем, а он мастер расставлять ловушки и пускать пыль в глаза честным людям; он плуг не хуже любого шотландского мошенника. Тягаться с ним на словах мне не под силу, а для драки мы сейчас тоже не годимся... Вестник, мы согласны на встречу. А вы, воинственный сэр (обращаясь к молодому Глендинингу), берите своих людей и отправляйтесь вслед за трубачом восвояси, к графу, — марш! Стоуэарт Болтон, наведи порядок и будь готов к атаке по знаку, который я подам... Сэр, я велел вам отправляться к своим и здесь не задерживаться.

Несмотря на это решительное приказание, Хэлберт Глендининг не мог уйти, не остановившись на мгновение около несчастной Кэтрин. Она лежала неподвижно, не страшась опасности, не слыша топота множества коней вокруг нее, не ведая, — как убедился Хэлберт, взглядевшись пристальнее, — уже ни о чем на свете. Он почти обрадовался тому, что жизненные страдания для нее кончились и что копыта коней, от которых он был не в силах ее уберечь, могли задеть и изуродовать только бесчувственное тело. Хэлберт взял на руки ребенка, которого она продолжала обнимать, и его немало смутил взрыв смеха, раздавшийся кругом, когда вооруженный солдат на глазах у всех оказался с такой непривычной и неудобной ношей.

— На пле-чо малютку! — крикнул один из стрелков.

— Покорми же своего младенца! — насмехался копьеносец.

— Замолчите вы, скоты! — остановил их Стоуэрт Болтон. — Если у вас самих нет человеколюбия, уважайте его в других. Я прощаю этого молодчика, хотя он посмеялся над моими сединами, за то, что он спасает это беззащитное существо, которое вы могли бы растоптать, как будто вас родили и вскормили не женщины, а волчицы.

Пока все это происходило, оба военачальника встретились в обусловленном месте между войсками обеих сторон, и граф Мерри заговорил первый:

— Разве честно и справедливо поступаете вы, сэр Джон, и за кого принимаете вы графа Мортонна и меня, позволяя себе вторгнуться в Шотландию с развернутыми знаменами, по своему произволу лишая людей жизни или отнимая у них свободу! Разве, по вашему мнению, хорошо разорять нашу страну и проливать кровь нашего народа, когда мы столько раз на деле доказывали свою преданность английской королеве, не нарушая, конечно, верности нашей государыне.

— Лорд Мерри, — ответил Фостер, — весь мир знает, что вы человек острого ума и глубокой мудрости; но вот уже несколько недель вы водите меня за нос, обещая взять под стражу мятежника, восставшего против моей августейшей повелительницы, этого Пирси Шафтона из Уилвертона. Вы своего слова не сдержали, ссылаясь на какие-то смуты на западе и на всякие другие препоны. Теперь, когда он с превеликой наглостью вернулся сюда и поселился открыто в десяти милях от английской границы, я не мог более терпеть ваши отговорки и отсрочки и, повинувшись приказу моей госпожи и королевы, бросил в бой ее войска, чтобы силой захватить мятежника, где бы он ни скрывался.

— Значит, Пирси Шафтон в ваших руках? — спросил граф Мерри. — Знайте, что я не могу позволить вам увезти его отсюда, это бы меня опозорило! Будем сражаться!

— После всех милостей, которыми осыпала вас королева Англии, вы, милорд, будете сражаться за крамольника, восставшего против нее? — спросил сэр Джон Фостер.

— Вовсе нет, сэр Джон, — возразил граф, — но я буду сражаться насмерть, защищая честь и свободу независимой Шотландии.

— Клянусь небом, я даже рад, — заявил сэр Джон. — От сегодняшних трудов мой меч притупиться не успел.

— Клянусь честью, сэр Джон, — вмешался сэр Джордж Херон из Чипчейза, — у нас нет причин сейчас вступать в бой с этими шотландскими лордами. Я согласен со Стоувартом Болтоном — наш пленник такой же Пирси Шафтон, как и великий герцог Нортумберленд. Вы поступили бы весьма неблагоразумно, нарушив мир между двумя странами из-за какого-то проходимца, еще более ничтожного, чем этот зловредный ветрогон.

— Сэр Джордж, — ответил Фостер, — я не раз слышал, что вы, цапли, побаиваетесь ястреба...¹ Не хватайтесь за меч, друг мой, я пошутил. А пленника велите привести сюда, мы узнаем, что он собой представляет. Но наши условия остаются в силе, господа, — обратился он к шотландцам.

— Мы даем честное слово, что не прибегнем к насилию, — ответил Мортон.

Насмешки градом посыпались на сэра Джона Фостера, когда приведенный пленник оказался вовсе не Пирси Шафтоном, а переодетой женщиной.

— Стащите плащ с этой девки, — закричал Фостер, — и гоните ее к конюхам — там ей честь и место!

Видя разочарование английского военачальника, рассмеялся даже Мерри, что не часто с ним случалось; но все же он вступился и не дал в обиду прекрасную Молинару, которая еще раз спасла сэра Пирси Шафтона, вторично рискуя собственной жизнью.

¹ Непереводаемая игра слов: heron (херон) по-английски значит цапля.

— Вы тут натворили столько зла, что оправдаться вам будет трудно, — сказал граф Мерри начальнику английских войск, — а я, кажется, потерял бы честь и покой, если бы допустил, чтобы с головы этой молодой женщины упал хоть один волосок.

— Милорд, — обратился к Мерри граф Мортон, — если сэр Джон согласится отъехать со мной в сторону на несколько минут, я берусь доказать ему, что в его интересах поскорее уехать отсюда, поручив обсуждение злосчастных событий сегодняшнего дня должностным лицам, которые карают за преступления, учиненные на границе.

Затем он отъехал с сэром Джоном Фостером в сторону и сказал ему следующее:

— Разве не удивительно, сэр Джон, что человек, который так хорошо знает королеву Елизавету, как вы, не догадывается о том, что она дарует свою благосклонность только тем, кто оказывает ей полезные услуги на деле, а вовсе не втягивает ее в ненужные распри с соседями. Скажу вам, сэр рыцарь, напрямик то, что мне доподлинно известно. Если бы вы, в результате этого злополучного набега, задержали настоящего Пирси Шафтона, но при этом ваши действия, что вполне вероятно, привели бы к разрыву между нашими государствами, то ваша дальновидная повелительница и ее дальновидный Тайный совет предпочли бы разжаловать сэра Джона Фостера, чем ввязаться из-за него в войну. А теперь, когда вы потерпели неудачу с Шафтоном, на какую благодарность можете вы уповать, если вздумаете продолжать кровопролитие? Я обещаю уговорить графа Мерри, чтобы он выпроводил сэра Пирси за пределы Шотландии. Послушайтесь благоразумного совета и остановитесь вовремя. От сражения с нами вы ничего не выиграете: людей у вас меньше, они после недавнего боя ослабели и неизбежно будут разбиты.

Сэр Джон Фостер слушал его, опустив голову.

— Да, черт побери, неудачно получилось, — сказал он. — Славы мне сегодняшний день не принесет.

Подъехав к Мерри, он объявил, что, из уважения к особе графа и к особе лорда Мортонa, он решил безотлагательно удалиться вместе со своим войском.

— Погодите, сэр Джон Фостер, — остановил его Мерри, — я могу позволить вам беспрепятственно уйти, только если вы оставите мне заложника в обеспечение того, что за бесчинства ваших солдат в Шотландии вы рассчитаетесь сполна. Вы понимаете, что, разрешая вам вернуться в Англию, я беру на себя ответственность перед моей королевой, которая отчета за кровь ее подданных потребует у меня, если я допущу, что те, кто эту кровь пролил, так легко уйдут от возмездия.

— Никогда не допущу я, чтобы в Англии говорили, что Джон Фостер дал заложников, как поставленный на колени противник, и вдобавок — на том самом поле боя, где он одержал победу, — сказал англичанин. — Однако, — прибавил он после минутного молчания, — если Стоуэрт Болтон по своей собственной воле пожелает остаться у вас, я не буду спорить, и мне думается, что так даже будет лучше. Пусть увидит своими глазами изгнание этого Пирси Шафтона за пределы Шотландии.

— Я все равно принимаю его как заложника и буду соответственно с ним обращаться, — объявил граф Мерри. Но Фостер отвернулся и, отдавая приказания Болтону и его людям, притворился, что не слышал этого заявления.

— Вот едет верный слуга своей прекрасной самодержавной повелительницы, — сказал вполголоса Мерри, обращаясь к Мортону. — Счастливец! Он знает, что выполнение ее приказаний может стоить ему головы, но невыполнение этих приказаний наверняка навлечет на него бесчестье и смерть. Не позавидуешь счастью тех, кто зависит от прихотей госпожи Фортуны и отвечает за них перед такой капризной и привередливой государыней, как его своенравная госпожа.

— У нас на престоле тоже женщина, милорд, — заметил Мортон.

— Это правда, Дуглас, — отозвался граф, подавляя вздох, — но неизвестно, как долго может женская

рука удержать бремя правления в столь необузданной стране. А сейчас поедem в обитель святой Марии и сами посмотрим, в каком состоянии дела аббатства. Глендининг, присмотри за этой женщиной, позаботься о ней. Да что за дьявольщина! У тебя в руках ребенок, клянусь жизнью! Как угораздило тебя найти его сейчас, и на поле боя?

Хэлберт вкратце рассказал, что произошло. Граф подъехал к месту, где лежало тело Джулиана Эвелла, рядом с которым, все еще обнимая его, покоилась несчастная молодая женщина. Так гирлянды плюща не покидают могучий дуб, когда буря сразила его и вырвала с корнем. Оба тела уже окоченели. Мерри был растроган, как никогда, может быть вспоминая о своем собственном рождении.

— Дуглас, — сказал он, — нельзя прощать тем, кто отвечает жестокостью на самые нежные чувства, не правда ли?

Граф Мортон, не найдя счастья в браке, вел разгульную жизнь.

— Предложите этот вопрос Генри Уордену, милорд, или Джону Ноксу. Я плохой советчик в женских делах.

— Вперед, в аббатство, — скомандовал Мерри. — Пусть трубят поход. Глендининг, передай младенца той женщине в рыцарском плаще, пусть она о нем позаботится. Присмотри, чтобы не было надругательства над телами павших; прикажи немедленно увезти их или предать земле. Вперед, друзья мои!

Глава XXXVII

Жениться хочешь? Так войну кончай!

«Король Иоанн»

Известие о поражении быстро разнеслось по всей окрестности и вызвало величайшее смятение среди жителей деревни и в монастыре. Ризничий и другие монахи советовали искать спасения в бегстве, казначей

предлагал пожертвовать церковными сосудами и отдать их в качестве взятки английскому военачальнику; один аббат сохранял бесстрашие и твердость.

— Братия, — сказал он, — если господь не даровал нашим людям победы в бою, то, значит, он требует от нас другой победы, которая заключается в приятии мученического венца. Лишь наши собственные малодушие и трусость могут помешать нам выйти победителями в подобной борьбе. Облачимся же в доспехи веры и приготовимся погибнуть, если это необходимо, под развалинами святого храма, в коем мы посвятили себя служению вседержителю. Высокая честь выпала на долю всех нас, призванных к сему великому подвигу, начиная с нашего дорогого брата Николая, сединам которого предназначен почет мученического венца, и кончая моим возлюбленным сыном Эдуардом: хоть он пришел в наш вертоград последним, однако ж удостоен такой же награды, как и те, кто трудился в нем с самой зарей. Мужайтесь, дети мои! Я не смею, подобно моим святым предшественникам, обещать вам, что вы будете спасены чудом; и я и вы равно недостойны того особого вмешательства, которое в былые времена обращало святотатственный меч против самих тиранов, его подъявших, устрашало чудесами очерстневшие сердца еретиков и ниспосылало сонмы ангелов для защиты алтарей, воздвигнутых во славу господа и пречистой девы. И все же, с божьей помощью, вы ныне узрите, что ваш аббат и отец не обесчестит митры, возложенной на его чело. Удалитесь же в свои кельи, дети мои, и предайтесь молитве в тиши. Облачитесь затем в стихари и сутаны, как для самых торжественных празднеств, и будьте наготове. Когда большой колокол возвестит своим звоном о приближении врага, выходите величавой процессией врагу навстречу. И пусть церковь откроет свои врата и станет убежищем для тех из наших вассалов, кто из-за участия своего в сегодняшней несчастливой битве или по другим причинам должен особенно опасаться ярости насильников. Скажите сэру Пирси Шафтону, если он спасся...

— Я здесь, высокочтимый аббат! — откликнулся сэр Пирси. — С вашего соизволения, я соберу воинов, уцелевших в сегодняшней схватке, и мы снова будем биться, не жалея своей жизни. Вам, разумеется, все расскажут, какое участие принял я в последних несчастных событиях. Если бы Джулиан Эвенел соблаговолил последовать моему совету и несколько отвел свои главные силы в сторону — подобно тому, как вы, может быть, заметили, цапля ускользает от стремительно несущегося вниз сокола, стараясь подставить ему свой клюв, а не крыло, — то, мне представляется, дело приняло бы другой оборот и мы смогли бы с большим пылом противостоять натиску врага. Но тут я хотел бы, чтобы меня правильно поняли: я не умаляю заслуг Джулиана Эвенела, который у меня на глазах мужественно сражался и пал, обратив лицо к врагу. Его отвага заставила меня забыть неподобающее выражение «несносный вертопрах», которое он изволил употребить несколько опрометчиво по моему адресу в благодарность за мои советы, так что, если бы всевышний соизволил продлить жизнь этого достойного дворянина, я принужден был бы по долгу чести предать его смерти моею собственной рукой...

— Сэр Пирси, — прервал его аббат, — сейчас не время обсуждать то, что могло бы случиться.

— Вы правы, высокочтимейший аббат и отец, — ответил неисправимый эвфуист, — прошедшее время, как оно именуется в грамматике, менее значительно для смертного человечества, нежели будущее. Главным же образом наши помыслы устремлены на время настоящее. Короче говоря, я готов стать во главе всех, кто пожелает за мной следовать, и буду стоять насмерть, дабы воспрепятствовать англичанам проникнуть в глубь страны, хоть они и приходится мне соотечественниками. Заверяю вас, что Пирси Шафтон отмерит на земле пять футов десять дюймов своего роста, но не попятится на два ярда, с коих обычно начинается позорное отступление.

— Благодарю вас, сэр рыцарь, — сказал аббат, — не сомневаюсь, что вы сдержали бы слово, но небу неугодно, чтобы мы прибегли к вещественному ору-

жую. Мы призваны терпеть, а не сопротивляться, и не можем допустить напрасного пролития крови наших ни в чем не повинных вассалов. Бесплодное сопротивление не приличествует нашему званию. Я отдал распоряжение бросить мечи и копья. Господь и пречистая дева не благословили нашего знамени.

— Не торопитесь, высокочтимый аббат, отказываясь от защитников, которыми вы располагаете! — с горячностью воскликнул сэра Пирси. — На окраине этого селения много удобных для обороны мест, где смельчаки могли бы покрыть себя славой. Я еще потому стремлюсь в бой, что забочусь о безопасности одной прелестной приятельницы моей, которая, я уповаю, не попала в лапы к еретикам.

— Понимаю, о ком вы говорите, сэра Пирси, — сказал аббат, — о дочери нашего монастырского мельника.

— Высокочтимый аббат, — ответил сэра Пирси в некотором замешательстве, — прелестная Мизинда действительно некоторым образом является дочерью того, кто механическим способом превращает зерно в хлеб, без коего мы не могли бы существовать, так что ремесло сие высокопочтенно и даже необходимо. Мне еще известно о чистейших чувствах одной благородной души, сверкающих наподобие солнечных лучей, отраженных в бриллианте, и стремящихся, если сие возможно, возвеличить упомянутую дочь мукомольного механика...

— У меня совершенно нет времени выслушивать все это, сэра рыцарь, — прервал его аббат. — Я вам отвечу коротко, и этого будет достаточно: мы решили более не сражаться, применяя мечи, копья и пики. Мы, духовные воины, покажем вам, воинам светским, как должно умирать, не падая духом, — не с оружием в руках, не с гневом и ненавистью в сердце, но сложив руки для молитвы, с христианской кротостью и всепрощением в душе. Воинственное бряцание оружия не будет оглушать наш слух и смущать наши чувства. Напротив, наши голоса сольются в пении «Аллилуйя», «Господи помилуй» и «Богородица, дево, радуйся», и мы будем хладнокровны и безмятежны,

как те, что помышляют о примирении с господом, а не о мщении своим ближним.

— Лорд-аббат, — ответил сэр Пирси, — все это не имеет отношения к участи моей Молиныры, и я прошу вас принять во внимание, что я не намерен ее покинуть, пока золотая рукоятка моего кинжала не расстанется с его стальным клинком. Я запретил ей следовать за нами на поле битвы, но мне показалось, что она в своем костюме пажы появлялась в тылу сражавшихся.

— Вам надлежит в другом месте искать особу, в судьбе которой вы принимаете столь горячее участие, — сказал аббат. — Я посоветовал бы вашей светлости справиться, нет ли ее в церкви, где укрылись наиболее незащитные из наших вассалов. Я хотел бы, чтобы и вы прибегли к покровительству алтаря. В одном вы можете быть уверены, сэр Пирси Шафтон, — прибавил он, — что если вас постигнет несчастье, то пострадает и вся наша братия. Ибо никогда, я в этом убежден, даже самый недостойный из нас не захочет спасти свою жизнь ценой предательства друга и гостя. Теперь оставьте нас, сын мой, и да хранит вас господь!

Сэр Пирси Шафтон удалился, и аббат сразу ушел бы в свою келью, но ему неожиданно доложили, что какой-то незнакомец настойчиво добивается свидания с ним. Когда незнакомца ввели и оказалось, что это Генри Уорден, аббат вскочил с места и гневно воскликнул:

— Как! Неужто немногие минуты жизни, оставшиеся тому, кто, возможно, является последним аббатом здешней обители, должны быть отравлены вторжением еретика? Что же, ты пришел, окрыленный надеждами, кои сейчас появились у твоей безумной и проклятой секты? Пришел лицезреть, как метла разрушения сметет гордый оплот древней религии, надругается над святынями, осквернит и развеет по ветру прах наших благодетелей и их усыпальницы, уничтожит башни, каменную резьбу и стены, воздвигнутые во имя господа и божьей матери?

— Успокойся, Уильям Аллан, — с невозмутимым достоинством возразил протестантский проповедник. — Цель моего прихода совсем иная. Я бы хотел, чтобы из этих великолепных храмов были удалены идола, которые в свое время олицетворяли добродетель и мудрость, а ныне превратились в предмет гнусного идолопоклонства. Если бы эти украшения не являлись предметом соблазна для людских душ, я бы их не тронул, потому что пуше всего я осуждаю разрушения, коим предается в ярости народ, ожесточенный кровавыми преследованиями. Я пришел возвысить свой голос против бессмысленных опустошений...

— Ты праздный болтун, и больше ничего! — прервал его аббат Евстафий. — Не все ли равно, под каким предлогом замышляешь ты ограбить дом господень? И зачем ты в минуту бедствия оскорбляешь нас своим зловещим присутствием?

— Ты несправедлив, Уильям Аллан, — возразил Уорден, — но это не поколеблет принятого мною решения. Недавно ты оказал мне покровительство, подвергая опасности свой сан и, что для тебя всего дороже, свое доброе имя среди католической секты. Теперь восторжествовала наша партия, и поверь мне, что я пришел сюда в ущелье, в которое ты меня заточил, просто для того, чтобы не остаться перед тобой в долгу.

— Кто знает, — ответил аббат, — может быть, именно это жалкое, немощное сострадание, заговорившее в моем сердце и заставившее меня сохранить тебе жизнь, ныне навлекает на нас эту кару? Может быть, само небо обрушивается на заблудшего пастыря и разгоняет его стадо.

— Не думай так дурно о небесном правосудии, — сказал Уорден, — не за твои грехи, порожденные ошибочным воспитанием и случайностями жизни, постигает тебя тяжкая кара — не за твои только грехи, Уильям Аллан, но за совокупность преступлений, кои совершила твоя недостойная церковь в результате многовековых заблуждений и сребролюбия.

— Клянусь моей незыблемой верой в скалу святого Петра! — воскликнул аббат. — Ты возжигаешь

в моем сердце последнюю тлеющую искру негодования. Я считал, что земные страсти уже не могут взволновать меня, но твой голос вновь пробуждает во мне гнев! Да, это твой голос в часы печали оскорбляет меня, кощунственно обвиняя и кляня церковь, которая сохранила светоч христианства со времени апостолов и до наших дней.

— Со времени апостолов? — с жаром повторил проповедник. — *Negatur, Gulielme Allan*:¹ первобытная церковь настолько не схожа с нынешней римской церковью, насколько свет отличается от мрака. Если бы у меня было время, я бы тебе это, бесспорно, доказал. И еще более неправ ты, утверждая, что я пришел сюда, чтобы оскорблять тебя в часы печали. Нет, видит бог, я пришел с христианским желанием сдержать свое слово и отдаться в твои руки, пока ты еще имеешь власть распорядиться моей судьбой. И, может быть, мне удастся уберечь тебя от ярости победителей, которые, как бич господень, ниспосланы тебе в наказание за упорство.

— Я отвергаю твое заступничество, — сурово возразил аббат. — Сан, дарованный мне церковью, наполняет мою душу гордостью не в минуты высшего благоденствия, а ныне, в переломный час испытаний. Я ничего не жду от тебя, кроме подтверждения, что мое мягкосердечие не помогло тебе заманить невинную доселе душу в сатанинские сети, что я не отдал волку ни одной заблудшей овцы из стада, доверенного мне верховным пастырем.

— Уильям Аллан, — ответил протестант, — я буду откровенен с тобой. Своего обещания я не нарушил — не возвышал я своего голоса даже для того, чтобы вещать добро. Но небу было угодно приобщить девицу Мэри Эвенел к истинной вере, неведомой тебе и другим ученикам римской церкви. Ей я помог моими смиренными силами. Я спас ее от козней злых духов, которые властвовали над всей ее семьей, пока она слепо подчинялась суевериям римской церкви, и —

¹ Отвергается, Уильям Аллан (лат.).

хвала создателю! — я смею надеяться, что она навек ограждена от твоих хитросплетенных ловушек.

— Несчастный! — воскликнул аббат, не будучи в силах подавить растущее в его душе негодование. — Как смеешь ты перед аббатом святой Марии похвастаться, что тебе удалось увлечь душу одной из обительниц нашей церковной округи на путь мерзких заблуждений и окаянной ереси? Ты, Уэлвуд, возмущаешь меня до такой степени, что мне уж невозможно сдерживаться, и я вынужден употребить последние остатки моей власти на то, чтобы стереть с лица земли такого человека, как ты, который извратил все данные ему богом способности и посвятил их служению сатане.

— Делай что хочешь, — сказал проповедник, — твой суётный гнев не помешает мне исполнить мой долг и сделать для тебя все, что не противоречит моему высшему призванию. Я иду к графу Мерри.

Их беседа, грозившая превратиться в ожесточенный спор, была внезапно прервана глухим и унылым звоном самого большого и самого тяжелого монастырского колокола, которому летописи обители приписывали силу разгонять грозовые тучи и обращать в бегство злых духов. Ныне он только возвещал об опасности, не указывая, как от нее спастись.

Торопливо повторив свое распоряжение, чтобы вся братия, одевшись в торжественные ризы, собралась в соборе, аббат поднялся по своей потайной лестнице на зубчатую стену высокой монастырской колокольни, где встретил ризничего, в обязанности которого входило наблюдение за колокольным звоном.

— В последний раз управляю я колоколами, предподобный отец и владыка, — обратился он к аббату, — ибо вот уже приближаются филистимляне. Но я хотел, чтобы большой колокол святой Марии в этот последний раз звучал поистине чисто и полногласно. Я многогрешный монах, — прибавил он, обращая взор к небу, — но смею сказать, что с башни нашей обители ни один колокол не звучал фальшиво, пока перезвоном заведовал отец Филипп.

Аббат, не отвечая, всматривался в дорогу, которая, огибая гору, спускалась к Кеннаквайру с юго-востока. Вдали виднелось облако пыли, слышалось ржание коней, то и дело сверкали копья — видно было, что отряд, спускающийся в долину, идет с оружием наготове.

— Стыжусь своей слабости! — проговорил отец Евстафий, отирая набегающие слезы. — Глаза мои помутились, и я не могу рассмотреть их. Взгляни, Эдуард, сын мой, — продолжал он, обращаясь к своему любимому послушнику, который стоял рядом с ним, — скажи, что у них за стяги?

— Шотландцы они как будто! — воскликнул Эдуард. — Да, вот белые кресты! Может быть, это — пограничная стража с запада или Фернихерст со своим кланом.

— Посмотри на их знамя, — продолжал аббат, — и скажи мне какой на нем герб?

— Герб Шотландии, — ответил Эдуард, — на четырехчастном щите я как будто различаю льва в обычной кайме и три подушки. Может быть, это королевское знамя?

— Увы, нет, — сказал аббат, — это герб графа Мерри. Он присвоил себе после недавних побед стяг доблестного Рэндолфа, а из своего наследственного герба изъял знак, указывавший на его незаконное рождение. Даст бог, Мерри сам о нем не забудет и, домогаясь королевской власти, не посягнет на титул короля.

— Но, отец мой, — сказал Эдуард, — он защитит нас по крайней мере от бесчинства английских солдат.

— Да, сын мой, подобно тому, как пастух защищает от волка беспечную овечку, приберегая ее себе на ужин. О сын мой, тяжкие дни ожидают нас! В стенах нашей святой обители новая брешь — твой брат отпал от истинной веры. Я получил тайное уведомление о том, что Мерри собирается вознаградить услуги Хэлберта, обвенчав его с Мэри Эвенел.

— С Мэри Эвенел! — повторил послушник, чуть не свалившись и хватаясь за один из резных зубцов, украшающих величественную стену колокольни.

— Да, сын мой, Мэри Эвенел тоже отеклась от веры своих отцов. Не плачь, Эдуард, не плачь, возлюбленный сын мой! Исторгнуть слезы у тебя может только их вероотступничество, но не брачный союз. И возблаговари бога за то, что он наставил тебя на путь истинной веры и вырвал из стана нечестивых. Без заступничества пресвятой девы и святого Бенедикта ты бы тоже был среди отверженных.

— Отец мой, я стараюсь,— сказал Эдуард,— я стараюсь забыть прошлое. Но то, что я должен сейчас вырвать из памяти, было мечтой всей моей прошлой жизни. Решится ли Мерри покровительствовать столь неравному браку?

— Он решится на все, что содействует его планам. Замок Эвенелов являет собой надежную крепость, и Мерри там нужен хороший управитель и преданный человек. А разница в их происхождении для него ничего не значит — точно так же, не задумываясь, изуродует он живописный уголок природы, если ему понадобится возвести там военные укрепления и прорыть траншеи. Но не падай духом, ободрись, сын мой. Вдумайся: ты расстаешься с суетной грезой, взлелеянной в тиши и праздности. Вот я не плачу, а сколько я терплю? Взгляни на эти башни, где жили святые и где погребены герои. Подумай, что я, столь недавно призванный блюсти благочестивую паству, обосновавшуюся здесь еще на заре христианства, могу быть занесен в летописи как последний настоятель этой святой обители... Теперь спустимся и пойдем судьбе навстречу. Они уже у самой деревни.

Аббат стал спускаться, а послушник не мог оторвать глаз от величественного строения, с которым он теперь связал свою судьбу. Но даже сознание неминуемой опасности, нависшей над монастырем, не могло отвлечь его от мысли о Мэри Эвенел. «Все решено, она невеста Хэлберта», — подумал он, закрыл лицо клобуком и последовал за аббатом.

Теперь все колокола аббатства вторили погребальному звону самого большого, который, не уставая, напоминал о грозящем бедствии. Монахи с молитвой становились рядами, и слезы катились по их лицам

при мысли, что, судя по всему, эта процессия — последняя в их жизни.

— Хорошо, что наш отец Бонифаций удалился в глубь страны, — проговорил отец Филипп, — ему бы не дожить до завтрашнего утра, у него бы сердце разорвалось!

— Упокой господи душу аббата Ингельрама, — шептал старый отец Николай. — В его время таких происшествий не бывало. Говорят, что нас теперь изгонят из монастырей. Но смогу ли я где-нибудь жить после того, что я семьдесят лет провел в обители? Одно утешение, что мне уж недолго осталось маяться.

Вскоре главные ворота аббатства распахнулись настежь. Из-под высоких, богато украшенных сводов медленно поплыла величавая процессия. Кресты и хоругви, дароносицы и потиры, ковчеги с мощами и дымящиеся кадила открывали шествие. Все идущие были облачены в длинные черные рясы с клобуками и белыми наплечниками, и каждый из должностных лиц шествовал, неся знак своего достоинства. Аббат шел в середине процессии; его окружали и поддерживали под руки наиболее почтенные инок. Он был облачен во все знаки своего сана и в самые праздничные ризы, и лицо его при этом было совершенно безмятежно, точно он принимал участие в обычном обряде. За ним следовали низшие чины обители, послушники в белых стихарях и братья бельцы, отличавшиеся тем, что они отпускали бороду — у монахов это было не принято. В конце процессии шла толпа, преимущественно женщины и дети, оплакивающие грядущее разорение древнего святилища. Они двигались медленно, правильными рядами, сдерживая вопли отчаяния, так что их тихий плач не прерывал размеренного пения иноков, но сливался с ним.

В таком порядке процессия вступила на базарную площадь деревни Кеннаквайр, где до сих пор высится старинный крест замечательной резьбы — дар одного из древних монархов Шотландии. В те времена рядом с крестом поднимался в высоту огромных размеров дуб, гораздо более древний, чем этот крест, и почти столь же почитаемый. Может быть, здесь, где

вознес свои готические шпили во славу христианства величественный монастырь, некогда происходили обряды поклонения друидов, и кеннаквайрский дуб был этому свидетелем. Подобно дереву Бентанга в африканских деревнях или дубу Плестоу, который упоминается Уайтом в книге «Естественная история и древности Селборна», кеннаквайрский дуб был местом постоянных встреч и свиданий, и все сельские жители относились к нему с любовью и благоговением. Такое чувство свойственно многим народам, и корни его надо искать, может быть, в той отдаленной эпохе, когда патриарх пиршествовал с ангелами под Мамрийским дубом.¹

Вокруг креста в должном порядке расположились монахи, а под сенью старого дерева столпились все старые, слабые и пораженные страхом жители поселка. Когда каждый занял свое место, наступило глубокое торжественное молчание. Иноки прекратили пение, миряне заглушили плач, и все в безмолвном ужасе ждали приближения еретиков, к которым их издавна учили относиться со страхом и трепетом.

Наконец вдаль послышался конский топот, и между деревьями, окружавшими поселок, замелькали сверкающие копыта. Шум, постепенно разрастаясь, превратился в сплошной гул, в котором цоканье копыт сливалось со звоном доспехов. Вскоре на главной улице, ведущей к неправильному четырехугольнику рыночной площади в центре деревни, показались всадники. Они въезжали не спеша, по двое в ряд и в строжайшем порядке. Объехав площадь кругом, передние ряды остановились и повернули своих лошадей головами к центру. Следующие верховые двигались в таком же порядке, пока не сомкнулось наружное кольцо, вслед за которым построились следующие ряды, и, наконец, площадь оказалась опоясанной сплошной стеной из четырех рядов вооруженных всадников.

Воспользовавшись минутной тишиной, аббат сделал знак, по которому братия хором затянула тор-

¹ Вряд ли нужно говорить, что в Мелрозе, который явился прообразом Кеннаквайра, не было такого дуба. (Прим. автора)

жественный псалом «De profundis clamavi»,¹ а сам стал всматриваться в лица солдат, чтобы понять, какое впечатление производят на них эти величественные, скорбные звуки. Все молчали. У иных на лице появлялось презрительное выражение, а остальные пребывали в полнейшем равнодушии. Видимо, они настолько свыклись со своей профессией, что ни шествие, ни церковное пение уже не могли пробудить в них угасшую восторженность.

«Их сердца окаменели, — подумал аббат, упав духом, но не отчаиваясь. — Может быть, начальники окажутся лучше подчиненных».

Начальники между тем медленно приближались во главе своей свиты, в числе которой находился и Хэлберт Глендининг. Мерри вел оживленный разговор с Мортонем, и проповедник Генри Уорден, который, покинув монастырь, тотчас присоединился к ним, был единственным лицом, кому было разрешено участвовать в этом разговоре.

— Итак, вы решились, — обратился Мортон к Мерри, — отдать наследницу Эвенелов со всеми ее будущими богатствами этому безвестному и отнюдь не знатному юноше?

— Разве Уорден не сообщил вам, — возразил Мерри, — что они выросли вместе и с детства любят друг друга?

— И, кроме того, — сказал Уорден, — оба они почти чудом спаслись от обольщений Рима и нашли путь в лоно истинной церкви. Находясь в Глендеарге, я узнал всю их историю. Хотя мне по характеру и по призванию не пристало заниматься сватовством и свадьбами, но я должен вмешаться, видя, что вы, милостивые лорды, можете совершить бесцельное зло. Не следует препятствовать естественным и достойным чувствам, которые с благословения церкви становятся залогом семейного счастья здесь и залогом блаженства в лучшем мире. Говорю вам, что поступите дурно, если разорвете эти узы и отдадите девицу Эве-

¹ Я взываю из бездны (лат.).

нел в жены Беннигаску, хоть он и родич самого лорда Мортон.

— Нечего сказать, милорд, — заговорил Мортон, — хороши причины, из-за которых вы колеблетесь исполнить мою пустяковую просьбу и обвенчать эту сельскую дурочку с молодым Беннигаском. Будем говорить начистоту, милорд: видно, вы предпочитаете видеть замок Эвенелов в руках человека, который именем и положением обязан лично вам, вашей благосклонности, чем отдать его одному из рода Дугласов — моему родственнику.

— Досточтимый лорд Мортон, — ответил Мерри, — я тут не сделал ничего, что могло бы вас огорчить. Молодой Глендининг доказал мне свою преданность и может быть полезен впоследствии. Я почти обещал ему устроить этот брак еще при жизни Джулиана Эвенела, когда союз с этой девицей не сулил ему ничего, кроме ее лилейной ручки. Между тем вы, Мортон, стали помышлять об этом браке вашего родственника, только когда увидели Джулиана мертвым на поле битвы и сообразили, что имение его теперь стало выморочным и достанется тому, кто первый его захватит. Полноте, милорд, вы оказываете вашему знатному родственнику плохую услугу, сватая за него девицу, выросшую чуть ли не в коровнике. Ибо эта Мэри, если не считать случайности ее рождения, во всем остальном — просто-напросто деревенщина. Я полагал, что вы больше заботитесь о чести рода Дугласов.

— Не беспокойтесь за честь рода Дугласов, я ее не дам в обиду, — высокомерно возразил Мортон, — но наряду с Эвенелами могут пострадать другие благородные семьи, если кровных потомков наших древних баронов начнут соединять брачными узами с мужичьем...

— Пустые слова! — перебил его лорд Мерри. — В такое время, как сейчас, имеет значение человек, а не родословная. Хэй был простым крестьянином до сражения при Лонкарти, и ярмо, которое внесено геральдикой в присвоенный ему герб, действительно с его помощью тащило за собой плуг. Бурные времена обращают князей в земледельцев, а мужиков — в ба-

ронов. Все знатные семьи происходят от какого-нибудь скромного предка, и хорошо, если они сохраняют доблести, благодаря которым этот предок прославился.

— Я просил бы лорда Мерри сделать исключение для рода Дугласов, — надменно процедил Мортон. — Люди видели и видят в Дугласах могучее дерево, а не деревцо, полноводный поток, а не ручей. В самых ранних наших шотландских летописях Черный Дуглас могуч и славен, как ныне его потомки.

— Преклоняюсь перед знатностью рода Дугласов, — немного насмешливо ответил Мерри. — Согласен, что даже мы, потомки королей, едва ли можем состязаться с ними в благородстве происхождения. Хотя корона и скипетр принадлежали Стюартам в течение нескольких поколений, наша родословная все-таки не идет дальше скромного сенешаля Алануса.

Мортон вспыхнул, готовясь ответить, но Генри Уорден со смелостью, издавна свойственной протестантскому духовенству, прервал спор, который, разгораясь, стал угрожать самолюбию спорящих.

— Милорды, — сказал он, — исполняя долг, возложенный на меня создателем, я должен быть неустрашим. Стыд и позор, что двое вельмож, с таким успехом защищающих дело Реформации, заводят спор о сущих пустяках. Подумайте о том, как долго вы оба жили одной мыслью, смотрели одними глазами, слушали одними ушами, как долго крепили своим союзом нашу общину и своим единодушием наводили страх на антихристовы скопища. Неужели вы теперь готовы рассориться из-за какого-то ветхого, полуразрушенного замка, нескольких бесплодных холмов, из-за любви и верности простого копьеносца к никому не известной девице и, наконец, из-за еще более вздорных вопросов ничего не стоящей генеалогии.

— Этот почтенный человек совершенно прав, благородный Дуглас, — сказал Мерри, протягивая руку Мортону. — Наш союз настолько важен для правого дела, что его не могут нарушить столь вздорные разногласия. Я твердо намерен выполнить желание Глендининга — я уже дал ему слово. Войны, в которых я участвовал, принесли несчастье многим семьям; поста-

раюсь, если это мне удастся, сделать хоть одну семью счастливой. А девиц и замков в Шотландии хватит, и даю вам слово, мой благородный союзник, что молодой Беннигаск не останется без богатой невесты.

— Милорд, — подхватил Уорден, — вы говорите как вельможа и христианин. Увы! В нашей стране царит ненависть, льется кровь... Не будем же мешать столь редким проявлениям нежной семейной привязанности. И не гонись с таким упорством за богатым приданым для твоего родственника, лорд Мортон: супружеское счастье зависит не от богатства.

— Если вы намекаете на мое семейное горе, — сказал Мортон, супруга которого, прельстившая его знатностью и богатством, была повреждена в уме, — то знайте, что только ваше облачение и свобода, вернее вольность, дарованная проповедникам, спасают вас от моего гнева.

— Увы, милорд, — ответил Уорден, — как обидчиво и уязвимо ваше самолюбие! Когда, повинувшись нашему высокому призванию, мы указываем нашей государыне на ее заблуждения, кто рукоплещет нашей смелости громче, чем благородный граф Мортон? Но едва прикоснулись мы к его собственной ране, давно нуждающейся в помощи ланцета, как он в страхе и нетерпеливом гневе избегает заботливого хирурга.

— Довольно об этом, почтенный и уважаемый сэр, — прервал его Мерри. — Вы сами нарушаете правила благоразумия, какие только что проповедовали. Мы уже вступаем в поселок, и гордый аббат вышел нам навстречу во главе своего улья. Ты горячо просил за него, Уорден, иначе я разорил бы это гнездо и разогнал всех грачей.

— Не надо, — возразил Уорден. — Уильям Аллан, которого они называют аббатом Евстафием, такой человек, что для нашего дела опаснее его страдание, чем его благоденствие. Как бы вы его ни преследовали, он все вытерпит, и чем больше вы будете его притеснять, тем могущественнее будет влияние его красноречия и мужества. Вознесенный на монастырский трон, он встретит вражду и зависть, но замените

его золотое распятие деревянным, пустите бродить по стране как гонимого и нищего странника, — и терпение его, красноречие и ученость отвратят больше сердец от нашего правого дела, чем удалось уловить всем митрофорным аббатам Шотландии за последние сто лет.

— Все это чистейший вздор, — заметил Мортон. — Доходы с монастырских земель — вот настоящая сила, которая в один день соберет больше солдат, больше коней и оружия, чем он привлечет своими проповедями за всю жизнь. Прошли времена Петра Пустынника, когда монахи могли заставить целые армии направиться из Англии в Иерусалим. Но золото и война и сейчас много значат. Будь у Джулиана Эвенела сегодня утром лишних два десятка солдат — сэру Джону Фостеру несдобровать. Чтобы обезвредить аббатство, надо отобрать его доходы.

— Разумеется, аббат должен будет уплатить нам контрибуцию, — сказал Мерри, — и, если он пожелает остаться в своей обители, ему придется выдать Пирси Шафтона.

К этому времени оба военачальника въехали на базарную площадь. Они отличались от всех своим вооружением, пышными плюмажами на шлемах и многочисленной свитой, одетой в их цвета и украшенной их гербами. Мортон, а в особенности Мерри, близкий родственник царствующей династии, имели тогда в своем распоряжении почти такой же двор, какой был у шотландской королевы. Когда они остановились, от свиты Мерри отделился вестник, который подъехал к монахам и сказал:

— Аббату святой Марии приказано явиться к графу Мерри.

— Аббат обители святой Марии, — ответил отец Евстафий, — в своих монастырских владениях выше всякого светского лорда. Если граф Мерри желает с ним говорить, пусть явится сам.

Получив такой ответ, Мерри презрительно улыбнулся, но соскочил со своего высокого седла и в сопровождении Мортон и свиты подошел к кресту, где стояли монахи. Они содрогнулись при приближении

столь могущественного и грозного вождя еретиков. Но, являя всей своей осанкой укор и ободрение, аббат выступил вперед как неустрашимый военачальник, понимающий, что только личная храбрость может укрепить падающее мужество его соратников.

— Лорд Джеймс Стюарт, или граф Мерри, если таков твой титул, — провозгласил он, — я, Евстафий, аббат монастыря святой Марии, спрашиваю тебя: по какому праву занял ты своим войском нашу мирную деревню и окружил нашу братию рядами вооруженных людей? Если ты ищешь гостеприимства, то мы в нем никогда не отказывали учтивому гостю, если же ты замышляешь насилие против мирных монахов, то объяви нам немедленно, с какой целью и под каким предлогом ты сюда явился.

— Сэр аббат, — ответил Мерри, — ваша речь была бы уместнее в другом столетии, когда бы ее слушали не столь значительные особы, как мы. Не отвечать на ваши вопросы явились мы сюда, а потребовать ответа у вас — почему вы нарушили мир, вооружили ваших вассалов и призвали к оружию подданных королевы? Из-за этого было перебито множество людей, могут возникнуть большие осложнения и даже возможен разрыв с Англией.

— *Lupus in fabula*,¹ — презрительно произнес аббат. — Волк обвинял ягненка в том, что тот замутил воду в реке, хотя волк стоял выше по течению: ему просто нужен был предлог, чтобы растерзать ягненка. К оружию — подданных королевы? Я сделал это для защиты владений королевы от чужеземцев. Я только исполнял свой долг и сожалею, что мне не удалось действовать с большим успехом.

— Ваша ли это обязанность оказывать приют изменнику, мятежнику, восставшему против английской королевы, и разжигать войну между Англией и Шотландией?

— Во времена моей молодости, милорд, — ответил аббат с тем же бесстрашием, — война с Англией не

¹ Волк в басне (лат.).

казалась таким страшным делом. Беднейший сельский житель Шотландии счел бы позором для себя не пустить на порог преследуемого изгнанника из страха перед Англией. Тем более не мог так поступить аббат, которому правила ордена предписывают никому не отказывать в гостеприимстве и праве убежища у алтаря. Правда, в доброе старое время англичане редко видели лицо шотландского дворянина иначе, чем сквозь забрало его шлема.

— Монах! — гневно воскликнул Мортон. — Наглостью ты ничего не добьешься! Прошло время, когда римское духовенство безнаказанно глумилось над дворянами. Отдай нам Пирси Шафтона, или, клянусь щитом моего отца, твой монастырь запылает так, что небу жарко станет.

— Опомнись, лорд Мортон, развалины монастыря падут на гробницы твоих собственных предков. Но как бы ни рассудил господь, аббат святой Марии не предаст человека, которому единожды обещал покровительство.

— Аббат, — сказал Мерри, — подумай хорошенько, пока мы не прибегли к суровым мерам. Руки этих людей, — продолжал он, указывая на своих солдат, — не пощадят ваших святынь, если придется обшарить кельи и алтари в поисках англичанина.

— В этом не будет нужды, — слышался голос из толпы, и, грациозно приблизившись к графу Мерри, эвфуист сбросил с себя плащ, скрывавший его лицо и фигуру. — Прочь облако, которое заволакивало Шафтона! — воскликнул он. — Вы видите перед собой, милорды, рыцаря из Уилвертона, который избавляет вас от преступных насилий и святотатства.

— Перед богом и людьми, — провозгласил аббат, — требую я соблюдать права и привилегии дома господня и восстаю против насильственного захвата моего благородного гостя. Если шотландский парламент еще сохранил честь и доблесть, вы услышите его суждение, милорды!

— Не торопись со своими угрозами, — ответил Мерри. — Мои намерения относительно сэра Пирси,

может быть, не таковы, как ты предполагаешь. Арестуйте его, герольд, он наш пленник.

— Я не сопротивляюсь, — заявил эвфуист, — оставляя за собой право вызвать на поединок и лорда Мерри и лорда Мортон, как сие принято между дворянами, когда задета честь одного из них.

— Вы найдете достаточно лиц, готовых принять ваш вызов, сэр рыцарь, — сказал Мортон, — не утруждая тех, кто стоит неизмеримо выше вас.

— Где прикажете искать этих достойнейших противников, — спросил английский рыцарь, — чья кровь еще чище той, что течет в жилах Пирси Шафтона?

— Вы очень высоко вознеслись, милорд, — заметил Мерри.

— Чересчур высоко для дикого гусенка, — прибавил Стоуварт Болтон, подходя к Шафтону.

— Кто осмелился это сказать? — воскликнул эвфуист, багровея от гнева.

— Потихе, молодчик, — возразил Болтон, — правде рот не заткнешь: отец твоей матери, старый Оверстич из Холдернеса, был всего-навсего портной. Вот так-то! Если ты, спесивая птичка, презираешь свою родню, хорохоришься в шелках и бархатах, за которые даже не заплатил, и водишься с разными щеголями и головорезами, так это еще не значит, что мы забыли, кто ты такой. Матушка твоя, Молли Оверстич, была первой красоткой в своей округе, и на ней женился беспутный Шафтон из Уилвертона, который, как говорят, приходится сродни семейству Пирси, но только с левой стороны.

— Дайте рыцарю глотнуть чего-нибудь покрепче; — сказал Мортон, — он свалился с такой высоты, что ему сразу не оправиться.

Сэра Пирси действительно точно громом поразило. При виде смущенного и жалкого выражения его лица все окружающие, забыв о грозных событиях, от души рассмеялись; улыбнулся и аббат.

— Смейтесь, смейтесь, господа, — промолвил наконец рыцарь, пожимая плечами, — мне не подобает строить из себя обиженного. Однако хотел бы я

узнать от этого молодого человека, который смеется громче всех, как он обнаружил это несчастное пятнышко в моей безупречной родословной и с какой целью стал он о нем рассказывать?

— Я стал рассказывать? — удивился Хэлберт Глендининг, к которому относился прочувствованный вопрос сэра Пирси. — Да я только сию минуту услышал обо всем этом.

— Как, разве этот старый солдафон узнал все подробности не от тебя? — в изумлении спросил рыцарь.

— Нет, клянусь небом, — ответил Болтон, — я и в глаза не видел этого юношу до сегодняшнего дня.

— Нет, вы его уже видели, уважаемый мистер, — раздался голос госпожи Глендининг, которая, в свою очередь, вышла из толпы и присоединилась к беседующим. — Сын мой, вот это Стоуэарт Болтон — тот солдат, кому мы обязаны жизнью и всем, что у нас есть. Похоже на то, что он здесь как пленник. Если так, упрости благородных лордов быть добрее с человеком, который защитил вдову.

— Ну, хозяйшка из ущелья! — воскликнул Болтон. — Со времени нашей последней встречи морщин у нас обоих прибавилось немало, но твой язык служит тебе лучше, чем мне моя рука. Сынок твой задал мне жару сегодня утром. Я, помнится, предсказывал, что черноволосый плут будет крепким воином; а где теперь белокурая головка?

— Увы, — вздохнула мать, опуская глаза, — Эдуард принял монашество и поступил в эту обитель.

— Один стал монахом, другой — солдатом. Незавидные два ремесла, почтеннейшая хозяйка. Лучше бы тебе сделать одного из них хорошим закройщиком, вроде старого Оверстича из Холдернеса. Когда-то я вздыхал и завидовал, глядя на твоих двух красавчиков, но сейчас не хотелось бы мне иметь сыновьями солдата и монаха: солдат умирает на поле битвы, монах прозябает в монастыре.

— Дорогая матушка, — сказал Хэлберт, — где Эдуард? Можно мне поговорить с ним?

— Его сейчас нет, — отозвался отец Филипп, — он только что ушел с поручением от лорда-аббата.

— А где Мэри, дорогая матушка? — спросил Хэлберт.

Мэри Эвенел находилась поблизости, и вскоре они втроем отошли в сторону, чтобы поведать друг другу о последних событиях в жизни каждого из них.

В то время как второстепенные лица занялись своими личными делами, аббат вел важные переговоры с обоими графами. Чередуя незначительные уступки с горячей и искусной защитой прав своей обители, он достиг соглашения, по которому монастырь в основном сохранял за собой свои прежние привилегии. Оба графа не стремились довести дело до разрыва, потому что аббат со всей решительностью заявил, что, если у него потребуют жертв, с которыми не сможет примириться его совесть, он добровольно отдаст все монастырские владения шотландской королеве, и пусть она распоряжается ими по своему усмотрению. Такое решение не входило в расчеты Мерри и Мортон, и они временно удовольствовались скромной суммой денег и небольшими земельными угодьями. Уладив этот вопрос, аббат стал вымаливать прощение сэру Пирси Шафтону, судьба которого внушала ему сильную тревогу.

— Он пустой и тщеславный человек, милорды, — сказал аббат, — но, при всей его суетности, в нем много благородства. Верьте мне, он сегодня страдал больше, чем если бы вы его пронзили кинжалом.

— А между тем мы ограничились иголкой — не правда ли, аббат? — сказал граф Мортон. — Клянусь честью, я был склонен думать, что этот внук портного по меньшей мере королевского происхождения.

— Я согласен с аббатом, что нам не пристало выдавать его Елизавете, — заметил граф Мерри, — но его надо отправить туда, где он не сможет доставлять ей беспокойства. Пусть наш герольд вместе с Болтоном проводят его до Данбара и посадят на корабль, идущий во Фландрию. Но вот он идет сюда, и с какой-то женщиной.

— Милорды и прочие господа! — с большой торжественностью начал английский рыцарь. — Посторонитесь, дайте дорогу супруге Пирси Шафтона. Я не желал проливать свет на эту тайну, но судьба разгласила то, что я столь тщательно скрывал, и теперь у меня нет более причин умалчивать о том, что я ныне объявляю.

— Да ведь это же Мизи Хэппер, жизнью клянусь, дочь нашего мельника! — воскликнула Тибб Тэккет. — Я так и знала, что эти чванные Пирси получают щелчок по носу!

— Вы не ошиблись, это действительно прекрасная Мизинда, — ответил рыцарь, — чья самоотверженность заслуживает большей награды, чем та, которую сейчас может ей даровать ее покорнейший слуга.

— Я подозреваю, однако, — заметил Мерри, — что мы не услышали бы о превращении дочки мельника в леди, если бы не обнаружилось, что благородный рыцарь — внук закройщика.

— Милорд, — возразил сэр Пирси Шафтон, — не велика доблесть наносить удары тому, кто не в силах защищаться. Надеюсь, что вы будете относиться к вашему пленнику как того требует воинский закон и прекратите оскорбительные для меня шутки. Когда я вновь окажусь на свободе, я сумею проложить себе дорогу к славе...

— Вы собираетесь ее *выкроить*? — прервал его Мортон.

— Довольно, Дуглас, вы сведете его с ума, — вступился Мерри. — Кроме того, у нас еще много других дел. Я хочу, чтобы Уорден обвенчал Глендининга с Мэри Эвенел, и пусть он сразу же поселится в родовом замке своей жены. Лучше всего сделать это, пока наши войска отсюда не ушли.

— У меня есть такое же зерно для помола, — заговорил мельник. — Прошу кого-нибудь из почтенных отцов монахов обвенчать мою девочку с ее веселым женихом.

— В этом нет нужды, — отозвался Шафтон, — обряд уже состоялся, и весьма торжественный при этом.

— От повторения хуже не будет, — ответил мельник. — «Для верности лучше повторить», — говорю я, когда мне случается вторично пускать в помол один и тот же мешок муки.

— Уведите мельника, а не то он замучит сэра Пирси до смерти, — сказал Мерри. — Аббат приглашает нас с вами, милорд, к себе в монастырь. Предлагаю отправиться туда всем, включая сэра Пирси. Мне еще надо познакомиться с девицей Эвенел — ведь завтра я буду ее посаженным отцом. Пусть вся Шотландия узнает, как Мерри умеет награждать верного слугу.

Не желая встречаться с отцом Евстафием, Мэри Эвенел и ее возлюбленный временно поселились в деревушке, где на следующий день протестантский проповедник обвенчал их в присутствии обоих графов. В тот же день Пирси Шафтон с супругой отправились на побережье в сопровождении стражи, которая удостоверилась в том, что они отплыли в Нидерланды. На рассвете следующего дня войска обоих графов двинулись к замку Эвенелов, чтобы водворить новобрачного в родовое имение его супруги, что и было осуществлено без каких-либо препятствий.

Однако вступлению Мэри в фамильный замок ее предков, как и каждому значительному событию в жизни этой отмеченной роком семьи, предшествовало таинственное предзнаменование. Тибб Тэккет и Мартин, решив не покидать свою молодую госпожу при новом повороте ее судьбы, сопровождали ее и по пути увидели тень вооруженного человека — привидение, уже не раз появлявшееся в Глендеарге. Призрак неся впереди отряда конников вдоль длинной дамбы, вместе с отрядом ждал, пока спускались подъемные мосты, и, повелительно взмахнув рукой, исчез под мрачной аркой, увенчанной гербом Эвенелов. Преданные слуги рассказали о том, что они видели, только госпоже Глендининг, которая с гордостью в сердце следовала за Хэлбертом, чтобы посмотреть, как он займет свое место в ряду других баронов.

— Ах, дорогой мой сынок! — воскликнула она, слушая рассказ Мартина. — Замок — очень почетное место, ничего не скажешь, но всякое может случиться. Хорошо, если ты никогда не пожалеешь о мирных холмах Глендеарга и не захочешь туда вернуться.

Однако материнская тревога, которая внушила ей это замечание, была вскоре забыта — ее вытеснила хлопотливая и радостная обязанность обойти и осмотреть замок, отныне принадлежащий ее сыну.

Тем временем Эдуард уединился в отцовской башне, где все, что его окружало, усиливало его скорбь, навевая горькие размышления. Аббат направил его сюда с некоторыми важными бумагами, поручив спрятать их здесь, как в безопасном и отдаленном убежище; но в действительности отец Евстафий по своей доброте отослал Эдуарда, чтобы уберечь его от лицемерия триумфальной церемонии в честь старшего брата. Подобно скорбному духу, скитался несчастный юноша по пустым комнатам, где все напоминало ему о прошлом и где он на каждом шагу находил новый повод для терзаний. Наконец, чувствуя, что в этих стенах он не в силах справиться с мучительными воспоминаниями, он выбежал из дому и поспешно зашагал вверх по ущелью, как бы желая стряхнуть на ходу тяжелое бремя. Когда он дошел до Корри-нан-Шиана, солнце уже склонялось к горизонту, и ему невольно вспомнилось то, что здесь произошло, когда он в последний раз посетил это заколдованное ущелье. Сейчас он охотнее пошел бы навстречу опасности, чем стал бы ее избегать.

— Я хочу увидеть это таинственное существо, — сказал он самому себе. — Она предсказала мне, что я облачусь в монашеское одеяние. Скажет ли она, чего мне ждать от жизни, в которой я предугадываю одну только скорбь?

Его желание сбылось, и он увидел Белую даму. Она сидела на своем обычном месте и напевала все ту же тихую и сладостную мелодию, с грустью глядя на свой золотой пояс, который сейчас так сузился, что стал не толще шелковой нити:

— Свежий остролист, прощай!
Ты отныне невзначай
Уж не зашумишь листвою
При свидании со мною...
Шелест твой заслышав вдруг,
Лань уж не возьмет испуг.

И ручей, прощай. Моя
Песнь умолкнет у ручья,
Там, где мерных волн движенье
Как бы влито в это пенье...
Плеск волны растает с ней:
Так рушит рок мечты людей.

Судьбы приговор незыблем и тверд:
Дева — невеста, юноша — лорд.
Были чары все напрасны,
Разлучить их я не властна.
Куст, увянь, и сгинь, поток:
Род Эвенелов губит рок!

Белая дама как будто пела сквозь слезы. Слова этой песни внушили Эдуарду мрачное предчувствие, что союз Мэри с его братом может оказаться роковым для них обоих.

На этом заканчивается первая часть рукописи бенедиктинца. Я тщетно старался определить точное время, к которому относится это повествование, даты которого находятся в противоречии с хронологией наиболее достоверных источников. Просто удивительно, до какой степени беззаботно относятся сочинители всяческих утопий к событиям, которые они описывают. Например, ученый мистер Лоренс Темплтон в своем последнем произведении под заглавием «Айвенго» не только наделил Эдуарда Исповедника сыном, о котором не знает историческая наука, не только позволил себе ряд других вольностей в этом же роде, но даже искажил законы природы, угощая порсят желудями уже в середине лета. Самый

горячий поклонник этого автора в его оправдание может сказать только, что факты и события в романе, признанные недостоверными, так же правдивы, как и весь роман целиком. Но это представляется мне (главным образом в случае с желудями) весьма неубедительной защитой. Автор поступит правильно, если последует совету, который капитан Эпсолют дал своему слуге, и, следовательно, будет лгать лишь тогда, когда сие безусловно необходимо.

КОММЕНТАРИИ

Работая над «Айвенго» и страдая тяжелой болезнью, Вальтер Скотт не оставлял своего старого замысла: в промежутках между мучительными приступами болезни и главами своего средневекового романа он диктовал роман из истории Реформации в Шотландии, который назвал «Монастырь». «Айвенго» вышел в конце декабря 1819 года, «Монастырь» поступил в продажу в начале марта 1820 года. Бóльшая его часть была написана в январе — феврале этого года. Так же, как и предыдущий, этот роман вышел за подписью «Автор «Уэверли».

Действие романа начинается в 1547 году (точнее — в середине сентября, после битвы при Пинки) и продолжается до конца 1550-х годов. В Шотландии — это первая половина царствования Марии Стюарт, в Англии — царствования Эдуарда VI (1547—1553), Марии Кровавой (1553—1558) и Елизаветы (вступила на престол в 1558 г.).

На континенте Реформация началась уже давно. Генрих VIII, сперва по причинам личным, затем из соображений экономических и политических, расторг свои связи с римской церковью, объявил себя главой англиканской церкви, стал взимать в пользу государства десятину — налог, прежде взимавшийся духовенством, и произвел ряд других реформ, положивших начало организации англиканской церкви. Затем он занялся укреплением своей власти и завоеванием тех самостоятельных государств, которые еще имелись на территории островов: Ирландии и Уэльса.

Между тем умер шотландский король Иаков VI (1542), и на престол вступила его малолетняя дочь Мария Стюарт. Генрих VIII,

почуяв легкую добычу, решил женить на ней своего сына Эдуарда. Но это вызвало сопротивление шотландцев, и все попытки, военные и дипломатические, оказались безрезультатными. После смерти Генриха (1547) его политику продолжал регент, лорд Сомерсет, принявший управление государством при малолетнем Эдуарде, и стал добиваться брака Эдуарда VI с Марией. Начавшаяся война закончилась битвой при Пинки, в которой шотландцы понесли страшное поражение. Решающую роль в битве сыграли английские лучники.¹

С этого времени начинается интенсивное проникновение в Шотландию протестантства. Быстрые успехи его объясняются отчасти и тем, что огромные земельные владения и богатства католической церкви возбуждали жадность шотландских феодалов и короны. Действие романа развивается на фоне этих событий и обстоятельств.

Монастырь, который стоит в центре действия, — знаменитое аббатство Мелроз, развалины которого привлекали туристов и восхищали Скотта. Имение Скотта Эбботсфорд когда-то входило в состав обширных владений этого аббатства, а развалины его можно было увидеть с холмов, окружающих замок Скотта. Мелроз считался одним из интереснейших в Шотландии памятников средневековой архитектуры.

Поблизости от него действительно находился Глендеарг — небольшое укрепленное здание, какие тогда назывались крепостью (tower). Однако Глендеарг был построен только в 1585 году, как явствует из надписи на нем, то есть по крайней мере на полвека позже, чем здание, о котором говорится в романе. Топографические описания в романе приблизительно точны, хотя Скотт позволял себе вольности, в зависимости от требований замысла. Так, Корри-нан-Шуан, у которого появилась Белая дама, он перенес несколько дальше того места, где находился источник, возбудивший его фантазию своей живописностью. Хронология событий, которые упоминаются в романе, также не всегда точна. Так, Пирси Шафтон в 1556 или 1557 году говорит о королеве Елизавете и о поэте Филиппе Сиднее, между тем как Елизавета вступила на престол в 1558 году, а Сидней родился в 1554-м. Есть и другие ошибки, которые легко могли сорваться с пера в пылу быстрой работы. Возможно, что некоторые из них Скотт

¹ Это обстоятельство и имеет в виду Мартин, герой романа, говоря: «Да хранит бог наших добрых шотландцев от смертоносной стрелы».

исправил бы, если бы их заметил, но, может быть, он и оставил бы в устах Пирси живописное упоминание о Сиднее, которого королева называла своей Смелостью, между тем как он называл ее своим Вдохновением. Скотт не придавал значения мелким анахронизмам: ему важнее было воспроизвести характер эпохи и общие тенденции исторического развития.

Пытаясь, как всегда, представить страну и эпоху в самом широком разрезе, Скотт изображает пограничных лэрдов, католических монахов различных типов и положений, бродячего проповедника-кальвиниста, пастухов и солдат. Полной противоположностью этим шотландским образам является сэр Пирси Шафтон, усвоивший манеры и моду самого последнего времени и кажущийся каким-то странным пятном на фоне шотландских нравов.

Английский рыцарь-католик Пирси Шафтон вынужден был бежать из протестантской Англии, надеясь найти защиту у мелрозского аббата. В это время Шотландией управлял побочный брат королевы Марии, лорд Джеймс Мерри, сторонник Реформации, стремившийся отнять земли аббатства. Вот почему Пирси принужден бежать и скрываться, а аббат не в состоянии оказать ему покровительство.

Скотт называет Пирси Шафтона эвфуистом. Однако два дидактических романа Джона Лили «Эвфуэс, анатомия ума» и «Эвфуэс и его Англия» появились только в 1579 и 1580 годах, то есть через девятнадцать или двадцать лет после описываемых событий. Очевидно, Скотт писал по памяти и не проверял дат. Пирси Шафтон, говорящий о Елизавете и Сиднее и испытывавший влияние Лили, явно относится к более поздней эпохе — к концу XVI века. Явления эвфуизма в английской поэзии были характерны и для первой половины века и связаны с петраркизмом. Два поэта — Томас Уайет (1503—1542) и граф Сёрри (1517—1547) — создали школу, стиль которой отличался сложными сравнениями и учеными метафорами, в те времена казавшимися верхом утонченности. Правда, творчество обоих этих поэтов стало известно только в 1557 году, а стиль, ими открытый, вошел в моду лет через двадцать пять после этого. И все же Пирси Шафтон как эвфуист исторически возможен и даже правдоподобен.

Дуэль Хэлберта Глендиннинга с Пирси Шафтоном, являющаяся одним из центральных эпизодов романа, была вызвана тем, что Хэлберт по совету Белой дамы показал портняжную иглу своему сопернику. В примечании к роману Скотт говорит, что он заимствовал этот мотив из романа «прославленного» Тика

«Маленький Петер». Однако среди произведений немецкого романтика Людвиг Тика такого романа нет. Он принадлежит немецкому писателю XVIII века Хр. Г. Шпису, автору рыцарских романов с не переменным сверхъестественным элементом. Маленький Петер, так же как Белая дама Скотта, — дух рыцарской фамилии, который является герою произведения — последнему представителю рода — в критические моменты и дает ему советы, всякий раз имеющие роковые последствия. Роман Шписа, появившийся в 1791—1792 году, получил широкую известность в европейских литературах и в 1806 году был переведен и на русский язык.

Скотт говорит, что прототипом Белой дамы послужила Ундина из рыцарской повести ла Мотт Фуке (1811). Нет оснований сомневаться в этом, но роль ее в романе больше напоминает роль маленького Петера в романе Шписа.

В романах Скотта иногда действуют сверхъестественные силы, привидения, демоны, колдуньи. Скотт интересовался народными поверьями и мифологией, так как суеверие, на его взгляд, характеризует состояние умов и уровень культуры данной исторической эпохи. В юные годы, когда он начинал свою литературную деятельность, он строил свои произведения в большинстве случаев на «страшных» темах — появлении сверхъестественных существ, которые вторгаются в жизнь героев и решают их судьбу. Но в романах Скотта сверхъестественное фигурирует только в представлении героев, как результат их суеверия и болезненного воображения. В этом отношении исключение составляет один только «Монастырь». Скотт словно вернулся к своей манере 1790-х годов, когда он писал такие баллады, как «Смальгольмский барон», «Серый брат», «Гленфинлас» и др. Белая дама в романе реально существует. Она поступает с героями так же, как в представлении средневекового человека поступали злые духи, лешие, демоны и т. д. В 1820 году в романе это должно было показаться странным и разрушало иллюзию: Белая дама противоречила общему тону повествования, действие которого было обусловлено причинами реального и исторического характера. Чудеса и сверхъестественные существа — условность, необходимая в античной и классической эпосе от Гомера до Шатобриана, — в вальтерскоттовском романе казались лишенными оснований, и Скотт больше никогда таких опытов не производил.

«Монастырь» — лишь начало произведения, окончание которого составляет следующий роман, «Аббат». Эти два романа связаны только несколькими действующими лицами: в начале

«Аббата» лишь упоминаются Хэлберт Глендининг и его жена Мэри Эвенел. Но они более тесно связаны исторической проблемой — развитием и торжеством протестантизма в Шотландии. «Монастырь» рисует только первый этап этого важнейшего исторического процесса.

Открывая новую серию из двух романов, Скотт счел нужным сделать для них «рамку» и предпослал «Монастырю» предисловие, которое само по себе представляет художественное произведение. Здесь появляется новый персонаж, один из многочисленных «авторов», которых Вальтер Скотт привлекал к сотрудничеству. Это капитан Клаттербак, провинциальный антиквари-любитель, проживающий на пенсии в Кеннаквейре, поблизости от Мелрозского аббатства. Он-то и пересылает «автору «Уэверли» рукопись, полученную им от бенедиктинского монаха и заключающую в себе оба романа — «Монастырь» и «Аббат». В своем ответе капитану Клаттербаку «Автор «Уэверли» ясно говорит, что капитан — вымышленный персонаж, но тем не менее и впоследствии Скотт будет пользоваться этим образом, чтобы высказывать свои эстетические взгляды, отвечать критикам и предпосылать — в художественной форме — предисловия к своим романам. Так возникает целое общество воображаемых сотрудников Скотта и его читателей — смешных провинциалов, невежд, педантов и антиквари-ев, которые своими письмами и рассуждениями сопровождают многие романы Скотта и обрамляют их полукомической-полусерьезной рамкой.

Роман великолепно изображает темную и глухую Шотландию в эти трагические времена военного разгрома и вместе с тем — духовного обновления, с отмирающей старой религией и возникающей новой, с полной политической анархией внутри страны и с характерной для шотландцев жадной политической свободой.

Б. РЕИЗОВ

Стр. 8. Чосер Джеффри (1340—1400) — великий английский поэт, автор «Кентерберийских рассказов» — сборника стихотворных новелл и сказок, которые рассказывают друг другу паломники по дороге в Кентерберии на богомолье. Книга эта дает яркую картину нравов английского общества XIV в. Цитата в тексте («...Королева фей с волшебной арфой...») взята из того же сборника (рассказ Чосера о сэре Топазе).

Стр. 11. «Старое поместье» — роман английской писательницы Шарлотты Смит (1749—1806),

Стр. 13. *Роберт Чеймберс* (1802—1871) — автор трудов по истории Шотландии и шотландской литературы. Книга, названная в тексте, вышла в 1822 г.

«*Зритель*» — журнал, издававшийся в 1711—1714 гг. английскими писателями Д. Аддисоном (1672—1719) и Р. Стилем (1672—1729).

«*Нравственный долг человека*» — анонимное сочинение, вышедшее в XVII в.

Стр. 15. *Каббала* — мистическое учение, согласно которому мироздание состоит из четырех стихий. У каббалистов и в других мистических школах эти стихии связываются с миром сверхъестественных существ, причем каждой соответствует свой класс духов: воздуху — силфы, земле — гномы, огню — саламандры, воде — наяды.

«*Беседы графа Габалиса*». — Речь идет о книге французского писателя XVIII в. Монфокона де Виллара «Граф Габалис, или Разговоры о тайных и чудесных науках, в согласии с началами древних магов или мудрецов-каббалистов».

Граф де ла Мотт Фуке (1777—1843) — немецкий писатель-романтик, автор «Ундины» (переведенной в стихах В. А. Жуковским), повести о русалке, полюбившей рыцаря, но вернувшейся в родную стихию, когда рыцарь предпочел ей земную женщину.

Милезийские семьи — то есть ирландские, по имени легендарного народа (милезийцев), некогда пришедшего в Ирландию и населившего эту страну.

Мэй Моллах, или Дева с волосатыми руками — сверхъестественное существо, покровительствующее домашним животным; частый персонаж ирландских сказок.

Стр. 16. *Ариэль* — действующее лицо драмы Шекспира «Буря». Цитируются слова Ариэля из акта V, сц. 2.

Гностики — последователи религиозно-мистического учения о спасении души путем приобщения к знанию через божественное откровение.

Розенкрейцеры. — Этим именем обозначают различные течения христианской мистики XVII—XVIII вв.: тайный союз алхимиков и магов, последователей некоего мифического Христиана Розенкрейцера, якобы созданный в конце XV в., и общество сторонников морального обновления христианства.

Стр. 18. *Амадис* — герой рыцарских романов, созданных в Испании в XV—XVI вв. Эти романы, вдохновившие Дон-Кихота на его странствия и высмеянные Сервантесом, имели необычайный

успех во всей Западной Европе. Общая сюжетная канва их — любовь принца Амадиса к принцессе Ориане, ради которой он совершает самые невероятные подвиги.

Ла Кальпренед Готье (1610—1663) — французский писатель, автор многотомных условно-исторических романов «Кассандра», «Клеопатра», «Фарамонд», где под видом исторических персонажей он изображает современное ему придворное общество. *Скюдеру* Мадлен (1607—1701) — французская писательница, в такой же манере описывающая хорошо знакомый ей французский двор в романах «Артамен, или Великий Кир», «Клелия» и др.

Стр. 19. *Отель Рамбулье* — дом маркизы Катрин де Рамбулье (1588—1665), современницы Мольера, у которой в так называемом «Голубом салоне» собирались известные писатели и ученые. Однако дух жеманства, осмеянный Мольером, развился не здесь, а в различных других литературных салонах, возникших в подражание салону Рамбулье в Париже и в провинции.

«*Смешные жеманницы*» — одноактная комедия Мольера (1622—1673), где он высмеивает вычурность манер и разговоров, царившую в аристократических салонах XVII в.

Иаков I — король Великобритании и Ирландии (1603—1625), а до того под именем Иакова VI король Шотландии (1567—1603), сын Марии Стюарт и Дарнлея, наследовавший английский престол после смерти бездетной королевы Елизаветы I.

Стр. 20. ...как говорит Лир, скинуть с себя все наносное... — Имеются в виду слова Лира: «Долой, долой все лишнее» (акт III, сц. 4) из трагедии Шекспира «Король Лир».

Хиосский бард — Гомер. Семь городов (Смирна, Хиос, Колофон, Итака, Пилос, Аргос, Афины) оспаривали честь называться родиной Гомера.

...как дикарь в лесах, он благороден. — Цитата из пьесы Д. Драйдена (1631—1700) «Завоевание Гранады» (ч. I, акт. I).

Стр. 21. ...убивает глупость наповал... — цитата из стихотворного трактата «Опыт о человеке» (1733—1734) английского поэта Александра Попа (1688—1744).

Бен Джонсон (1573—1637) — выдающийся английский драматург, современник и друг Шекспира, тяготивший, в отличие от него, к классицизму. Автор ряда трагедий и социально-бытовых комедий.

Стр. 22. *Дон Армадо*, *Олоферн* — персонажи из комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви»; *Ним* и *Пистоль* состоят в свите Фальстафа (комедия Шекспира «Виндзорские насмешницы»).

Не верю и не терплю — Гораций, «О поэтическом искусстве» (стих 188).

Стр. 24. *«Жиль Блас»*. — Имеется в виду роман «Похождения Жиль Бласа из Сантьяны» французского писателя Алена-Рене Лесажа (1668—1747).

Родерик Рэндом — герой романа «Приключения Родерика Рэндома» английского писателя Т. Смоллета (1721—1771).

«Том Джонс». — Речь идет о романе Филдинга (1707—1754) «История Тома Джонса, Найденыша».

Стр. 26. *Мак-Ивор* — персонаж романа В. Скотта «Уэверли».

Дэнди Динмонт — персонаж романа «Гай Мэннеринг».

Стр. 27. *...вдруг стал он антикваром*. — Цитата из стихотворения Роберта Бернса (1759—1796) «На путешествие капитана Гроуза в Шотландию», где Бернс высмеивает археологические разыскания капитана.

Стр. 29. *Педен Александр* (1626—1686) — шотландский духовный деятель, прославившийся своими проповедями.

Джек — укротитель великанов — герой английских сказок.

Стр. 30. *Гельвеций* Клод-Адриан (1715—1771) — французский философ-материалист, автор сочинения «О человеке, его умственных способностях и его воспитании».

Стр. 34. *Дагдейл* Сэмюел (1605—1686) — английский историк и археолог, автор «Монастикона» — книги об истории английских монастырей.

Стр. 36. *Сэмюел Джонсон* (1709—1784) — английский писатель и критик, издатель Шекспира, составитель известного словаря английского языка.

Стр. 39. *..попробуй-ка оспорить...* — цитата из сатирического стихотворения Р. Бернса «Сон».

...очистить грудь от пагубного груза.. — перефразированная цитата из трагедии Шекспира «Макбет» (акт V, сц. 3).

Стр. 40. *Mumpsimus, Sumpsimus*. — Имеется в виду известная английская поговорка: «Я не собираюсь менять мой старый Mumpsimus на ваш новый Sumpsimus», означающая нежелание признать свою ошибку. Происхождение ее связывают с рассказом о некоем невежественном священнике, который вместо слова Sumpsimus (quod sumpsimus in ore — «то, что принимаем в уста») произносил бессмысленное Mumpsimus и ответил приведенным выражением, когда на его ошибку обратили внимание.

Томас Стихотворец (Томас из Эрсилдуна, между 1220—1290) — старейший шотландский поэт, с именем которого связано много

легенд. Его реальное существование подтверждается документами, в частности — грамотой Петруса де Хага из Бимерсайда, датированной приблизительно 1260—1270 гг. С именем Томаса связывают древнейшие песни и стихотворные пророчества. Историк Боэций (1465—1536) называл его Томасом Лермонтом, и именно его Лермонтов считал своим предком.

Кромлехи — древние сооружения из грубо тесаных каменных столбов, возведенные кельтами, а возможно, и племенами, населявшими Британию в докельтские времена.

Стр. 41. *Кэрны* — кельтские могильные памятники, а также межевые знаки в виде пирамидальных груд из камней.

...во времена датчан.. — В X—XI вв. территория Англии подвергалась вторжениям датчан, одно время завоевавших почти весь остров.

Алан Рэмзи (1686—1758) — шотландский поэт и собиратель фольклора, составил сборник обработанных им народных баллад и собственных стихотворений, написанных в подражание народным балладам.

Пинкертон Джон (1758—1826) — шотландский историк и фольклорист, автор сборника «Древние шотландские поэмы из коллекций рукописей сэра Ричарда Мейгланда» (1786). Это собрание имеет в виду В. Скотт.

Иаков V (1512—1542) — шотландский король, отец Марии Стюарт.

Данбар Уильям (1465?—1530?) — шотландский поэт, носитель чосеровских традиций.

«Нет песни, нет и ужина» — пьеса английского драматурга П. Хора (1755—1834).

Стр. 42. *Орден святого Бенедикта* — один из старейших монашеских орденов католической церкви, основанный в VI в.

Стр. 44. *Община святого Мавра* — ученая конгрегация католических монахов (бенедиктинцев), возникшая в начале XVII века во Франции и ставившая своей целью изучение и издание исторических памятников и сочинений, посвященных истории церкви, а также древней и средневековой истории Западной Европы.

Кампания 1793 г. — вооруженная интервенция, проводившаяся Англией и другими европейскими государствами против французского народа, свергнувшего абсолютизм.

Стр. 47. *Потомак, Саскуиханн* — реки в Северной Америке, на берегах которых поселились выходцы из Англии и Шотландии,

Стр. 48. ...*видел трех царей-волхвов*. — По евангельскому преданию, три восточных царя (или волхва): Каспар, Мельхиор и Валтасар, ведомые звездой, пришли к младенцу Иисусу и принесли ему дары. Согласно легенде, в XII в. останки их хранились в Кельнском соборе.

Стр. 50. *Майкл Скотт* (ок. 1180 — ок. 1235) — ученый-схоласт и переводчик Аристотеля, по происхождению шотландец. Был придворным астрологом императора Фридриха II.

Стр. 56. *Джедедия Клейшботэм* — вымышленный издатель романов В. Скотта.

Стр. 58. ...*последней новинки*... — Имеется в виду «Утопия», роман Т. Мора (1478—1535), выдающегося английского мыслителя-гуманиста.

Стр. 59. *Африт* — злой дух в мусульманских религиозных представлениях.

Ксеркс — царь древнеперсидского царства (486—465 до н. э.), возглавивший поход против греков (481). Когда при переходе пролива Геллеспонт буря разбила наведенный через пролив мост, разгневанный Ксеркс повелел бичевать море.

Стр. 60. *Кадм* — легендарный основатель древнегреческого города Фивы. Мифы, в которых фигурирует Кадм, весьма древнего происхождения.

Клеверз (Клеверхауз), *Берли* — действующие лица романа В. Скотта «Пуритане».

Не стыдись полюбить служанку... — Гораций, «Оды» (II, 4).

Стр. 61. *Монах Роули*. — Имеется в виду Т. Чаттертон (1752—1770), английский поэт, покончивший самоубийством. Четырнадцать лет выпустил книжку стихов, имитирующую старинную поэзию, приписав эти стихи мифической личности, монаху Роули, якобы жившему в XV в.

«*Персидские письма*» принадлежат французскому писателю Ш. Монтескье (1689—1755).

«*Китайские письма, или Гражданин мира*» — произведение английского писателя О. Голдсмита (1728—1774).

Перчес Сэмюел (1577—1626) — английский писатель, автор сочинений о путешествиях и географических открытиях.

Хаклюйт Ричард (1552—1616) — английский географ, издатель материалов по истории путешествий. После его смерти часть его бумаг издал Перчес.

Питер Уилкинс — герой романа Роберта Пэлтока (1697—1767) «Жизнь и приключения Питера Уилкинса из Корнуэла»

(1750), вышедшего первоначально анонимно. Роман является подражанием «Робинзону Крузо» Дефо.

Стр. 62. *Мэри Эджуорт* (1767—1849) — английская писательница, автор романов и повестей из ирландской жизни.

Сид Ахмет Бенинхали — вымышленный мавританский историк в романе Сервантеса «Дон-Кихот», якобы выпустивший еще при жизни Дон-Кихота книгу о его приключениях.

«*История автоматеса*» — по всей вероятности, одна из повестей второстепенного английского писателя Ричарда Гриффита (1714?—1788), иногда выступавшего под псевдонимом Автоматес.

«*Приключения гиней*» — книга английского писателя Ч. Джонстона (1719—1800). Это — серия новелл, связанных с владельцами *гиней* (монеты, достоинством в 21 шиллинг), переходящей из рук в руки.

«*Приключения атома*» — произведение Т. Смоллета.

Стр. 63. *Корнелий Агриппа* (1486—1535), прозванный Неттесгеймским — энциклопедически образованный ученый эпохи Возрождения, историк, юрист, философ, знаток военного дела, инженер и медик, стяжавший у современников славу чернокнижника и мага.

...открылась дверь и появился дьявол... — Цитата из стихотворения английского поэта-романтика Р. Саути (1774—1843) «Корнелий Агриппа. Баллада о юноше, который вздумал читать запретные книги и был за это наказан».

Стр. 64. *Хуан Авельянеда* — подражатель Сервантеса, напечатавший продолжение первой части «Дон-Кихота», прежде чем сам Сервантес выпустил второй том своего романа.

Иаков I (1394—1437) — шотландский король (1424—1437) и в то же время поэт, автор «Книги короля» и других поэтических произведений.

Стр. 66. *Джон Беньян* (1628—1688) — английский поэт и проповедник, автор аллегорического романа «Путь паломника».

«*Рассказы трактирщика*». — Так назвал В. Скотт серию своих романов.

Стр. 67. ...не все тут от блудницы этой, чей трон незыблем на семи холмах! — Имеется в виду католическая церковь, основавшая престол свой в Риме, городе, расположенном на семи холмах.

Сэр Роджер. — Речь идет о сэре Роджере де Коверли, одном из постоянных персонажей, действующих в журнале «Зритель», издававшемся Аддисоном и Стилем (см. прим. к стр. 13). Имя сэра Роджера стало в Англии нарицательным, обозначая

характерную для английской провинциальной жизни XVIII в. фигуру — человека простого, сердечного, добродушного и в то же время довольно ограниченного.

Старинная пьеса. — Эпиграф к первой главе, как и многие эпиграфы романа, принадлежит самому В. Скотту.

Чалмерс Джордж (1742—1825) — шотландский историк и антиквар, автор многочисленных работ по истории Англии и Шотландии, в частности — обширного труда по истории, археологии и топографии Шотландии («Каледония»).

Давид I (1124—1153) — шотландский король.

Стр. 68. *Битва за Знамя* — битва при Катон-муре в 1138 г., когда Давид I потерпел поражение от войск английского короля Стефана. Во время битвы английские военачальники поместили в центре своих войск повозку с установленной на ней корабельной мачтой, на которой были укреплены знамена с изображением святых — покровителей английских графств и ларец со святыми дарами (отсюда и название битвы).

Стр. 72. ...*во время злосчастных войн начала царствования королевы Марии* — то есть Марии Стюарт (1542—1587). Войны были вызваны притязаниями английского короля Генриха VIII (1509—1547) на Шотландию, которую он стремился присоединить к Англии. До совершеннолетия Марии Стюарт страной управляла в качестве регентши ее мать, Мария де Гиз (1515—1560), француженка по происхождению и сторонница союза Шотландии с Францией.

Стр. 73. *Алекто* — одна из трех эринний (наряду с Тисифоной и Мегерой), богинь мщения, которых греческая мифология представляла в виде ужасных крылатых старух со змеями вместо волос и с факелами и бичами в руках.

Стр. 77. *Дугласы* — старинный и могущественный шотландский род. В битве при Оттерборне 19 августа 1388 г. шотландские войска, предводительствуемые графом Джеймсом Дугласом, одержали крупную победу над численно превосходящими их англичанами. В этой битве погиб сам Дуглас. Память об этой битве хранилась в народных балладах: шотландской — «Оттерборн» и английской — «Чевн Чейс».

Сражение при Пинки (1547). — В этой битве шотландские войска были разбиты английской армией протектора Англии Сомерсета.

Стр. 78. *Протектор Сомерсет* — Эдуард Сеймур, герцог Сомерсет (1506?—1552). После смерти Генриха VIII стал лордом-

казначеем и протектором (то есть регентом) Англии. Фактически управлял страной за несовершеннолетнего Эдуарда VI. Сильная аристократическая оппозиция, используя его неудачу во внешней политике и народные восстания внутри страны, добилась отстранения его от протектората, а в 1552 г. Сомерсет был казнен.

Стр. 80. *Святой Георгий* считался покровителем Англии, подобно тому как святой Андрей был покровителем Шотландии, а святой Патрик — Ирландии.

Стр. 83. *Старый Мейтленд* — сэр Ричард Мейтленд (2-я половина XIII в.), шотландский рыцарь, отличившийся в боях против англичан.

Стр. 90. *Канун дня всех святых* (31 октября) был связан со многими народными поверьями и обычаями.

Стр. 91. *Коллинз Уильям* (1721—1759) — английский лирик, автор «Восточных эклог» и многих од. В творчестве его намечен переход от рационалистической поэзии Попа к романтикам.

Стр. 92. *Древний философ отказался вступить в спор с императором...* — Речь идет о знаменитом в древности риторе и софисте Фаворине (I в. н. э.), пользовавшемся расположением римского императора Адриана. Но все же Фаворин однажды отказался спорить с императором, заявив, что самый мудрый человек тот, кто повелевает тридцатью (а не двадцатью, как сказано у Скотта) легионами.

Стр. 93. *Королева-регентша* (Мария де Гиз). — См. прим. к стр. 72.

Стр. 98. *Крест святого Андрея* (Андреевский крест) — косой крест в виде римской цифры X, белый на голубом поле; особо почитался христианской церковью — как изображение первой буквы слова Христос в греческом начертании и в связи с тем, что, по преданию, ученик Христа апостол Андрей был распят на кресте такой формы.

Стр. 101. *Робин Гуд* — легендарный разбойник английского фольклора, живший, по преданию, в XII—XIII вв. В этом образе нашел воплощение народный идеал свободолюбивого героя, защитника крестьян и всех угнетенных, патриота, боровшегося с завоевателями, норманскими дворянами. С именем Робина Гуда связан обширный цикл баллад.

Дэвид Линдсей (1490—1555) — шотландский поэт, последователь Чосера. Был придворным короля Иакова V. Значительное место в его поэзии занимает сатирическое изображение духовенства (например, «Забавная сатира о трех сословиях»).

Стр. 102. *Святой Антоний* — так называемый Антоний Великий (ок. 250 — ок. 355) — христианский подвижник, основатель монашества. Испытание святого Антония — тема, неоднократно использовавшаяся художниками и писателями.

Святой Катберт — монах, живший в VI в., проповедник христианства на границе Шотландии и Англии. Считался покровителем этой области.

Стр. 103. *Филлис* — традиционное имя влюбленной пастушки или вообще возлюбленной в пасторальной лирике XVI в.

Стр. 104. *Ризничий* — монах, ведающий церковным имуществом.

Лорд-аббат — духовное лицо, стоящее во главе монастыря, его приор.

Стр. 108. *Это священное писание, но оно изложено народным языком...* — Католическая церковь запрещала мирянам чтение церковных книг, в особенности библии. Указ папы Иннокентия III гласит: «...не только простые и необразованные, но даже мудрые и ученые не располагают достаточными данными для исследования его (то есть священного писания) смысла».

Стр. 110. *Бернард Клервоский* (1091—1153) — крупный деятель католического монашества, представитель мистического течения в католичестве. Почти всю жизнь был настоятелем монастыря в городе Клерво (Франция) и отказывался от более высоких постов. Был одним из вдохновителей второго крестового похода (1146). Католической церковью причислен к лику святых.

Цистерцианцы — ответвление ордена бенедиктинцев. Название происходит от основанного в 1098 г. монастыря Цистерциум. Деятельность Бернарда Клервоского привела к значительному росту ордена, поэтому его нередко называли вторым основателем ордена, а самый орден — бернардинским.

Стр. 116. *Келли* — в шотландском фольклоре водяной дух, способный принимать различные обличья.

Стр. 118. *Митрофорный аббат* — аббат в сане епископа.

Облеченный в пурпур (аббат) — выражение из поэмы «Дунсиада» (1742) выдающегося поэта английского классицизма Александра Попа (1688—1744).

Стр. 119. *Тайный совет*. — В ряде государств, в частности — в Шотландии и Англии, существовали особые Тайные советы, которые должны были содействовать королю в решении вопросов, подлежащих его личной компетенции. В шотландском Тайном совете большую роль играло католическое духовенство, поскольку

шотландские короли в своей борьбе с сепаратизмом феодалов не могли опираться на горожан из-за малого значения этой прослойки в феодальной Шотландии и искали поддержки у духовенства.

Примас — в католической церкви высшее духовное лицо в данной стране. Примасом Шотландии был епископ — настоятель монастыря Святого Андрея.

Стр. 122. *...из праха дух свершает свой исход.* — Стихи из сатирической поэмы «Абессалом и Ахитофель» (1682) Д. Драйдена (см. прим. к стр. 20). Абессалом и Ахитофель — библейские персонажи.

Стр. 126. *...очистить грудь от пагубного груза, давящего на сердце.* — Цитата из трагедии Шекспира «Макбет» (акт V, сц. 3).

Стр. 129. *Праведный Иов.* — В библии рассказывается о праведнике Иове, которому выпало на долю служить объектом спора между богом и дьяволом о природе человека. Дьявол с согласия бога подвергает Иова всевозможным испытаниям.

Стр. 130. *Декреталии* — папские указы, содержащие постановления общего характера и церковные законы, в отличие от папских рескриптов, рассматривающих отдельные, конкретные случаи.

Стр. 134. *Роковой Рыбак* — то есть дьявол.

Стр. 146. *Бэннатайн* Джордж (1545—1608) — собиратель шотландских народных песен. В 1823 г. в Шотландии под председательством В. Скотта был основан литературный клуб, ставящий целью публикацию произведений, относящихся к шотландской старине, названный в честь Бэннатайна Бэннатайным клубом.

Стр. 149. *Лорд Джеймс* — Джеймс Стюарт, граф Мерри (1531—1570), сводный брат Марии Стюарт (незаконный сын Иакова V). Впоследствии, вернувшись из Франции, Мария Стюарт оказала ему много почестей и пожаловала титул графа. Однако Мерри стал одним из лидеров реформатского движения и начал резко выступать против своей сестры, обвиняя ее в распутстве и убийстве мужа (Дарнлея). После отречения Марии Стюарт сделался опекуном ее сына Иакова и регентом Шотландии.

Стр. 150. *Файф* — шотландское графство на берегу Северного моря. На территории Файфа находится город Сент-Эндрюс с одним из старейших монастырей Шотландии (монастырь святого Андрея).

Норман Лесли (ум. в 1554 г.) — видный деятель шотландской Реформации. Возглавил заговор против кардинала Битона и руководил его убийством.

Стр. 157. *Оккультная философия* — философия, связанная с верой в потусторонние, сверхъестественные силы. Посвященные в оккультное знание люди считали, что они могут вступать в общение с этими силами, а также управлять ими.

Стр. 162. *Деккер* Томас (1570?—1641?) — английский драматург. Помимо оригинальных пьес, ему принадлежат переделки чужих произведений и пьесы, написанные в соавторстве с другими драматургами.

Стр. 163. *Битва при Флоддене* (9 сентября 1513 г.) — битва на Флодденском поле в Нортумберленде, принесящая жестокое поражение шотландским войскам, вторгшимся в Нортумберленд под предводительством шотландского короля Иакова IV (1488—1513). Сам Иаков погиб в этой битве.

Святой Джайлс (или Эгидий) — покровитель калек. По преданию, был нечаянно ранен франкским королем Хильдериком, когда тот охотился. В иконографии изображается со стрелой, вонзившейся в ногу.

Уайзхарт. — Возможно, Кристи говорит о личности исторической, знаменитом проповеднике Джордже Уишарте (Wishart, 1513—1546), одном из видных деятелей шотландской Реформации, который был схвачен католиками и сожжен по приказанию примаса Шотландии, кардинала Битона.

Стр. 166. *Юлиан Отступник*. — Так назвала христианская церковь Флавия Клавдия Юлиана (332—363), римского императора, отрекшегося от христианства.

Стр. 169. *Армстронг* Джон (погиб в 1528 г.) — знаменитый шотландский разбойник, ставший героем народных баллад.

Стр. 179. *Даже величайшие ученые не всегда самые мудрые люди на свете!* — Эту пословицу Чосер приводит в «Кентерберийских рассказах» («Рассказ Мажордома»). Известно также, что ею отозвалась королева Елизавета на одну из проповедей епископа собора св. Давида.

Стр. 184. «*Кристабел*» — поэма С. Колриджа (1772—1834), выдающегося английского поэта-романтика, одного из главных представителей «Озерной школы» — поэтического течения, сочетавшего стремление к созерцательной лирике с глубоким интересом к темам фантастическим, религиозным и заимствованным из средневековой истории.

Стр. 194. «*Церковь Спасителя в долине*». — Под этим же названием существует юмористическая баллада, приписываемая шотландскому королю Иакову I (1424—1437).

Стр. 197. ...любил *плясать вокруг майского шеста*... — Имеется в виду пережиток далеких обрядов и верований, связанных с культом растительности. Обычно эти празднества, державшиеся в Западной Европе и в XIX в., заключались в выборах майского короля и королевы и в играх и плясках вокруг майского дерева или вокруг украшенного цветами майского шеста. Празднества эти справлялись в Вальпургиеву ночь (на 1-е мая) и на следующий день.

Стр. 200. *Андреа Феррара* — итальянский оружейник, работавший в Шотландии в начале XVI в.

Стр. 204. *Лорд Брюс*. — Брюсы — старинный шотландский род норманского происхождения.

Стр. 213. *Джон Лили* (1554—1606) — английский писатель.

Стр. 216. *Буцефал* — любимый конь Александра Македонского.

Орфей — мифический певец, которого древние греки считали изобретателем музыки и стихосложения.

Замок Прадхоу — старинный рыцарский замок в долине реки Тайн (Тайндейл) в Нортумберленде.

Стр. 220. *Мунго Мерри*, *Дикон Торберн* — персонажи английских сказок.

...великого смятения полный... — Цитата из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» (акт. V, сц. 1).

Стр. 228. *Филипп Сидней* (1554—1586) — английский поэт, придворный королевы Елизаветы I. Он участвовал в различных военных экспедициях и погиб тридцати двух лет от руды, сражаясь за свободу Нидерландов. Ему принадлежат пользовавшийся необычайным успехом роман «Аркадия», стихи и трактат «Защита поэзии». Упоминание имени Сиднея в романе является анахронизмом. В самом деле, действие первых глав разворачивается вскоре после битвы при Пинки, когда Хэлберту было девять-десять лет. Основные события романа, когда появляется Пирси Шафтон, происходят десять лет спустя, следовательно — в конце 50-х гг., когда Сиднею было пять лет и он еще не мог блистать при дворе Елизаветы.

Стр. 231. *Элизиум* (Елисейские Поля) — название загробного мира у древних греков. Постепенно представление об Элизиуме связывается с идеей этического воздаяния; под ним начинают понимать острова блаженных, куда души умерших попадают за прижизненные подвиги и деяния,

Стр. 232. *Клинок из Бильбао*. — Город Бильбао (Испания) славился производством мечей и рапир.

Стр. 236. «*Магнетическая леди*» — комедия Бена Джонсона. *Немрод* — в библии основатель Вавилонского царства, небывалой смелости охотник. Имя его стало синонимом охотника.

Стр. 237. *Святой Пахомий* (ум. в 348 г.) — христианский аскет, основатель монастыря в Фиваде (Египет) со строгим уставом, являющимся древнейшим писаным монастырским уставом.

Стр. 238. *Ричард Львиное Сердце* — английский король (1189—1199), большую часть жизни проведший в непрестанных походах. Участвовал в третьем крестовом походе (1190—1192). Его жизни и подвигам посвящены романы В. Скотта «Айвенго» и «Талисман». Легенду о съеденной им голове мавра см. в авторском предисловии к «Талисману».

Стр. 241. ...*дать разумнейший совет!* — Старый монастырский стих, приводимый здесь, заимствован В. Скоттом, как он сам указывает, из сочинения английского священника, археолога и историка церкви Томаса Фосброука (1770—1842), автора «Британского монашества» и «Энциклопедии древностей».

Стр. 242. *Виола-да-гамба* — старинный смычковый музыкальный инструмент.

Стр. 247. *Ланселот и Тристрам* (или Тристан) — герои древних сказаний, послуживших основой многочисленных романов о короле Артуре и его рыцарях, которыми зачитывалась вся средневековая Европа.

Стр. 249. *Пресвитерианская церковь* (реформатская) — церковь последователей женевого реформата Кальвина. В 1592 г. была признана шотландским парламентом в качестве официальной и выдвинула на первый план вопросы церковного устройства. Она настаивала на возвращении к первоначальному строю христианской церкви и на упрощении обрядности. Пресвитериане отвергли католический институт епископов и признавали лишь власть стоящих во главе общин выборных пресвитеров.

Стр. 250. *Роуленд Йорк* (ум. в 1588 г.) — лондонский щеголь и авантюрист. Отправившись воевать в Нидерланды, перешел на сторону испанцев и, видимо, был отравлен своими новыми союзниками. *Стьюкли* Томас (1525?—1578) — авантюрист. Поступил на службу к португальскому королю и погиб в одном из походов.

Стр. 252. *Холируд* — замок в Эдинбурге, бывший некогда монастырем, впоследствии ставший резиденцией шотландских королей.

Стр. 265. *Уильям Клаудсли* — в народных балладах меткий стрелок из лука.

Стр. 270. *Арбалет* — усовершенствованный лук с прицелом и прикладом, самострел.

Пищаль — старинное огнестрельное оружие.

Фальконет — артиллерийское орудие малого калибра, стреляющее свинцовыми ядрами.

Кулеврина — длинная пушка.

Стр. 271. *Антифон* — двухголосное исполнение в церквях псалмов и других церковных текстов, так же как и название самих текстов.

Стр. 278. *Донат Элий* — римский грамматик и ритор (середина IV в. н. э.). Его «Искусство грамматики» в течение веков было главным руководством к изучению латыни, так что самое слово «донат» сделалось нарицательным в этом смысле.

Стр. 291. *Астрофел*. — Так называли в придворных кругах Филиппа Сиднея. Само это слово получилось путем сложных преобразований его имени и должно означать «влюбленный в звезду». «Звездой» Сиднея была некая Пенелопа Девере, придворное имя которой было Стелла (лат. «звезда»). Они были помолвлены. Сидней посвятил ей цикл сонетов «Астрофел и Стелла». Впоследствии Стелла вышла замуж за другого.

Графиня Пемброк — сестра Филиппа Сиднея Мэри Сидней (1561—1621), вышедшая в 1577 г. замуж за графа Пемброка. Придворное прозвище ее было Партенопея. Упоминание о ней в устах Шафтона — такой же анахронизм, как и упоминание о ее брате.

Стр. 292. *Каков зачин — таков конец!* — Стихи из романа Сиднея «Аркадия» (ч. 2).

Стр. 297. *Pater* — начальное слово молитвы «*Pater noster*» («Отче наш»).

Credo (верую) — начальное слово католического исповедания веры.

Стр. 305. *Павана, гальярда* — распространенные в те времена танцы

Стр. 309. *Stoccata* — выпад при положении руки, называемом «ногти вверх»; *imbroccata* — то же при положении «ногти вниз»; *punto-reverso* — выпад левой стороной тела; *incartata* — удар с прыжком в сторону.

Стр. 321. *Бальзам в Галааде* — библейское выражение, означающее спасение или утешение («Разве нет бальзама в Гала-

аде?» — из книги пророка Иеремии). *Галаад* — местность в Палестине за рекой Иорданом.

Стр. 323. *Нокс Джон* (ок. 1505—1572) — один из главных деятелей Реформации, основатель пресвитерианской церкви в Шотландии; провел несколько лет в изгнании в Швейцарии, где сблизился с Кальвином. Яростно боролся с Марией Стюарт, требовал ее казни, обвинял ее в умерщвлении мужа и прелюбодеянии.

Стр. 331. *Святой Варнава* — проповедник христианства на острове Кипр, где его побили камнями иудеи.

Стр. 333. *Сальватор Роза* (1615—1673) — итальянский художник, а также поэт, музыкант и актер. Писал пейзажи и батальные картины.

Стр. 340. *Сант-Яго ди Компостелла* — знаменитый в средние века монастырь в испанской провинции Галисия, одно из главных мест паломничества.

Лорето — город в Италии, связанный с культом святого дома богоматери, якобы чудесно перенесенного из Назарета в Лорето. Статуя богоматери в Лорето почиталась чудотворной.

Стр. 343. ...*дева поймет, что он ей изменил...* — Слова из пьески Оливии, персонажа романа Голдсмита «Уэкфилдский священник» (1776).

Стр. 346. *Гарри Тюдор* — Генрих VIII — английский король (1509—1547), осуществивший церковную реформу, которая положила начало самостоятельности англиканской церкви. При помощи англиканского духовенства Генрих VIII оформил свой развод с Екатериной Арагонской, на что не мог получить разрешения католической церкви, после чего взял в жены Анну Болейн.

Стр. 356. ...*защищать себя так хладнокровно?* — Шекспир, «Комедия ошибок» (акт V, сц. 1).

Хотспер (hot spur — англ. «горячая шпора») — прозвище сэра Генриха Перси (1364—1403), командовавшего английскими войсками в сражении при Оттерборне и взятого шотландцами в плен.

Стр. 357. *Малколм* — имя нескольких шотландских королей. Вероятно, речь идет о Малколме III (1057—1093), свергнувшем с шотландского трона Макбета, убийцу своего отца Дункана, и начавшего вводить в Шотландии английские нравы и язык.

Стр. 358. *Уоллес Уильям* (ок. 1270—1305) — шотландский народный герой, возглавивший партизанскую борьбу против английских захватчиков. Хотя движение, поднятое Уоллесом, и было потоплено в крови, а сам он казнен, оно оказалось благодатной

почвой для новой борьбы за свободу Шотландии, разгоревшейся несколько лет спустя под руководством *Роберта Брюса* (1274—1329). В 1306 г. Брюс провозгласил себя шотландским королем Робертом I, 24 июня 1314 г. разгромил английские войска в кровопролитной битве при Бэннокберне. В 1328 г. Англия вынуждена была признать независимость Шотландии. При Роберте I был созван первый шотландский однопалатный парламент (1326), куда помимо знати и духовенства вошло пятнадцать представителей городского населения.

Стр. 370. *Эстрамазоне* — фехтовальный прием (прямой выпад с ударом концом шпаги).

Стр. 384. *«Два знатных родича»*. — Пьеса написана, вероятнее всего, современниками Шекспира Флетчером и Мессинджером. Слова эпиграфа взяты из монолога дочери тюремщика, освободившей из тюрьмы Палемона, которого она полюбила (акт II, сц. 6).

Стр. 387. *Всегда я проповедую напрасно!* — Цитата из поэмы английского поэта Д. Крабба (1754—1832) «Приходские списки».

Стр. 390. *Булочница Рафаэля из Урбино* — возлюбленная Рафаэля, которую он изобразил в некоторых своих картинах. Она была дочерью булочника (отсюда и прозвище «Форнарина» — булочница).

Стр. 396. *...девушки мужчинам не будут больше верить.* — Цитата из того же монолога дочери тюремщика из пьесы «Два знатных родича» (акт II, сц. 6).

Стр. 399. *Филдинг* (ум. в 1712 г.) — щеголь, блиставший в Лондоне, но окончивший жизнь в тюрьме (был осужден за двоеженство).

Королева Бесс — королева Елизавета.

.. в величии был скромн, как девица. — Чосер, «Кентерберийские рассказы» («Общий пролог»).

Стр. 403. *Жена Лота*. — По библейскому сказанию, праведнику Лоту с семьей дано было спастись из нечестивого города Содомы, когда бог послал на этот город небесный огонь в наказание за разврат. Жена Лота нарушила условие спасения — не оглядываться назад — и, оглянувшись, обратилась в соляной столб.

Стр. 408. *Нобль* — старинная золотая монета.

Стр. 409. *Путеводная нить Ариадны* — нить, данная дочерью критского царя Миноса Ариадною Тезею для того, чтобы он мог с ее помощью выбраться из лабиринта — дворца Миноса,

Стр. 424. *Левиафан* — библейское мифическое чудовище, нечто вроде морского дракона, передвигающееся с необычайной быстротой.

Стр. 425. *...восстания в десятый год правления Елизаветы.* — Речь идет о легко подавленном местном восстании (1569), поднятом могущественными графами северных графств Англии — Нортумберленда и Уэстморленда.

Стр. 427. *Меч апостола Павла и ключ апостола Петра.* — В христианской иконографии апостол Павел изображается с мечом, символическим указанием на орудие его смерти, и книгой — эмблемой его проповеднической деятельности. Апостол Петр изображается с двумя ключами, понимаемыми как ключи от рая и как символы церковной власти — вязать и разрешать грехи.

Стр. 432. *Они сражались в битвах бесконечных!* — несколько искаженная цитата из рыцарской поэмы итальянского поэта Лодовико Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд» (песнь 1), где, в частности, рассказано, как влюбленные в прекрасную Анжелику сарацинский рыцарь Ферагус и христианский рыцарь Рене де Монтобан, будучи соперниками в любви и врагами по вере, тем не менее в поисках Анжелики помогают друг другу.

Джордж Бьюкэнан (1506—1582) — шотландский поэт и проповедник. Писал по-латыни и на гэльском языке.

Теодор Беза (1519—1605) — сподвижник Кальвина и глава швейцарской Реформации после его смерти.

Стр. 438. *Праведный фесфитянин.* — Здесь у В. Скотта соединены две библейские легенды: праведный фесфитянин (то есть уроженец города Тешеб) — пророк Илия, который, придя в город Сарепту, остановился в доме одной вдовы. Когда у этой женщины умер сын, Илия вернул его к жизни. Сына же сунамитянки (то есть жительницы города Сунам) оживил пророк Елисей.

«Вульгата» — латинский перевод библии, выполненный в конце IV столетия.

Стр. 450. *Парономазия* — стилистическая фигура, заключающаяся в сопоставлении слов, близких по созвучию, но различных по смыслу.

Стр. 455. *Лорд Семпл* Роберт (ум. в 1572 г.) — знатный шотландский дворянин.

Граф Кассилис. — В описываемое время этот титул носил Гилберт Кеннеди (1517—1558), член Тайного совета Шотландии.

Стр. 460. *Государство захвачено согласно воле господ.* — Цитата из 2-й книги Маккавеев (неканонической книги «Ветхого завета», то есть не вошедшей в состав библии).

Стр. 462. *Петр Пустынный* (1050—1115) — Петр Амьенский, аскет, считавшийся вдохновителем и проповедником крестовых походов.

Ваал — верховное божество финикиян, культ которого получил широкое распространение в царстве Израильском; в языке библии — олицетворение нечестия.

Стр. 465. *Бенедикт XIII* (1394—1423) — антипапа. Так называли в средние века (главным образом во время раскола католической церкви в XIV в.) лиц, избранных на папский престол частью духовенства в противовес правящему папе. Бенедикт XIII был избран одновременно с Бонифацием IX.

Стр. 475. *Мортон* — Джеймс Дуглас, граф Мортон (казнен в 1581 г.) — шотландский государственный деятель, с 1573 г. — регент Шотландии.

Стр. 481. *...напомните им про Моисея и Ванею...* — В библии рассказывается, что Моисей еще во время пребывания евреев в Египте убил египетского надсмотрщика, избивавшего еврейских рабочих. Другим евреем, убившим египтянина, был один из военачальников царя Давида Ванея, который, имея в руках одну палку, убил вооруженного копьем египтянина.

Стр. 482. *Пенроуз* Томас (1742—1779) — английский поэт, творчество которого близко творчеству Коллинза. Стихи в эпиграфе принадлежат самому В. Скотту.

Стр. 483. *Гошен* — плодородная и богатая местность в Египте, где в основном жили евреи во время египетского пленения.

Стр. 484. *Битон* Дэвид (1494—1547) — архиепископ монастыря святого Андрея, яростный враг Реформации, со сторонниками которой он расправлялся с беспощадной жестокостью. Сжег на костре знаменитого проповедника Уишарта. В ответ на это протестанты решили расправиться с ним. Заговор против него возглавил Норман Лесли. Заговорщики проникли в замок Битона и убили его.

Юлий II (Джулиано делла Ровере, 1441—1513) — римский папа (1503—1513). Стремился восстановить могущество папского престола и значительно расширил территорию папского государства, активно вмешиваясь в войны итальянских государств.

Стр. 486. *...шпоры алели в крови.* — Шекспир, «Ричард II» (акт II, сц. 3).

Стр. 498. *Жениться хочешь? Так войну кончай!* — Шекспир, «Король Иоанн» (акт III, сц. 1).

Стр. 505. *Филистимляне* — народ в Палестине, соседи евреев, которые враждовали с ними.

Стр. 506. *Рэндолф* Томас (ум. в 1332 г.) — первый граф Мерри, ближайший сподвижник Роберта Брюса.

Стр. 508. *Братья бельцы* — монахи, живущие в монастыре по монастырскому уставу, но еще не принявшие пострижения.

Стр. 509. *Уайт* Гилберт (1720—1793) — выдающийся английский натуралист, уроженец города Селборна в графстве Хэмпшир. Посвятил свою жизнь изучению природы и старины родного края. Его «Естественная история и древности Селборна» доставила ему репутацию классика естественных наук.

Мамрийский (Мамврийский) *дуб*. — Согласно библии, к Аврааму, поселившемуся в местности Мамре, явились под видом путников бог с двумя ангелами. Авраам узнал их и принимал у входа в дом под сенью дуба.

Стр. 512. *Черный Дуглас* — прозвище Джеймса Дугласа (1286—1330), представителя могущественнейшего феодального рода Шотландии. Черный Дуглас прославился своими набегами на Англию.

Сенешаль Аланус. — Считалось, что возможным предком основателя династии Стюартов Вальтера, бывшего стюартом (то есть кравчим, мажордомом) при дворе Малколма III, являлся некий сенешаль (управитель) Аланус, который получил от Вильгельма Завоевателя земли и замок.

Стр. 523. *Эдуард Исповедник* — английский король англосаксонского периода (1042—1066), близкий ко двору норманского герцога, будущего Вильгельма Завоевателя. Эдуард завещал Вильгельму свои владения, что и явилось формальным основанием для высадки норманских войск в Англию.

К. АФАНАСЬЕВ

ОГЛАВЛЕНИЕ

МОНАСТЫРЬ

Введение	7
Вводное послание от отставного капитана его величества королевского пехотного полка Клаттербака автору «Уэверли»	26
Ответ автора «Уэверли» на предшествующее письмо капи- тана Клаттербака	57
Глава I	67
Глава II	73
Глава III	83
Глава IV	91
Глава V	103
Глава VI	118
Глава VII	126
Глава VIII	134
Глава IX	146
Глава X	162
Глава XI	175
Глава XII	184
Глава XIII	194
Глава XIV	204
Глава XV	223
Глава XVI	236
Глава XVII	253
Глава XVIII	265
Глава XIX	274
Глава XX	287
Глава XXI	300
	551

Глава XXII	311
Глава XXIII	320
Глава XXIV	328
Глава XXV	343
Глава XXVI	356
Глава XXVII	368
Глава XXVIII	384
Глава XXIX	396
Глава XXX	414
Глава XXXI	423
Глава XXXII	435
Глава XXXIII	447
Глава XXXIV	459
Глава XXXV	471
Глава XXXVI	482
Глава XXXVII	498
Комментарии	525

В. Д. Метальниковым переведены «Введение» и главы I—XIX, *М. А. Колпаки* «Вводное послание», «Ответ автора „Уэверли“» и главы XX—XXXVII

ВАЛЬТЕР СКОТТ

Собрание сочинений, т. 9

Редактор Э. Великанова

Художник Б. Воронецкий Художественный редактор Л. Чалова
Технический редактор Э. Марковская Корректор Л. Никульшина

Сдано в набор 9/V 1962 г. Подписано к печати II/I 1963 г. Бумага 84 × 108¹/₃₂ — 17,25 печ. л. = 28,29 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 26,933, Тираж 300 000 экз. Заказ 1508. Цена 1 р. 15 к.

Гослитиздат, Ленинградское отд. Ленинград, Невский пр., 28.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление целлюлозно-бумажной и полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького, Ленинград, Гатчинская, 26.